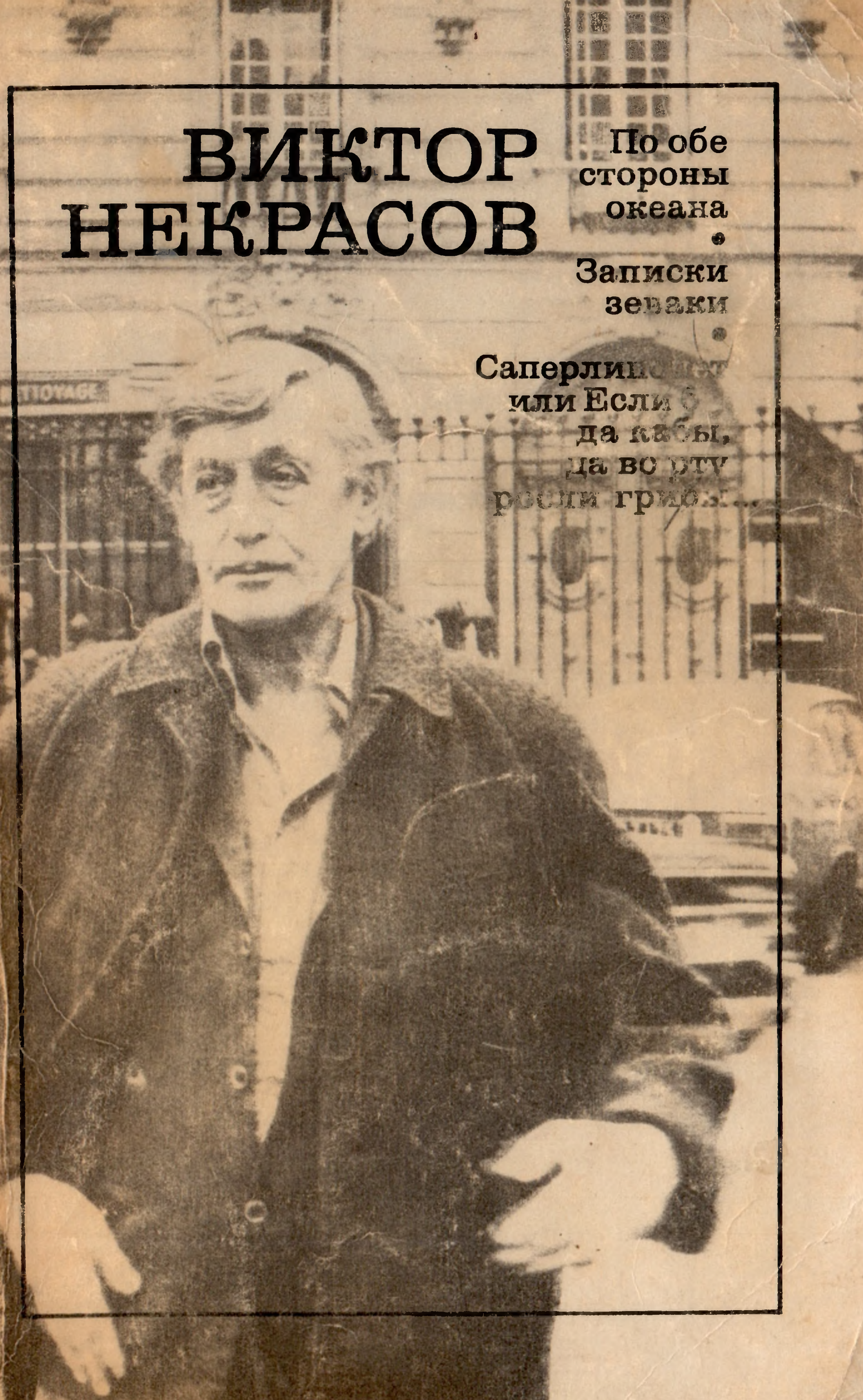

ВИКТОР
НЕКРАСОВ
По обе
стороны
океана
Записки
зеваки
Саперлипопет,
или Если б
да кабы,
да во рту
росли грибы...

ВИКТОР НЕКРАСОВ

По обе стороны океана

•

Записки зеваки

•

Саперлипопет, или Если б да кабы, да во рту росли грибы...



Москва
«Художественная литература»
1991

ББК 84Р6
Н48

Составление, подготовка текста и примечания

А. Е. ПАРНИСА

Художник

Ю. БОЯРСКИЙ

Некрасов В. П.

Н48 По обе стороны океана; Записки зеваки; Саперлипопет, или Если б да кабы, да во рту росли грибы... /Сост. А. Парниса; Худож. Ю. Боярский.— М.: Худож. лит., 1991.— 400 с.

ISBN 5-280-01854-6

В книгу известного русского писателя, участника Великой Отечественной войны Виктора Платоновича Некрасова (1911—1987) вошли произведения, написанные на Родине («По обе стороны океана») и в годы вынужденной эмиграции («Записки зеваки», «Саперлипопет...»).

Н $\frac{4702010000-432}{028(01)-91}$ без объявл. ББК 84Р6

CURRICULUM VITAE [1]

Родился 17 июня 1911 года в городе Киеве (Россия). Отец — Платон Федосеевич Некрасов — банковский служащий (1878—1917). Мать — Зинаида Николаевна Некрасова (до брака Мотовилова) — врач (1879—1970).

Детство провел в Лозанне (мать окончила медицинский факультет Лозаннского университета) и в Париже (мать работала в военном госпитале). В 1915 году вернулись в Россию и обосновались в Киеве.

После окончания школы учился в железнодорожно-строительной профшколе, в Киевском строительном институте (закончил архитектурный факультет в 1936 г.) и в театральной студии при киевском Театре русской драмы (закончил в 1937 г.).

До начала войны некоторое время работал архитектором, потом актером и театральным художником в театрах Киева, Владивостока, Кирова (бывш. Вятка) и Ростова-на-Дону.

С августа 1941 года — в армии. Воевал в Сталинграде, на Украине, в Польше. После второго ранения в 1944 г. демобилизовался в звании капитана. Награды — медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды.

С 1945 по 1947 г. работал журналистом в киевской газете «Советское искусство». В 1946 г. опубликовал в журнале «Знамя» (г. Москва, № 8, 9, 10) повесть «В окопах Сталинграда». В 1947 г. она была удостоена Сталинской премии. В последующие годы переиздана большинством советских издательств общим тиражом в несколько миллионов экземпляров. Переведена на 36 языков, в том числе на французский.

Основные произведения последующих лет: романы «В родном городе» и «Кира Георгиевна», сборник воен-

[1] Жизнеописание (*лат.*).

ных рассказов «Вася Конаков» (все три изданы во Франции). Кроме того, очерки о путешествиях «Первое знакомство», «Месяц во Франции», «По обе стороны океана». Эта последняя книга была раскритикована Никитой Хрущевым (1963), что привело в конце концов к исключению из КПСС (вступил в 1943 году в Сталинграде) и из Союза писателей СССР. В 1974 г. эмигрировал во Францию, гражданином которой стал в 1983 г.

Во Франции написаны книги: «Записки зеваки», «Взгляд и нечто» (издали Julliard и Gallimard), «По обе стороны Стены», «Из дальних странствий возвратясь», «Саперлипопет», «Маленькая печальная повесть» (русские эмигрантские издательства).

Веду регулярные передачи на «Радио-Свобода».

В 1957 г. по повести «В окопах Сталинграда» на Ленинградской киностудии сделан был фильм «Солдаты» (во французском кинопрокате «Четверо из Сталинграда»).

Член французского Пен-клуба.

Член Баварской Академии искусств.

Адрес: 3, place du Président Kennedy,
92170 Vanves.
Tél. 46.38.73.33. [1]

Виктор Некрасов

Январь 1986 г.

---

[1] Виктор Платонович Некрасов скончался 3 сентября 1987 года в Clinique de Gentilly (Hauts de Seine, France) в 18 час. 10 мин. от рака легких и внутреннего кровоизлияния.

По обе стороны океана

ОТ АВТОРА [1]

Есть люди, которые с детства любят ковыряться в будильниках, разбирать замки, возиться с разными колесиками, винтиками, не расстаются с отвертками, стамесками, гаечными ключами. Мне все это было чуждо. Я любил путешествия. И до сих пор мне кажется это самым интересным.

В юности это было совсем просто — рюкзак за плечи и с товарищем через Бечойский перевал в Сванетию или на Эльбрус, в Домбайскую долину, через Клухор в Грузию. В белых резиновых тапочках, с двухнедельным запасом хлеба в мешках, фотоаппаратами и хрупкими тяжеленными пластинками (которые перезаряжать надо было только ночью) мы протопали все Военно-Сухумские и Военно-Осетинские дороги, Ингурскую тропу, Черноморское побережье, Южный берег Крыма...

В войну я несколько охладел к пешему хождению, но к путешествиям — нет. Будь у меня возможность, время и деньги, я б подобно Меркурию, Богу не только торговли, но и путешествий, объездил весь земной шар, всю планету, как теперь принято говорить... Что может быть интереснее?

Но есть и другой вид путешествий — не менее интересный — путешествие во времени. Нет, не в поисках морлоков, не к рыцарям короля Артура (что, впрочем, не менее интересно), а в поисках чего-то, что тебе дорого, необходимо, а рядом, увы, нет. А может быть, это поиски самого себя, путешествие по собственной жизни? Сейчас мне трудно это объяснить — надеюсь, что, прочитав все до конца, читатель поймет, о чем идет речь.

Итак, в путь, в необычное путешествие во времени и пространстве.

---

[1] Это небольшое авторское предисловие предваряло книгу В. Некрасова «Путешествие в разных измерениях» (М., 1967), в которую вошли его очерки о поездках в Италию, Америку, Францию и на Камчатку. Включая в настоящее издание его скандально-знаменитые очерки о поездках в Италию и Америку «По обе стороны океана» (впервые — Новый мир, 1962, № 11—12), разруганные в 1963 г. Н. Хрущевым, мы решили оставить это предисловие В. Некрасова (хотя оно непосредственно и не входит в текст «знаменитых» очерков), в котором он рассказывает, какое место в его жизни занимают путешествия (*примеч. сост.*)

1. В ИТАЛИИ

— Опять, значит, побывали в Италии?

— Опять.

— Ну и как?

— Устал дьявольски. Две недели все-таки такой сжатый срок.

— Сжатый, понятно. И все же?

— Ну, как вам сказать. Интересно, конечно...

— Почему — конечно?

— Да все потому же. За две недели, точнее даже за тринадцать дней, столько намотаешься, столько наговоришься, столько увидишь, что потом за полгода не разберешь.

— М-да...

Собеседник умолкает, в его взгляде я вижу что-то нехорошее.

Такой же взгляд был, очевидно, и у меня, когда лет десять тому назад один очень крупный наш писатель, ездящий по всевозможным конгрессам, отойдя от телефона, выругался:

— Тьфу, пропасть! Опять в Париж ехать надо...— И в ответ на мой удивленный взгляд: — Если б вы только знали, до чего надоели все эти парижи, стокгольмы, женевы... Мотаешься как белка в колесе. Ни поработать, ни отдохнуть.

Я был поражен, возмущен и даже обижен.

И вот сейчас я чувствую на себе подобные же взгляды: «Устал, видите ли, бедняжка. Двух недель ему не хватает. Впечатлений, мол, слишком много, переварить не может...»

Я чувствую эти взгляды, и мне становится неловко.

Пять лет тому назад я впервые поехал в Италию. Пробыл там около месяца. О впечатлениях своих попытался рассказать в очерке «Первое знакомство». Пока

писал, думал: «Ну, это так, первые впечатления. Авось поеду еще раз, тогда постараюсь знакомство это углубить, расширить, развить». И вот этот «еще раз» произошел. В марте 1962 года. Так ли он произошел, как мне думалось, хотелось? Нет, не так. И все же...

Вопрос: как, попав в ту или иную страну, да еще на короткий срок, побольше узнать о ней?

Ответов много. Самый разумный, очевидно, следующий:

«Собираешься ехать в Италию? Тогда будь любезен сходи в библиотеку, поройся в специальной литературе, почитай о том, что тебя больше всего интересует, и в Италии тебе не придется задавать вопросов, на которые ты можешь найти ответы и дома. Это первое. Это фундамент. Второе. Составь приблизительный хотя бы план того, что и кого ты хочешь повидать, и старайся по мере сил придерживаться этого плана. Третье — не распыляйся, не хватайся за все, сосредоточься на том, что тебе действительно интересно и нужно. Четвертое — не расставайся с записной книжкой, на память не рассчитывай. Пятое — не ложись поздно, вставай рано: прекраснее утра ничего нет и дома и за границей. Шестое — лучше в одном месте подольше, чем «галопом по Европам». И, наконец, седьмое: а выучил ли ты язык? Если нет — грош тебе цена.

Вот эти семь заповедей. Выполнишь — будет польза. Не выполнишь — пеняй на себя».

Бог ты мой, как я себя убеждал в необходимости придерживаться этих заповедей! Убеждал, убеждал, и ничего не вышло. Кроме шестой и частично первой, не выполнил ни одной. И, как ни странно, не жалею. Стыжусь только за седьмую — языка так и не выучил.

Нет, не в плане дело, не в регламенте, не в записной книжке. Интереснее всего бывает как раз противоположное — неожиданность, случайная встреча, новое знакомство, вдруг возникший спор, непредвиденный вопрос — одним словом, не расписание, а как раз нарушение расписания, и не только моего, но и «местных жителей». Об этих нарушениях будет еще разговор впереди (они связаны не столько с Италией, сколько с поездкой в Америку и вообще с организацией нашего туристского дела). Сейчас же несколько слов о записной книжке, точнее — писательской записной книжке.

Еще в прошлый приезд в Италию в Ватикане я впервые увидел сонмы туристов (в основном западногерман-

ских), испещрявших страницы за страницами свои записные книжки, хотя все, что им рассказывали гиды, изложено было в зажатых у них под мышками путеводителях. Тогда нелюбовь к записной книжке зародилась. В Америке она окрепла, когда я заметил, что кое-кто из наших туристов занимается тем же — пишут, пишут, не успев даже взглянуть на картины, перед которыми стоят. В Антверпене я еще больше возненавидел записную книжку. Проходя мимо одного из старинных зданий, наш гид указал на него и мимоходом сказал:

— Вот в этом дворце всегда останавливается король Бодуэн, когда приезжает в Антверпен.

— В каком, в каком? — Одна из самых бойких и деятельных наших туристок дернула меня за рукав.

— Вот в этом,— ответил я и, не выдержав, через плечо заглянул ей в блокнот.

«Вот в этом дворце всегда останавливается король Бодуэн, когда приезжает в Антверпен» — дословно записала она и, боясь прозевать очередной дворец, рысцой стала догонять гида.

На это не без основания могут возразить, что не обязательно записывать всякого рода ненужности, все зависит от самого записывающего. Возможно, это и так, но, на мой взгляд, записная книжка нужна писателю главным образом для занесения в нее телефонов и адресов, в остальном же она только мешает. Магия записи, ее избирательность, если можно так сказать, впоследствии уничтожает непосредственность воспоминания. В какой-то степени получается то же самое, что при частом рассказывании одной и той же истории: «забалтываешься», рассказ превращается в сработанный, отрепетированный номер с проверенными «на публике» деталями, которые «стоят насмерть» и не дают хода другим.

Не знаю, как другие, но я против записной книжки.

Окончательно возненавидел я ее года полтора тому назад в своем родном Киеве, когда туда приехал Данило Дольчи. Крупный итальянский общественный деятель, лауреат Ленинской премии, в прошлом триестинский архитектор, сейчас он навсегда переселился в Сицилию, чтоб жить среди крестьян и рыбаков, которым посвятил всю свою жизнь. Это очень добрый, честный, самоотверженный человек. Жизнь его достойна удивления и подражания. Он бессребреник, почти нищий. Все, что имеет, отдает крестьянам и рыбакам. Он пытается организовать для них сносное существование. Познакомились мы с ним

еще в Италии, в 1957 году. Он усиленно приглашал тогда к себе на Сицилию, но, как обычно, помешали регламент и расписание, и поездка не состоялась. Сейчас он приехал в Советский Союз, чтоб ознакомиться с системой нашего планирования — авось удастся применить что-нибудь и у себя на родине.

В Киеве он был занят с утра до вечера — разрывался между министерствами, госпланами и совнархозами; я забежал к нему на часок в гостиницу, чтоб пожать ему руку и вместе пообедать. Не успели мы сесть за столик, как он вытащил блокнот. Ни одного моего слова он не пропустил, все записал. Возможно, то, что он записал, было ему очень нужно, но мне было как-то грустно — вместо беседы получилось интервью.

Нет, я определенно против записной книжки и против планирования «осмотров и встреч», против расписания. Самое интересное возникает вдруг, нежданно-негаданно, хотя в этой нежданно-негаданности есть свои рифы и пороги.

Для затравки я расскажу об одном случае, происшедшем, правда, не в Италии, а у нас, в Советском Союзе, но с итальянцем. Я до сих пор холодею при одном воспоминании об этом случае.

Итальянец этот — Джулио Эйнауди — крупный туринский издатель, сын бывшего президента, друг Советского Союза, много сделавший для популяризации советской литературы в Италии. Приехал он не один, а с женой и с другом — венецианским писателем Карантото-Гамбини.

В Киеве они пробыли дня два или три. Ездили по городу, знакомились с достопримечательностями — все честь честью, как положено. И вдруг ни с того ни с сего захотелось Эйнауди на базар. Иностранцы, нужно сказать, вообще любят знакомиться с базарами. Но нашему Эйнауди кто-то сказал к тому же, что только на базаре можно приобрести настоящие произведения народного искусства. Как потом выяснилось, речь шла ни больше ни меньше, как о намалеванных на клеенке лебедях и полосатых лупоглазых кошках из папье-маше. Ну что ж, базар так базар. Сели в интуристскую машину и покатили на Подол, на Житний базар. Кроме гостей была переводчица и еще один мой друг. Без всяких помех доехали куда надо. Вылезая из машины, Эйнауди спросил:

— А фотографировать у вас можно?

— А как же,— сказал я.— Все, кроме военных и стратегических объектов.

Через минуту вокруг бедного Эйнауди собралась толпа, и толпа далеко не безмолвная. Его обвиняли в том, что он фотографировал какую-то старуху, торговавшую муравьями (от ревматизма, что ли?). Кое-кто шел дальше, утверждая, что съемки производились со специальной целью. Так или иначе, но все мы четверо — главный виновник и трое нас, советских граждан,— оказались в отделении милиции. Что и говорить, это было не самое образцовое отделение. Продержали нас там минут сорок — куда-то звонили, выясняли, требовали фотопленку,— и только после активных наших убеждений («Сын президента! Директор крупнейшего издательства!») и дополнительных звонков нас отпустили и даже извинились. Нужно сказать, что все эти сорок минут, проведенные по соседству с какими-то спавшими в углу базарными пьяницами, наш директор крупнейшего издательства держал себя с большим достоинством и даже пытался утешить меня, повторяя по-русски:

— Бивает... бивает...

Потом, в Москве, говорят, он очень весело рассказывал об этом инциденте, добавляя, что в Италии подобная история длилась бы по крайней мере несколько часов. Вообще же он остался очень доволен и огорчился лишь тем, что нам так и не удалось купить «произведения народного искусства» — торговки наотрез отказались продавать. Одна из них прямо сказала мне:

— Если б знала, что для него, сделала бы по-художественному, а это ж так...

— Скажите, пожалуйста, что самое интересное было у вас в Италии (или в Америке)?

На первых порах я затруднялся на это прямо ответить. Сейчас могу. Самое интересное — это споры. Не скажу, что это самое легкое, но это самое увлекательное и, может быть, самое нужное. Но об этом позже. Сейчас же о том, что самое приятное.

Я часто задаю себе вопрос, что доставляет большее удовольствие: когда окружающие тебя люди знают, кто ты такой, или когда не знают?

Не буду лукавить — очень лестно сидеть за одним «круглым столом» (хоть он на деле и продолговатый) вместе с Альберто Моравиа, Карло Леви, Пьером Паоло

Пазолини, Гвидо Пьовене, рядом с советскими писателями, представляющими здесь, в Риме, во дворце Мариньоли, нашу литературу. И выступление по римскому телевидению тоже приятно. Подумать только, Чухрай и ты — первые советские люди, которые попали в это громадное, усиленно охраняемое здание, хозяева которого далеко не симпатизируют нашему строю, нашим взглядам. Чухрай почему-то абсолютно спокоен (привык, черт!), а я волнуюсь. Волнуюсь, может быть, чуть меньше, чем милая молоденькая переводчица, дальнейшая работа, а значит, и судьба которой зависит от того, как она справится сегодня с переводом выступлений этих двух «совьетико». И муж ее рядом, тоже волнуется. (Могу успокоить — все сошло хорошо, и на следующий день юные муж и жена прислали нам с Чухраем трогательные сувениры и кулечки засахаренного миндаля — традиционный подарок молодоженов.)

Одним словом, что скрывать — популярность всегда доставляет удовольствие.

И все-таки не это самое приятное.

Не знаю, как другие, но я часто, смотря какой-нибудь хороший фильм (ну хотя бы «Машиниста» Пьетро Джерми или «Улицу Прери» с Жаном Габеном), невольно пристраиваюсь за одним из столиков того самого парижского бистро, где Габен спорит со своими друзьями о велосипедных гонщиках, или подсаживаюсь со своим стаканом кьянти к захмелевшему Джерми-машинисту, когда у него так тяжело на душе. Джерми-машинист... Как мы его полюбили, большого, седого, жестокого и мягкого, любителя выпить. Как полюбили его жену — за всех ей надо думать, за всех решать, все нести на своих плечах. Полюбили детей, и старших и младшего, обаятельного черноглазого постреля. Полюбили и кабачок, в который всегда после дежурства забегает машинист — даже перед Новым годом и то забежал! — полюбили и самого кабатчика.

И вот ты в этой стране. В стране Джерми-машиниста, в его городе.

В один день мы пролетели чуть ли не всю Европу. Полчаса в Варшаве, три часа в Париже. Потом через выглядывающую из туч вершину Монблана — в Рим. Сверкающий огнями и стеклами новый аэропорт Фиумичино (не знаю, что лучше — новый Орли в Париже или Фиумичино). Автобусом мимо Колизея к Стационе Термини — римскому вокзалу. Десять часов вечера. Впереди еще че-

тыре часа поездом до Флоренции — конечного пункта нашего путешествия.

Забрались в вагоны, забили сетки своими чемоданами. Тронулись. Я открыл окно и высунулся... Высунулся и оказался в фильме «Машинист»! Черт возьми, тот же вокзал, тот же поезд, так же все быстрее и быстрее стучат колеса электропоезда по стыкам и стрелкам, те же проносятся будки, мачты, дома... Кто ведет поезд? Когда мы приехали во Флоренцию — она встретила нас дождем, сыростью, холодом,— я не удержался и заглянул в переднее окно электровоза. Можете смеяться надо мной, но там сидел Пьетро Джерми. Честное слово!

Я, конечно, не мог найти, да и не искал того кабачка, где машинист пел песни и играл на гитаре со своими друзьями, но я был в другом, в который он мог зайти. И Кабирия могла. И любой герой из «Рима в 11 часов». Там играли в какую-то игру. Я выпил пива и тоже включился в эту игру. Это была электрическая игра. Над большим ящиком ходит небольшой портальный кран. В ящике лежат всякие завлекательные вещи — брошки, портсигары, мундштуки. Ты опускаешь в щель автомата пятьдесят лир и нажимаешь кнопку. Кран начинает двигаться. Когда он доходит до соблазнившего тебя предмета, ты нажимаешь другую кнопку, кран останавливается, и опускается ковшик, который захватывает или не захватывает то, что тебе хотелось. Я ничего не захватил. Истратил лир триста да еще веснушчатому рыжему пацану дал сто, но оба мы остались с носом. Впрочем, остальные тоже, за исключением шоферского типа парня в комбинезоне, вытащившего перочинный ножик. А в общем было весело. Все ржали, особенно при чьей-нибудь неудаче. И пили пиво. И рылись в карманах, опять опускали монетку. Потом жены стали уволакивать своих мужей. Те сопротивлялись. Опять пили пиво. Было весело. Особенно мне. Я чувствовал себя своим в этом окраинном рабочем кабачке. На меня никто не обращал внимания. Вернее, столько же, сколько на других. Вот это, пожалуй, самое приятное.

И еще. Мы бродили по ночной Флоренции. Я и двое моих друзей. Было очень поздно. На улицах пусто. Шли без всякой цели, куда глаза глядят. По улочкам, переулочкам, вдоль набережной Арно. Вышли к Понто-Веккио. Это стариннейший мост, ему четыреста лет. Живописнее его нет в мире мостов. Он мост и в то же время улица. На нем лавки и магазины, в основном, ювелирные.

Существует, вероятно, миллион фотографий и открыток этого моста. Он чудом уцелел в эту войну, хотя одно время линия фронта проходила через Флоренцию по реке Арно.

И вот мы вышли на этот мост. Облокотились о перила. Смотрели на стремительную Арно под нашими ногами, на огни ночного города, отражающиеся в ней. И тут подошли к нам два ночных сторожа. Попросили закурить. Один из нас знал итальянский. Заговорили. И знаете, о чем они через несколько минут уже спорили? О Чили! О том, кто выйдет победителем на всемирном футбольном чемпионате.

На Понто-Веккио о футболе? Кощунство? А по-моему, нет. За те пять или шесть дней, которые мы пробыли во Флоренции, Понто-Веккио из знакомого постепенно превратился в друга, а мы чуть-чуть меньше стали туристами.

Когда я впервые, пять лет тому назад, попал на площадь Синьории, я чуть ли не на цыпочках вошел в Палаццо Веккио, постоял в знаменитом дворике, поднялся по лестнице, с трепетом ходил по громадным залам, украшенным картинами Вазари и скульптурами Микеланджело. Святилище.

В этот приезд Палаццо Веккио был для меня уже не только замечательным памятником архитектуры и эпохи, но и местом, где мы сидели с наушниками на голове, слушая выступления делегатов конгресса Европейского сообщества писателей. Заседания происходили в Зале Пятисот (том самом, где Вазари и Микеланджело), во время официальных приемов у входа и на лестницах стояла стража в средневековых одеждах, с алебардами и факелами. Что говорить, к концу конгресса все немного устали. Стоит ли удивляться, что кое-кто из нас не всегда досиживал до конца заседания и «смывался» в город побродить по тихим улочкам. Я думаю, Палаццо Веккио за это на нас не в обиде — он тоже стал другом, а в дружбе этикет только мешает. Правда, за него обиделся мой киевский друг, архитектор, когда, рассказывая ему о чем-то, я неловко обмолвился, что в какой-то там вечер не захотелось идти в Палаццо Веккио — все-таки каждый день утром и вечером...

— Дожили,— сказал мой друг, и в голосе его не было и тени сочувствия.— А Флоренция тебе не надоела? И утром, и вечером, и днем, и ночью...

Я почувствовал снова неловкость.

Да, самое приятное — это когда перестаешь чув-

ствовать себя туристом. Когда чуть-чуть обживаешься. Когда идешь пешком от Вилла Боргезе к себе домой, в гостиницу «Имперо» возле Стационе Термини, и никого не спрашиваешь, как пройти, и не раззеваешь уже рот на вокзал, а думаешь о нем как о месте, где можно сейчас купить последний номер «Пари-матч» с продолжением воспоминаний о Хемингуэе его младшего брата. Когда можешь сказать своему товарищу, футбольному болельщику: «Между прочим, завтра на стадионе Фламинио любопытный матч: Рим — Милан. Интересуешься? Это недалеко. Сядешь у вокзала на шестьдесят девятый автобус и до площади Фламинио. А там два шага. Можно и тридцать третьим, но он с пересадкой». (Сам я облазил вчера весь этот стадион, ведь его построил Пьер Луиджи Нерви, знаменитейший итальянский архитектор, а теперь говорю о нем, будто это стадион «Динамо».)

Есть еще одно, что доставляет неизъяснимое наслаждение,— вторичные встречи. Встречи, открывающие тебе в уже знакомом что-то новое, неожиданное.

Я не злоупотреблял музеями. Лучше меньше, да лучше. В Уффици, во Флоренции, я обошел залов десять, не больше. И открыл для себя заново Бронзино, Филиппино Липпи, Паоло Учелло. Особенно последнего. Скажу прямо, хотя это немного и стыдно: я о нем ничего не знал, увидел впервые.

Зайдя в один из первых залов Кватроченто, я остановился перед картиной, которая меня неожиданно вдруг поразила. Как мог я ее не заметить, когда был здесь в прошлый раз? Вот что значит туристская беготня! Картина была необычайна. Называлась она «Битва». По изысканности и ритмичной законченности композиции, по тонкости рисунка, по колориту, по удивительной смелости сочетания цветов и, наконец, по какому-то совершенно исключительному умению разъединить и в то же время объединить между собой первый и задний планы я, пожалуй, не знаю ничего равного. Первое, что тебе бросается в глаза, когда ты входишь в зал, это брыкающаяся обеими задними ногами лошадь в правой части картины. И еще две лошади — поверженные, голубого цвета. Почему они голубые? Не знаю. Но они должны быть голубыми. От картины невозможно оторваться. Первый план —

сражающиеся рыцари. В центре на белом коне — падающий от удара копьем воин. Копье, невероятной длины, мощно пересекает картину по горизонтали. Слева и справа лес других копий, создающих редкой красоты, почти музыкальный ритм. И все это на фоне пересеченных какими-то низкими посадками полей, по которым там и сям прыгают крохотные гончие. И еще какие-то войска идут из-за пригорка...

Описал картину? Да разве опишешь? Я затрудняюсь толком объяснить, что в ней поражает. В первую очередь, какое-то магическое — я не нахожу другого слова — сочетание условности и реальности. Плоскостность картины нигде не нарушена, иллюзорности никакой, и в то же время глубина, причем глубина, созданная не элементарными законами перспективы (которой, кстати, Учелло был великим мастером), а чем-то другим, гораздо более близким искусству. Плоскость картины не разрушена, не прорвана, а сохранена в своей неприкосновенности. Для этого же и не дано небо, которое сразу же создало бы иллюзию глубины. Нет, иллюзии никакой! Глубина создана только планами, размерами фигур переднего и заднего. Не изображать, а выражать — вот в чем весь Учелло... И теперь мне понятно, почему поверженные лошади голубые. Они мертвы. Это выражение смерти. А я-то сначала думал, что эти два серо-голубых пятна на переднем плане нужны художнику для цветового равновесия, как белые гончие и зайцы на втором плане...

Кем же он был, этот кудесник раннего Возрождения, Паоло ди Доно, прозванный «Учелло» — «Птица» (говорят, он очень любил животных, особенно птиц)? Флорентиец, сын цирюльника, золотых дел мастер, мозаичист, автор рисунков для витражей знаменитого Флорентийского собора, работал у Гиберти, дружил с Донателло. Прожил большую жизнь, умер в 1475 году. Большинство работ его не сохранилось. Наиболее значительная — «Битва», на мой взгляд, недооцененная современниками, да и нами тоже.

Вот что пишет о нем Джорджо Вазари в своих знаменитых «Жизнеописаниях наиболее известных живописцев, ваятелей и зодчих»: «Паоло Учелло был бы изящнейшим и изобретательнейшим гением, какой со времени Джотто был в искусстве живописи,

если б к людским фигурам и к животным он проявлял столько же усердия, сколько усердствовал он и тратил времени в делах перспективы... Паоло Учелло от природы был одарен умом гибким и тонким, но не знал другого удовлетворения, кроме как искать решения для каких-нибудь трудных и невозможных задач перспективы... Паоло, не давая себе отдыха, находился в вечной погоне за самыми трудными вещами в искусстве... В итоге он до такой степени стал искушен в этих трудностях, что нашел способы, приемы и правила, как вводить в свои перспективы стоящие на ногах фигуры так, чтобы они постепенно, от одной к другой, укорачивались, соответственно уменьшались и совсем исчезали из виду; между тем до него это делалось, как приведет случай... Все эти изобретательства пристрастили его к одиночеству, почти к нелюдимости, так что он сидел дома, не перекидываясь ни с кем ни словом в течение недель и месяцев и не показываясь на люди... Потратив время на эти головоломки, он в течение всей жизни находился скорее на положении бедняка, нежели знаменитого человека... Так прожил он до глубокой старости, испытывая мало радостей от своих преклонных лет, и умер на восемьдесят третьем году жизни... После себя он оставил дочь и жену, которая рассказывала, что Паоло все ночи напролет проводил в мастерской за поисками законов перспективы, а когда она звала его спать, отвечал ей: «О, какая приятная вещь эта перспектива!»

Мне кажется, Вазари несправедлив к Учелло. Достаточно взглянуть на «Битву» в Уффици (среднюю часть триптиха, левое крыло которого хранится в Лондоне, а правое — в Лувре), чтобы понять, что не одной только перспективой заслужил себе славу Паоло ди Доно, по прозвищу Учелло. Впрочем, что можно сказать об эпохе, в которой рядом или один после другого работали Чимабуэ, Джотто, Учелло, Гиберти, Мазаччо, Брунеллески, Донателло, Пьеро делла Франческа и десятки других, об эпохе, которая дала миру Микеланджело.

Встречи с Микеланджело особенно радостны. Я опять пошел на поклон к «Моисею», к «Пиета» в соборе святого Петра. Но в соборе было слишком много народу и ставили какие-то загородки, готовясь к празднику, а в Сан-Пьетро ин Винколи возле

«Моисея» появились ящики с наушниками: опустишь монету — и пленка тебе все расскажет на итальянском, французском, английском и немецком языках. Группа американских морячков толпилась у английского ящика. Я опустил монету во французский, послушал, и захотелось на улицу.

Зато в Сан-Лоренцо в капелле Медичи не было никого.

Капелла Медичи...

Мне всегда казалось преувеличением, когда говорили, например: «Можно часами стоять перед «Сикстинской мадонной». Теперь не кажется. В капелле Медичи я пробыл, вероятно, не менее часа. Для меня сейчас бесспорно — это величайшее произведение искусства. Человечество не знает другого примера столь совершенного синтеза скульптуры и архитектуры. Сила эмоционального воздействия громадна. В чем секрет? И тут загадка.

Когда смотришь на надгробие Лоренцо и Джулиано Медичи, все кажется совершенным. И глубина мысли, и способ ее выражения, и пластичность самих фигур... Нет, это все не те слова. Перед вами прекрасное. Вот и все. Нечего убавить, нечего прибавить. Предельная законченность.

Законченность? Но почему же тогда лица у фигур, олицетворяющих «День» и «Вечер» [1], не завершены? Трудно предположить, чтоб Микеланджело просто не успел их закончить, хотя в целом работы после Микеланджело завершал Вазари. Вряд ли гениальный мастер столько времени уделил бы второ- и третьестепенным деталям (капители колонн, например, с крохотными масками каких-то смеющихся существ с бараньими рогами), не завершив основного. Нет, внешняя незаконченность эта, очевидно, входила в намерения сульптора.

В замечательной своей книге «Образы Италии» П. Муратов пишет: «Освобождение духа, образующего форму из инертного и бесформенного вещества, всегда было главной задачей скульптуры. Преобладающим искусством античного мира скульптура сделалась потому, что античное миросозерцание держа-

---

[1] Очевидно, у нас прижился неправильный перевод. По-итальянски не «Вечер», а «Сумерки» (Il Crepuscolo) и не «Утро», а «Рассвет» (L'Aurora) — это точнее.

лось на признании одухотворенности всех вещей... Но родным домом духа, каким он был для греческих ваятелей, или новой прекрасной страной его, какой он был для живописцев раннего Возрождения, мир перестал быть для Микеланджело. В своих сонетах он говорит о бессмертных формах, обреченных на заключение в земной тюрьме. Его резец освобождает дух не для гармоничного и по-античному примиренного существования вместе с материей, но для разлуки с ней. О невозможности этой разлуки, о крепости земного плена как бы свидетельствуют неотработанные куски камня, вторгающиеся в совершенство его одухотворенных форм».

Прав ли Муратов? Об этом ли думал Микеланжело, создавая свои полузагадочные фигуры? Или объяснения эти можно скорее отнести к только-только начавшим вырываться из-под ига мрамора «пленникам», находящимся в Академии художеств? Я не берусь судить. Для меня это загадка, которую я не могу разгадать.

Все эти вопросы возникли у меня именно во второе посещение Сан-Лоренцо. В капелле пусто. Тишина. Только откуда-то доносится колокольный звон, не наш, не русский. Но и он что-то дополняет, как орган в готическом соборе. Сижу в большом кожаном кресле. Я как бы растворился в окружающем, но мозг, проклятый, не выключился. Задает вопросы. Почему? Почему? Что значит незаконченная рука «Ночи», опирающаяся на маску, олицетворяющую сон? Случайность? А маленькая маска усатого человека на спине у Джулиано Медичи — маска, которую смогли увидеть, только сняв фигуру с постамента для каких-то реставрационных работ? Все это загадка.

Такая же загадка и мадонна с младенцем. Почему не закончена, к тому же и анатомически явно не верна левая рука младенца Христа? Наконец, почему вся скульптура, стоящая на фоне гладкой белой стены, явно и безусловно сознательно оторвана от архитектуры капеллы, которая является венцом синтеза архитектуры и скульптуры?

Нет, не проникли мы еще, даже в наш век расщепленного атома и космических кораблей,— не проникли мы в тайное тайных искусства. Венера Милосская прекрасна без рук. Их где-то, говорят, ищут на дне Эгейского моря. Стоит ли?

Позади уже двадцать четыре страницы. Придирчивый читатель вправе возмутиться: сумбур какой-то. И о том и о сем. Напрасно все-таки автор нарушил вторую заповедь — с планом оно все-таки лучше, плавнее, понятнее...

Что ж, ничем не могу порадовать такого читателя — дальше будет так же. Можно было. конечно, как в энциклопедическом словаре:

Италия.

1. Географическое положение.
2. Народонаселение.
3. Государственное устройство.
4. История.
5. Промышленность.
6. Сельское хозяйство.
7. Искусство и т. д.,

но что-то не хочется, скучно. И по порядку рассказывать тоже скучно. Помню, как один мой приятель, вернувшись из путешествия, стал рассказывать о нем. Вынул блокнот (опять злосчастный блокнот!) и по порядку начал: «Итак, в первый день мы были там-то и там-то, во второй там-то и там-то, в третий...» Здесь его кто-то перебил и спросил о чем-то. «А это было на шестой день, мы еще дойдем до него». Но мы так и не дошли: разговор шел за вечерним и отнюдь не пустым столом.

Одним словом, никакого порядка наперед не обещаю. И все же, чтоб не обидеть педантичного и любящего ясность читателя, сделаю небольшое информационное сообщение.

Одиннадцатого марта 1962 года на конгресс Европейского сообщества писателей в г. Флоренцию (Италия) вылетела советская делегация в составе: А. Сурков (председатель), М. Бажан, В. Панова, А. Твардовский, Г. Чухрай, Г. Брейтбурд (секретарь). В качестве гостей на конгресс приглашены были: И. Андроников, С. Антонов, Е. Винокуров, А. Вознесенский, Д. Гранин, Э. Казакевич, В. Некрасов, И. Огородникова, Н. Томашевский, В. Шкловский. Члены делегации и гости приняли участие в заседаниях ассамблеи и конгресса сообщества (11—15 марта, Флоренция), конференции «круглого стола» (16 марта, Рим), встречались с членами общества «Италия — СССР», с писателями, художниками и кинорежиссерами, студентами Римского универси-

тета, выступали по телевидению. Кроме Рима и Флоренции группа посетила г. Прато, Равенну, Сиену, Сан-Джиминиано. 24 марта советские писатели самолетом отбыли на родину.

В дополнение к вышеизложенному скажу: кроме заседаний и «круглых столов», были еще приемы, обеды и ужины, избежать которые никак нельзя, хотя это и не самый идеальный способ ознакомления со страной. В Сан-Джиминиано, например,— одном из красивейших городов Италии — мы пробыли часа три, не больше, из них два провели за столом (в удивительно, правда, колоритном ресторане), утоляя голод и произнося тосты. Для полноты картины скажу, что утром того же дня у нас было два небольших «приемчика» — у мэра и в муниципалитете г. Сиены, а вечером — выступления во Флоренции в обществе «Италия — СССР» на тему о советской кинематографии.

Из Флоренции нам не хотелось уезжать. Она невелика, и мы как-то сразу привыкли и сроднились с нею. Мы гуляли по ее паркам и улицам, ходили в музеи, нашли дом, где Достоевский написал «Идиота» (хотели найти квартиру, но так и не нашли; спускавшийся по лестнице — очень «достоевской» лестнице — молодой человек сказал нам, что «синьор Достоевский теперь здесь не живет, он давно умер»), встречались с интересными и симпатичными людьми, пили кьянти и не только кьянти, покупали сувениры и открытки, дарили марки и спички, а на прощанье получили от мэра, или синдика, как здесь он называется, города Флоренции Ла-Пира памятные медали конгресса с изящной флорентийской лилией.

Не хотелось уезжать. Казалось, что ничего красивее Флоренции с ее Дуомо, Синьорией, Давидом, мутно-желтой Арно, пересеченной мостами, с ее улочками и серобурой черепицей крыш, с печальным звоном колоколов Санта-Кроче, будившим нас по утрам,— казалось, что ничего красивее мы и не увидим уже. Уезжали с грустью.

И вот Сиена.

Сиена знаменита не многим меньше, чем Флоренция. Когда-то они враждовали, эти два города, соперничали — и в политике и в искусстве. И оба подарили миру великих художников. Сиену, слава которой родилась еще в XII веке, называют городом итальянской готики, Сиенский собор — один из редчайших примеров ее. Сиена —

родина «сиенской школы», изысканнейшей школы живописи Раннего Возрождения, не порвавшей с традициями средневековья. Сиена — сердце Тосканы, центр виноделия, мать кьянти. На весь мир знаменит сиенский мрамор, травертин. А ко всему этому она, взгромоздившаяся на свои холмы, удивительно красива.

Когда мы на машине подъезжали к городу, я вначале слегка испугался — какие-то новые кварталы, кубические дома. Но попали в центр — и страх прошел. Даже Флоренция как-то померкла. Средневековье, карабкающиеся в гору улочки, лестницы, аркады, внезапно открывающиеся маленькие площади, дворики с фонтанами. И все это XIV, XIII, XII века. И все это какого-то особого, своего, коричневато-рыжеватого, «сиенского» цвета, такого же, как и пейзаж Тосканы.

Тосканский пейзаж... Я ездил по многим красивым дорогам — Военно-Грузинской, на озеро Рица, по крымским серпантинам, дорогам Саксонии, Шварцвальда, Южной Чехии, Словакии, но, пожалуй, ни одна из них не сравнится с дорогой из Сиены в Сан-Джиминиано. День был солнечный, весенний и какой-то удивительной прозрачности. Дорога вьется по холмам, через небольшие леса, серебристые оливковые рощи, потом вырывается в долину — и перед тобой открывается такой красоты и, я бы сказал, изысканности линия горизонта, что невольно умолкаешь. Я никогда и нигде не видел такого горизонта. Он поразительно четок, он холмист и извилист, и на нем точно тоненькой кистью нарисованные деревья, замки на вершинах холмов, монастыри, колокольни... Красновато-бурая земля, матовое серебро олив и пронзительной голубизны небо с крохотными белыми облачками. До чего ж красиво! И почему-то знакомо. Ну да, видел же. В Уффици, в Палаццо Питти, в самой Сиене — «сиенская школа»...

И вдруг на горизонте башни. Много-много башен. То скрываются, то появляются — дорога вьется среди виноградников. Сан-Джиминиано — «город тринадцати башен»...

Что может удивить после Флоренции и Сиены? Ничто... И вот, оказывается, есть такой город. Это уж совсем старина. Это Данте, это Боккаччо, это удары шпаг, развевающиеся плащи, шелковые лестницы с балконов, замирающий звук лютни, гулкие шаги ночной стражи по булыжной мостовой, трепетное пламя задуваемых ветром фонарей.

Подъезжаешь к городу и не веришь глазам своим. Неужели в середине XX века могло сохраниться такое? А может, это декорации? Кто же художник? Художник — XIV век. Такие же башни — квадратные, суровые — были когда-то и во Флоренции и в Сиене [1]. Строили их знатные фамилии. Маленький Сан-Джиминиано, находящийся между Флоренцией и Сиеной, ощущал на себе их соперничество. Но только в нем чудом уцелели эти башни, до сих пор хранящие имена своих былых хозяев: есть башня Сальвучи, башня Ардинчелли — двух враждовавших фамилий. Чудо чудом, но, кроме того, Сан-Джиминиано обязан своим нынешним видом отцам города, которые еще в XVII веке приказали гражданам под их личную ответственность сохранять неприкосновенность башен, а тем, кто допустит разрушение, немедленно восстановить в первоначальном виде. «Per la grandezza della terra» — для величия Земли...

Был уже вечер. Я стоял у небольшого стрельчатого окна Палаццо Коммунале и смотрел на город. Солнце садилось, и башни, ставшие вдруг красными, отбрасывали одна на другую причудливые тени. Небо было попрежнему ярко-голубым с белыми облачками. В разрыве между двумя башнями был виден тосканский горизонт и бурые, как тосканская земля, черепичные крыши. Я стоял у окна и мысленно благодарил тех неизвестных мне синдиков XVII века, которые сохранили для меня, для всех нас эту сказочную неправдоподобную красоту.

Per la grandezza della terra — для величия Земли... Покидая Сан-Джиминиано, прощаясь с его башнями, которые вряд ли я когда увижу, я невольно думал о своем родном Киеве. Когда подъезжаешь сейчас к нему по железнодорожному мосту и любуешься его силуэтом, невольно радуешься сиянию куполов реставрированной Лавры и Выдубецкого монастыря. Софийский собор тоже помолодел — дотошные реставраторы много над ним поработали. Но если станешь к собору спиной, на противоположной стороне площади увидишь невыразительные заборы и крыши. Там когда-то высился Михайловский Златоверхий монастырь. Сейчас его нет. В 1937 году его

[1] Глядя на башни Сан-Джиминиано, я невольно вспомнил башни Сванетии. Эта маленькая горная страна лежала когда-то на пути крестоносцев — отсюда, очевидно, и общность форм.

снесли. Снесли, чтобы на его месте построить административное здание, которое так и не построили. А монастыря XI века нет — заборы и крыши.

Я бы не вспоминал об этом прискорбном факте двадцатипятилетней давности, если б и сейчас кое-кому из тех, от кого зависит судьба того ли иного памятника архитектуры, не казалось, что всякая церковь или икона — в первую очередь, «опиум для народа», а потом уже произведение искусства. Несколько лет тому назад в одной достаточно влиятельной киевской газете появилась статья, в которой писалось, что там-то и там-то необходимо снести такие-то и такие-то церкви и синагоги XI — XII веков. Они, видите ли, портят пейзаж... Убедительно, не правда ли?

Позднее мне пришлось присутствовать на одном заседании в Киеве, где пересматривался список архитектурных памятников, подлежащих охране государства. Возможно, не все памятники являются действительно памятниками и не все из них государство должно охранять, но когда такое заседание собирается для того, чтобы «пересмотреть список и сократить его на пятьдесят процентов», это вызывает не только удивление, но и тревогу.

Мы любим свою историю, свое прошлое, и то, что от этого прошлого сохранилось, нужно не уничтожать, а бережно сохранять.

Увы, поздно уже об этом говорить (а в свое время и говорилось и писалось), но то, что происходит сейчас на Мамаевом кургане в Сталинграде, ничего, кроме горечи, вызвать не может. Там возводится сейчас безвкусный, громоздкий ансамбль, с обилием гранитных лестниц, барельефов, скульптур и бюстов — одним словом, от Мамаева кургана, каким он был в сорок втором году, когда весь мир следил за событиями, развернувшимися на его пологих склонах,— от этого Мамаева кургана ничего не останется.

Когда восстанавливали «дом Павлова», кто-то додумался замазать на нем все надписи, которыми он был испещрен в дни обороны. На моих глазах лихой маляр толстой кистью замазывал розовой краской историческую (я не боюсь преувеличения) надпись: «Этот дом защищали сержант Яков Павлов и бойцы...» Дальше уже прочесть нельзя было. Удержать маляра оказалось невозможным. Я успел только сфотографировать последние секунды жизни этой надписи. Сейчас «дом Павлова»

стоит гладкий, розовый и скучный, будто и не воевал никогда...

В свое время в полку, в Сталинграде, мы частенько подтрунивали над нашим ПНШ-1 (он был историком по профессии) за то, что он все собирал: какие-то схемы, формуляры, отчетные карточки, донесения. «Всему этому когда-нибудь цены не будет»,— говорил он, а мы смеялись, считали это занятие недостойным солдата. Сейчас, потеряв как-то кисточку для бритья, я полдня сокрушался, пока не нашел ее,— ведь это единственное, что у меня сохранилось от Сталинграда.

Тут я невольно предвижу замечания некоторых моих будущих критиков. Вот вы поехали в Италию, скажут они, увидели красивый город Сан-Джиминиано, в котором благодаря каким-то там синдикам XVII века сохранились древние башни, и в силу каких-то там ассоциаций заговорили вдруг о Сталинграде. Но, заговорив о нем, вспомнили почему-то одни только упущения, чьи-то недосмотры, не упомянув ни словом о тех воистину грандиозных восстановительных работах, которые охватили весь город. Ведь город-то восстановили фактически заново.

Да, заново. Об этом уже писали, и много писали. И тем обиднее, что есть вещи, которые уже восстановить нельзя, хотя в свое время можно было.

А о Сталинграде я заговорил не только в силу каких-то ассоциаций, связанных с вопросами сохранения и восстановления прошлого, а еще и потому, что именно в Сан-Джиминиано я особенно остро ощутил, что значит Сталинград не только для нас, советских людей, но и для всех, кому ненавистен фашизм.

В том самом старинном ресторане с толстыми деревянными балками и неоштукатуренными кирпичными стенами, который отнял у нас два часа из трех, проведенных в Сан-Джиминиано, к нам обратился с речью немолодой человек, сидевший за соседним столом, член христианско-демократической партии. Он так и сказал:

— Я католик. Убежденный католик. Я верю в Бога. Но мне хочется сказать вам, людям, приехавшим из страны атеистов, что мы благодарны вам. Вы отстояли Сталинград. Вы воевали и гибли там не только за себя, но и за нас, людей других убеждений, другой страны — страны, которая воевала тогда против вас. Вы в Сталинграде сломали хребет фашизму. Мы благодарим вас за это.

Я не ручаюсь за точность слов, но смысл их передаю точно. И сказаны они были от чистого сердца. И они дошли до моего сердца, до сердца каждого из нас.

В Сиене я встретился с писателем Карло Монтеллой. Он живет в Пизе, но, узнав, что мы будем в Сиене, приехал туда на своей машине. Я познакомился с ним еще в 1959 году в Ялте. Прилетел он туда на несколько дней из Москвы, со съезда писателей, вместе с известным гаитянским писателем и общественным деятелем Жаком Стефеном Алексисом, замученным сейчас у себя на родине. Рядом с Алексисом, веселым, оживленным, общительным, Монтелла показался мне угрюмым и замкнутым. Вокруг Алексиса всегда были люди, всегда все кипело, Монтелла же предпочитал в одиночестве бродить по дорожкам парка. Потом, когда я прочитал его рассказы (несколько из них напечатаны были у нас в журналах), я понял, что он отнюдь не угрюмый, а, наоборот, полный юмора и иронии человек. К тому же очень честный, искренний и правдивый.

Из Сиены в Сан-Джиминиано я ехал в его машине. По пути мы не очень много разговарили. Причин этому было три: мое слабое знание французского языка, изумительной красоты дорога и киноаппарат, которым я мучительно пытался запечатлеть эти красоты. И вот недавно один мой друг получил от него письмо. В нем были такие строки: «Я прошу извиниться перед Некрасовым за то, что был так молчалив по дороге из Сиены в Сан-Джиминиано. За рулем я вообще никогда не разговариваю, но, наверное, не говорил бы с ним, даже если бы не вел машину. У меня нет потребности разговаривать с ним, потому что, я чувствую, у него нет потребности разговаривать со мной — в этом он похож на меня, и в этом мы друг друга понимаем. Тем не менее я хотел бы видеть его своим гостем и предоставил бы ему полную свободу. Скажи ему об этом».

Первые строки меня огорчили, последние несколько успокоили. Потребность разговаривать? Это сложная штука. Пожалуй, высшая форма дружбы — это когда совместное молчание не тяготит. Молчание с Монтеллой меня не тяготило (хотя я и не имею еще права приписывать это дружбе), так же как и не безразличен, а, наоборот, интересен был разговор с ним. Интересен еще

и потому, что Монтелла для меня один из серьезнейших и требовательнейших критиков моего творчества.

«Кира Георгиевна» ему не понравилась. «Первое знакомство» тоже не очень. Он мне это прямо сказал. Должен тут же заметить, что очень трудно что-либо слушать, даже если речь идет о твоем произведении, когда идешь по улицам Сиены. Тут как-то не до разговоров. Возможно, именно поэтому я не очень активно защищался. Но многое из того, что высказал Монтелла, верно.

— Вы знаете,— сказал он,— я что-то не очень верю достоверности двух ваших вставных новелл в «Первом знакомстве». О влюбчивом берсальере и старом гондольере с отмороженными ушами. Уж не сочинили ли вы их, а?

Я молча улыбнулся.

Вообще в Италии достаточно критически отнеслись к «Первому знакомству». Доброжелательно, дружелюбно, но критически. Вышла книга там под названием «Sovietico in Italia» («Советский человек в Италии»), что конечно, недостаточно точно передает интонацию русского названия. Прессу имела она немалую — около пятидесяти статей. Основной их тон был таков: «Все очень интересно, и написано легко, и многое точно подмечено, но хотелось бы расширить и разнообразить круг проблем».

Хотелось бы! Ох, как хотелось бы. И хочется. Ведь Италия — страна очень активной, бурной политической жизни. Страна контрастов и противоречий — страна высокой культуры и большого еще процента неграмотных, страна сильнейшей в буржуазном мире компартии и крохотного, но могущественного Ватикана, страна забастовок и американских ракетных баз, страна «Сладкой жизни» и «Рокко и его братьев».

Но для того, чтобы во всем этом разобраться, вникнуть поглубже, надо быть не клиентом туристской компании «Гранди-Виаджи» («За пятнадцать дней — красивейшие, знаменитейшие места Италии!») и не членом делегации — надо настолько сдружиться с Уффици и Ватиканским музеем, чтобы они не обижались, когда ты к ним уже не заходишь, и жить надо не в отеле «Виктория» на виа Венето и даже не во второразрядном «Имперо», а в простой рабочей семье — ну, хотя бы у того же Джерми-машиниста, как ни сложна там семейная обстановка,— и не неделю, и не две... а чуть по-

дольше, и по вечерам сидеть за столом и беседовать. Впрочем, для этого нужно знать язык. И тут я умолкаю.

Я написал: «беседовать», но, если говорить начистоту, применительно к большинству итальянцев слово «беседа» мало подходит. Почти всегда она если не начинается, то кончается спором. Иногда очень даже горячим, с повышением голоса и взаимными обвинениями.

Вот я и подошел к тому, что в самом начале назвал наиболее интересным,— к спорам, к дискуссиям, к тому, что итальянцы особенно любят и в чем они безусловно мастера.

Мне пришлось столкнуться с тремя видами таких дискуссий: а) с недоброжелателями, стремящимися задать каверзный вопрос, поставить тебя в тупик; б) с людьми не нашего лагеря, но ищущими общего языка, и в) с друзьями, в основном коммунистами. С последними спорить, пожалуй, труднее всего.

В последний день нашего пребывания в Риме мне и поэту Вознесенскому пришлось выступать на вечере, организованном обществом «Италия — СССР». Народу было много, зал маленький, накурено, жарко. Выступать было трудно, особенно к концу очень напряженного, заполненного всякими делами дня. После доклада и наших выступлений начались вопросы. И тут вдруг стало легко и весело. Вероятнее всего, потому, что наиболее активными были корреспондент журнала «Темпо» и студент-американец, в свое время работавший гидом у нас на американской выставке в Москве. У обоих у них была одна цель — поставить нас в тупик. На следующий день, уже в самолете, мы не без удовольствия прочитали отчет об этом вечере в правительственной «Мессаджеро»: «Советские писатели поразили всех артистизмом, юмором и меткостью своих ответов, подобных ударам рапиры». До сих пор не могу понять, почему отнюдь не симпатизирующая нам газета решила нам польстить — никакого особого артистизма не требовалось, чтоб отвечать на вопросы, подобные: «Правда ли, что Евтушенко после какого-то выступления Хрущева исключили из комсомола?» Или: «Почему в Советский Союз не допускается ни одна иностранная книга?» Впрочем, возможно, под артистизмом подразумевалась быстрота ответов и не обязательная глубокомысленная многозначительность их. Юмор — лучшее оружие про-

тив недоброжелателей; мы с Вознесенским пытались об этом не забывать.

Сложнее было, пожалуй, за «круглым столом» в Палаццо Мариньоли. Это была встреча советских и итальянских писателей, вылившаяся в основном в обсуждение проблемы «завербованности» современных писателей. У нас слово «завербованность» звучит несколько иначе и более грубо, чем французское «engagé», но смысл ясен: примыкает ли тот или иной писатель к тому или иному лагерю, какую идею он воплощает, какими путями и в какой именно форме. Интерес дискуссия вызвала громадный, зал был набит до отказа, все проходы были забиты, люди не сидели, а стояли в задних рядах даже на стульях.

На улице, у входа в зал, какие-то молодые люди разбрасывали профашистские листовки: «Моравиа, Леви, Пазолини — не встречайтесь с русскими!» Но встреча произошла.

По итальянскому обычаю, никакой специальной подготовки не было. Председательствующий Алатри (генеральный секретарь общества «Италия — СССР») давал слово по своему выбору, и каждый говорил что хотел.

На мой взгляд, дискуссия — по началу своему — носила излишне академический, теоретический и, я бы сказал, даже абстрактный характер. Мне кажется, она была бы интереснее и плодотворнее, если бы опиралась на какие-то конкретные примеры — книги, фильмы, статьи, если бы выступающие поменьше оперировали общими понятиями. В своем небольшом выступлении я об этом говорил, сказав, между прочим, что мне гораздо легче было бы выступать, если б я посмотрел, допустим, нашумевший сейчас в Италии, да и во всей Европе фильм Пазолини «Аккатоне». Дело не в том, что я мог бы потом высказать свои претензии автору или, наоборот, поблагодарить его (с великим наслаждением посмотрев позднее этот фильм, я смог осуществить второе), а в том, что мы почти не знаем итальянской критики, так же как итальянцы нашей (в меньшей, правда, степени). Не знаем, что друг о друге пишем. Вот и поговорили бы, поспорили. Мне кажется, что «Аккатоне» как раз и есть тот фильм, на котором можно скрестить оружие в спорах о путях и направлениях современной кинематографии, да и искусства вообще. Если б к тому же мы смогли привезти с со-

бой новый советский фильм А. Тарковского «Иваново детство» (появись мы на десять дней позже, мы могли бы взять его с собой, он был бы совсем уже готов), дискуссия затянулась бы дня на два, а то и на три.

Принимать участие в дискуссии, в которой между тобой, твоими оппонентами и зрителем находится пусть даже самый превосходный, как было у нас, например, переводчик, очень трудно. Об этом, кстати, говорил Пазолини, посетовавший на то, что латынь — язык гуманизма, как он сказал,— дважды сыграла с ним в этой дискуссии злую шутку. Но о Пазолини позже. До него (а он говорил дважды) выступали Пьовене, Моравиа, Леви, Сурков, Панова, Твардовский (кстати, тоже дважды выступавший и именно в связи со вторым выступлением Пазолини).

Итак, речь за «круглым столом» шла о «завербованности», о долге писателя. Итальянцы больше говорили о долге и «долгах» нашей литературы, нежели своей. Твардовский вежливо обратил внимание на некоторую, что ли, неделикатность такого подхода («Мы очень признательны нашим итальянским коллегам за то, что они так хорошо ориентируются во всем, что касается нашего развития, но я не решился бы поступить так же в отношении итальянского искусства и литературы»).

— Нас с собой не равняйте, на вас все смотрят, с вас и спрос,— слышали мы не раз.

Вот так вокруг нас все и вертелось.

Наиболее интересным было, на мой взгляд, выступление Пазолини. Оно было конкретнее других и, я бы сказал, пожалуй, резче.

Пьер Паоло Пазолини занимает сейчас в итальянской литературе одно из первых мест. Мы его стихов и романов, к сожалению, почти не знаем, он очень труден в переводе. Герои его говорят даже не на диалекте, а на полублатном жаргоне римских окраин, который и не всякий-то коренной римлянин поймет. Фильм «Аккатоне» — первая работа писателя в кинематографе, в этой картине он не только сценарист, но и режиссер. Фильм превосходный, но о нем отдельно.

О чем же говорил Пазолини?

Небольшого роста, черноглазый и черноволосый, с простым серьезным лицом то ли рабочего, то ли крестьянина, в недавнем прошлом профессиональный футболист, сейчас знаменитый писатель, он встал и негром-

ким голосом начал говорить. Говорил он о своих претензиях к советской литературе. На его взгляд, она излишне наивна и сентиментальна (итальянцы, сами по себе народ сентиментальный, в искусстве не переносят сентиментальности ни в каком виде). Он ссылался на «Звездный билет» Аксенова, на стихи Евтушенко, на «Балладу о солдате».

— Деятели советской культуры,— сказал он,— в сложный для них период стремятся перескочить — и они поступают правильно — через то, что для нас является опытом декаданса. Но, перескакивая через этот опыт декаданса, они находят, в некотором смысле, то, что ему предшествовало: романтизм, понимаемый как невинность, чистота. Этот романтический, сладостный, добродушный, пропитанный юмором и в лучшем случае классический наивный и чистый воздух теперь не может полностью удовлетворить нас. Положение, сложившееся в Советском Союзе и отразившееся на положении у нас, потому что мы тесно связаны друг с другом, требует чего-то совсем иного. Технический прогресс в России вместе с пробудившимся чувством удивительного оптимизма ставит столь же серьезные проблемы перед всем человечеством: ракета, посланная на Луну, помимо того, что она является источником огромной гордости для Советского Союза, в то же время заставляет по-новому, я бы сказал, со всех сторон взглянуть на страдания, невежество, нищету земного шара. Так что положение действительно нелегкое. Мы ждем от советских писателей создания поистине трагического произведения, горького, даже жестокого, если необходимо, произведения, в котором было бы высказано все это.

Я привел столь пространную цитату из выступления Пазолини, поскольку именно оно разбило академичность дискуссии, именно вокруг него начались споры. Мы не соглашались, что наша литература наивна, что она избегает трагического (в связи с этим упоминали «Разгром» Фадеева, «Звезду» Казакевича, «Тихий Дон»). Пазолини в своем ответе стремился внести ясность, ссылаясь на ту самую латынь, которая сыграла с ним злую шутку: он, мол, употребил слово «наивный» в том смысле, в каком им пользуются филологи — «ingenuo» — «естественный», а отнюдь не в смысле «невинный, ребячливый», и, говоря, что искусство Чухрая — наивное искусство, он хотел сделать Чухраю только комплимент.

Некоторая путаница произошла и вокруг итальянского слова «tragico», которое одновременно означает и «трагическое» и «трагедийное», а это понятия отнюдь не одинаковые.

Чего же хочет от нашей литературы Пазолини? Трагедии как жанра?

На первый взгляд можно подумать, что именно этого. Талант Пазолини беспощаден, философия его произведений — философия безысходности. Но, оказывается, нет, не этого он от нас ждет (хотя и этого, очевидно, тоже) — в своем втором выступлении он прямо об этом сказал, вспомнив о второй злой шутке, разыгранной с ним латынью.

— Говоря «трагедия», «трагическое», я не имел в виду трагедию как литературный жанр: самые большие трагедии те, что смешат. Я говорил о трагедии, которая ни в какой мере не обманывала бы нашу жажду знать все.

На это пожелание или требование Пазолини ответил Твардовский, сказавший, что он всегда испытывает «чувство неловкости и страха, когда присутствующие на той или иной дискуссии пытаются разрешить проблемы, которые очень трудно разрешить даже в самом дружеском интимном разговоре, даже одному, за рабочим столом, когда напрягаешь разум в процессе творчества».

Это верно — есть еще о чем подумать наедине с самим собой...

Мне очень жаль, дорогой Пазолини, что в тот вечер, вернее, ночь, когда после просмотра вашего фильма вы повели нас ужинать в небольшой ресторан, мы с вами так и не поговорили о самом главном и для меня и для вас. Возможно, для этого серьезного разговора было слишком много людей, а может быть, мы просто устали и не хотели уже спорить, но, я знаю, разговор этот — нелегкий разговор — произойдет, не может не произойти. Хотелось бы только, чтоб до того, как он состоится, вы и друзья ваши (надеюсь, что они и наши) знали: все, что вы называете и считаете трагическим, мы помним очень и очень хорошо. Но говорить, тем более писать об этом, уверяю вас, не так-то просто. Миновать трагические события нашей жизни советская литература, при всем ее стремлении к жизнеутверждающему (а может быть, именно в силу этого), просто не может. Не может, потому что, как сказал Твар-

довский в заключение своей речи, «в искусстве, в литературе, как и в любви, можно лгать лишь до поры — раньше или позже настанет время сказать всю правду». Мне очень хотелось бы, дорогой Пазолини, чтобы вы это поняли до нашей встречи, а после нее, если она состоится, чтобы вы не говорили, как сказали за «круглым столом»: с русскими можно говорить, но нельзя спорить. Кстати, может быть, именно из-за этой вашей позиции, сидя ночью в ресторане после просмотра «Аккатоне», мы говорили о чем угодно, только не о главном.

В первый же вечер в Риме, сразу же после «круглого стола», меня увлекла за собой группа молодых журналистов. «Для начала пойдем в латторию,— было сказано,— а потом увидим». В траттории сдвинули столы, и тут же появились графины с красным и белым римским вином, без которого в Италии не обходится ни одна встреча (впрочем, итальянцы утверждают, что в России ни одна встреча не обходится без водки, что, на их взгляд, гораздо труднее).

В компании нашей я знал только двоих, остальных я видел впервые. Среди них был некто Серджо, молодой коммунист лет тридцати с чем-то, журналист, непримиримый, злой, с которым, начиная с этого вечера и до дня моего отъезда, у меня происходили наиболее ожесточенные схватки.

Знакомство наше началось с его заявления, что ему не понравилось мое выступление за «круглым столом». Почему? Недостаточно смелое. Это был первый удар. Затем он сказал, что «Кира Георгиевна» ему тоже не нравится. Второй удар. Дальше удары стали сыпаться один за другим. Острый, неуступчивый, может быть, излишне желчный, с горящими черными глазами, то веселыми, то злыми (чаще злыми), Серджо мне очень понравился. Спорили мы с ним по поводу всего — литературы, искусства, журналистики, образа жизни, социальных систем, методов построения коммунизма, избирательных систем, различных течений в кинематографии — одним словом, по поводу всего, к чему бы мы ни прикасались. Споры эти доходили иногда до такого накала, что однажды в милой компании довели одну из присутствовавших девушек до слез. «Ну что вы все ссоритесь, ссоритесь, ссоритесь? — всхлипывала она.— Разве нельзя поговорить о чем-нибудь спокойном?»

Мы с Серджо выпили примирительную, попытались заговорить о спокойном, но минут через двадцать опять сцепились. Одним словом, беседы с ним проходили, как говорится, в духе прямоты и откровенности. И, должен сказать, мне это нравилось. Мы сдружились с Серджо.

Итальянские коммунисты — во всяком случае те, с которыми я встречался (и в Италии, и у нас, в Советском Союзе),— не догматики и отнюдь не ревизионисты. Решения XX и XXII съездов для них не менее важны и существенны, чем для нас.

Они говорят так, например:

— Решения двух этих съездов абсолютно правильные. Культ личности должен был быть разоблачен, и вы сделали это со всей вам присущей смелостью. Но надо понять и нас. Мы живем в других условиях. Мы в капиталистическом мире, у него свои законы. Вы — ваше поколение во всяком случае — знаете эти законы только по книгам, а мы сталкиваемся с ними на каждом шагу, каждую минуту. Рядовой итальянец находится постоянно под воздействием двух взаимнопротивоположных идеологий. И вот итальянец — рабочий, служащий, крестьянин — должен выбирать. А для того, чтоб выбрать, должен знать, что лучше. Он читает газеты — купить он может любую: ватиканская «Осерваторе романо» стоит столько же, сколько «Унита». Одна говорит одно, другая — другое. В одной он читает, что в Советском Союзе все плохо, в другой — что все хорошо. Так, во всяком случае, мы писали до определенного времени — именно, что в с е хорошо. Потом выяснилось, что не все, далеко не все... Мы писали, что Сталин велик, мудр и непогрешим. И нам верили, очень многие верили. Теперь мы уже не пишем о его непогрешимости, и нам задают много вопросов. Поймите, миллионы людей тянутся к вам. Для них вы первая в мире страна, в которой у власти стал рабочий класс. Поэтому они хотят знать о вас все, всю правду. Что хорошо и что плохо что мешает. И вот тут-то вы не всегда нас понимаете. Мы все радуемся победам Гагарина и Титова, но рядовой итальянец, особенно побывавший у вас в Союзе (а таких сейчас все больше и больше), обязательно задает вопрос: «А почему они, запустив спутник вокруг Луны, не могут до сих пор отделаться от очередей?» — и еще десятки других вопросов. И это не праздные вопросы, это очень

существенные. И мы обязаны на них ответить. Но в первую очередь вы. А вы часто с ответом тянете, отвлекаетесь в сторону. Тем временем ответ — в основном, тенденциозный — дает враг, и к нему часто прислушиваются. И вы не учитываете этого.

Вот так говорят многие коммунисты. И тут же сами начинают задавать вопросы. Почему, почему, почему? Сто тысяч почему, от которых у меня иногда голова шла кругом.

Как-то у меня зашел разговор с одним молодым кинематографистом, побывавшим на Московском фестивале в шестьдесят первом году. Заговорив о фильме «Голый остров», получившем первую премию, он упомянул фамилии двух японских режиссеров — Мизогуши и Куросава, о которых я ничего не знал. Он несколько удивился, но когда затем узнал, что я не видел ни одной картины Бергмана и Микеланджело Антониони, он не поверил своим ушам.

— Вы не видели картин Антониони?

— Не видел.

— Но почему?

Я пожал плечами.

— Просто мы не закупили их.

— Не закупили Антониони? Но ведь это самый знаменитый сейчас режиссер. О нем спорят сейчас во всем мире. Не видеть его картин — это то же самое, что не видеть, ну... ну, хотя бы «Сладкую жизнь» Феллини.

— Но я и «Сладкую жизнь» не видел.

Он развел руками.

— Не видели?

— Не видел.

— Нет, просто вы не любите кино, не интересуетесь им. Я не могу поверить, чтоб у вас не купили «Сладкую жизнь», ведь это очень серьезный, умный, страшный, к тому же разоблачительный фильм... Не верю...

Другой итальянец спросил меня, какого я мнения о последних картинах Чарли Чаплина «Огни рампы» и «Король в Нью-Йорке». Я опять-таки вынужден был сказать, что не видел их, что их нет у нас в прокате.

— Но почему? Чаплин — величайший артист современности. Каждая его картина — событие...

Я не знал, что ответить. Я сам не понимаю, почему у нас не идет Чаплин. В версию, что его картины слишком дороги, поверить трудно.

В третий раз меня поставили в довольно затруднительное положение, спросив, почему мы не издаем тех или иных писателей. (Тут я вспомнил, как неловко мы себя чувствовали, группа советских писателей, в том числе Панова и Гранин, когда в 1956 году Альберто Моравиа, будучи в Ленинграде, спросил нас что-то о Кафке. Мы молча переглянулись и ничего не смогли ответить: тогда мы о нем даже не слыхали.)

— Я понимаю,— сказал мой собеседник, кстати, тоже коммунист,— я понимаю, что у вас есть свои взгляды на задачи литературы, есть свои издательские планы, охотно понимаю, что кто-то из писателей вам ближе, кто-то дальше, кто-то совсем чужд. Если б вы вдруг вздумали издать «Лолиту» Набокова, считающуюся сейчас в Америке бестселлером, это было бы просто нелепо. Но почему вы так медлительны с Кафкой? Почему так старательно избегали Альбера Камю? В конце концов, вы вовсе не обязаны издавать их стотысячными тиражами. Но ведь каждый из них в своем роде значителен, даже Саган, которую многие считают несерьезной. Ведь они, эти писатели, крайне типичны для своего времени, эпохи, настроения умов. Их можно не любить, критиковать, наконец отрицать, но их нельзя не знать...

У нас издается сейчас много переводов иностранной литературы. Чуть ли не со всех языков мира. И большими тиражами. И все же многие события зарубежной литературной жизни проходят мимо нас или в лучшем случае доходят до нас с большим запозданием.

К слову сказать, с переводами советской литературы в Италии сейчас во много раз благополучнее, чем было три-четыре года назад и чем в других западных странах сейчас. Если до определенного времени книги советских писателей привлекали к себе внимание главным образом, как нечто экзотическое или сенсационное, то за последние годы положение это в корне изменилось. Круг переводимых писателей сейчас очень широк и разнообразен. И не только прозаиков, но и поэтов. Я собственными глазами видал в книжных магазинах книги Тендрякова, Каверина, Вс. Иванова, Эренбурга, Кузнецова, Аксенова, Берггольц, Айтматова, пьесы Арбузова, Володина, Хмелика, Розова, стихи Евтушенко, Вознесенского, Заболоцкого, Окуджавы, Винокурова... Список этот спокойно можно продолжить, так как наиболее крупные итальянские издательства

(Мондадори, Эйнауди, Фельтринелли, Эдитори Риунити) очень внимательно следят за нашими журналами и буквально через два-три месяца после опубликования у нас заинтересовавшие их произведения выходят уже в свет... Эх, нашим бы издательствам такую оперативность!

Теперь о кино. Мы покупаем много иностранных фильмов. Мы видали первоклассные картины Росселини, Де Сика, Де Сантиса, Висконти, Феллини, Трюффо, Отан-Лара, Бардема, Карела Земана, Кавалеровича, но наряду с этим по нашим экранам победно шествуют не имеющие никакого отношения к искусству всякие «Оклахомы» и «Серенады солнечных долин». А ведь это тоже деньги, на которые можно было бы купить и «Гражданина Кэйна» — американцы считают его вершиной своего киноискусства,— или «Хиросима, любовь моя» Алена Рене, или «Мост через реку Квай» — одним словом, картины, которые являются этапами на пути развития мирового киноискусства.

Кстати, об этом пути и об Антониони, из-за которого мне пришлось краснеть. Много ли мы знаем о тех горячих спорах, которые развернулись сейчас в среде прогрессивных режиссеров и кинокритиков мира вокруг этого самого пути, пути современного кино, о двух основных направлениях, по которым оно развивается,— о «школе», как уже теперь говорят, Антониони и о «киноправде» Жана Руша? Я, например, до последнего времени ничего не знал. А это очень интересно. Западное кино переживает сейчас кризис. Знаменитый Голливуд со своими ковбойскими «вестернами» и картинами ужасов шаг за шагом теряет свои позиции. Посещаемость кино — не без участия, правда, телевидения — резко пала. В Англии за один только 1961 год закрылось триста кинотеатров. Во Франции по сравнению с 1957 годом число кинозрителей сократилось на восемьдесят миллионов человек. Почему все это происходит? Я не буду вдаваться во все детали этого довольно сложного процесса. Приведу только последние строки «Манифеста молодого американского кино». «Мы не хотим больше лживых и лакировочных фильмов,— взывают ко всем молодые американские режиссеры Рагозин, Роберт Френк, Берт Стерн, братья Сандрос и другие,— мы предпочитаем фильмы пусть грубые, но живые. Мы не хотим больше фильмов розовой водички. Нужны фильмы цвета крови!»

Фильмы цвета крови. Сказано забористо — вряд ли розовой водичке надо противопоставлять именно кровь,— но в общем ясно: надоела ложь, фальшь, нужно что-то новое, свежее, современное. И вот в поисках этого нового наметилось два пути. Один — это Антониони (сюда можно отнести Алена Рене с его «Хиросима, любовь моя», «В прошлом году в Мариенбаде»), другой — это Жан Руш и его фильм «Хроника одного лета».

«Хроника одного лета» (Рушу помогал социолог Эдгар Морэн) — это прогулка с кинокамерой и микрофоном по улицам Парижа. Авторы фильма подходят к различным людям — служащим, рабочим, студентам — и задают им один вопрос: счастливы ли они? Ни кинокамеру, ни микрофон они не скрывают — говорите что хотите, не стесняйтесь, будьте самими собой. И люди говорят. Потом их сводят друг с другом на улице, дома, в кафе, они начинают спорить о разных разностях, о своей работе, алжирской войне, Конго... Кончается картина тем (длится она нормальные полтора часа), что всех действующих лиц собирают в одном кинозале, показывают им отснятую пленку, и мы видим, как каждый на это реагирует.

Авторы фильма хотят показать, так сказать, абсолютную правду. Они не прячутся, не подглядывают, ничего не подстраивают, они застигают людей врасплох и в конце концов, побеседовав с десятком из них, выясняют, что особого счастья никто из них не испытывает. Всех мучает, всем надоела работа, никто от нее удовольствия не получает, все думают в основном о своих личных делах. Скучают даже богачи, с которыми авторы встречаются на модном курорте Сан-Тропез. Впрочем, скука на курорте — это тоже мода.

Картина вызвала много споров. Одни хвалят, другие говорят, что настоящую правду все же так и не удалось ухватить за хвост. Невыдуманные персонажи фильма не могут, мол, в силу определенных человеческих качеств держаться перед кинообъективом абсолютно естественно. Они тоже играют. Одни хотят показаться лучше или умнее, чем они есть, другие, наоборот, как бы кокетничают своей искренностью. Но, так или иначе, путь, по которому идет Жан Руш, хотя он и не очень нов — вспомним двадцатые годы и нашего Дзигу Вертова,— путь интересный, говорящий о серьезных поисках. И в поисках этих он не одинок — в Америке по этому же пути

идут режиссеры Ширли Кларк (в своей картине «Связной» она ввела на экран даже съемочный аппарат) и Лайонел Рагозин.

Я видал две картины Рагозина — «На Бауэри» и «Вернись, Африка». Обе они создали режиссеру мировую славу. Первая из них (снята она в 1956 году) — это рассказ о тридцатишестилетнем американском безработном, попавшем на Бауэри — самое страшное место в центре Нью-Йорка, где прозябают и спиваются выброшенные за борт жизни люмпены, профессиональные безработные, алкоголики. Картина документальная. Актеров в ней нет. Валяющиеся на тротуарах пьяницы, кабаки, ночлежки, проститутки, драки, потасовки — все это правда, действительность, ничего не «подстроено». Только двое в фильме играют (но и они не актеры, а самые что ни на есть заправские жители Бауэри) — молодой безработный и его друг и собутыльник старик. Сюжет очень прост: старик крадет у своего «друга» чемодан, потом продает его и часть вырученных денег отдает ему же, молодому безработному, чтоб тот мог вырваться из Нью-Йорка. Впечатление от картины потрясающее. Обличительный документ огромной силы.

«Вернись, Африка» снята три года спустя в Южно-Африканском Союзе, куда Рагозин не без осложнений пробрался, сделав вид, что хочет снять музыкальную комедию. Комедия оказалась отнюдь не веселой — это печальная история негра Захария, приехавшего на заработки в Иоганнесбург, крупнейший центр добычи алмазов. Фильм несколько затянут, в нем больше придуманного, чем в первой картине, но актеров тоже нет, и обличительная сила его ничуть не меньшая, чем в «На Бауэри».

Жан Руш, Ширли Кларк, Рагозин — это один путь, путь поисков правды методами документального кино в сочетании его с элементами художественного кинематографа. Путь, по-моему, очень интересный и нужный.

Несколько сложнее другой путь, по которому идет Антониони. Он, например, считает, что сама действительность настолько неопределенна и ускользающа, что только интуитивным путем можно ее постичь. Это его высказывание я читал в «Юманите», в статье, посвященной фильму «Затмение», за который Антониони получил специальную премию на Каннском фестивале 1962 года. Но, посмотрев недавно саму картину, я того, о чем он писал, откровенно говоря, не ощутил. Фильм абсолютно

реален и, я сказал бы даже, правдив в своей безысходности. В нем с безжалостностью большого художника вскрыта язва, разъедающая современную западную цивилизацию,— полное разобщение, отчуждение, некоммуникабельность (есть такой термин теперь на Западе) — невозможность найти путей сближения между людьми. Режиссура фильма, игра актеров превосходна (в главной роли Ален Делон, знакомый нам по фильму «Рокко и его братья», где он играет Рокко), понятна и мысль автора, но вся эта история несостоявшейся любви молодого биржевого маклера и девушки, бросившей своего богатого любовника, оставляет меня, зрителя, абсолютно холодным. Мне совершенно безразлично, чем кончится этот роман. Красивый парень, красивая девушка, и целуются они соблазнительно, а мне все это неинтересно — ну сойдутся, ну разойдутся, а мне какое дело? С куда большим интересом я разглядывал римские улицы и пытался узнать знакомые места. Одним словом, картина мне не понравилась, хотя социальное звучание безусловно значительно.

Полная противоположность «Затмению» — «Аккатоне» Пазолини, фильм, который я видал дважды и после вторичного просмотра понравившийся мне еще больше.

«Аккатоне» — слово непереводимое. У нас пытались его перевести как нищий, побирушка, подонок. На самом же деле это нищий, который хочет разбогатеть, используя для этой цели своих товарищей по несчастью. Вот о таком аккатоне, римском сутенере, и рассказывает нам фильм. Сам фильм очень длинный, очень «разговорный», и в этом его основная сложность для нас: герои говорят на римском воровском жаргоне, который почти не переводим на русский. Не буду подробно рассказывать содержания картины, да внешне оно и несложно — разными путями аккатоне хочет стать на ноги, даже пытается начать работать, но в конце концов гибнет. Снято все очень просто. Никаких павильонов, декораций — все на улице, во дворе, в кабачке, очевидно, тоже настоящем. Никакого искусственного освещения. Полное отсутствие монтажных ухищрений (кстати, увлечение монтажом на Западе считается уже анахронизмом), а главное, никаких актеров. Герои играют самих себя. И как играют! А герои — нищие, сутенеры, проститутки. Только сам аккатоне играет не совсем себя, в жизни он — зовут его Франко Читти — маляр.

Ко всему этому, как я уже говорил, Пазолини тоже не профессионал — это его первая картина.

Каково же ощущение после просмотра? Ощущение будто бы два часа прожил с этими людьми. Эффект присутствия — твоего присутствия на экране — поразительный. Тут, конечно, много от неореализма, но в чем-то есть новое — в очень длинных сценах, в неподвижности кинокамеры, в том же отсутствии монтажа. Но дело не в приемах — в картину влезаешь с потрохами, забываешь, что перед тобой экран. Для меня как для зрителя это очень важно — я верю режиссеру, верю артистам, а значит, и тому, что они мне показывают.

Почему же я затрудняюсь отнести «Аккатоне» к разряду картин неореалистических? Ведь в те тоже влезаешь с потрохами, веришь актеру, режиссеру. И почему вообще пошел разговор, что неореализм изжил себя?

Думаю, что дело тут не в «изжитии», а в том, что неореализм как явление все-таки национальное, чисто итальянское (влияние его на мировую кинематографию огромно, но в чистом виде он ни в какой стране не повторился), так вот, стиль этот в силу определенных причин как бы переродился, сконцентрировал свое внимание на другом, более узком. Неореализм родился сразу после войны, в разрушенной, полуголодной, нищей Италии. И этой Италии, ее людям, трудностям их повседневной жизни, благородству характеров этих людей - обыкновенных римлян, миланцев, неополитанцев, крестьян, рабочих, мелких служащих,— их умению помочь друг другу в тяжелую минуту и посвящены были картины, которые мы так полюбили. Сейчас Италия уже не та, по сравнению с послевоенными годами экономически она окрепла (почему — это отдельный разговор), и на многом уже видна печать внешнего благополучия. Возможно, в силу именно этого (итальянцы в искусстве как огня боятся всякого вида благополучия) взгляд художника обратился в сторону деклассированных, не нашедших своего места в жизни людей («Ночи Кабирии», «Аккатоне», «Рокко и его братья») или, наоборот,— к разложившемуся, с жиру бесящемуся миру «Сладкой жизни». Возможно, это обращение и закономерно, но круг охвата, как будто расширившись, явно сузился. Внешне то же самое — достоверность, правдивость, точность, по сути же нечто уже другое, более частное.

Несколько особняком стоит все тот же Антониони. Его последняя картина «Красная пустыня», получившая первую премию на Венецианском фестивале 1964 года,— очень печальная, безысходная — посвящена все той же теме человеческого разобщения. Здесь уже, так сказать, третий мир — мир больного человека, психически не совсем нормальной женщины, которая с особой остротой ощущает свое одиночество в жизни. Картина сделана с большим изыском — впервые я увидел, например, на экране цвет, как неотъемлемую часть общей композиции, но в целом и здесь, как в «Затмении», я все время чувствовал себя зрителем, ни разу не окунувшись в жизнь и события, разворачивавшиеся на экране.

Итак, неореализм изжил себя. Так, во всяком случае, считают на Западе. На смену ему пришло нечто новое. Появились даже новые термины — неотрадиционализм (Пазолини), неоэкспериментализм (Антониони). Я еще не успел в этом разобраться. Могу сказать только одно: «Аккатоне» — умный, серьезный, трагичный (что поделаешь — Пазолини!) и очень талантливый фильм. В нем много грязи — в буквальном и переносном смысле,— но сам фильм чист. Человек оступается, падает, подымается, ищет выхода в работе, в любви, не находит его и погибает, убегая от полицейских. Умирая на пыльной мостовой, аккатоне говорит: «Вот теперь мне хорошо...» Фильм тяжелый, безысходный, местами страшный, но сколько в нем правды!

В тот же день, когда я смотрел «Аккатоне» (вторично уже в Москве), я видел другой фильм — «Жестокая жизнь» («Avia violente»), сделанный по роману Пазолини, но снятый не им. В нем играют тот же Франко Читти и еще несколько актеров из «Аккатоне», играют превосходно, но в целом фильм оставляет чувство неудовлетворенности. Сравнение этих двух фильмов еще раз убедило меня, что экранизация — это все же паллиатив и, больше того, что соединение в одном лице сценариста и режиссера дает блестящие результаты.

Несколько слов о дальнейшем кинопути Пазолини. На Венецианском фестивале 1962 года он показал свою вторую картину — «Мама Рома» с Анной Маньяни в главной роли. Люди, видавшие ее, говорят, что это превосходный, очень сильный фильм. Премии он не получил («Аккатоне», обошедший все экраны Европы, получил премию в Карловых Варах). Определенные круги в Италии — церковь, полиция, крупная буржуазия — чинят

Пазолини всяческие препятствия. Его не любят. Он «не то» снимает. На него подают в суд, как только могут, мешают его работе. Дошло до того, что чуть ли не были сорваны съемки «Мамы Ромы», которая наполовину была уже снята. В главной роли снимался знакомый нам уже Франко Читти. Как-то в нетрезвом виде он вступил в пререкание с полицией, закончившееся небольшой потасовкой и годом тюрьмы для Франко Читти. Не будь он артистом Пазолини, мера пресечения не превысила бы десяти дней. Пазолини пришлось взять другого артиста и начать съемки сначала. А Читти попал в тюрьму. Я видал его фотографию в наручниках.

Незадолго до того, как я посмотрел «Аккатоне», буквально за день до нашего отъезда в Италию, я видел картину молодого советского режиссера Андрея Тарковского «Иваново детство». Странное дело (мне об этом уже приходилось писать), картина Тарковского сделана в ключе, который никак не близок мне. Более того, во многом мне она как зрителю и как человеку, работавшему в кино, противопоказана. Если в «Аккатоне» я не замечал экрана, здесь я его все время вижу, ощущаю. В «Ивановом детстве» много придуманного, сделанного, много режиссерских и операторских «штучек» — изысканных ракурсов, красивого освещения, неожиданных поворотов, наездов, каких-то особенных крупных планов. Картина сделана не просто — в ней есть и настоящее, и прошлое, и воспоминания, и сны (в «Аккатоне», кстати, тоже), и целые куски несуществовавшей действительности (что могло бы быть, если бы не было так, как было) — одним словом, имей я желание разругать картину, я сказал бы: «Накручено дай Бог чего».

И вот, несмотря на все это, картина Тарковского и оператора Юсова, на мой взгляд, картина значительная. В чем же ее значительность и почему с такой радостью я об этом говорю, хотя по приему своему «Иваново детство» скорее ближе к Довженко, чем к милому моему сердцу неореализму? Все дело в том, что в основу фильма положена правда человеческих отношений. А это главное. И правда эта рассказана нам умным, талантливым художником. Пусть художником, избегающим простоты, художником, все время как бы говорящим нам: «Смотрите, как я это сделал», но художником, верящим

в тех людей, которых он нам показывает. Поэтому и я им верю.

Почему я так много говорю о кино? Не только потому, что люблю его и даже немного занимался им. Но и потому, что это действительно самый массовый, самый интернациональный, самый доходчивый вид искусства, некое эсперанто, как назвал его Пазолини. Кстати, конгресс, на который мы ездили, был посвящен именно наиболее массовым видам воздействия на людей — кинематографии и телевидению. Но на конгрессе мне не пришлось выступить, вот я и пытаюсь как-то компенсировать это.

В Риме, в небольшой аудитории общества «Италия — СССР», я демонстрировал фильм режиссера Р. Нахмановича, производства Украинской студии кинохроники, под названием «Неизвестному солдату...». Это фильм, построенный на старых кинодокументах периода Отечественной войны и кадрах, снятых уже теперь, в наши дни. Он посвящен судьбам людей, которые воевали на фронте, работали в подполье, томились в фашистских концлагерях, тем, кто победил, и тем, кто, как сказано в заключительных кадрах, «отдал свою жизнь за то, чтоб продолжалась наша». Фильм документальный от начала до конца, в нем ничего не придумано.

И вот, сидя в зале, я с трепетом следил за тем, как реагирует на него итальянский зритель. А демонстрировать и воспринимать фильм было нелегко — мне приходилось переводить его переводчику тут же, в зале, с украинского языка на русский, а ему уже с русского на итальянский. И все же фильм дошел. Многие, я видел, плакали.

Плачут, я знаю, и на душещипательных мелодрамах, но слезы, вызванные документальным кино,— другие слезы. Когда видишь заснятый немецкими операторами горящий Киев, взмывающий в воздух Крещатик или вереницу узников Штутгофа за решеткой, а потом тех же узников (пусть не тех, других), пишущих протест по поводу освобождения начальника концлагеря Хоппе из тюрьмы, когда слышишь голос взрослого Виктора Бажанова (а до этого мы видели его десятилетним мальчишкой, убежавшим на фронт и подносящим патроны своему старшему товарищу Чернобаю), когда слышишь, как он, сейчас инструктор физкультуры, обращается к нам с призывом помочь ему разыскать этого самого Чернобая, когда все это видишь и вспоминаешь прош-

лое — трудно усидеть спокойно. Даже мне, автору сценария этого фильма.

Есть такое искусство — «кинопублицистика». Это не легкое дело. Да, куда легче снимать срепетированные сцены со свеженагражденными лауреатами, которые, старательно причесавшись и повязав галстук, садятся за большие письменные столы, желательно на фоне книжных полок, произносят заранее выученные слова. А что, если выйти на улицу с портативной кинокамерой и магнитофоном и повторить в Москве, в Киеве, в Братске, в любом советском городе то, что сделал в Париже Жан Руш? Почему не попробовать?

Как далеко я отошел от того, с чего начал. А начал со споров. Вот так у нас они и шли. Начинали со сравнения образа жизни у нас и в Италии, а кончали системой Станиславского — жива она или мертва. Начинали на улице, а кончали в какой-нибудь маленькой траттории в районе Трастевере.

Траттория... Рискуя навлечь на себя все громы и молнии, не могу не воспеть тебя, милая итальянская траттория, без которой Италия немыслима, как без апельсинов, памятников Гарибальди и белых треугольных пепельниц на твоих столах, обязательных пепельниц с надписью «cinzano» или «martini». Боюсь, если бы по каким-либо причинам все траттории, остерии и бары в Италии были б закрыты, итальянец взбунтовался бы. Произойди это страшное событие, куда б ему, бедняжке, забежать, узнать последние новости, выпить стаканчик вина, сыграть в домино, встретиться с каким-нибудь Карло или Альберто, который ему до зарезу нужен, или с хорошенькой Лючией. Или просто так посидеть в углу и подумать о том, о чем не удается подумать дома?

Траттория не ресторан, она подобие клуба, место встречи, место, где тебя всегда приветливо примут, быстро обслужат — виноват, это не то слово: когда ты заходишь в тратторию, ощущение такое, что ты попал к своему лучшему другу и самое большое удовольствие для него — это хорошо угостить тебя. Ах, если б так было в нашей киевской «Абхазии»! Зайдешь — и вдруг не пахнет кухней, каким-то прогорклым маслом, и не смотрят на тебя волком, и не говорят: «Подождите, не умрете, я одна, а вас много», и скатерти все чистые, и официантки не ругаются между собой из-за вилок, и

нет плюшевых занавесок с бомбошками и злого, надутого швейцара... Ах, как было бы хорошо. А что, если б в порядке, так сказать, культурного обмена, углубления контактов предложить нашей киевской «Абхазии» завязать дружбу, соревнование, ну, допустим, с флорентийской «Бука-Лапи»? Обе они небольшие, обе в подвалах, только «Бука-Лапи» чуть постарше, ей пошел уже девятый десяток. Мы там как-то были целой компанией. Попадаешь туда через кухню, что-то жарится, шкварится, но ни дыма, ни чада. Входишь в зал со сводами, и весь он сверху донизу заклеен плакатами каких-то туристских и мореходных компаний. Больше ничего, одни плакаты. Итальянские, французские, немецкие, испанские, американские, аргентинские, мексиканские... Только русских нет. «Может, вы нам пришлете, когда вернетесь домой? Мы повесим его тут, над этим столиком, где вы сейчас сидите...» Вместо плакатов наши поэты написали несколько шутливых строк на открытках, и хозяин тут же пристроил их на стене. «Вот и от русских память будет». Взамен мы получили каждый по пепельнице, на память об уютных минутах, проведенных в этом симпатичном, приветливом подвальчике... Ох, боюсь, ничего не получится из этой дружбы-соревнования, а мне, попадись эти заметки директору «Абхазии», никогда уже там не бывать [1].

Я как-то в шутку спросил Серджо:

— Скажи мне, когда на всем земном шаре восторжествует коммунизм, что вы сделаете с тратториями? Национализируете, обобществите?

— Ну нет,— сказал он,— с этим мы торопиться не будем...

Я чувствую, что эта небольшая «ода траттории» вызовет кое у кого совершенно противоположную реакцию. «Ну вот,— скажут,— тратторий ему, видите ли, у нас не хватает. Великое дело. И, между прочим, Италия знаменита не только ими. И не только музеями. Это страна борющегося рабочего класса, страна массовых забастовок, непрекращающейся безработицы, нелегкой жизни крестьян. Почему об этом пока ни слова?»

Эти будущие, ожидаемые мною претензии напоминают мне высказывания одного не очень умного нашего

---

[1] О, время, время... Никому уже не побывать в «Абхазии». Ее закрыли, вскоре после того как эти строки были написаны. «Бука-Лапи» придется искать другого соперника.

журналиста, с которым я ездил по Америке. на третий или четвертый день он начал жаловаться:

— Когда же нам, наконец, покажут трущобы? А то и писать-то не о чем — все гладко, чисто, удобно...

Что-то не очень хочется уподобляться ему. Видели мы и трущобы, и страшные чикагские улицы без света, с гремящими над головами по эстакадам поездами, видели и классических безработных на Бауэри в Нью-Йорке, видели и нечто похуже — мы не были на Юге, но смотрели по телевизору, как негритянские школьники идут в школу под охраной полиции, чтоб их не растерзала озверевшая толпа. Все это мы видели, и все это есть. Но если ты едешь в чужую страну выискивать только это, стоит ли ездить? Мне почему-то всегда стыдно, когда радуются чужой беде. Когда я вижу трущобы, мне жаль людей, которые в них живут, и я ничуть не рад, что эти страшные дома и бараки еще существуют, хотя это и чуждый мне капиталистический мир. Тот же журналист, о котором я уже писал, сказал мне как-то:

— Что за черт, ты видел, в нашей гостинице живут негры? Даже в ресторане сегодня парочка сидела.

Мне казалось, ему даже обидно, что этих двух негров не выдворили с треском из ресторана — вот бы матерьяльчик для статейки! А на Юге действительно выдворяют, и это нисколько меня не радует.

Но ладно, Америка будет еще впереди, вернемся к Италии, к ее жизни, к тому, о чем в траттории говорят не меньше, чем о футбольных матчах и последнем процессе сицилийских монахов.

Борьба рабочего класса, забастовки... Я, правда, не видел, как народ выходит на улицы (видел только весьма жиденькую профашистскую демонстрацию — десятка три молодых людей в машинах и на мотоциклах с развевающимися знаменами и лозунгами «Фанфани + Ненни = Тольятти»), но года полтора тому назад в Москве один из руководителей Итальянской компартии, Марио Аликата, рассказывал о событиях в Генуе в 1960 году. Профашистские элементы постарались организовать в этом большом портовом городе нечто вроде своего съезда. Народ не допустил этого, вышел на улицы, в основном молодежь. Произошли схватки, поднялась стрельба, вмешалась полиция. У нас в газетах об этом не очень подробно писали. Италия же только о том и говорила. Любопытно, что активность в схватках с неофашистами проявила и молодежь «стиляжного», «бит-

никовского» толка, даже подобная героям Пазолини. «Эти ребята,— рассказывал Аликата,— дрались великолепно. Но пока что поддерживают они нас только в моменты обострения классовой борьбы. Вопрос сложный, очень даже сложный. Переманить их окончательно на нашу сторону не так-то и просто. Они сами по себе. Они не хотят, чтобы ими руководили, но фашизм ненавидят и готовы с ним бороться насмерть. И нам, коммунистам, серьезно надо подумать, как использовать, как направить в настоящее русло эту бьющую через край энергию».

К сожалению, за все время, что мы были в Италии, нам удалось посетить только ткацкую фабрику в городе Прато, недалеко от Флоренции. По сравнению с предприятиями Оливетти, которые я видел в прошлый свой приезд, эта фабрика с точки зрения организации технического процесса не очень интересна. Мы выслушали не слишком утомительные объяснения одного из директоров фабрики, задали положенное количество вопросов, выпили по рюмке вермута, обошли цехи, перекинулись несколькими словами с рабочими, даже снялись с ними, а потом отправились, как всегда, в мэрию выпить очередную рюмку и посмотреть великолепные картины Филиппино Липпи, барельефы Донателло и майолики Андреа делла Роббиа.

Но не на всех заводах и фабриках так мирно. В тот самый день, когда мы были на ткацкой фабрике в Прато, в Риме шли переговоры между представителями ВИКТ (Всеобщей Итальянской Конфедерации Труда) и вновь сформированным правительством о прекращении забастовки на туринском заводе «Мишлен», одном из крупнейших в Италии предприятий по выпуску автомобильных покрышек. Завод бастовал с января. Предприниматели попытались объявить локаут. Но ничего не помогло, даже штрейкбрехеры. К концу второго месяца предприниматели сдались. Рабочие, не получившие за эти два месяца ни одной лиры, победили. Без преувеличения можно сказать: им помогал весь город. Был организован комитет солидарности. Деньги собирали на стадионах, рынках, просто на улице. Даже крупнейший в городе театр передал сбор от нескольких спектаклей в фонд помощи бастующим.

Все это говорит об очень многом. И случаи эти вовсе не единичны: забастовки рабочих, служащих, железнодорожников, почтовых служащих, на юге батраков —

явление повсеместное. И, как правило, победа остается не за предпринимателями. Италия — страна очень активной политической борьбы, страна, где с рабочим классом, с коммунистической партией (сейчас уже почти двухмиллионной) нельзя не считаться.

Уровень жизни в Италии последнее время заметно повысился — зарплата рабочего увеличилась, уменьшилось количество безработных, развернулось в больших масштабах жилищное строительство, продукция итальянской промышленности все больше и больше выходит на мировой рынок.

Явление это характерно не только для Италии. Подобный подъем испытывает сейчас и ФРГ и особенно Япония, то есть страны, потерпевшие поражение в последней войне. В силу чего это происходит?

Причин много. Вот основные. Во-первых, последствие войны — почти полностью обновилось промышленное оборудование страны. Весьма сложный в мирных условиях процесс замены старого оборудования новым произошел, так сказать, не от хорошей жизни — большая часть фабрик и заводов в стране была разрушена. Второе — побежденные страны, лишившись колоний и прежних рынков, вынуждены развивать прежде всего такие экспортные отрасли, которые могли бы обеспечить успех на мировом рынке. И, наконец, третье — в течение ряда лет эти страны были фактически избавлены от бремени собственных военных расходов, так как вооружение поставляло им США. В Японии, например, доля национального дохода, шедшая на военные цели, в пятидесятые годы составляла 1,6—2,2 процента, в то время как США в эти же годы тратили от 11 до 13,6 процента («Коммунист», 1964, № 5, статья Л. Куташова).

Следует добавить еще, что капитализм на данном своем этапе вынужден выискивать различные новые формы взаимоотношений предпринимателя с рабочим («неокапитализм», «народный капитализм», «социальное партнерство», оливеттиевский «патернализм»), но это уже требует специального исследования, которому не место в этих отнюдь не претендующих на научность очерках.

Как пойдет дело дальше? На этот вопрос я также не берусь ответить. Думаю, если речь идет об Италии, многое зависит не от того, что происходит в самой стране, а главным образом от того, что происходит за ее пределами. Мир лихорадит. И от того, что делается

сейчас у Бранденбургских ворот, на мысе Канаверал или в залах нью-йоркской биржи, во многом зависит, как сложится жизнь туринского рабочего, римского школьника и батрака из Лукании.

А сейчас мне хочется рассказать об одном молодом итальянце из города Карпи, возле Модены, с которым я встретился в Москве осенью 1961 года. И вот при каких обстоятельствах.

В Карпи есть фабрика, изготовляющая знаменитые на всю Италию шерстяные рубашки. Директор этой фабрики Бенито Гуальди — человек экспансивный, богатый и по характеру своему, я бы сказал, даже демократичный. Кроме фабрик в Карпи, как и во всех итальянских городах, есть бензиновые колонки. Одну из них обслуживает молодой и очень живой парень Данило Кремаски. Итальянцы — народ общительный и, как я уже говорил, любят поспорить о том о сем в своих тратториях. И вот как-то в одной из таких тратторий между Бенито и Данило произошел спор. Дело в том, что незадолго до этого Гуальди побывал в Советском Союзе. Туристом. Ему у нас не понравилось, и вместо положенных двух недель он пробыл ровно четыре дня и укатил то ли в Испанию, то ли в Португалию. Что же не понравилось Бенито Гуальди в Советском Союзе? Многое и весьма существенное. Во-первых: в Останкинской гостинице, в которой он жил, все часы стоят; во-вторых: мало такси, и вообще, кроме них, других машин в Москве нет; в-третьих: кассирши в магазинах считают на счетах, а не на арифмометрах; в-четвертых: московские домохозяйки в коммунальных кухнях вешают на свои кастрюли замки, ну и так далее, в том же роде...

Обо всем этом Гуальди с увлечением рассказывал в траттории, и его слушали, раскрыв рты. Данило возмутился:

— Все это ложь!

— Нет, не ложь!

— А я говорю: ложь!

— А я говорю: нет!..

— А чем ты докажешь?

— Как чем? Я ж там был...

— Но я-то не был. Как тебя проверить?

— Меня?

— Тебя. Может, ты все сочиняешь?

— Сочиняю?.. Ладно! Хочешь сам проверить?

— То есть как это?

— А вот так. Поезжай в Советский Союз, а я оплачу расходы.

— Не оплатишь...

— Оплачу!

— Всю дорогу?

— И дорогу и гостиницу. Все!

— Что ж! Тогда поеду.

И Данило поехал.

Похоже на выдумку? Похоже. Но вот поехал-таки, я сам его видел. Не помню, на сколько и на что они поспорили, но Данило должен был подтвердить или опровергнуть то, что видел Гуальди, а по приезде все честно рассказать. Провожаемый репортерами и друзьями, Данило Кремаски, страж бензоколонки из города Карпи, сел в прямой вагон Рим — Москва и укатил в неведомые края.

Пробыл он в Москве дней десять, заполненные до краев бесчисленными «мероприятиями». Театры, музеи, клубы, встречи, опять же корреспонденты. Парень он молодой, полный энергии, в Москву попал впервые, вот и крутился с утра до вечера как белка в колесе. И все записывал, записывал, записывал, целую кучу блокнотов извел. Ездил в Останкино, проверял часы (они, кажется, стояли-таки), считал на улице такси, изучал московских кассирш — одним словом, дел было по горло. И всем он был доволен — хохотал: «Приеду домой, будет что рассказать...»

В последний день у него, в номере гостиницы «Берлин», мы — я с товарищами и он со своим другом Коррадо Саки, студентом Московского университета,— на прощанье малость выпили, потом мы усадили их обоих в такси, помахали ручкой, и они уехали на вокзал.

Чем кончилась вся эта история, я не знаю. Думаю, что молчание буржуазных газет говорит о победе Данило над Гуальди. Повидать Данило мне не удалось — ни в Модене, ни в Карпи я не был, а Данило, вероятно, просто не знал о нашем приезде. Недавно, правда, пришла из Карпи цветная открытка — две строчки добрых пожеланий и две подписи: Данило Кремаски и Коррадо Саки; он тоже родом из тех мест и, вероятно, поехал на каникулы.

Забавная история — не правда ли? Чисто итальянская.

Между прочим — это уже попутно,— в один из тех осенних дней поехали мы с Данило, Коррадо и еще одним моим приятелем в Загорск, в Троице-Сергиевскую лавру. Нам показалось, что их это должно заинтересовать: все-таки интересно посмотреть, как у нас обстоят всякого рода религиозные дела, особенно им, людям из страны, где церковь так сильна. Ну и архитектура к тому же в Загорске замечательная.

Поехали. И вот оказалось, что я с моим приятелем куда более были потрясены всем увиденным, чем наши друзья-итальянцы. Очевидно, они уже привыкли у себя на родине ко всякого рода религиозным изуверствам и радениям и их ничем не удивишь. Мы же с приятелем просто не верили своим глазам.

С трудом, под перекрестным обстрелом испепеляющих взглядов протиснулись мы внутрь церкви. Низко, тесно, полумрак, своды. Потрескивают свечи. Со стен глядят на нас суровые лица святых. У раки с мощами — красивый, гладкий священник. Медленно, молча движется очередь к останкам Сергия Радонежского. Есть и мужчины, даже молодые. Все крестятся, прикладываются к мощам, нас ненавидят, презирают: «Нехристи, басурмане...»

Мы вышли во двор. В прозрачном осеннем небе над изумительной красоты куполами кружится воронье, а внизу, у белых стен собора, кликуши топчутся вокруг совсем еще молоденького, тощего, бескровного, закатывающего глаза юродивого. Зачем-то ему льют на голову воду, а он, мокрый, жалкий, поглаживает по волосам прижавшуюся к нему молодую женщину — она не сводит с него восторженного взгляда — и что-то говорит, прорицает.

— Войны не будет, нет, не будет, живите спокойненько, любите друг друга, главное — любите, а ты не смотри на меня, не отвечу, все равно не отвечу, глаз у тебя плохой, уйди, уйди, уйди, уйди. А церкви конец, последние дни доживает, молитесь, Богу молитесь, ибо надвигаются черные дни, война надвигается, побоище будет, и жизнь на земле кончится, только цветы останутся, и листья, и трава, и море, и небо, и не спрашивайте меня, все равно молчать буду, год, два, три с воскресенья сегодняшнего...

А старухи вокруг:

— Мне, мне, мне, родненький, скажи...

А «родненький» обнимает прижавшуюся к нему девицу, и они начинают вдруг тереться носами, торопливо, исступленно... Становится страшно.

Ходит по двору женщина, молодая, изможденная, тоже в черном, заламывает руки и тоже что-то говорит, говорит, говорит о конце церкви, о каком-то обмане, о неверии во что-то...

Надолго запомнится мне этот день, эти черные старухи с котомками, трясущийся юродивый, цветущие, красивые, гладкие попы. И низкий, бархатный голос дьякона. И воронье, тучи воронья в чистом небе. И лютые взгляды...

Я вспомнил этот день полгода спустя, в Италии, стоя на площади перед собором святого Петра и ожидая появления папы. Каждое воскресенье ровно в двенадцать часов он появляется в окне своей резиденции и благословляет верующих. Громадная, охваченная колоннадой площадь заполнена до краев. Когда пробило двенадцать и в окне, из которого свешивалось длинное красное покрывало, появилась маленькая белая фигурка Иоанна XXIII, многие бросились на колени. Папа произнес недлинную проповедь, разносимую по площади десятками репродукторов, и, воздев руки к небу, скрылся. Его проводили салютом автомобильных гудков.

И хотя вокруг меня множество коленопреклоненных — среди них молодые монахи и монахини всех цветов кожи и сутан — возносили молитву господу Богу, во всем этом был уже какой-то «модерн». Проводив папу, все, в том числе и монахи, заговорили о чем-то своем, житейском и, весело лавируя среди машин, шумным потоком ринулись на прямую широкую виа Кончилационе. Невольно казалось, что молебен этот является одним из номеров в туристской программе компании «Гранди-Виаджи».

Впрочем, «модерн» современной католической церкви в какой-то степени и является ее новым оружием. Формы воздействия на прихожан меняются. Даже папа и тот другим стал. Говорят, например (сужу по итальянским газетам), что ныне покойный Иоанн XXIII был очень демократичен, мог сесть за стол и даже выпить вместе со своим шофером. Папа был сторонником мирного сосуществования. После запуска «Востока-3» он устроил в своей летней резиденции Кастель-Гандольфо специальный молебен в честь Николаева. А его энциклика, обращение к верующим незадолго до смерти свидетельство большого беспокойства и тревоги о делах земных, не только небесных.

Настало, наконец, время несколько подробнее рассказать о конгрессе Европейского сообщества писателей, на который мы, собственно-то, и приехали.

Это был весьма многолюдный и представительный конгресс. Его освещали почти все газеты мира. Съехалось около четырехсот писателей всех европейских стран, кроме Албании (она не является членом сообщества) и ГДР, представителям которой помешало приехать американское командование в Берлине. В залах заседания и кулуарах можно было встретить и Халдора Лакснесса из маленькой далекой Исландии, и Джузеппе Унгаретти, избранного президентом сообщества вместо скончавшегося Джанбаттиста Анжолетти, и молодого, но уже очень известного Хуана Гойтисоло, и бодрую, несмотря на свои восемьдесят лет, всем интересующуюся Марию Майерову, и Маргэрит Дюрас — автора «Хиросима, любовь моя» и великолепного демонстрировавшегося у нас «Столь долгого отсутствия», и ныне покойного Назыма Хикмета, представлявшего на конгрессе литературу Турции, и Ярослава Ивашкевича, и Андре Шамсона, и Чезаре Дзаваттини, и многих, многих других. Овацией были встречены представители Алжира и Кубы. Ожидали приезда самого Фанфани, но смена кабинета помешала ему это сделать, и вместо него конгресс приветствовал министр Кодаччи-Пизанелли, преподнесший от имени итальянского правительства всем присутствующим «маленький подарок» в виде знаменитой виллы Петрайя, которая отныне является резиденцией сообщества.

Конгресс был посвящен роли и значению литературы в кинематографе, радио и телевидении — это была, так сказать, его «повестка дня»,— на самом же деле объединяющим началом конгресса была его ярко выраженная антифашистская направленность, его поддержка идей борьбы за мир, за развитие контактов между Западом и Востоком. В наш нелегкий век труднее всего встретиться и поговорить друг с другом. И поговорить по возможности чистосердечно, откровенно. И не только с трибуны... Прав был корреспондент газеты «Джорнале де Матина», когда он писал (впрочем, другие газеты тоже): «Я не смог бы сказать вам, где происходил подлинный конгресс — в Зале Пятисот или в прилегающих к нему залах и холлах гостиниц, на улицах Флоренции, когда стихали яростные порывы ветра. Важно, что писатели разных стран встречаются, беседуют, знакомятся друг с другом. В конце концов, работы конгресса в какой-то сте-

пени служат предлогом для этого». Да, это действительно было так.

Но вернемся к «повестке дня». На конгрессе говорили о литературе, кинематографе, телевидении, о связи между ними. Мнений было много, часто диаметрально противоположных. Писательница Маргэрит Дюрас заявила, например, что «кино не имеет ничего общего с литературой» и что «понятие времени в романе никак не совпадает с понятием времени в кино». Она говорила о том, что ни разу не присутствовала на съемках фильма по своему сценарию и не позволила режиссеру проявлять интерес к работе над сценарием. Несмотря на успех фильма «Хиросима, любовь моя», Маргэрит Дюрас заявила, что никогда более не будет работать для кино. В том же духе высказался и французский писатель Бернар Пенго.

Но наиболее интересным, как писали все итальянские газеты, было выступление на конгрессе Григория Чухрая. Вообще он был «звездой» первой величины, и толпы корреспондентов ни на минуту не оставляли его в покое. Шестнадцатого марта газета «Унита» писала: «Чухрай является наиболее заметной фигурой конгресса. Его выступление против спекуляции эротикой в кино вызвало целую бурю. Советский режиссер испытал несколько горькую участь. Он увидел, как его восхваляет консервативная, клерикальная печать и как некоторые либеральные умы заклеймили его кличкой моралиста. Вчера с трибуны конгресса его атаковал писатель Репачи, а сегодня его защищал Пазолини».

Дело в том, что в Италии сейчас церковь и прогрессивная интеллигенция, в том числе и коммунисты, ведут между собой ожесточенную борьбу по поводу того, что дозволено и что не дозволено в кино. Чухрай говорил о нравственных задачах искусства. Клерикалы пытались обратить его выступление в свою пользу. На следующий день в газете «Паэзе» появилась беседа Чухрая с корреспондентом газеты. «Выслушайте меня внимательно,— сказал он.— Если б вы слушали меня внимательно, вы бы поняли, что я не защищаю конформистов и не выступал в пользу морали лицемеров. Я признаю за художником право касаться любой темы и изображать действительность в условиях полной свободы. Я выступал лишь против спекуляции на сексуальной стороне любви».

Долго еще не смолкали споры вокруг выступления Чухрая, долго не сходили его портреты с газетных полос, а «Баллада о солдате», фильм с «наивной и сентимен-

тальной основой», как сказал Пазолини, по-прежнему собирал полные залы и о многом заставлял думать итальянского зрителя.

Четыре дня продолжался конгресс. Четыре дня шумно и оживленно было в Зале Пятисот, в его коридорах, на старинных лестницах, охраняемых стражей с алебардами. Попади вы туда в те дни, вы невольно обратили бы внимание на маленького, очень оживленного человека лет сорока, появлявшегося то тут, то там, с кем-то разговаривающего, о чем-то спорящего, куда-то торопящегося, опять останавливающегося, опять с кем-то говорящего. Это Ла-Пира — мэр Флоренции, одна из интереснейших и своеобразнейших фигур современной Италии.

Ла-Пира — убежденный католик, более того — он идейный вдохновитель левого католического крыла. Он близок к папе. Он дружен с Фанфани. Он инициатор встречи мэров европейских столиц, которых собрал в 1955 году во Флоренции с единственной целью объединить их в борьбе за мир. Он активный сторонник алжирского народа в его борьбе за независимость, и не только алжирского — все народы Африки считают его своим другом. Он не монах, но живет как монах в одном из монастырей францисканского ордена. Не будь его, не было бы, очевидно, и конгресса — как мэр города он не пожалел средств на его организацию. В какой-то степени он был сердцем конгресса. И одним из активнейших его участников.

На заключительном заседании он сказал:

— Когда вы вернетесь в ваши страны и вас спросят, какие известия привезли вы из Флоренции, ответьте: превосходные! Вы сможете выразить надежду на то, что не будет войны. Произойдет атомное разоружение, исполнится пророчество Исайи, пушки перекуют на плуги, а ракеты на космические корабли, взлетные площадки для ракет станут стартовыми площадками космических кораблей. Близится наступление мира; наиболее близким к нам признаком мира является перемирие между алжирцами и французами... Цивилизация будущего станет цивилизацией диалога; Флоренция, гражданами которой вы символически стали, поручает вам передать братский привет столицам ваших наций, с которыми наш город четвертого октября тысяча девятьсот пятьдесят пятого года заключил пакт дружбы и мира. Передайте мэрам ваших столиц, которых прошу посетить, что Фло-

ренция осталась верна этому пакту мира, заключенному семь лет тому назад, и что Флоренция вновь ждет к себе мэров столиц, которых она примет во имя этого пакта надежды.

Если сердцем конгресса был Ла-Пира, то душой его безусловно был Вигорелли, генеральный секретарь сообщества, он же редактор журнала «Эуропа литерариа». Кипучий, вездесущий — это он с тремя своими помощниками сумел собрать под своды Палаццо Веккио четыреста европейских писателей и блестяще организовать, как у нас говорят, их быт. Помню, когда несколько лет тому назад Вигорелли приезжал в Советский Союз и заглянул на денек в Ирпень, о Европейском сообществе шли тогда только более или менее абстрактные разговоры на веранде за чашкой кофе. Сейчас же оно уже есть и, как видим, вполне себя оправдало. Более тысячи писателей из разных стран являются его членами. И во всем этом великая заслуга деятельного, всегда бодрого, энергичного, хотя под конец конгресса немного и уставшего Джанкарло Вигорелли — редактора, критика, общественного деятеля, а к тому же еще и интересного, веселого собеседника.

На конгрессе встретился я и с единственным знакомым мне графом, писателем Гвидо Пьовене, с которым два года тому назад бродил по заснеженным аллеям Подмосковья, в Малеевке. Тогда, в меховой шубе и шапке, он держал путь в Сибирь, о которой написал потом серию очерков. Сейчас же с трибуны конгресса он сказал:

— Впервые мир предстает перед нами как абсолютное благо, от которого зависит все; в силу этого впервые в истории миролюбие и защита мира становятся неотделимыми от художественного творчества.

К сожалению, на конгрессе не было Ренато Гуттузо — одного из крупнейших художников Италии, милого, обаятельного и удивительно простого в обращении человека. Когда он приезжал на Украину в гости к Бажану, я был счастлив познакомить его с киевскими художниками — Зиновием Толкачевым и молодыми ребятами Адой Рыбачук и Владимиром Мельниченко, работы которых он очень высоко оценил. В те дни в Москве была выставка работ Гуттузо, попасть на нее мне что-то помешало, и сейчас, оказавшись в Италии, я предвкушал удовольствие ознакомиться с его картинами у него в мастерской. Это не удалось — в дни конгресса Гуттузо был в Лондоне, где была его выставка.

Зато мне посчастливилось познакомиться на конгрессе с Хуаном Гойтисоло, прибывшим с группой испанских и португальских писателей. Не все из них имеют возможность жить у себя на родине (Гойтисоло вынужден, например, жить сейчас в Париже), но голос их, громкий и сильный, не смогли подавить ни Франко, ни Салазар. Мне очень жаль, что встреча наша ограничилась сидением за общим столом во время одного из очередных приемов,— хорошо уж и то, что она состоялась, и я очень хотел бы, чтоб она повторилась. Для моего поколения, хорошо помнящего героические дни обороны Мадрида — Университетский городок, дом Веласкеса, Мансанарес, Карабанчель Альто и Бахо,—все связанное с Испанией до сих пор дорого и близко. Поэтому и хотелось бы, чтоб встреча эта не оборвалась на дружеском брудершафте, который мы выпили с Хуаном Гойтисоло.

Встретился я во Флоренции и с давнишним своим другом Витторио Страда. Знакомство наше завязалось еще в 1955 году с переписки (он переводил тогда «В родном городе»), окрепло и превратилось в дружбу в Москве, где он учился в аспирантуре, а сейчас я рад был его обнять в его родной Италии. Он большой знаток, может быть даже один из лучших знатоков, русской и советской литературы в Италии. Работает сейчас в Турине у издателя Эйнауди, и его знаниям и стараниям итальянский читатель обязан тем, что может ознакомиться в хороших переводах с нашей прозой и поэзией. Во Флоренции мы довольно часто встречались, и как радостно было видеть Витторио веселым и бодрым, хотя в то же время с некиим патриотическим эгоизмом я не мог не радоваться тому, что он слегка скучает по России. Все же он прожил там четыре года, и хотя привез оттуда жену, но многого, как я понял, из того, что осталось у нас, ему не хватает.

Всех и не перечислишь, кого рад был встретить, с кем бродил по римским и флорентийским улицам. Увидел я опять и всех своих друзей из общества «Италия — СССР»: Лизу Фоа, и Умберто Черрони, и по-прежнему обсыпанного пеплом сигары Пьетро Цветеремича (вместе с ним мы мучились, переводя с украинского на русский, а затем на итальянский «Неизвестного солдата...»), и Анджелло Риппелино, водившего нас к молодому и очень талантливому художнику Акилле Перилли, для картин которого на ближайшей венецианской Бьеннале выделен был отдельный зал. Между прочим, взглянув сейчас на проспект его последней выставки, я невольно подумал об

Аде Рыбачук и Владимире Мельниченко. Они, правда, несколько моложе Перилли, но он на своем веку имел уже пять персональных выставок, а кроме того, выставлял свои работы вместе с другими на двадцати семи выставках у себя на родине и за границей — в Праге, Париже, Вене, Монако, Копенгагене, Стокгольме, Осло, Берлине, Мельбурне, дважды в Нью-Йорке, Мексике, Сан-Франциско, Дюссельдорфе, Риме и Брюсселе. Наши же киевляне — повторяю, очень талантливые — до сих пор никак не дождутся своей выставки. В 1962 году им предложено было организовать персональную выставку в Праге, Союз художников в Киеве наложил свое «вето»: вам, мол, рано еще, ребята, поработайте... А для художника, да еще молодого, выставляться так нужно, так важно.

Был я и у Карло Леви в его мастерской, смотрел картины, которые он отобрал для своей выставки в Москве. С Ириной Колетти (она же Малышева, русская по происхождению) мы бродили как-то зимой по Московскому Кремлю и занесенным снегом арбатским переулочкам, и я показывал ей старинный особняк на углу Гагаринского и Хрущевского переулков (названия старые!), где собирались когда-то масоны и бывал даже Пушкин, а сейчас она водила меня по римским улицам и показывала древнюю церковь францисканцев, стены и потолки которой выложены из человеческих костей и черепов...

С веселым, подвижным, знающим Рим, как никто другой, Джорджо Пасторе мы встречались уже многократно — и в Риме, и в Москве, и в Киеве. Он много лет прожил в Советском Союзе, хорошо говорит по-русски, поэтому с ним легче и проще всего. Он катал нас в своей машине по Риму, угощал ужином в «Олд Америка», где на вертеле в центре зала вращается над огнем целая баранья, или Бог его знает чья, туша и повар в белом колпаке руками накладывает гарнир в тарелки, а официанты стремительно проносятся между столиками с болтающимися на боку «смит-и-вессонами», как заправские ковбои. Вместе с ним мы смотрели, как с престарелыми леди и синьорами танцуют за деньги молодые люди знаменитый твист (кстати, когда танцует молодежь, твист очень занимателен и, я бы сказал, даже красив), потом он повез нас на Пассаджиатта Аркеолоджика — то самое место, где подралась со своей коллегой Кабирия,— и на наших глазах подкатили две полицейские машины, и мирно поджи-

давшие у древних стен терм Каракаллы своих клиентов «девочки» пустились врассыпную. В воскресный день Джорджо приглашал нас поехать в горы покататься на лыжах, но, как это ни было соблазнительно — в Италии на лыжах! — жаль было покидать Рим, и мы отказались.

Возил нас по Риму и Альберто, кинопродюсер, как он себя называет. С ним мы любовались с Авентинского холма распластавшимся у наших ног сумеречным Римом и, приоткрыв массивные ворота, заглядывали в густо заросший парк Ложи мальтийских рыцарей, потом петляли по тихим аллеям Английского кладбища у пирамиды di Caio Cestio и сорвали на память по цветку с могил Шелли и Китса... Он же, Альберто, показывал нам старый, средневековый Рим. В тот день было дождливо и холодно, на углу тесной извилистой улочки разведен был костер, и живописные старухи и мальчишки грелись возле него, а я снимал их своим киноаппаратом, и они заулыбались, узнав, что мы русские, «совьетико», и стали рассматривать мою камеру...

А в самый последний день я колесил по городу с милым Марчелло, тем самым, с которым колесил и в прошлый свой приезд и который, когда мы проезжали мимо какой-нибудь старинной церкви, всегда говорил: «Смотри, бабушка...» К сожалению, у меня не было его адреса, а он сменил место работы и работает сейчас в редакции газеты «Паэзе». Только за день до отъезда я добрался до этой самой редакции и оставил ему в гараже записку — он должен был ночью дежурить.

На следующий день рано утром он явился на своей машине.

— Чао, Виктор!

— Чао, Марчелло!

Он нисколько не изменился — такой же черноглазый, курчавый, улыбающийся, белозубый, такой же веселый и приветливый, только за эти пять лет появилось у него двое малышей, таких же черноглазых и курчавых, как он. Две крохотные фотографии этих мальчишек прикреплены в маленькой рамке к ветровому стеклу его машины, а внизу рамки надпись: «Папа, не гони!» Я выклянчил у Марчелло эти фотографии, и теперь они стоят у меня на столе. Два чудных кудрявых парнишки, которых я, к сожалению, так и не знаю.

С Марчелло мы занялись делом — приобретением сувениров и подарков для киевлян и москвичей. Это было нетрудно — громадный книжный развал находится

буквально за углом напротив вокзала Термини. Там можно купить все, начиная от дешевых комиксов и кончая роскошными изданиями по искусству. Но мы покупали главным образом репродукции. Их здесь сотни, чтобы не сказать тысячи, и большие — на полотне, с ловко имитированной фактурой, и маленькие — величиной с папиросную коробку, сделанные из какой-то небьющейся и нецарапающейся пластмассы. Они лежали на прилавке горой — Ван Гоги, Джотто, Рублевы, Боттичелли, Хокусаи, Сезанны, Клее, Мантеньи, Рафаэли, Клоды Монэ, Матиссы,— стой хоть целый день и выбирай. Занятие увлекательное и мучительное — денег не ахти сколько, а хочется забрать почти все. Кстати, маленькие эти репродукции совсем недороги — пятьсот лир штука. Это столько же, сколько стоит билет в кино или чуть больше пачки сигарет «Честерфильд».

Нагруженные репродукциями и немножко керамикой (рядом с развалом есть специальный магазин, в котором любитель может промотать целое состояние, но у нас уже денег не было), мы вернулись в гостиницу, потом ездили в посольство, к Карло Леви в мастерскую, еще куда-то, потом пообедали и разошлись. Вечером нам не удалось встретиться — заболела жена Марчелло,— и явился он провожать нас уже на следующее утро в аэропорт Фиумичино.

За один день вся наша компания полюбила Марчелло. Прощались с ним, как со старым другом. На прощанье он, совсем по-грузински, подарил мне свою крохотную полосатую кепочку (я как-то мимоходом сказал: «Какая у тебя славная кепочка, Марчелло...»), и, пожимая всем руки, говорил на своем русско-французско-итальянском языке:

— До будущего года. Когда приеду в Советский Союз. Обязательно. Это уже решено... Ариведерчи, Моска! До встречи в Москве...

— И в Киеве.

— И Киеве, Киеве...

Четырехмоторный «вайкаунт» выруливал уже на взлетную дорожку, а Марчелло все стоял и махал рукой. Мы тоже махали. В его лице мы прощались с Италией, со всеми друзьями, оставшимися там.

Внизу показалось мелко гофрированное зеленовато-голубое Тирренское море, потом проплыл суховатый, изрезанный бухтами остров Эльба, а я все думал о том, как славно будет, когда приедет в Киев Марчелло на

своем «фиате», и мы будем с ним колесить уже не по римским улицам, а по киевским, и, проезжая мимо Софийского собора, я ему скажу: «Смотри, Марчелло, бабушка...»

Единственное, что меня беспокоит,— это его встреча с киевскими постовыми: как истый римлянин, он презирает светофоры и любит сто двадцать километров в час. Впрочем, у меня уже есть кое-какой опыт — хоть Марчелло и не сын президента, но, думаю, как-нибудь выкрутимся.

2. В АМЕРИКЕ

С живой Америкой я впервые познакомился в не очень легком и сытом 1923 году в своем родном Киеве. Было мне тогда двенадцать лет, и бегал я босиком (деревяшки и обувь на веревочной подошве были недосягаемой роскошью) в пятую группу 43-й трудовой школы.

Америку — а по транскрипции тех лет САСШ, Северо-Американские Соединенные Штаты — я знал главным образом по Майн Риду и Куперу, по почтовым маркам (не очень интересным — все больше президенты) да еще по сгущенному молоку АРА, которым кормила нас, детей, американская благотворительная организация Гувера (наклейки с этих банок с индейцами и бизонами тоже усиленно нами коллекционировались). Кроме того, по дороге в школу я всегда останавливался у прикрепленной к стенке «Пролетарской правды» и с трудом читал (она печаталась на синей оберточной бумаге) про грекотурецкую войну и Вашингтонскую конференцию. На американские фильмы я еще не ходил. Это началось примерно через год — «Владычица мира», «Королева лесов», «Богиня джунглей»... Ни одного живого американца в глаза не видел: в АРА молоко и белоснежную, мягкую, как вата, булку выдавали русские.

И вот в один прекрасный день в Киев приехал и остановился у нас (гостиниц в городе не было, а тетка моя работала тогда в библиотеке Академии наук) ни больше ни меньше как директор Нью-Йоркской публичной библиотеки мистер Гарри Миллер Лайденберг — немолодой сухощавый господин, носивший через плечо на ремешке портативную пишущую машинку, на которой ежедневно отстукивал длиннющие письма домой. В конце каждой строчки звонил звоночек, и я первое время поминутно

бегал открывать дверь. Когда он приехал, ему сделали ванну. Это было отнюдь не просто: дров не было, и вода тоже не всегда бывала. Мы все очень гордились этой так хорошо организованной ванной, повесили чистое полотенце, а гость наш через три минуты оттуда вышел, даже не окунувшись и не прикоснувшись к полотенцу. Все были огорчены. После обеда он предложил помочь помыть посуду — дома, мол, он всегда это делает,— но в этом ему было отказано. Когда он уехал, на его подушке обнаружили приколотый английской булавкой то ли доллар, то ли червонец — не помню уже что. Все немного обиделись и в то же время были тронуты. Вот все, что я помню о Гарри Миллере Лайденберге, директоре одной из самых больших в мире библиотек, первом американце, с которым я познакомился [1].

Второй американец, которого я знал, работал у нас на постройке вокзала. Я там тоже работал стажером после профшколы. Звали его мистер Боркгрэвинк, а рабочие прозвали Борщгривенник, так как он, как и все, терпеливо стоял в рабочей столовке в очереди за борщом. Он был высок, худ, молчалив, ходил в ботинках на толстой подошве — предмет всеобщей зависти — и ежедневно, как консультант по бетону, писал длинные «меморандумы м-ра Боркгрэвинка», вывешивавшиеся в комнате начальника работ. Этот американец мне не очень понравился — показался скучным.

С тех пор с американцами я не сталкивался, если не считать «генерала Шермана» — полутяжелый танк, в котором проехался один раз на фронте.

Прошло немало лет. И вот осенью 1960 года, точнее 2 ноября в 9.30 вечера по нью-йоркскому времени, я впервые вступил на американскую землю, вернее бетон, международного аэродрома Айдл-уайлд.

Все-таки как хотите, а это непостижимо — за один день пол земного шара. Утром морозная (—8°), заснеженная Москва, а через двадцать часов мы тащили уже свои пальто на руках в Нью-Йорке. Где-то на полпути был еще Брюссель — кроме обеда, старинные залы ратуши и разглядывание опустевшего Атомиума,— потом Ла-Манш (за пятнадцать минут!), где-то справа Лондон

[1] Вскоре после того, как эти очерки были опубликованы в журнале, я получил письмо из Америки. Написано оно было сыном Лайденберга, Джоном. Отец его умер, но письма, выстуканные в нашей квартире, сохранились. Джон прислал мне фотокопии. Читать их очень интересно, но об этом как-нибудь в другой раз.

(«Смотрите, смотрите!» — но ничего не видно), залитый от горизонта до горизонта огнями Манчестер, черная, как ночь, Ирландия, последние европейские пассажиры в тихом Шенноне, а дальше семь часов над океаном. Раздевшись до трусов в полупустом «интерконтинентале», мы захрапели. Проснулись от чьего-то колумбовского крика: «Земля!» После Манчестера Нью-Йорк огнями не поразил, впрочем, кажется, был легкий туман.

Ночью я смотрел из окна двенадцатого этажа «Говернор Клинтон-отеля» на Пенсильванский вокзал у своих ног, на сияющую надпись небоскреба редакции «Нью-Йоркер» и все еще не верил своим глазам: неужели я в Нью-Йорке?

Предвижу тысячу вопросов. А правда, что ку-клукс-клан всех терроризирует? А правда, что в Нью-Йорке каждые шесть минут совершается преступление? Что летом температура там поднимается до +45° в тени? Что на каждого американца приходится по четверти автомашины? И еще 995 других. Ответить на все я не в силах. Попытаюсь рассказать о том, что видел собственными глазами. И по возможности никаких цифр, хотя в Америке их очень любят. А может, именно поэтому.

Начну с Нью-Йорка... Нет, с нашей группы. Мы не делегация, мы туристы. Нас двадцать человек: преподаватели, журналисты, инженеры — то, что называется советская интеллигенция. Люди мы разные, у каждого свои интересы, но в основном народ славный, в поездке мы сдружились и к концу жаль было даже расставаться. Каждый из нас заплатил довольно кругленькую сумму, и за это его четырнадцать дней будут возить в поездах и громадных автокарах по северо-восточным штатам — Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Ниагара, Детройт, Дирборн, Буффало и опять же Нью-Йорк. Руководитель нашей группы, некто, назовем его для простоты Иван Иванович,— человек славный, но перепуганный, очевидно, еще с детства. Кроме того, к нам прикомандирован туристской компанией «Америкэн экспресс» подвижной, апломбистый человек в галстуке-бабочке — Тадеуш Осипович, выходец то ли из Польши, то ли из Прибалтики, наш гид, о котором сразу скажу, что мистером Адамсом из «Одноэтажной Америки» он не был ни с какой стороны.

Наивно, конечно, предполагать, что за две недели можно хотя бы приблизительно узнать Америку. Но сопоставить в какой-то степени увиденное с тем, что ты

читал о ней, все же можно. И вот тут-то все зависит от самой организации поездки.

Скажем прямо: советского туриста не везде и не всюду пускают. В маршрутах для нас нет Юга — Нью-Орлеана, Луизианы, Миссисипи, тех мест, где расизм особенно глубоко запустил свои корни. В Нью-Йорке строго-настрого запрещено посещать Бруклин. В Ниагара-Фолс, где любой таксист предлагает за какой-нибудь доллар перевезти тебя на канадский берег (оттуда открывается особенно эффектный вид на водопад), Тадеуш Осипович специально предупредил нас, чтоб мы об этом и не смели думать.

Америка — страна особенная. Одна наша писательница, посетив ее, сказала: «Что меня в Америке больше всего поразило, это то, что ничего не поразило». Как-то не верится. Меня, во всяком случае, очень многое поразило, хотя ко многому из того, что я видел,— к небоскребам, к обилию машин, к огням Бродвея, к воскресным выпускам газет весом в килограмм — я был подготовлен. Но именно это — гигантские дома, гигантские города, пересекающие всю страну автострады с тысячами тысяч несущихся по ним машин, двадцатиэтажные магазины, вакханалия ни на секунду не гаснущих реклам, знаменитый американский сервис — словом, все это сразу ошеломляющее тебя внешнее богатство и обилие, оно-то и затрудняет, мешает поначалу разобраться в чем-то более глубоком и существенном.

А для того, чтоб хоть как-то вникнуть в само существо, добраться до каких-то, пусть даже и относительных глубин, нужно не только ходить по музеям, взбираться на вершину Эмпайрстэйт-билдинг или фотографировать Ниагару, нужно еще и другое, куда более сложное,— умение непредубежденно, трезво и добросовестно вникать во все, что ты видишь. А это вовсе не так легко, как кажется. К тому же с Америкой, точнее с Соединенными Штатами, мы сейчас не самые закадычные друзья. В идейном и политическом отношении мы противники.

В этих условиях ездить по стране, а потом еще писать о ней совсем не легко. И общаться с людьми тоже не просто. А общение — пусть с друзьями, пусть с недругами — это самое важное. Только через общение можно добраться до этих самых, пусть даже относительных глубин того, что тебя интересует. А интересует прежде всего жизнь, чем люди дышат. А потом уже Эмпайры и Крейслеры...

Милейший наш Иван Иванович больше всего боялся какого-либо отклонения от расписания и распорядка. Он поминутно пересчитывал нас, как цыплят, и самое страшное для него было, если ему говорили: «А я не хочу в Национальную галерею, я хочу в Музей Гуггенхейма или просто погулять по Бродвею».

В первый же день в Нью-Йорке, после осмотра здания Организации Объединенных Наций, тут же у входа он устроил первое производственное совещание, первую «летучку». Попросив Тадеуша Осиповича отойти в сторонку, он произнес небольшую речь о дисциплине, о том, что такие-то и такие в первый же день опоздали к обеду и, оторвавшись от коллектива, вынуждены были приехать сюда на такси, и чтобы впредь этого не было. Мы стояли у стен громадного здания, молча слушали его, потом провинившиеся стали оправдываться, голоса постепенно повышались (назревала ссора), а Тадеуш Осипович стоял в сторонке, иронически на нас поглядывая.

Бедный, бедный Иван Иванович. Я в чем-то понимал его, мне было его даже жаль. Все-таки он за всех нас отвечай, а нас двадцать человек, и никого-то он не знает, знакомы мы не больше суток и находимся не у себя дома. Ну как не посочувствовать. И все же добрейший наш, но не очень далекий Иван Иванович забывал об одном — о том, что к нам, людям из Советского Союза, тянутся, жаждут общения с нами и мы не имеем права отгораживаться, замыкаться в себе. К каждому нашему движению присматриваются, к каждому слову прислушиваются, поэтому держаться мы должны совершенно естественно, быть самими собой.

Итак (я немного отвлекся), начнем с Нью-Йорка, хотя о нем столько уже писалось, что как-то боязно начинать. Пробыли мы в нем в общем пять дней — срок ничтожный. Как ни странно, но к этому Вавилону довольно быстро привыкаешь. Сначала небоскребы поражают, особенно в Манхэттене, но очень скоро начинает казаться, что ты всю жизнь их видел, ходил среди них, взбирался на сотый этаж. Разговоры о том, что они подавляют,— ерунда (гитлеровская имперская канцелярия в Берлине, несмотря на свои относительно скромные размеры, подавляла меня значительно больше), многие из них, постройки последних лет, очень легки (именно легки!), воздушны, прозрачны. В них много стекла, они друг в друге очень забавно отражаются, а утром и

вечером, освещенные косыми лучами солнца, просто красивы. Рядом с ними небоскребы начала века кажутся уже чем-то архаичным — греческий портик на высоте тридцатого этажа вызывает только улыбку.

На самой верхушке Эмпайрстэйт-билдинг, высочайшего в мире здания, есть обозревательная площадка. За какую-то там сумму ты можешь подняться туда на двух скоростных лифтах, посмотреть в подзорную трубу на город, выпить кофе, купить сувениры.

Мы, конечно, тоже поднялись. И должен сказать, когда стоишь над этим городом и где-то внизу под тобой сгрудились на громадном пространстве десятки небоскребов, а между ними, как в ущельях, ползают какие-то мурашки и несутся крохотные автомобильчики, а там вон Ист-Ривер, и Бруклинский мост, и Гудзон со своими пристанями и пароходами, когда стоишь вот так, обвеваемый ветром, и смотришь на этот город-гигант, город-спрут — назовите его, как угодно,— не можешь не испытывать волнения. Когда-то нечто подобное я испытывал на вершине Эльбруса. Кавказ под тобой! Все ниже тебя. Даже Казбек и тот пониже. Но там тогда покоряло величие и красота природы, здесь — величие и красота человеческого труда. Ведь все это он сделал — его мозг, его руки. И тут же невольно задаешь себе вопрос: сколько таких Эмпайров, и Крейслер-билдингов, и мостов, подобных стремительному, легкому Вашингтон-бридж через Гудзон, сколько полезного можно было бы построить на деньги, которые уходят на всякие «Поларис», «Онест-Джон» и прочие веселые игрушки XX века. (Кстати, громадные, в натуральную величину, макеты боевых ракет стоят в Америке перед разными военного характера учреждениями, как в свое время стояли старинные пушки, а одну из таких ракет мы обнаружили даже в вестибюле Центрального вокзала в Нью-Йорке. Для чего она там?)

Нью-Йорк (а на заре своей юности Нью-Амстердам и Нью-Орандж, когда им владели голландцы) вовсе не так уж молод. Ему уже триста лет. По преданию, куплен он был — вернее, не он, а остров Манхэттен — голландским мореплавателем Петером Минуэтом у индейцев племени ирокезов за двадцать четыре доллара.

Из этих трехсот лет пять лет (1785—1790) Нью-Йорк был столицей государства, сейчас ему не подвластен

даже штат. Раскинулся он со своим восьмимиллионным населением на трех островах и одном полуострове. Состоит из пяти частей: Бруклина, Куинса, Бронкса, Ричмонда и Манхэттена — узенького островка, на котором, собственно говоря, все и сосредоточено. Манхэттен, в свою очередь, делится на три части: Даун-таун (Нижний город) — от южной оконечности острова (Баттери-парк) до 23-й улицы, Мид-таун (Средний город) — от 23-й улицы до 59-й (Центральный парк) и Ап-таун (Верхний город) — от 59-й улицы до северной оконечности острова. Мид-таун из них самый маленький, но в нем все самое большое и знаменитое: здание ООН, Рокфеллер-центр, два крупнейших вокзала — Пенсильванский и Большой Центральный, два крупнейших небоскреба — Эмпайр и Крейслер и пуп Нью-Йорка — Таймс-сквер. Недалеко от него, а значит, и от Бродвея жили и мы в своем «Говернор Клинтон-отеле» — каменной громаде в двадцать восемь этажей: «великолепное расположение в центре Манхэттена, 1200 номеров, кондиционированный воздух, телевидение двадцать один дюйм (в отдельных номерах цветное), удобство, комфорт, дружелюбие...»

Манхэттен разбит на клеточки. Вдоль всего острова с севера на юг идут авеню (их четырнадцать, не считая двух набережных), поперек, с востока на запад, под прямым углом к авеню двести двадцать улиц — «стрит». (Наш отель находился на углу 7-й авеню и 31-й стрит.) Через весь остров наискось, нарушая регулярность клеток, стремительно несется Бродвей — вероятно, самая длинная улица в мире, километров двадцать, не меньше.

В первый же день мы ринулись на Бродвей. Собственно Бродвей — сердце Нью-Йорка, его Крещатик, как назвал его один из наших киевлян,— это относительно небольшой отрезок от 34-й до 52-й стрит. Именно этот участок снимают во всех кинофильмах, изображающих Нью-Йорк, каким его все себе представляют, Нью-Йорк огней и развлечений, именно здесь знаменитый «всемирный перекресток» — Таймс-сквер (пересечение Бродвея, 42-й стрит и 7-й авеню), именно здесь все на память фотографируются (что сделали и мы, грешные) на фоне рекламы Шевроле или всему миру уже известного молодого, обаятельного курильщика размером в два этажа, прославляющего сигареты «Кэмэл»,— он круглосуточно выпускает изо рта огромные кольца всамделишного дыма. Короче говоря, Бродвей, при всей своей длине, улица

небольшая и, что еще более странно, часов с одиннадцати вечера начинающая пустеть — то есть именно тогда, когда, например, Виа Венето (римский Крещатик) начинает только заполняться. Я как-то ночью шел по Бродвею, и странно было видеть все это море сверкающих и мигающих огней, обращенное только ко мне,— Бродвей был пуст. Ночная жизнь здесь не на улице, она где-то внутри, в ресторанах и развлекательных заведениях.

Второе, что меня поразило,— это обилие маленьких щелевидных магазинчиков. В одних играют в какие-то непонятные для меня электрические игры (и молодежь, и старики, и даже старухи), в других продаются всякие забавные штучки — извивающиеся, совсем похожие на живых змеи, какие-то засушенные индейские головы с длинными волосами (не пугайтесь — из пластмассы), чудовищные маски, всякого рода прыгающие, скачущие, кружащиеся, пищащие механические игрушки.

Кстати, об игрушках. В Америке они превосходны. Я долго стоял перед одной «железнодорожной» витриной (правда, не в Нью-Йорке, а в Брюсселе, но игрушка была американская) и не мог оторваться. Три поезда — один товарный с тепловозом, один пассажирский с паровозом и один экспресс из пяти вагонов с электровозом — циркулировали по очень сложному переплетению рельсов, въезжали в туннели, мчались по мостам, свистели, гудели, останавливались у станций, иногда у светофоров и нигде не сталкивались. А сзади был аэродром, на который от времени до времени приземлялись самолеты. Но это еще не все. Наступал вечер, в окнах домов зажигались огни, а у локомотивов — прожектора. Я с трудом оторвался от этого зрелища: все детство я мечтал о таком поезде (о таком? о таком я даже и не мечтал...), и никогда у меня его не было. Окажись у меня сейчас деньги, я б его обязательно купил. Не себе, конечно, а восьмилетнему сынишке моего приятеля, но до того, как отнести ему всю эту прелесть, я б закрылся на ключ в своей комнате, и никто бы не видел, чем я занимался бы...

Невероятно заманчивы, конечно, и солдатики, те, которые раньше назывались оловянными, а сейчас даже не знаю, из чего сделанные,— всех видов, размеров, национальностей и веков. Американцы, индейцы, арабы, наполеоновские гренадеры, рыцари, берсальеры — только красноармейцев не видал. Довести до бессонницы любого подростка могут и всякого рода наборы — ков-

бойский, например. Широкополая с загнутыми краями шляпа, штаны с бахромой, платок на шею и пара «кольтов» в роскошных кобурах на широком поясе с металлическими украшениями. Можно для полноты картины и шерифскую звезду купить.

Видел я, правда, и другие игрушки, сделанные с не меньшим мастерством. Например, бомбардировщик «боинг» — он летает и даже сбрасывает бомбы. Или танк с ракетной установкой. В телевизор как-то показали ползущий на зрителя танк. Приполз, навел на тебя пушку и... «Покупайте лучшие развлечения для ваших детей — танки такой-то фирмы!»

Но вернемся на Бродвей. Больше всего на нем (на этом отрезке между 34-й и 52-й стрит) театров и кино. В театр мы, к сожалению, не попали (хотя «бродвейский театр» — наиболее интересное и характерное явление в нью-йоркской театральной жизни), зато в кино были, в первый даже день, соблазнившись рекламой знаменитого Эльвиса Пресли — кумира американских девушек. Этот красивый, несколько слащавый двадцатидвухлетний молодой человек несколько лет тому назад молниеносно покорил своими песенками всю Америку. В течение нескольких недель Пресли стал миллионером, и популярность его достигла таких размеров, что, когда пришел срок призываться в армию, военный департамент США получил, как писали в газетах, несколько десятков тысяч писем и телеграмм от влюбленных девиц с просьбой не отнимать у них кумира. Но военный департамент все же отнял, Элвис отслужил положенный ему срок, и именно этому событию — Элвис в армии — и посвящена была комедия, на которую мы попали. Комедия оказалась пустяком, в меру смешным, никакого рок-н-ролла Пресли не танцевал и пел даже не очень много, хотя и мило, в основном же вздыхал по девице, а она по нем, и несколько раз они поцеловались — вот и все. Стоило это развлечение нам по доллару и, скажу по секрету, тех нотаций, которые нам, трем любителям кино, пришлось выслушать на первой «летучке» у стен Организации Объединенных Наций.

В кино мы больше не ходили, но представление о нем все же имели, так как в гостиничных наших номерах стояли эти самые телевизоры 21 дюйм (ширина экрана), а работают они в Нью-Йорке двадцать два часа в сутки, по одиннадцати каналам. Ну и насмотрелись же мы драк! И каких! И в барах, и на улицах, и в поездах, и в роскош-

ных гостиных, на море, под землей, в воздухе, с опрокидыванием столов, шкафов, с потоками крови и таким количеством выстрелов, что они звучали у меня в ушах еще добрых недели две по возвращении домой. А дерутся-то как... А парни какие, и как ловко они вылетают через весь кабак, кувырком, вверх тормашками, раскрывая своим телом створки двери, прямо на улицу, а потом, утерев только нос, таким же манером выпроваживают своего противника уже в окно. А погони, а скачки! Только в детстве я видал такие, разве что машины стали теперь подлиннее, поплоще да побыстрее. Видали мы и Распутина, и русских князей на тройках, и каких-то гипнотизеров, и роскошных женщин, шутя расправляющихся с мужчинами тарзаньей комплекции... Обидно только, что в самый решающий, самый напряженный момент на экране появляется вдруг миловидная девушка и довольно долго моет голову какой-то особенной мыльной стружкой или обворожительная парочка на берегу прекрасного озера никак не может поцеловаться, пока молодой человек не догадывается принять соответствующую пилюлю, уничтожающую дурной запах во рту. Такими и подобными им сценами каждые десять минут прерывается любой фильм, любая программа — это реклама, на средства которой и живет телевизионная компания. И, представьте, она действует. Даже на нас подействовала: все мы в конце концов купили магические таблетки энесин от головной боли, хотя я, например, этим недугом не страдаю.

Да, американское телевидение — штука страшная, я много о нем слышал, но, только увидев, понял. Действительно, попробуй не убить своего ближнего, попробуй не изувечить его приличным нокаутом, когда с утра до вечера в телевизор тебе показывают, как это надо половчей сделать. А не сделаешь сам, другие с тобой сделают. Об этом много говорили на писательском конгрессе во Флоренции. Появился даже новый термин «полукультура» — у англичан «mass media» (средства массового общения), у американцев «mass culture» (массовая культура), под которым подразумевается значительная часть западного кино, комиксы, желтые книги, иллюстрированные журналы как средство отучить людей думать и, в первую очередь, конечно, телевидение, вытеснившее собою книги и человеческое общение.

Впрочем, если говорить серьезно, телевизор — бич не только Америки. У нас нет драк, мордобоя, соревнова-

ний по кэтчу, самому чудовищному из всех видов спорта, если это зверское истязание друг друга можно назвать спортом, но у нас зато есть другое — телезрителя иной раз загоняют в гроб скукой, бесконечными беседами и похожими как две капли воды смотрами самодеятельности. Может, это и нужно для выполнения плана телестудии, но смотреть на это уже нет сил. Впрочем, на зрителей смотреть не легче. Нет ничего страшней и унылее сидящей за вечерним столом семьи, уставившейся в телевизор. Театр, кино, книги, гости — все побоку! Глаза не отрываются от мельтешащего экрана.

Нет, я признаю телевидение преимущественно как средство репортажа. Чтоб увидеть, как выходит из самолета и шагает по ковровой дорожке Гагарин, как встречают москвичи Титова, Николаева, Поповича, чтоб поприсутствовать на фестивале в Хельсинки, послушать Клиберна, ну и в крайнем случае посмотреть прозеванный тобою фильм [1].

Второй бич Америки — широченный, мутный поток полицейско-детективной литературы. Буквально море разливанное. Об этом столько уже писалось — о всех этих выпусках с наставленными на тебя пистолетами,— что как-то даже совестно об этом писать, но не писать нельзя. Я ничего дурного не хочу сказать об американских книжных магазинах — в них много хороших, интересных, серьезных книг. Но хорошие книги дороги, а вся эта детективщина, вся эта отрава стоит гроши и сама в рот лезет. И, что обиднее всего, ее охотно поглощают. Особенно молодежь. И мне очень жаль американского парня — в общем, хорошего, простого, доброжелательного,— жаль смотреть на него, когда он сидит в вагоне метро со спортивным чемоданчиком на коленях и раскрытым выпуском в руках, который он только что купил за двадцать пять центов в киоске, а завтра выбросит в одну из громадных корзин для газетной макулатуры, какие стоят в Нью-Йорке на каждом углу. Ей-Богу, жаль... Не обязательно, конечно, в метро, по дороге на тренировку или матч, читать Фолкнера, но я, откровенно говоря, боюсь, что этот парень и дома его не читает.

[1] Готовя эти очерки к отдельному изданию, я собирался развить свои мысли по поводу телевидения. Но, прочитав книгу «Телевидение и мы», я понял, что это с гораздо большим знанием дела, вкусом и обаянием сделал уже Владимир Саппак.

Забегу немного вперед. Поездка наша кончалась. Мы ехали из Буффало в Нью-Йорк. Ехали в отдельном вагоне без купе — проход посредине и мягкие кресла по бокам. Все уже немного устали от обилия впечатлений и лениво поглядывали в широкие зеркальные окна, за которыми мелькала одноэтажная Америка. Кое-кто спал. Я тоже изредка поклевывал носом.

И вот дверь из тамбура слегка приоткрылась, и в нее просунулись две мальчишеские головы. Посмотрели, посмотрели, потом один из мальчиков на ломаном русском языке спросил:

— Вы русские, правда?

— Правда.

— И можно с вами поговорить?

— Можно.

— Тогда сейчас...

Оба парнишки скрылись, а через минуту наш вагон заполнился молодежью. Это были «старшеклассники», как у нас говорят,— ребята лет по шестнадцати, которые ехали на несколько дней в Нью-Йорк на экскурсию. Вез их учитель, немолодой уже человек, который, к слову сказать, от этого неожиданно возникшего контакта двух миров растерялся не меньше нашего Ивана Ивановича.

Мальчишки оказались бойкими, словоохотливыми и любознательными. Дело пошло дальше традиционного обмена значками, открытками и монетами. Двое или трое из них, оказывается, изучают русский язык, и мы с грехом пополам могли даже поговорить.

Ребята мне понравились. Держались свободно, естественно, весело, и в том, что они спрашивали и о чем говорили, чувствовалась определенная культура — я понял: если не сейчас, то через сколько-то там лет Фолкнера они прочтут. Разговор шел вперебивку, о том о сем, о Москве, Нью-Йорке, наших пиджаках, войне, бейсболе, кино (кое-кто видел «Балладу о солдате» — очень понравилась), о планах на будущее. На этот вопрос отвечали, правда, довольно туманно или с юморком: «Открою сначала дело, а потом попытаюсь сменить Кеннеди...» — за неделю до этого Кеннеди был избран президентом. Вообще американцы юмор любят и понимают, но все же пусть даже в шутку сказанное «открою дело» меня насторожило. С ребятами на эту тему разговаривать особого смысла не имело, знакомство с ними мы завершили «Подмосковными вечерами» и какой-то молодежной американской песней, в Нью-Йорке расстались, и они весе-

лой ватагой, размахивая чемоданчиками, растворились в толпе. Кто из них станет президентом, сказать сейчас, конечно, трудно, но что по меньшей мере четверть из них будет стремиться «открыть дело» — это, к сожалению, так [1].

Вопрос о молодежи — вечный вопрос. «Эх, не такими мы были...» — вздыхают на всех широтах отцы. Где-то я читал, что в Египте нашли шеститысячелетней давности папирус, в котором какой-то фараон жаловался на молодежь: она, мол, ленива и неуважительна, к тому же, оказывается, не хочет работать, а хочет писать. Фараон безусловно был дальновиден, ничего не скажешь. Но это так, к слову, если же серьезно говорить о молодежи, то тут дело, пожалуй, даже сложней, чем в Древнем Египте.

Мы смотрим на нашу нынешнюю молодежь, иногда любуемся ею, иногда качаем головами. Речь идет не о том, что встречаются лоботрясы и первые ученики, стиляги и книголюбы, карьеристы и смельчаки, мальчики в очках и мальчики в синяках — это было всегда,— речь идет о более серьезном: о взгляде на жизнь, о поисках своего места в ней. Есть очень серьезные ребята, для которых ученье и работа — это все. Но есть среди них и такие, которые говорят: «Я люблю и знаю свое дело, остальное меня не касается»,— для таких работа и ученье превращаются в шоры. Встречается и более сложная разновидность: он, например, физик, хороший физик, к тому же увлекается Генрихом Бёллем, ходит на Рихтера, на мексиканскую выставку, только, упаси Бог, подальше от политики: «Ну ее, дело темное...» Есть и более сложная, более серьезная категория молодежи — те, которые мучительно переживают все связанное с культом личности. Этим придется труднее всего.

Но каковы бы ни были все эти ребята (я не говорю о «накипи» и «плесени», которая есть везде), личные их устремления — хочу быть тем-то или тем-то, как правило, сочетаются не только с выгодой и полезностью для них самих. Существует еще такое понятие, как долг — перед народом, страной. Мне кажется, это глав-

---

[1] После того как этот очерк был опубликован в журнале, я получил письмо от одного американского студента, в котором были такие строки: «Между прочим, один из школьников, с которым вы в поезде познакомились, теперь тоже изучает русский в Йельском университете. Он был немножко удивлен тем, что вы о них писали...» Думаю, что это «удивление» связано с моими прогнозами на их будущее. Что ж, тем лучше...

ное, что отличает нашу молодежь от западной, буржуазной.

Спор об этом у меня зашел в одном уютном коттеджике недалеко от Вашингтона. Попал я туда по приглашению Общества дружбы ветеранов. Пригласил нас туда высокий симпатичный парень, довольно хорошо говоривший по-русски. Он пришел в ресторан нашей гостиницы, как раз когда мы обедали, и, вручив нам визитные карточки с нарисованным символическим рукопожатием, сказал, что члены этого самого общества очень рады были бы пригласить нас небольшими группами по два-три человека к себе домой. В расписании эти визиты не были предусмотрены, но молодой человек с такой грустью сказал: «Неужели вас музеи и небоскребы интересуют больше, чем люди?», что отказать ему было невозможно.

Я уже не помню, кем именно был хозяин дома, в который я попал. Отвезла меня туда совсем по-мужски правившая машиной дама, насколько я понял, дочь русского эмигранта, сказавшая: «Называйте меня просто Ольгой». В небольшом, очень уютном коттедже собралось человек десять, среди них двое русских: муж Ольги Лев Николаевич, немолодой молчаливый журналист, и очень живой парнишка лет двадцати, Володя. С этим-то Володей и развернулась у нас дискуссия, закончившаяся часа в три или четыре утра уже в Вашингтоне в номере нашей гостиницы.

Поначалу все было очень мило и хорошо — шел общий разговор, пили вино и коньяк, затем кофе при зажженных свечах, хозяйка дома все очень уютно и со вкусом обставила. Но часам к двенадцати Володя оживился, перешел на принципиальные темы, и тут Ольга сказала:

— А что, если мы поедем сейчас к нам домой? Там вы закончите свой спор, американцам он все равно мало интересен, а заодно посмотрите моих ребятишек.

Поехали. Попили еще кофе, посмотрели ребятишек — двух очень славных золотоволосых мальчиков, которые вовсе не хотели просыпаться,— и продолжили свой спор. Володя — парень неглупый, темпераментный и искренний, в России никогда не бывавший, родившийся в Америке,— критиковал нашу систему и восхвалял американский образ жизни.

Вообще споры эти — с людьми, явно не приемлющими нашу систему,— в основном всегда сводятся к следующему: «А почему у вас одна партия, а не несколько?

Почему запрещен абстракционизм? Почему в московских киосках не продают «Нью-Йорк таймс»? Где же ваша свобода?» Мы в ответ: «А почему вы преследуете компартию? Почему изгнали Чарли Чаплина? Почему держите военные базы во всем мире? Почему разрешаете вашим генералам произносить поджигательские речи? Это и есть ваша свобода?»

Пользы от таких диалогов не много, они только вызывают взаимное ожесточение,— значительно важнее другое: разобраться в психологии человека, с которым ты споришь (если это, конечно, человек, с которым имеет смысл спорить), вникнуть в суть поставленного вопроса (если это, конечно, серьезный вопрос) и, не слишком хвастаясь, не доказывая, что у нас все без исключения лучше, чем в мире твоего оппонента, спокойно и четко доказывать правоту своей точки зрения.

Мне трудно судить, насколько я в тот вечер был убедителен, но мне кажется, что именно в споре с Володей о молодежи, о ее направленности мне удалось добиться определенного успеха.

Я отнюдь не идеализирую всех наших ребят, которые едут на стройки,— далеко не все руководствуются идейными соображениями,— но сколько все-таки из них едут, веря в то, что они там нужны, что они принесут пользу стране. Возможно ли подобное в Америке? Сомневаюсь. Молодой американец, пусть даже ищущий, думающий, прежде всего заботится о себе, о своей карьере. У нас, например, трудно себе представить молодого человека, который сказал бы: «Я хочу туда-то, потому что мне это выгодно»,— это считается просто неприличным. Если он даже так думает, он никогда не произнесет этого вслух — просто стыдно будет. Молодой американец, напротив, считает это вполне нормальным. И он в этом ничуть не виноват — этого требуют железные законы общества, в котором он живет.

Мой спор с Володей закончился, как я уже говорил, под утро. Прощаясь, он сказал:

— Признаю свое поражение. Не думал, что так будет но вынужден признать.

Больше я с ним не встречался — на следующий день мы уехали,— но мне очень интересно было бы знать, насколько наш ночной разговор изменил его взляды на страну и народ, который (хотя он его и мало знает) не может не быть ему дорог. Мне почему-то кажется, что Володина активность в споре вызвана была именно

этим — он внутренне пытался оправдаться перед самим собой в том, что так далек от больших дел, которые происходят на родине его отцов.

Володя, конечно, не типичен. В нем все-таки слишком много русского — желания поспорить, доказать. Американец вовсе не такой уж спорщик. В чистом своем виде средний, или рядовой, как принято сейчас говорить, американец (рабочий, конторский служащий, студент) не очень склонен ко всякого рода рассуждениям и философствованиям. Это не примитивность, как некоторые считают, и не умственная лень — это, скорее, я бы сказал, своеобразная инфантильность (даже внешне американец выглядит всегда значительно моложе своего возраста) или, как сказал мне один веселый студент Колумбийского университета: «Мы не любим, когда нам забивают голову всякой ерундой». Тут, конечно, надо бы разобраться — что именно считать ерундой,— но, повторяю, американец в противоположность итальянцу, например, спорить не любит, он предпочитает дружескую беседу за стаканчиком чего-нибудь покрепче, любит шутку, веселье, проказы. Вообще по натуре своей он дружелюбен, доверчив, очень прост и естествен в обращении и, если ты попадешь к нему в гости, хочет, чтоб тебе у него было просто и весело. Он не любит скуки, всего официального, формального.

Помню, в какую черную тоску вогнал наших гостеприимных хозяев и их гостей в Буффало один из наших туристов (университетский преподаватель), когда после второй рюмки коньяку вытащил свой блокнот и стал довольно долго зачитывать цифры производства стали, чугуна, марганца и угля у нас на Украине. И как же, наоборот, все влюбились в другого нашего туриста (молодого московского газетчика), который покорил всех своей первой фразой, адресованной хозяину: «Я видел у вас в гараже «форд» последней марки. Можно, я сяду и прокачусь на нем со скоростью сто шестьдесят километров в час?» И прокатился, и поковырялся вместе с хозяином в моторе, и спорил потом о последних матчах бейсбола, и с кем-то затеял борьбу, и американцы не могли уже от него оторваться, а бедный наш преподаватель сидел в углу со своими цифрами в кармане, и о нем все забыли.

Да, прежде всего будь самим собой, а потом уж проповедником. Впрочем, быть самим собой — не есть ли это лучшая проповедь?

Когда все эти размышления по поводу молодежи были уже написаны и вообще вся рукопись почти закончена, я попал в Москве на просмотр одного фильма, который невольно заставил меня опять вернуться к молодежи. Речь идет о картине Марлена Хуциева «Застава Ильича» (по выходе на экран она получила название «Мне двадцать лет»). Смотревший ее одновременно со мной Анджей Вайда, автор превосходного фильма «Пепел и алмаз», человек, которого смело можно отнести к первой десятке современных кинорежиссеров, после просмотра просто сказал, что подобного фильма он еще не видел (думаю, что Вайда на своем веку кое-что все-таки посмотрел) и что, если б была возможность, он тут же, сейчас же пошел бы еще раз его смотреть. А фильм, к слову сказать, идет два часа сорок пять минут.

Идея фильма, его режиссура, операторская работа (Маргарита Пилихина показала нам Москву, какую мы еще никогда не видели на экране,— настоящую, невыдуманную и такую поэтичную, что иногда от счастья узнавания навертываются слезы на глаза), удивительно правдивая, лишенная какого-либо напряжения игра актеров (и все это молодежь, ни разу не снимавшаяся!), диалоги — свободные, легкие, предельно живые (вместе с Хуциевым писал сценарий Геннадий Шпаликов) — все это,— хотя у меня и есть к режиссеру свои претензии,— все это настоящее, большое искусство — правдивое, искреннее, честное.

Все видели очень хороший американский фильм «Марти», не все видели «Любовь двадцатилетних» — пять киноновелл пяти разных режиссеров: французского, итальянского, немецкого, японского и польского. Оба фильма тоже о молодежи. В последнем превосходны две новеллы: первая — француза Трюффо (в ней те же два мальчика, что и в «400 ударов», но уже повзрослевшие, двадцатилетние), и последняя — Анджея Вайды, но о ней мне хочется поговорить в другой раз, не в этих очерках. Три остальные значительно слабее, хотя в каждой из них есть и своя достоверность, и своя правда.

Почему я вспомнил именно эти два фильма — «Марти» и «Любовь двадцатилетних»? Да потому, что оба они вместе с картиной Хуциева создают очень интересную и, как мне кажется, правдивую картину того, как и чем живут сегодняшние «двадцатилетние». В разных странах, на разных континентах.

Герой картины Трюффо очень трогательно и чисто влюбляется в девушку, и из этого в конце концов ничего не получается; у героя западнонемецкой новеллы вся сложность в том, что любимая девушка родила ему сына (он состоятельный журналист, она телефонистка); в итальянской новелле (поставил ее сын Росселини) молодой человек разрывается между двумя любовницами — бедной и богатой; в японской все дело кончается убийством героини героем; наконец, перенесясь в Америку, мы знакомимся с жизнью и следим за первой робкой любовью милого, обаятельного американского парня Марти.

Разные страны, разные ребята... Парижанин — служащий фирмы по изготовлению патефонных пластинок; немец — журналист; человек невыясненной профессии — итальянец; японский рабочий; владелец мясной лавки в Нью-Йорке; в хуциевском фильме — трое рабочих ребят. Всем им по двадцать, по двадцать с небольшим. И все, конечно, любят. Каждый по-своему. И всем им бывает весело, и всем иногда немного грустно (за исключением японца, он все время одержим — вообще эта новелла несколько выпадает из общего плана), и все они порой томятся (в «Марти» и в «Заставе Ильича» одинаково: «Ну, куда пойдем, ребята? Чем заняться?»), но только в одной — хуциевской — картине эти самые ребята позволяют себе спросить самих же себя: «Ну хорошо, а дальше что?»

Герои «Заставы Ильича» — закадычные друзья. Им весело друг с другом. И жизнь у них сложилась в общем неплохо — не так уж чтобы слишком хорошо, но и неплохо. Работают. Один на заводе, другой — в какой-то электровычислительной организации, третий — на строительстве. По вечерам после работы встречаются. Идут гулять. Бывает, и выпьют. В общем, дружат. И вот в этой как будто немного даже устоявшейся жизни появляются свои сложности. У Славки жена и ребенок, а хочется иногда «попарубковать», жена же вроде как подрезает молодые крылья, у Кольки неприятности с начальством — чуть в морду ему не заехал, Сергей неожиданно вдруг влюбляется в дочь некоего несимпатичного, зажравшегося высокопоставленного товарища. И возникают — не могут не возникнуть — вопросы. Как дальше? Как правильно? Как не ошибаться? И, вообще, как жить?

Сергей задает этот вопрос — как жить? — своему от-

цу, погибшему на фронте отцу. Это одна из сильнейших сцен фильма. Отец и сын встречаются. Что это — сон, бред, фантазия, мечта, галлюцинация? Не знаю. Но они встречаются. Отец в пилотке, плащ-палатке, с автоматом на груди. И комната превращается вдруг в блиндаж, и спят вповалку солдаты, и коптит на столе артиллерийская гильза, и отец с сыном пьют. Друг за друга. И сын говорит отцу:

— Я хотел бы быть рядом с тобой в той атаке, когда тебя убили.

— Нет,— говорит отец,— зачем? Ты должен жить...

И сын тогда спрашивает:

— А как?

И отец в свою очередь спрашивает:

— Тебе сколько лет?

— Двадцать три.

— А мне двадцать один...

От этих слов мурашки бегут по спине...

Отец не дал ответа — он уходит, его ждут товарищи... И они идут, три солдата, три товарища, в плащ-палатках, с автоматами на груди по утренней сегодняшней Москве. Мимо проносится машина, а они идут, идут. Идут, как шли в начале картины три других солдата, солдаты революции, по улицам другой Москвы — Москвы семнадцатого года... И шаг их, размеренный, гулкий, сменяется другим шагом... Красная площадь. Смена караула. Мавзолей. И надпись: «Ленин».

В картине много других линий, других узлов, других столкновений, других сложностей, но все эти линии, узлы, столкновения и сложности сводятся к одному: как дальше?

А ответ один — так же, как и сейчас — в неустанных поисках ответа, поисках правильного пути, поисках правды. Пока ты ищешь, пока задаешь вопрос — себе, друзьям, отцу, на Красной площади,— ты жив. Кончаются вопросы — кончишься и ты. Безыдейное, безмятежное и безвопросное существование — это не жизнь.

Получилось что-то вроде рецензии на картину. Очень куцей, но все же рецензии. Я этого не хотел. Я хотел другого. Найти ответ: что же такое, в конце концов, наша молодежь? И чем она отличается от западной? Мне кажется, что Хуциеву в какой-то степени удалось все-таки дать ответ на этот вопрос, рассказав нам об этих трех моло-

дых москвичах, о их дружбе, любви, тревогах и поисках. И мы поняли, что это ребята настоящие.

Я не сомневаюсь, что на Западе тоже есть такие ребята, не может этого не быть — и на Кубе, и в Америке, и в Италии, и во Франции,— но впервые они ворвались в искусство у нас. Думаю, что это все-таки кое-что да значит [1].

На третий день нашего пребывания в Америке в 9.30 утра с Пенсильванского вокзала на поезде, носившем название «The Executive», мы отправились в Вашингтон.

В Америке поезда имеют названия. На Пенсильванской железной дороге ходят поезда: «Президент», «Генерал», «Адмирал», «Золотой треугольник», «Южный ветер», «Патриот», «Эдисон», «Законодатель», «Полумесяц», «Пилигрим», «Виллиам Пенн», «Врата Ада» и еще с десяток других. Наш назывался «The Executive», слово трудно переводимое, по-русски звучащее как «руководитель», «управляющий», «администратор».

С детства я питаю страсть ко всему железнодорожному — поездам, паровозам, семафорам, мостам, вокзалам, даже к расписаниям. Паровоз для меня всегда был, да и остался существом одушевленным. В двенадцатилетнем возрасте, когда мы жили под Киевом, я десятки раз на день бегал на станцию встречаться с любимыми паровозами. Ходили тогда преимущественно пассажирские $Н^{в}$ и $Н^{у}$, иногда А и Б, а на единственном почтовом поезде Киев — Казатин красавец паровоз С типа «Прери», острогрудый, гордый, с низенькой трубой и электрическими фонарями (на остальных были керосиновые). Я знал характер, повадки и голоса каждого из них, и если по каким-либо причинам вечерний почтовый вез не С-513, а Б или $Н^{у}$, я начинал тревожиться: не заболел ли мой любимец? Теперь этих паровозов нет, даже $С^{у}$, по-

---

[1] Работа над картиной продолжалась еще два года. Только в самом начале 1965 года она вышла на экраны. За прошедшие два года многое изменилось — и в самой картине и за пределами ее, и, возьмись я сейчас за рецензию на нее, у меня, я знаю, появились бы новые мысли и сопоставления, о чем-то, возможно, я сказал бы по-другому. Но это когда-нибудь в другой раз. Сейчас же оставляю эту «вроде рецензии» в ее первоначальном виде — как первую реакцию, первое яркое впечатление от просмотренной картины. Тем более что, несмотря на всякие переработки и досъемки, идея картины осталась неизменной.

томок С, встречается только на самых второстепенных линиях [1].

В Америке паровозов вообще нет. Их сменили безликие электровозы и дизели. Но в Дирборне, в «Генри Форд музеуме», мне удалось все-таки встретиться со старым своим знакомым (по картинкам к Жюлю Верну и кинофильмам двадцатых годов) — паровозом «Пасифик»: широкая труба, громадный фонарь, обязательный колокол у будки машиниста и «коровоотбрасыватель» — специальный щит перед передней тележкой. (Между прочим, от Ниагара-Фолс до Буффало нас вез дизель, но тоже с колоколом, который всю дорогу неизвестно для чего трезвонил). В «паровозном» отделе музея я пробыл дольше всего. В нем старик Форд собрал все виды американских поездов, начиная от самых первых с паровозами типа стефенсоновской «ракеты» и крохотными вагончиками в виде дилижансов с идиллическими картинками на стенах и дверцах и кончая могучими титанами, колеса которых в два раза выше человека. Сейчас они стоят рядышком — трогательный малорослый дедушка и устрашающий своими размерами внучек,— и оба они уже в прошлом... Есть в музее и знаменитый поезд, в котором Эдисон мальчишкой торговал газетами и где ретивый проводник съездил ему по уху так, что Эдисон на всю жизнь оглох. В этом же поезде, специально купленном Фордом, через много лет Эдисон своеобразно отпраздновал восьмидесятилетний юбилей — ходил по вагонам и продавал газеты.

Нынешние американские поезда комфортабельны и удобны. Состоят они из очень длинных вагонов разного типа. Наиболее дешевый «coach» (коуч) с проходом посредине и креслами по бокам, подороже спальный (sleeping-car), есть «observation-car» — двухэтажный ва-

---

[1] Человек, подписавшийся «Техник путей сообщения II разряда», прочитав эти строки, прислал письмо с указанием на фактические ошибки. «Так, на стр. 123,— пишет техник,— вы утверждаете, что в первые годы революции на линии Киев — Казатин почтовые поезда возил С-513. Никогда паровоз с указанным номером на указанной линии не работал. В указанное время в Киеве имелись паровозы серии «С» с номерами от 303 до 348 и от 801 до 857. А паровоза С-513 не было». Я смеялся над этим письмом, пока не дошел до подписи. Оказалось, что написал его мой соученик по железнодорожной профшколе, ныне писатель Л. Серпилин, человек с идеальной памятью и действительно знавший в те годы все паровозы киевского узла. Письмо написано, конечно, в шутку, тем не менее, чтоб не вводить читателя в заблуждение, с его разрешения, меняю паровоз С-513 на, допустим, С-303. Все-таки точнее.

гон специально для любителей пейзажей, есть и «lounge-car» (лаундж-кар) — вагон-салон. В этом вагоне я не был, а в слипинге мы ехали из Вашингтона в Чикаго. Скажем прямо: наш обыкновенный мягкий куда удобнее. В американском какая-то очень сложная система расположения купе по двум сторонам прохода и на двух уровнях: в некоторые купе надо взбираться по ступенькам. Но что нас больше всего поразило и поначалу просто поставило в тупик — это проблема уборной. Мы долго рыскали по всему вагону и никак не могли ее найти. Потом она обнаружилась в нашем собственном купе: оказывается, я на ней сидел.

Из Нью-Йорка в Вашингтон — четыре часа езды. «Административный» несется со скоростью сто километров в час. Мимо Филадельфии, Уилмингтона, Балтимора, мимо маленьких американских городков с аккуратненькими, беленькими, очень похожими друг на друга, отдельно стоящими среди зелени домиками, мимо фабрик и заводов, обгоняемый десятками и обгоняющий сотни машин, бегущих рядом по автострадам туда же, на юго-запад — в столицу страны Вашингтон. Иногда на какую-то секунду мы останавливаемся в каком-нибудь Нью-Брунсвике или Трентоне, меняем пассажиров и мчимся дальше.

Пассажиры дремлют или листают журналы — к концу поездки весь вагон будет завален ими, как в свое время покинутые немецкие штабы документацией. Я сижу у окна и опять вспоминаю детство.

Был у меня тогда друг, звали его Яся. Мы издавали с ним газету будущего — 1979 года. Называлась она «Радио». Выпустили мы что-то номеров десять или двенадцать. К сожалению, вся «подшивка» погибла: сожгли немцы вместе с домом, в котором мы жили. С тех пор прошло более тридцати лет, до семьдесят девятого года осталось уже не так долго, но сейчас, вспоминая те дни, трудно удержаться от улыбки: до чего же действительность обогнала все наши детские мечты и фантазии. Единственное, в чем мы обогнали ее (впрочем, до семьдесят девятого года все же еще довольно далеко), это в космических полетах — на Марс мы уже летали. Но на грешной Земле все оставалось на уровне двадцатых годов — даже метро не прорыли, а транспортную проблему Киева решили простым увеличением трамвайных линий до ста номеров. Тогда это нам казалось громадным прогрессом. Войны велись тоже по старинке — в

семьдесят девятом году мы воевали с англо-амами (англичанами и американцами), из-за чего воевали — не помню, но сражения, развернувшиеся на Аляске, как две капли походили на бои в Шампани и у Вердена, тем более что иллюстративный материал мы вырезали из старой «Нивы» и французского «Иллюстрасьон».

Потом газета нам надоела, мы выдохлись, и на смену ей пришла «кругосветная железная дорога» Москва — Владивосток — Нью-Йорк — Париж — Москва. Через Берингов пролив построен был мост, а через Атлантику, которая в те годы не была еще пересечена Линдбергом, поезда переправлялись на быстроходных океанских паромах. На больших листах бумаги, оставшихся от нашей газеты, мы составляли расписания этой самой железной дороги. Были у нас и экспрессы, и курьерские, и скорые, и ускоренные, и почтовые, и даже товаро-пассажирские поезда. Расписание составлено было по всем правилам — станции, где находились буфеты, обозначались перекрещенными вилкой и ножом, а спальные вагоны — маленькими кроватками. До конца мы его так и не довели — преодолели Сибирь, Аляску, Канаду, добрались до Чикаго — и тут подвернулось лето, каникулы, Днепр, лодка — вещи, куда более соблазнительные. Сейчас, тридцать с лишним лет спустя, сидя в мягком кресле «The Executive», я невольно вспомнил о нашем незавершенном труде. Когда несколько дней спустя мы приехали в Чикаго, я тут же на вокзале купил расписание «Огайо — Балтимор рэйлуэй» Чикаго — Нью-Йорк, запечатал его в конверт и отправил в Москву уже не Яське, а Якову Михайловичу — геологу, историку, полиглоту, человеку, несмотря на его солидный возраст, не потерявшему чувства юмора,— а вдруг ему захочется довести до конца прерванное почти сорок лет тому назад такое нужное, большое дело. Увы, по непонятным для меня причинам пакет до адресата так и не дошел: юмор, очевидно, на границах не в почете.

В проспектах сказано, что Вашингтон — по-английски Уошингтон — самая красивая столица в мире. Самая или не самая, не берусь судить — боюсь, что авторы проспекта несколько преувеличивают,— но то, что Вашингтон в репрезентативной своей части действительно красив — это бесспорно. Особенно осенью, с горящей всеми оттенками желтого, оранжевого, красного листвой,

с медленно кружащимися в воздухе кленовыми листьями, с беломраморными дворцами на фоне синего-синего неба и дружелюбными серенькими белочками, прыгающими по деревьям и ярко-зеленым свежим газонам.

Вашингтон — самый неамериканский из всех американских городов. В нем почти нет промышленности, улицы его широки и зелены, дома невысоки. Это тихий, спокойный, очень рано ложащийся спать город чиновников. Вашингтон относительно молод — он ровесник Ленинграда,— и если так уж необходимо выделить его среди столиц мира, то согласимся с тем, что сказано в путеводителе: Париж, Рим и Лондон стали столицами по воле обстоятельств, Вашингтон — по воле проекта, сделанного его основателями. Это верно: Вашингтон весь придуман. Придуманнее его, пожалуй, только столица Австралии Канберра и совсем еще юная Бразилиа. Вашингтон — это две регулярные сетки, наложенные одна на другую,— квадратная и диагональная. Квадратная состоит из перенумерованных и, если можно так сказать, перебуквенных улиц (есть А-стрит, В-стрит и так до Z), диагональная — из авеню, носящих названия штатов: Пенсильвания, Массачусетс, Вирджиния, Мэриленд, Нью-Йорк и т. д. Центр — Капитолий. От него в сторону реки Потомак — широченная зеленая полоса, заключенная между двумя единственно не диагональными авеню — Индепенденс и Конститьюшэн. Заканчивается полоса мавзолеем над Потомаком — Линкольн-мемориал. Между Капитолием и мавзолеем, ближе к мавзолею, стошестидесятиметровый обелиск — Вашингтон-монумент. К северу от него, в центре города, на пересечении Пенсильвании и Нью-Йорк-авеню — Белый дом. Вот и весь, в общем очень простой, планировочный принцип Вашингтона. Автор проекта — француз Пьер Шарль Л'Анфан.

Вашингтон — самый неамериканский из всех американских городов, и все же, как и повсюду в Америке, в нем есть свое «самое большое». Вестибюль вашингтонского вокзала (Юнион стэйшен) — 750×130 футов — самое большое в мире помещение! Национальная галерея искусств — самое большое в мире мраморное здание! Марин Корпс-мемориал — памятник морской пехоте — самый большой в мире бронзовый памятник! Арлингтонский мост — самый большой в мире разводной мост! Вашингтон-монумент — самый большой каменный, а может быть, и масонский (masonry: каменный, масонский; Джордж Вашингтон был масоном) обелиск в мире!

Храм Непорочного Зачатия — самый большой католический собор в США (и из семи самых больших в мире), а в северной абсиде его — самое большое в мире мозаичное изображение Христа (голова размером 8×5 футов, расстояние между распростертыми руками тридцать четыре фута, камни мозаики четырех тысяч оттенков).

А в общем, что там ни говори, Вашингтон очень красив. Я не большой поклонник эклектики и всякого рода подражательных стилей и все же не могу не признать, что бело-розовые и золотисто-мраморные «греческие» портики и колоннады зданий и музеев, утопающих в зелени парков, производят сильное впечатление. Особенно ночью, когда подсвеченные фонтаны изливают каскады воды различных цветов и оттенков, а купол Капитолия и Вашингтон-монумент точно светятся изнутри.

Капитолий — не лучшее здание столицы: он помпезен, многословен, выдержан в самых что ни на есть традиционных формах парламентских зданий XIX века; зато обелиск Вашингтона, предельно лаконичный в своей геометрической простоте — мраморная игла, вонзающаяся в небо,— достоин имени того, чью память он увековечил. Обелиск строился долго, очень долго: сорок лет — с 1848 по 1888 год. Высота его 160 метров, точнее 555 футов и $5^1/_8$ дюйма. С вершины его (там специальное помещение, куда за семьдесят секунд подымаешься специальным лифтом) открывается очень красивый вид на город и его окрестности. Вниз мы спускались по железной лестнице. Занятие довольно утомительное, но зато мы увидели и пощупали камни, из которых обелиск столь долго (помешала гражданская война) возводился. Среди них — громадные блоки с дарственными надписями от отдельных лиц, обществ, городов, штатов, даже государств. Есть и уникальные камни, куски Парфенона, Карфагена, гробницы Наполеона с острова Святой Елены, капеллы Вильгельма Телля из Швейцарии. Может быть, это самое трогающее во всем памятнике.

Невдалеке от обелиска высится другой памятник другому сыну Америки — Линкольн-мемориал, некий парафраз афинского Парфенона, строгий, ослепительно-белый, весь из колорадского мрамора. Это не гробница, это скорее храм, воздвигнутый в честь великого президента. Сам Линкольн, высеченный из мрамора, очень задумчивый, серьезный, немного грустный и усталый, сидит в мраморном кресле, выдвинув правую ногу немного вперед и положив большие красивые руки на под-

локотники кресла. Мне ничего не говорит имя автора этой скульптуры — Даниэль Честер Френч, но могу смело сказать, что по силе психологического проникновения художника в образ изображенного им человека я, пожалуй, не много могу назвать подобных памятников в галерее так называемого официального искусства нашего времени. Поразительное сочетание мудрости, спокойствия, воли и в то же время, я бы сказал, трагизма. Кажется, что сидящий перед тобой в полумраке прохладного мраморного зала великий человек предвидит не только свой собственный трагический конец, но и всю сложность и противоречивость судьбы народа, которому он посвятил и отдал свою жизнь. И, глядя на его задумчивое, печальное лицо, невольно задаешь себе вопрос, особенно невеселый для нас, русских: мог ли предположить Авраам Линкольн, борец за правду и справедливость, что пройдет не многим более полустолетия — и кое-кто из его преемников, преемников Вашингтона и Джефферсона, попытается задушить рождавшуюся на другом конце земного шара молодую Советскую республику?

Я упомянул имя Джефферсона — третьего президента Соединенных Штатов,— имя человека, которого очень чтят американцы. Томас Джефферсон — выдающийся американский просветитель XVIII века, автор Декларации Независимости, друг Кондорсе и Кабаниса, последователь Жан-Жака Руссо — был, если можно так сказать, самым революционным из американских президентов. Он приветствовал и пытался поддерживать Великую французскую революцию, выдвинул теорию развития революции по мере распространения просвещения в массах и осознания ими своих прав. Он обличал ограниченность американской революции XVIII века, не уничтожившей рабства, не разрешившей аграрного вопроса в интересах народа, не обеспечившей ему подлинных политических прав, он предсказывал неизбежность новых революций в США. Ныне традиции Джефферсона используются прогрессивными силами Америки в борьбе за истинную свободу и демократию.

Памятник ему — Томас Джефферсон-мемориал, круглая колоннада с куполом — высится сейчас на берегу живописного озера и, как говорят, особенно красив весной, в апреле, когда весь утопает в розовом море цветущего вишневого сада — подарка городу Вашингтону от города Токио в 1912 году.

Вашингтон тих, спокоен, рано ложится спать. В задумчивых водах его озер отражаются памятники былой славы, по газонам прыгают белочки. В громадных залах Национальной галереи развешаны бесценнейшие полотна Джотто, Рафаэля, Гольбейна, Вермеера, Рембрандта, Констэбля, Ренуара, Дега, Манэ. В смитсоновском институте — одном из интереснейших музеев Америки — висят за стеклом исторические мундиры Джорджа Вашингтона и генерала Гранта, бережно хранятся аэроплан братьев Райт и знаменитый «Спирит оф Сан-Луи», на котором Чарльз Линдберг пересек океан 20—21 мая 1927 года за тридцать три с половиной часа.

А в Уокс-музеуме — музее восковых фигур — при желании вы можете даже сняться вместе с Франклином и Джефферсоном за точной копией того самого стола, где подписывалась Декларация Независимости, а потом увидеть свою фотографию в «Уошингтон обсервер». Короче говоря, в Вашингтоне «есть что посмотреть».

Мы бродили вдоль изящных решеток Белого дома, такого красивого и спокойного в тени вековых лип и вязов, а на следующий день, 8 ноября, должно было решиться, кто же станет новым хозяином этого дома — Никсон или Кеннеди. Вашингтонец по конституции до 1961 года лишен был избирательного права, но он мог слушать радио, смотреть телевизор. В этот вечер мы тоже сидели у телевизоров и слушали Кеннеди и Никсона.

Два молодых, энергичных американца, один миллионер, другой юрист, вице-президент республики. Кто из них победит? И что даст миру победа одного из них? В Нью-Йорке мы видели сотни плакатов и фотографий двух улыбающихся претендентов, через Бродвей протянуты были громадные полотнища, призывающие голосовать за этого, а не за того, на перекрестках какие-то молодые люди со звонкими голосами раздавали листовки и вступали в дискуссию, а на углу 42-й стрит и Бродвея мы видели даже Генри Кабота-Лоджа — кандидата в вице-президенты от республиканской партии: он ехал в украшенной флагами машине и тоже что-то выкрикивал в мегафон.

Нам, советским людям, это состязание двух соперников тогда мало что говорило. Одного поддерживают одни могущественные тресты и монополии, другого другие. Борьба между Ослом и Слоном (символы двух соперничающих партий — демократической и республиканской),— борьба, стоящая десятки миллионов, нам порой

казалась смешной и наивной. Но американец другого мнения. Люди левого толка, с которыми мы встречались, определенно склонялись к кандидатуре Кеннеди. Он, мол, и моложе (таких молодых президентов еще не было — сорок два года!), и прогрессивнее, и на войне отличился, и вообще, дорогие друзья, в нашей внутренней политике вам разобраться все-таки трудновато, поверьте, мы знаем, за кого голосовать. И вечером девятого числа, сидя, как все американцы, у телевизора, мы следили за подсчетом голосов и тоже «болели» за Кеннеди.

Когда писались эти строки, в 1962 году, Кеннеди был еще президентом. Сейчас его уже нет в живых. Загадочные обстоятельства его убийства когда-нибудь станут известны, сегодня же сама загадочность этого «убийства века» наталкивает на очень серьезные размышления.

Кому мешал Кеннеди?

За два года своего президентства Кеннеди завоевал симпатии и поддержку прогрессивных слоев Америки. Это не значит, конечно, что за эти годы политика США перестала быть империалистической по своей сути, но осуществлялась она в этот период на основе реалистической оценки обстановки и соотношения сил, сложившихся в мире. Впервые в истории Соединенных Штатов президент окружил себя не только профессиональными политиками и дипломатами, а представителями либерально настроенной интеллигенции. Главным образом на нее он опирался в своей повседневной работе. И коекому это не понравилось. Человек решительный и энергичный, он разработал проект закона против расовой дискриминации, этому позору Америки. И это тоже не понравилось. Как человек трезвый, он понимал роль и значение Советского Союза и отказывал в своей поддержке «бешеным» типа Голдуотера. И это тоже не понравилось. Нельзя забывать также, что, будучи одним из богатейших людей Америки, Кеннеди был связан с определенной группой монополий и действовал подчас в ущерб интересам других монополий, что, разумеется, вызвало резкое недовольство со стороны последних (всем памятно его известное столкновение со сталелитейными компаниями). Одним словом, врагов и недоброжелателей у него хватало. Но человек он был смелый — он показал это еще на войне. Когда перед самой поездкой в Даллас друзья попытались отговорить его от этого рискованного шага, он воспротивился. Он поехал. И его убили.

Сейчас трудно еще сказать, на что рассчитывали

убийцы, целясь в президента. На это ответа пока нет. Но то, что в Кеннеди стрелял не один человек, и не безумец (будь то Освальд, или Руби, или кто-то, еще пока нам неизвестный), что выстрел в Далласе был организован и тщательно подготовлен могущественными противниками Кеннеди, это более или менее ясно.

Сами обстоятельства убийства, обстоятельства его расследования вскрыли и перед нами многое, чего мы не знали об Америке. Мы знали, что в Америке есть «берчисты», архиреакционная организация, но не знали, что они так многочисленны и влиятельны. У нас есть определенное представление об американской прессе, но никогда не могли себе представить, что в день приезда президента в местной газете может появиться воззвание с явными угрозами по его адресу. Непонятно нам, как Руби мог оказаться во дворе тюрьмы, когда оттуда выводили Освальда. Почему врачи, осматривавшие тело Кеннеди, дали разные показания? Почему судьи Руби старательно обходили все связанное с убийством президента? Многое, очень многое непонятно. Но ясно одно — силы реакции в Америке могущественны и активны. Поражение Голдуотера на выборах никого не должно успокаивать.

В южной части Арлингтонского национального кладбища на постаменте из полированного лабрадора шесть бронзовых американских солдат водружают звездно-полосатый флаг на воображаемой вершине горы Сурибаки острова Иводзима. Водружение это произошло 23 февраля 1954 года на далеком тихоокеанском острове и, отлитое сейчас в бронзе, символизирует доблесть солдат американского морского корпуса. Трое из шестерых погибли на том же острове, четвертый, индеец Айра Хайс, умер в 1955 году и похоронен неподалеку от памятника, двое же остальных, очевидно, живы и могут в любой момент прийти полюбоваться на свое собственное изображение в бронзе.

Памятник этот может нравиться и не нравиться: он очень динамичен и в то же время репортерски фотографичен (говорят, что автор его, скульптор Уелдон, при работе действительно пользовался фотографией), но, глядя на этот памятник, невольно задумываешься. Шестеро смелых ребят в касках водружают знамя на вершине горы, о существовании которой, вероятно, совсем недавно еще не имели никакого понятия. Что их привело

сюда? За что трое из них отдали свои жизни и похоронены на чужой земле?

Сравнивая вклад той или иной страны в дело разгрома фашизма, мы отнюдь не склонны преуменьшать свои заслуги и жертвы. Мы приняли на себя главный удар и долгое время сражались один на один с противником. Этого мы никогда не забудем. Соединенные Штаты вступили позже нас в войну, они не знали ужасов оккупации, разрушений и варварских бомбардировок, но американские солдаты тоже гибли. Гибли в Пирл-Харборе и на Филиппинах, в Персидском заливе и на Соломоновых островах, под Монте Кассино и на Гималаях. Триста тысяч молодых американцев никогда больше не вернутся домой. Американцы познали не только торжество победы, но и горечь поражения — тот же Пирл-Харбор, трагедия Коррехидора и Батаана, тревожные дни начала сорок второго года, когда казалось, еще немного — и Япония доберется до Австралии, до берегов самой Америки. Нам в те дни было намного тяжелее, но русский человек умеет ценить дружбу, и мы никогда не забудем вклад американцев, которые организовали различные комитеты помощи Советскому Союзу, собирали средства, медикаменты, теплую одежду, а многие гибли, доставляя на транспортах грузы к нашим берегам.

Обо всем этом невольно вспоминаешь, глядя на памятник шестерым американским солдатам. Ведь они тоже воевали против фашизма. Воевали далеко от своей родины, зная, что дома у них все спокойно. И трое из них погибли. За что? Неужели за то, чтоб повязки со свастикой появились на рукавах американской молодежи, чтоб в штаб-квартирах американской нацистской организации «берчистов» висели портреты Гитлера и вновь раздавалось знакомое «зиг хайль!»? Я знаю, большинство американцев относится к ним презрительно и враждебно, но они все-таки есть, и об этом трудно не думать у памятника людям, воевавшим против самого человеконенавистнического, что было на земле,— фашизма.

Две недели в автобусах «Америкэн экспресс»...

«Господа, господа, не задерживайтесь, впереди еще два музея, аквариум и посещение редакции «Чикаго-сан». Мчимся в автобус, рассаживаемся, едем в музеи, аквариум, редакцию. В голове все мешается. Что было после чего? Что мы видели? Что мы пропустили? Что нам заменили? Что еще осталось? «Господа, подъем в восемь.

В девять завтрак. В девять тридцать завод Форда, затем Гринфильд-вилледж, Музей Форда, лаборатория Эдисона, мастерская братьев Райт. В пять выезжаем в Детройт, оттуда в Буффало и автобусом до Ниагара-Фолс...»

Как в кино, мелькают фордовский конвейер, обрастающий деталями корпуса автомашин, проворные неторопливые рабочие руки, «фордики» двадцатых годов с медными клаксонами, любимое кресло Эдисона, колбы, реторты, фонографы, угольные лампочки, верстаки, тиски — «те самые, на которых...», мастерские, типография, кузница — «та самая, в которой...». Голова идет кругом. «Господа, подъем в восемь, завтрак в девять...»

Музеи, музеи, музеи... Эх, людей бы! Посмотреть бы, как живут, чем занимаются, о чем думают...

Тот самый киевский газетчик, назовем его К., член нашей туристской группы, который мучился тем, что ему не о чем будет писать, так как нам не показали еще трущобы, вернувшись домой, с места в карьер стал выступать с докладами. По городу развешаны были афиши «Америка, ноябрь 1960 года». Я пошел на один из этих докладов. К. очень обстоятельно говорил о контрастах, о трущобах, о безработице, о нищете, о нью-йоркских улицах, где никогда не бывает света, о тяжелых условиях труда, дороговизне квартир, дискриминации негров, забастовках — обо всем, что он знал еще до поездки в Америку,— и ни словом не обмолвился ни об одном живом человеке. Его спросили о ценах на товары. Он ответил, что этим не интересовался. По залу прокатился шепоток. Молодой парнишка, стесняясь, спросил, как обстоит в Америке дело с алкоголизмом, много ли там пьют? К. ответил:

— Много. В Вашингтоне, нет, виноват, в Чикаго мы видели одного пьяного, он еле держался на ногах.

По залу прокатился хохот. Мне было стыдно, хотя я и понимал, что такого, как К., слава Богу, не встречаешь на каждом шагу.

Другой журналист, наш, советский, проживший в Нью-Йорке около четырех лет, говорил мне:

— Америка действительно страна контрастов. Причем контрастов разительнейших. Нищета и богатство, красота и уродство — все это рядом. Но когда говоришь о контрастах, надо придерживаться все-таки каких-то пропорций черного и белого. Прошу вас, если вы будете писть об Америке, придерживайтесь хотя бы, как здесь говорят, фифти-фифти — пятьдесят на пятьдесят. И не пишите, что американская молодежь интересуется только

рок-н-роллом и бейсболом. Интересуется, даже увлекается, но газеты, поверьте мне, тоже читает. И журналы и книги. И вашу статью прочтет. Учтите это, чтобы потом не краснеть.

Кстати о контрастах, упомянутых журналистом. Это верно и неверно. В Греции или Турции, допустим, контрасты куда разительнее, чем в Америке, Америка же поражает не столь контрастами (которых, конечно, хватает), сколь убийственной стандартизацией, униформированностью, однообразием образа жизни, мыслей, быта, вкусов, привычек. Хорошо знающий Америку, итальянский писатель Гвидо Пьовене пишет, например, о том, что даже способные студенты в американских колледжах добиваются, чтоб им ставили отметки не выше средних. Отделы найма крупных фирм не любят брать на службу людей со способностями выше средних, они приносят беспокойство. (Большинство ученых-теоретиков, физиков, математиков поставила Америке Европа, вернее Гитлер.)

И еще один журналист. На этот раз американец, но хорошо знающий русский язык и неоднократно бывавший у нас. Он спросил меня (это было два года спустя, в Италии), собираюсь ли я писать об Америке, и если да, то могу ли я не кончать свой очерк строками о трудолюбивом, талантливом и мужественном народе, который автор, несмотря ни на что, полюбил, хотя и пробыл в Америке недолго.

— Я начну вашу статью с конца,— сказал он,— и если там будут эти строки, не стану ее читать,— значит, она необъективна.

Я пообещал ему кончить свой очерк какой-нибудь другой фразой и, в свою очередь, спросил, как он заканчивает свои статьи о Советском Союзе. Он улыбнулся и сказал:

— По-разному. Но однажды кончил именно так, научившись этому у вас, поэтому и предостерегаю.

Парень он был неплохой и, как я потом узнал, в своих статьях, печатавшихся в не слишком просоветском журнале, придерживался фифти-фифти.

Я лично убежден, что, рассказывая о жизни той или иной страны, ни в коем случае нельзя придерживаться какой-то процентной нормы. Дело не в процентах, а в умении видеть и стремлении разобраться в увиденном, в тех мыслях и ассоциациях, которые возникают у тебя от того или иного явления, от той или иной встречи. На большее

претендовать трудно, если пишешь не научный труд, а путевые заметки.

Несколько выше я писал об американской молодежи. Удалось ли мне ее узнать? Ведь за две недели я сталкивался с нею всего три раза. Первый раз с русским — Володей, второй — в поезде со школьниками, в третий — с двумя студентами Колумбийского университета. В сумме своей это что-то дало, но боюсь, что именно «что-то» не более. И все же...

Встреча с колумбийскими студентами меня разочаровала. Впрочем, тут для меня не все ясно. Когда мы уезжали из Нью-Йорка в поездку по стране, Тадеуш Осипович, наш словоохотливый гид, сказал, что, когда мы вернемся в Нью-Йорк, мне обязательно надо будет встретиться со студентами русского отделения Колумбийского университета, которые, мол, об этом очень просили. Я, конечно, тут же согласился: что может быть интереснее?

По возвращении в Нью-Йорк — на второй, кажется, день — мы всей группой пошли в университет. Тадеуш Осипович опять предупредил меня, чтоб я не забыл о студентах, которые ждут встречи. Хорошо. Пришли. Приняли нас очень мило в каком-то небольшом зале для торжеств. Сказаны были необходимые слова приветствий, потом мы разбились на маленькие группы, и физики пошли к физикам, историки к историкам, а я отправился на поиски тех самых студентов, о встрече с которыми давно мечтал. Сопровождал меня в этих поисках профессор Мэтьюсон, преподаватель русской советской литературы. Немолодой уже, приветливый господин, превосходно говоривший по-русски, автор книги о положительном герое в советской литературе. Книги этой я не читал — думаю, если бы прочел, у меня нашлось бы о чем поспорить с ее автором,— но объективности ради должен сказать, что по отношению ко мне профессор был очень предупредителен. О встрече со студентами он ничего не знал, но предложил свои услуги в поисках их. Зашли мы в несколько аудиторий, заглянули в библиотеку русского отделения — никого нет. Проходили мы так с полчаса, если не больше, кого-то останавливали, кого-то спрашивали, но так никого и не нашли. Почему? Не знаю. Профессор Мэтьюсон явно был озадачен и даже, я бы сказал, смущен. Мы зашли в студенческое общежитие (к слову сказать, похожее на нашу московскую гостиницу «Юность», только побольше), но и там никого не нашли.

Веселые ребята и девушки, сбегавшие по лестнице, приветливо нам улыбались, на наши вопросы пожимали плечами и убегали дальше. С горя мы двинули в студенческий ресторан.

— Сядем вот за тот столик,— сказал профессор Мэтьюсон.— Там как будто славные ребята.

Ребята оказались действительно славными, с симпатичными интеллигентными физиономиями. Они любезно и вежливо, похлебывая кофе, отвечали на все мои вопросы, но сами не задали ни одного. Я им был почему-то не интересен. Представляю, как оживилась бы столовая нашего университета, если бы туда зашел и подсел к чьему бы то ни было столику пусть самый обыкновенный американский парень, я не говорю уже о журналисте или писателе. Какой завернулся бы спор, сколько пододвинуто было бы стульев. Ничего подобного здесь не произошло. Ребятам просто было скучно, несмотря на всяческие подстегивания профессора Мэтьюсона, пытавшегося их растормошить. Мне кажется, что оба они даже с облегчением вздохнули, когда мы стали прощаться.

Почему так произошло? Не знаю. Я ведь был первым советским человеком, которого увидели эти два молодых американских студента. На какую-то долю секунды в самом начале встречи зажегся в их глазах огонек любопытства и сразу погас. А вот мальчишки в поезде Буффало — Нью-Йорк всем интересовались и задавали тысячи вопросов [1].

В фильме «Америка глазами французов» (люди, знающие Америку, говорят, что там многое правдиво схвачено) показана различная американская молодежь: и пляжно-рок-н-ролльная, и пьяно-карнавальная, и веселые солдаты на ковбойских состязаниях уголовников, и будущие отцы семейства, проходящие на куклах курс ухода за детьми, и красивые мальчики и девочки, живущие с того, что снимаются для журнальных обложек и реклам, и юные преступники с мрачными лицами, которых уводят за решетку... В Гринвич-виллидж (нью-йоркский Монмартр) я тоже видел «веселящуюся» молодежь.

---

[1] В письме из Америки от студента Йельского университета В. Гулда мне приятно было прочитать следующее: «Результаты вашего посещения Колумбийского университета так же обидны нам, как и вам, и я хотел бы от имени всех студентов, изучающих русский в нашей стране, сердечно просить за это вашего прощения». В том же характере написано и письмо студентки славянского отделения Колумбийского университета Эмилии Толл.

Один размалеванный во все цвета радуги пьяный парень ходил взад и вперед по тротуару и все кричал о том, что ему наплевать, кто будет сидеть в Белом доме — Кеннеди или Никсон, куда важнее, кто находится сейчас в Кремле?! Все это есть, я знаю, и, вероятно, даже значительно больше, чем это показано в фильме, но как-то не хочется верить, что нет другого. Конечно, есть, наверное, есть, но я, увы, не столкнулся. Поэтому я так жалею, что не встретился с теми студентами, которые меня пригласили и которых я не смог обнаружить. Кто в этом виноват? «Америкэн экспресс», профессор Мэтьюсон, студенты, я сам? Не знаю. Во всяком случае, мне кажется, не я...

По этому случаю судить, конечно, трудно, но за две недели, что я пробыл в Америке, я не сдружился, не сблизился ни с одним американцем. Не то что в Италии с итальянцами. Мой «итальянский блокнот» заполнен адресами, в «американском» — два-три случайных телефона. И это при американской общительности и простоте в отношениях.

Что поделаешь, придется об американцах, их вкусах, стремлениях, симпатиях говорить косвенно, опираясь на то, что мне было более доступно. Портрет получится не очень точный, не очень ясный, как бы освещенный отраженным светом, но другого выхода у меня нет.

Одним из таких «отражений» является, безусловно, искусство.

Очень ошибаются те, кто думает, что абстрактное и вообще так называемое «левое» искусство в Америке в почете. Ничуть не бывало. Правда, на нью-йоркском аэродроме Айдл-уайлд с потолка вестибюля свешивается и медленно вращается некая многолопастная конструкция, считающаяся скульптурой (кстати, сама по себе она мне очень понравилась, в ней есть что-то птеродактильно-геликоптерное, иными словами — авиационное), есть в Нью-Йорке и специальный музей наиновейшего, наилевейшего искусства, Музей Соломона Р. Гуггенхейма на 5-й авеню, есть в Америке и богатые коллекционеры, не жалеющие денег на покупку всякого рода сверхлевых ухищрений, но в массе своей американец не любит такого искусства, он любит искусство «похожее».

Я, например, очень люблю польский плакат. Мне кажется, что в этой области поляки нашли свой собственный, очень выразительный и не похожий на другие язык. Польский плакат при всех качествах, необходимых пла-

кату,— броскости, запоминаемости, лаконичности — прежде всего произведение искусства. В польском плакате нет назидательности и риторики (чем, увы, часто грешим мы в своих плакатах) — он образен и поэтичен. Вспомните хотя бы плакаты шопеновского конкурса или знаменитый антивоенный плакат «Nie!» — три элемента: бомба, руины и краткое, выразительное слово — нет! В Америке такой плакат не прошел бы. Американский плакат предельно натуралистичен, фотографичен. Обложки журналов, книг тоже. На стенах небоскребов, у входа в кино, по бокам автострад, везде — громадные красавицы, красавцы, ковбои, гангстеры, улыбающиеся или неулыбающиеся физиономии, и все это очень добротно, старательно и, главное, сделано страшно «похоже». Условности никакой.

Я говорю сейчас о самом утилитарном виде искусства, потому что он самый доходчивый и больше всего свидетельствует о «широких» вкусах. Но если говорить о «большом» искусстве, то и в нем мы сталкиваемся в большинстве своем с тем же. Очень характерен, к примеру, тот самый памятник морской пехоте, о котором я уже говорил. Его фотографичность, всамделишность усугубляется еще тем, что само водружаемое знамя не бронзовое, а самый что ни на есть матерчатый, развевающийся по ветру американский «старз энд страйпс» — звезды и полосы.

Да, памятник этот вызывает определенные эмоции, даже сильные, я об этом уже говорил, но я остерегся бы назвать его произведением искусства. В этом памятнике есть рассказ о некоем волнующем событии, но в нем начисто отсутствует образ, а без образа, как известно, искусству, особенно изобразительному, трудновато. (Кстати, по-украински «изобразительное» — «образотворче», что, по-моему, очень точно.)

Образ... Как часто мы о нем говорим и как часто забываем, что без него искусства нет. Мертвая и живая вода. Мертвая только склеивала разрубленное тело, живая вселяла в него душу, жизнь. Памятник морякам — мертвая вода. А вот памятник разрушенному Роттердаму — живая. Многие москвичи помнят экспонировавшуюся в 1961 году на французской выставке в Москве его бронзовую копию (оригинал работы выдающегося французского скульптора Цадкина стоит в Роттердаме). Большинство посетителей возмущались скульптурой, издевались над ней, в лучшем случае пожимали плечами:

«Что это — человек или кусок рваного железа?», «И почему у него в животе дырка?», «А где лицо?», «Нет, это не искусство, это черт знает что!» Мне больно было слушать. Больно, потому что роттердамский памятник, памятник варварски уничтоженному городу и тысячам погибших людей, тщетно взывающих к справедливости, памятник этот — страшный, кричащий — произведение большого, настоящего искусства, это живая вода.

Живая и мертвая вода...

Недалеко друг от друга, по обе стороны Арбатской площади, стоят два памятника. Оба Гоголю. Один работы Андреева, другой — Томского. В свое время самодовольный, напыщенный Гоголь Томского прогнал вместе с пьедесталом андреевского Гоголя и встал на его место. И стоит до сих пор. Не знаю, как другие, но я всегда обхожу его, пересекаю Арбатскую площадь с другой стороны. А если есть время, обязательно захожу в маленький дворик на Никитском бульваре, где рядом с домом, в котором он умер, сидит в раздумье, накинув шинель на плечи, не «мертвый», а «живой» Гоголь. Это один из прекраснейших памятников в мире. Я прошу читателя не полениться зайти в этот дворик и обойти памятник по полукружию, от правого плеча Гоголя к левому. И вы увидите нечто совершенно необычайное. Вглядитесь в его профиль, в его лицо — перед вами Гоголь «Вечеров на хуторе близ Диканьки» — мягкий, чуть иронический. Двигайтесь по полукружию — на ваших глазах он меняется. С последней точки это уже Гоголь сомнений, мистики, сожженных «Мертвых душ»... Подобной трансформации я не видел нигде и никогда.

Андреевский Гоголь был изгнан. Теперь он нашел свое место, может быть, даже лучшее, чем было. И здесь мне хочется заступиться еще за один памятник, тоже изгнанный, но до сих пор так и не нашедший своего места. Снятый с пьедестала, вот уж сколько лет, он стоит во дворе Русского музея в Ленинграде, и никто его не видит, а молодежь просто даже и не знает о его существовании. Речь идет об Александре III Паоло Трубецкого. Без преувеличения этот памятник можно назвать в своем роде уникальным. Я не знаю другого равного ему по силе обличения. В грузной, торжественно-самодовольной фигуре царя-миротворца, восседающего на массивном, расставившем ноги битюге,— все бесправие самодержавной России. Когда-то, когда памятник еще стоял на пло-

щади Восстания перед Московским вокзалом, на пьедестале высечены были слова Демьяна Бедного:

Мой сын и мой отец при жизни казнены,
А я пожал удел посмертного бесславья.
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросившей ярмо самодержавья.

Так этот памятник и назывался — Пугало. Зачем его сняли? Кому это пришло в голову? К слову сказать, открытие его в 1909 году вызвало скандал. Царские сановники, да и сам Николай II отнеслись к нему как к злой карикатуре, сатире. Почему же мы сейчас не хотим понять, что это не возвеличение, а обличение?

В отдельном зале Национальной галереи в Вашингтоне висит картина, называющаяся «Тайная вечеря». Автор ее Сальватор Дали. Перед ней всегда много народу. Не многие картины удостоились такой чести — висеть в отдельном зале.

Сальватор Дали — один из знаменитейших художников Запада. Он испанец, но вот уж более двадцати лет живет и более чем процветает в Соединенных Штатах. Поэтому, хотя я и остерегаюсь причислить его к американским художникам, мне хочется сказать о нем несколько слов.

Сальватор Дали — сюрреалист. Течение это не новое, ему никак не меньше сорока лет. Наиболее известные представители его Андре Бретон (его называют «папой сюрреализма»), Ганс Арп, Макс Эрнст, Андре Массон, Ив Танги, Рене Магритт. Но, конечно же, самый знаменитый, самый сенсационный, самый шумный, самый экстравагантный — это Сальватор Дали. Ему под шестьдесят, но он полон энергии. У него эффектнейшие колючие, почти как у Вильгельма II, усы, известные всему миру, так как Дали очень любит фотографироваться. Он охотно дает интервью, считает себя философом и даже написал две книги: «Тайная жизнь Сальватора Дали» и «50 секретов магического искусства». Он любит сенсации и всякого рода сногсшибательные проделки. Не помню уже точно, да это не так уж и важно, но где-то в Италии на каком-то им самим поставленном спектакле он сидел в ложе и раздувал по залу золотой порошок. Во время работы он носит на носу бумажку, так как нос ему меша-

ет, мол, работать. На какой-то из своих выставок в Нью-Йорке он поставил в витрину ванну, обшитую изнутри шерстью, в которой лежала красавица, потом влез в витрину, перевернул ванну и разбил витрину...

Но все это так, к слову. Просто я поддался на удочку американских газет, столь падких до сенсаций и всяческого рода чудачеств различных знаменитостей. Если же говорить серьезно, то Дали — художник, наделенный изощреннейшей фантазией, превосходный рисовальщик, и, глядя на его работы, видишь, сколько труда в них заложено. Это не тяп-ляп, не «Заход солнца на Адриатическом море» знаменитого осла.

Если верить Большой советской энциклопедии (см. том 41, статья «Сюрреализм»), то «известный представитель сюрреализма — живописец Сальватор Дали пишет картины, восхваляющие атомную войну». Сказано кратко, выразительно, но, к сожалению, не совсем соответствует истине. Никакую войну Дали, конечно, не восхваляет, и вообще он ничего не восхваляет и не осуждает. Сальватор Дали, как и весь сюрреализм,— явление гораздо более сложное, хотя и вполне закономерное в буржуазном искусстве, в явлениях его деградации.

Я не собираюсь подробно разбираться в сущности этого явления, прародителем которого является безусловно Фрейд с его культом подсознательного. Хочется разобраться в другом: почему музеи и выставки с абстрактным искусством почти пусты, а перед картинами Дали всегда толпы?

Для иллюстрации постараюсь рассказать (если можно так выразиться) одну из картин Дали, которая называется «За секунду до пробуждения от жужжания пчелы, летающей вокруг граната». Уже одно название привлекательно, не правда ли? А содержание еще более завлекательно. Над какой-то плоской скалой, напоминающей остров, спит, закинув руки за голову, парящая в воздухе прекрасная обнаженная женщина. Рядом с ней тоже парит в воздухе плод граната. Вокруг граната вьется пчела. Над женщиной нависла скала. Но это не самое страшное. Над морем или пустыней, раскинувшейся вокруг спящей женщины, опять-таки парит в воздухе другой, большой уже плод граната, надкушенный, теряющий зерна. Из этого плода вырывается страшная рыба с разверстой пастью. Из ее пасти выскакивает не менее страшный, громадный зубастый тигр, из пасти которого в свою очередь выскакивает другой тигр, поменьше.

Сейчас они оба вонзят свои когти в тело прекрасной женщины. Но и это не все. Из пасти тигра, что поменьше, вылетает ружье со штыком, и через секунду штык вонзится в закинутую за голову руку красавицы. А сзади, на горизонте, шествует слон на длинных, суставчатых, как у насекомого, ногах. На спине слона обелиск.

Бред? Да, бред... Но к этому-то и стремится художник. Его мир — это мир кошмаров, галлюцинаций, подсознательного, иррационального. Страшно, непонятно, но, ей-Богу же, занятно. Как всякий аттракцион. Зритель толпится: «Смотри, смотри, какая рыбища... А тигр, тигр, совсем как живой... А почему слон на таких ногах?.. И что все это значит?» Должен признаться, мче тоже было интересно, мне тоже хотелось разгадать, «что хотел сказать автор своим произведением». Головоломка, кроссворд... Но от них иной раз не хочется оторваться, хотя и понимаешь, что попусту тратишь время.

Сочетание внешней «похожести» (тигр действительно как живой) с иррациональностью содержания привлекает зрителя. Наши туристы, в том числе и я, на последние центы скупили в Национальной галерее чуть ли не все открытки с «Тайной вечерей», картиной, о которой в проспекте сказано, что в ней Дали «воссоздает существо XX века формами и линиями классических традиций католицизма, частично Ренессанса, частично барокко, с оттенками испанского реализма». Иди пойми, что это значит (на картине двенадцать склонивших головы над столом апостолов, посредине Христос с головой Гали — жены художника, над всем распростертые руки, и все это заключено в некий тающий в воздухе октаэдр) — иди пойми, все похоже и непонятно, а в общем...

— Дайте мне еще парочку открыток...

О Сальваторе Дали написано много, очень много. Паранойя, галлюцинация, автоэротика, автосодомия, психосексуальность, внутриатомное равновесие, астральное сублимирование и еще не менее чем двумя-тремя десятками таких же страшных слов оперируют авторы этих трудов. И все это говорится вполне серьезно.

Повторяю: множество картин Дали просто поражает своим техническим мастерством, своей необузданной фантазией, но когда под все это подводится какая-то претендующая на научность база, когда говорится, что Дали, «проштудировав и отвергнув труды Маркса и Розенберга, пришел к реактуализации католических, европейских и среднеземноморских традиций, которые мате-

риализуются в колоннадах Бернини, в распахнутых объятиях (распростертых руках) Запада, руках святого Петра в Риме, в Ватикане», когда все это читаешь,— то, откровенно говоря, становится страшно. Тупик...

Глядя на картины Дали в Национальной галерее, на толпы стоящих перед ними людей, я невольно вспомнил такие же толпы перед некоторыми картинами на наших выставках. В них тоже все было похоже и непохоже. Дали убежал от действительности в сновидения, в кошмар, в сюрреализм, кое-кто из наших художников столь же стремительно бежал в другую сторону — в сторону старательно отутюженной, ландринно-ликующей антидействительности, антиреализма.

К счастью, это в какой-то степени уже позади. Но иногда, пробегая по той или иной станции метро или попадая на Сельхозвыставку, невольно вздрагиваешь при виде того, что так недавно еще считалось столбовой дорогой и что, выбирая наиболее мягкое выражение, назовем тоже сновидением...

Почему, заговорив об американском искусстве, я начал с Сальватора Дали? Разве он так уж характерен для Америки? Неужели нет там ничего и никого другого, кто с большим основанием мог бы представить искусство Соединенных Штатов?

Отвечу. Да, характерен. Впрочем, не так для самой Америки (просто он там живет), как вообще для современного искусства Запада. Сюрреализм как некое явление, отвлекающее от действительности и в то же время эпатирующее, вполне закономерен для буржуазного искусства XX века. Но если говорить об искусстве народа, в частности американского, то, конечно же, Дали не может его представить. Не может, потому что в основе своей он антинароден.

Об американском искусстве можно рассказать много интересного — о творчестве индейцев, о примитивах XVIII и XIX веков, об очень своеобразных надгробиях Новой Англии, о таких художниках прошлого века, как пейзажист Альберт Блэклок и маринист Альберт П. Ридер, о выдающемся современном рисовальщике и акварелисте Эндрю Уите, наконец, об очень известном у нас Рокуэлле Кенте или совсем неизвестном, но очень знаменитом у себя на родине Бен Шаане, о своеобразных поисках американских графиков и скульпторов в области государственной графики — почтовые марки и монеты. Но как это ни интересно и ни увлекательно, говорить

об этом мы не будем — не хватит ни времени, ни места. А вот о Грэнд-ма Мозес, о бабушке Мозес не рассказать я не могу.

В один из дней 1960 года, когда в Нью-Йорке торжественно перерезалась ленточка на выставке ее работ (первой в ее жизни!), бабушке Мозес минуло 100 лет... Картин было не много, а народу — толпа. Бабушка все поражалась: «Почему столько людей? Чего они здесь не видели?» Она искренне удивлялась своему успеху. Всю свою жизнь она прожила у себя на ферме, занималась хозяйством, детьми, в свободное время вышивала подушечки, наволочки, салфетки. Вышивала и дарила друзьям. Годам к восьмидесяти руки стали уже не такими проворными, вышивать стало трудно, вот и занялась живописью — опять-таки для себя, для друзей. И вот вдруг выставка, все ахают, поздравляют... Ничего не понять.

Через год после выставки в Нью-Йорке, в 1961 году, бабушка Мозес умерла. А выставка картин ее начала свое триумфальное шествие по миру. Добралась она и до Москвы. Летом 1964 года москвичи имели возможность в одном из залов Пушкинского музея познакомиться с этим большим и самобытным талантом.

Картины бабушки Мозес — это небольшие рассказы. Очень подробные, неторопливые, обстоятельные. Это вся ее жизнь — детство, юность, зрелость, преклонные годы. Это ее ферма — она провела тут почти всю свою жизнь,— это холмы, леса, ручей, старая мельница. Зима, лето, осень, весна. События ее жизни, маленькие и большие. Ловля индюшек перед Рождеством. Так картина и называется. Свадьба. Рождественская ночь. Бабушка едет в Нью-Йорк... От этой картины невозможно оторваться. Бабушка собралась в Нью-Йорк, и вся ферма, все ее обитатели только этим сейчас и живут. Это большое событие. Не так часто бабушка совершает такие путешествия, и не очень-то она их любит. Трясись в машине, в стареньком «фордике», а она привыкла к покойным экипажам. Вот ее поднимают с кресла и сейчас поведут. Несут корзины, провизию, какие-то баулы, чемоданы. Что-то забыли, за чем-то бегут, догоняют. Собаки лают, кошки взбираются на дерево, распустив хвосты, коровы мычат, дети прыгают и кричат, всем мешают... А дорога длинная и, вероятно, опасная, и Нью-Йорк такой шумный, такой бестолковый, так не хочется туда ехать, а надо... Долго, очень долго будут еще вспоми-

нать этот день, а потом другая уже бабушка о нем нам расскажет, и нам почему-то будет интересно.

А интересно нам будет потому, что все это рассказано с такой любовью, с такой подкупающей искренностью, с такими милыми, трогательными подробностями, а главное — таким, видно, хорошим, добрым человеком. Да, это главное.

В какой манере все это сделано? Трудно сказать. Есть что-то и от американских примитивов начала прошлого века, и от Руссо, и от Пиросманишвили, есть много детского, наивного, а в целом ни на что это не похоже — все очень собственное, личное, свое, рассказанное человеком, художником, прожившим очень длинную и несуетливую жизнь вдали от города, шума, страстей, мировых трагедий.

Идиллия? — скажут мне. Отрыв от жизни, ее забот, трудностей, замыкание в собственную скорлупу? Нет! — скажу я. Любовь к жизни! Любовь к жизни и умение по-человечески о ней рассказать.

И все же не живопись, не изобразительное искусство — искусство Америки. Искусство Америки — это архитектура. Точнее — строительный гений.

Но здесь я хочу немного отвлечься.

Современная архитектура бесспорно переживает серьезный кризис. И западная и наша. Наша — благодаря крутому перелому после почти тридцатилетнего «культа излишеств», западная — в силу причин, в которых и хочется разобраться.

Для меня до сих пор остается загадкой творческий путь Ле Корбюзье — архитектора № 1, как назвал его молодой, симпатичный и пылкий итальянский архитектор пока еще без номера, с которым мы спорили в Риме о путях развития современной архитектуры. Мне почему-то кажется, что творчество Ле Корбюзье последних лет — яркое свидетельство того кризиса, который переживает сейчас архитектура Запада.

Лет двадцать — тридцать тому назад архитектура и инженерия жили мирно и дружно, держась за руки, помогая друг другу. Сейчас появилась какая-то трещина. И с каждым днем она становится все шире и шире. Впечатление такое, что архитектура (говорю, конечно, условно — иными словами, идейное начало) вдруг обиделась на инженерию. Ты, мол, подрезаешь мне крылья, хочу на простор... И вот получается капелла Роншан.

Я уже писал о ней. Она прогремела на весь мир. Появление ее оказалось событием в современной архитектуре. Капеллу причислили к «лику святых». Во Франции она считается сейчас памятником архитектуры, подобно Реймскому собору или замкам Луары.

Я пытаюсь вникнуть в эту капеллу. (Я сознательно отбрасываю сейчас основное — п о ч е м у мастер, в период своего расцвета говоривший: «Какое мне дело до церквей: проблемы архитектуры в другом — в строительстве городов!» — почему на склоне лет он занялся вдруг церковной архитектурой?) Капеллу видно издалека — белую среди живописной зелени предгорий Вогез. Она стоит на месте своей погибшей во время войны предшественницы. Описать ее невозможно. Могу сказать только одно — она не похожа ни на что из того, что когда-либо строилось человеком. В самых грубых выражениях — это темная подушка, лежащая на изогнутых, наклонных белых стенах. И белая обтекаемая колокольня. И еще две поменьше, стоящие друг к другу спиной.

Попытаемся разобраться отдельно в образе, отдельно в структуре. Начнем со структуры. Стены сделаны из камня. Они оштукатурены белой, очень грубой, шероховатой штукатуркой и снаружи и изнутри. Несущие железобетонные конструкции тоже оштукатурены, как и стены. Строительный материал — разный — скрыт общей декорацией, штукатуркой. (Кстати, на главной колокольне она вся в потеках от дождей — в свое время Корбюзье такого не допустил бы.) Перекрытие капеллы железобетонное, не оштукатурено — следы от опалубки сознательно оставлены (между прочим, это сейчас очень модно на Западе). Все это, очевидно, для контраста — от былых принципов конструктивизма (ничего не скрывать, все говорит само за себя) не осталось и следа. Очевидно, принципы сейчас уже другие. И в основе их нечто новое, то, что раньше отрицалось,— образ.

И вот тут-то самое сложное. Перед нами безусловно образ иррационального. Возможно, даже мистического. Логика архитектурной конструкции, формы отвергнута. Вместо нее алогичность иррационального, экспрессивного, неразгаданного. Не спрашивай, не спрашивай, воспринимай так, как оно есть. Вот и все.

Люди, побывавшие внутри капеллы, говорят, что впечатление очень сильное. Потолок темный, изогнутый. Стены то вертикальные, то наклонные, то мягко изги-

баются. В той, что наклонна, десятка два отверстий — амбразур (их трудно назвать окнами), прямоугольных, очень глубоких, различных размеров, разбросанных без всякой системы. Прорывающиеся сквозь них лучи солнца, по-видимому, создают большой эффект. В амбразурах стекла прозрачные, но есть и разноцветные, что должно приближать капеллу к древней романской и готической архитектуре. Нет, очевидно, не так — очевидно, вызывать у молящихся эмоции, сходные с теми, которые вызывала архитектура и витражи готики...

Вот что писал сам Корбюзье о капелле: «Свобода: Роншан. Архитектура полностью свободная. Никакой задачи, кроме как служение мессе — одному из древнейших человеческих установлений. Единственный, кто здесь присутствует,— это пейзаж, четыре стороны горизонта. Это они командуют. Истинное явление зримой акустики. «Зримая акустика, явление, вводящее в область формы»; формы создают шум и тишину: одни говорят, другие слушают».

Что все это значит? Истинная свобода... Служение мессе... Зримая акустика... Шум и тишина... Что это значит? Опять уход от действительности? Опять иррациональное? Новая теория?

Оказывается, нет. Капелла строилась пять лет — с 1950 до 1955. В это же время и позже по проектам Корбюзье возводился знаменитый правительственный ансамбль в столице Пенджаба Чандигархе, строились виллы в Ахмедабаде, жилые дома в Нейи-Сюр-Сен и Нант-Рэзэ, корпус Бразилии в Университетском городке в Париже, Музей в Токио. И все это на других, более близких «старому» Корбюзье принципах. Даже в законченном в 1959 году доминиканском монастыре в ля Турет, возле Лиона, Корбюзье очень бережно отнесся к форме, может быть, даже слишком. А ведь там тоже служат мессы...

Я жалею об одном. Корбюзье рвался к большему, к строительству городов, к «Лучезарному городу», как назвал он то, что ему так и не удалось осуществить. Он рвался к нам. И тут я не могу не привести несколько строк из тех писем Корбюзье, о которых я уже писал в своей предыдущей книге,— писем, присланных нам, студентам-архитекторам, в 1932 году. Речь идет о конкурсе на Дворец Советов, который отметил премиями Иофана, Жолтовского и американца Гамильтона, обойдя Корбюзье. Вот что он писал:

«Дворец Советов должен быть венцом пятилетнего плана, должен быть возвеличением архитектурных принципов нового строя, который вдохновил этот пятилетний план... Правительство СССР заказало мне проект. Программа требовала учета всех достижений современной техники. В течение трех месяцев пятнадцать проектировщиков были заняты анатомическим анализом проекта. В нашей мастерской царил всеобщий энтузиазм. Самые тонкие и мелкие детали страстно изучались. При каждом новом открытии, при каждом новом решении то тот, то другой проектировщик восклицал: «Они будут довольны в Москве!» Мы все думали, что проект будет рассмотрен с точки зрения его технических качеств, на почве строительной и архитектурной реальности. Основой нашего проекта были: график движения, хорошая видимость, акустика, вентиляция, статика сооружения.

И вот вынесено решение. Ничто из этого не принято во внимание. Премированы эскизы фасадов, академические купола... Даже жюри в своем решении признало, что премированные проекты не дают никаких указаний о способе перекрытия залов, акустике, отоплении, вентиляции!!!

Разочарование у наших пятнадцати проектировщиков было невообразимое — возмущение и раздражение».

И из другого письма:

«Я очень доволен, что планы Дворца поручены моим друзьям Весниным, но я хотел бы лично работать над теми моментами, в которых чувствую себя вполне уверенным... Я считаю за собой известные права на это сотрудничество, так как наш проект, конечно, является одним из самых серьезных среди представленных».

И, наконец, последние, самые горькие строки:

«Мне много раз предлагали составлять планы для городов СССР, но это оставалось только разговорами. Я этим очень огорчен, так как чувствую, что обладаю сейчас истинами, которыми я хотел бы поделиться с другими. Я так глубоко оценил основные социальные истины, что мне первому удалось создать, вполне естественно, великий город без классов, гармоничный и улыбающийся. Иногда я огорчаюсь, видя, что в СССР со мной борются по поводам, которые мне не кажутся достаточными».

Возможно, Корбюзье несколько и преувеличивал, считая, что ему уже удалось создать бесклассовый го-

род, но так или иначе мы не привлекли его, не привлекли очень большого мастера. И это очень жаль.

Разрушение формы, уход в иррациональное — не единичное явление в современной западной архитектуре. Очень характерен в этом отношении Джованни Микелуччи — известный итальянский архитектор, автор многих зданий, построенных в тридцатых годах, в том числе и флорентийского вокзала, о котором в свое время много писали. Все эти здания выдержаны в более или менее обычных формах рационально-конструктивистской архитектуры, свойственной тем годам. Сейчас Микелуччи сделал проект двух церквей (любопытно, что в наши дни церковники дают наибольшую свободу архитекторам) — Санта-Мария и Автострада-дель-Соль.

Я смотрю сейчас на фотографии эскизов этих церквей, макетов, сделанных из глины, и опять-таки не нахожу слов. Ищу чего-то, с чем можно было бы сравнить, и не нахожу. Скорее всего, это похоже на то, что дети лепят из мокрого песка на пляже. Что-то расплывчатое, расползающееся, иногда очень привлекательное, вроде средневекового замка или торта, а в общем непонятное. А может, церкви так и надо строить? Что ж, пусть строят. Жаль только, что на это тратят время (только ли время?) люди, которые могли бы заняться куда более полезным делом.

Все это довольно длинное отступление я сделал специально для того, чтобы подготовить свой разговор об архитектуре Америки.

Мне не раз задавали вопрос: нравится ли она мне? Да, нравится, отвечал я. И сейчас отвечаю: нравится. Я вижу несколько удивленный взгляд. Как? Американцы сами не знают, как выбраться из того, что они нагромоздили. Если уж говорить о тупике, так вот где тупик: транспортная проблема неразрешима, воздуха нет, солнца нет, надземная железная дорога в Чикаго может свести с ума человека с любыми нервами, небоскребы хороши только на открытках и нравятся разве что туристам...

Все это так, и все же...

Мы бродили с товарищем по берегу озера Мичиган в Чикаго. Вечером еще шел снег пополам с дождем, город тонул в красно-желтом от реклам тумане, блестел мокрым асфальтом, а сейчас распогодилось, светило солнце, и озеро, большое как море, тихо набегало плоскими волнами на широченный, пустынный, холодный пляж.

Кругом удивительно, неправдоподобно пусто. Проносятся машины — низкие, широкие, бесшумные,— а людей нет. Мы одни на этой бескрайней набережной. Чикагцу здесь нечего делать, сейчас не лето, пляж закрыт. (А какой пляж! В Ялте бы такой...) И эта пустынность, безлюдье, эта почти идиллическая тишина создает возможность посмотреть на город — самый американский из всех городов, даже более американский, чем Нью-Йорк,— посмотреть на него со стороны, не суетясь, никуда не торопясь, присев на парапет, покуривая сигарету, лениво перебрасываясь фразами.

С одной стороны, озеро — четвертое в мире по величине озеро, если не считать Аральского моря,— поднялся ветер, и оно покрылось сейчас барашками, с другой стороны, фронт небоскребов Золотого берега, фешенебельнейшего района Чикаго. И среди них два черных стройных небоскреба. Я их знаю по фотографиям. Они знаменитости, их строил один из прославленнейших архитекторов Америки — Мис Ван дер Роэ. Красиво! Ей-Богу, красиво. Город!..

Потом мы идем через мост, под ним десятки железнодорожных путей, движутся какие-то составы, товарные, пассажирские, мигают светофоры, а по мосту беззвучно несутся машины, и двое рабочих в люльках вкручивают лампочки в букву «о» гигантской «кока-колы» (зря мы над ним посмеиваемся: вкусный, действительно освежающий напиток). Перед нами новая панорама — небоскребы Мичиган-авеню. На два километра вытянулись в ряд. И во главе их недавно построенный Прюденшиал-билдинг. Он сейчас весь горит — невысокое ноябрьское солнце отражается во всех окнах его сорока с лишним этажей. Идем вдоль набережной и, свернув на Мэдисон-стрит, попадаем в самый центр, в Луп, в петлю (loop — по-английски «петля», и в этом месте надземная железная дорога «elevation» действительно образует петлю).

Рекламы все горят, круглосуточно горят, здесь всегда полумрак, сияют витрины, в них что-то блестит, переливается, на углу, у лестницы в надземку, лежит кипа газет с результатами президентских выборов, и прохожие на ходу берут их, положив в специальную баночку пять центов, а над головой уходят куда-то ввысь серые небоскребы, и с этого на тот когда-то, лет сорок тому назад, перепрыгивал Гарольд Ллойд...

Город... Гигантский город. Крупнейший узел желез-

ных дорог. Тысяча семьсот поездов в день! Второй город Америки. Знаменитые скотобойни, консервы, чугун, сталь. Город, где зародилась американская компартия. Город, которому мы обязаны 1 Мая, после расстрела демонстрации 1886 года. Город, в котором сто тридцать лет тому назад было четыре тысячи жителей, а сейчас пять с половиной миллионов. Город, сгоревший в семьдесят первом году почти дотла и до сих пор бережно хранящий наружные пожарные лестницы на всех небоскребах. Город финансистов, магнатов, клерков, рабочих. Город... Гигантский город.

А архитектура? При чем же тут архитектура? И что здесь может нравиться? Полумрак на улицах, пожарные лестницы?

Могу сказать: мне, городскому жителю, нравится подчеркнутая урбанистичность этих городов. Мне нравится небоскреб весь из стали и стекла, в котором отражаются бегущие по небу облака. Мне нравится, задравши голову, смотреть на его грань, точную, как математическая формула. Мне нравится безалаберная сутолока небоскребов, уничтожающая регулярность улиц. Я говорю об облике города. Не о его трагедии — пыльно, жарко, тесно, задыхаешься от бензина, не о продуманности или случайности планировки и чистоте стиля его зданий, а именно об облике.

Я понимаю всю необходимость, всю значительность регулярной застройки Юго-Запада Москвы, но для меня Москва — это не Ломоносовский проспект, не проспект Вернадского (это уже другой город, вполне современный, со своим лицом, характером, но другой), для меня Москва — это путаница арбатских переулочков, в которую хорош он или плох, но уже врос, стал своим высотный дом на Смоленской, для меня это несуществующие сейчас Кречетниковский переулок и Собачья площадка, Дом Моссельпрома на Кисловском, на котором какой-то не в меру ретивый управдом замазал строки Маяковского. Для меня это Тверской бульвар с шахматистами-пенсионерами и роющейся в песке ребятней, гостиница «Москва» (хотя я помню еще Охотный ряд с церковью и рундуками), метро «Площадь революции» со своими наивными, но такими милыми нашему сердцу, навевающими столько воспоминаний скульптурами парней и девушек, для меня это андреевский Гоголь, Василий Блаженный, Красная площадь.

Здесь я мысленно представляю себе некоего нью-

йоркского старожила, вздыхающего: «Эх, Нью-Йорк, Нью-Йорк, я помню тебя, когда еще не было этой суеты, спешки и катились себе, не торопясь, по 5-й авеню прекрасные экипажи, а на Тайм-сквер ворковали голуби. И дом компании Зингер был самым высоким в мире. Теперь его и не найдешь среди этих стеклянных коробок. И трамваи ходили — за три цента весь Манхэттен, а сейчас спускайся в эти тесные, душные подземелья. Эх...»

Дело не в том, что было и что есть. Речь идет об облике города, о его неповторимости, его обаянии. Ленинградские каналы, белые ночи, Адмиралтейская игла и мрачные достоевско-добужинские дворы со штабелями дров неповторимы так же, как неповторима Москва поленовских двориков на фоне строительных кранов и панельных домов — нынешняя Москва! — как неповторимы днепровские кручи и медленно вползающий в гору своей булыгой Андреевский спуск в Киеве, как неповторимы одесские дворы с галереями и развешанным бельем. В этой неповторимости — лицо города, его обаяние, его душа.

Я видел много безликих городов в Америке, один, как другой, не отличишь: Буффало, Детройт, еще какие-то — все слилось вместе, но ни о Нью-Йорке, ни о Чикаго я этого не скажу. У них свое, может, чужое мне, но свое лицо, свое обаяние, своя душа.

Я шел как-то рано-рано утром по каким-то улицам в районе гудзоновских доков. Тянулись бесконечные заборы складов с громадными надписями, совсем по-нашему свистели где-то маневренные паровозики, перебегали улицу ободранные, озирающиеся кошки, и вдруг, свернув в какую-то улицу, я увидел Эмпайрстэйт-билдинг... Он был еще окутан утренним туманом, но самые верхние этажи уже розовели от солнца, поблескивали окнами, и вокруг еще несколько громад, только поменьше, ждали, когда же солнце дойдет до них, а внизу, в ущельях, было прохладно и не растаяли еще предрассветные сумерки... Именно в это утро я понял красоту этого громадного противоречивого города, красоту его стекла и стали, красоту его архитектуры...

Принято считать, что архитектура Америки — это архитектура небоскребов. Это так и не так. Конечно же, небоскреб придумали американцы, и они же добились той законченной конструктивно-эстетической формы,

венцом которой являются Сиграм-билдинг в Нью-Йорке (Мис Ван дер Роэ) или Ливер-билдинг (Спидмор, Оуингс и Меррилл) — стеклянно-стальные параллелепипеды. Но небоскреб — только отдельный элемент архитектуры Америки или, точнее, как я уже говорил, американского строительного гения. Под этим понятием я подразумеваю не только размах строительной техники, но и умение слить воедино архитектуру с инженерией. Удивительной красоты и легкости мосты (через Золотой Рог в Сан-Франциско, например, или Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке), пересекающиеся на разных уровнях эстакады и, я бы сказал даже, автострады,— стали сейчас одним из неотъемлемых элементов современного американского пейзажа [1]. Все это, вместе взятое, и есть архитектура Америки — сумбурная и в то же время целенаправленная, подавляющая и завораживающая, математически точная и анархичная. В этом и есть ее сущность. И прелесть. И беда...

Но архитектура — это не только здания, архитектура — это люди, создающие ее. В Америке это в первую голову Франк Ллойд Райт, это Ричард Нейтра, Мис Ван дер Роэ, Ээро Сааринен, Аальто, Оскар Нимейер, наконец, Вальтер Гроппиус, с 1937 года живущий и работающий в США. Архитектурная мысль XX века обязана очень многим этим крупнейшим мастерам с мировыми именами. Я не буду утомлять читателя перечислением того, кто и что из них сделал (наиболее ярким событием последних лет было строительство столицы Бразилии — города Бразилиа по проекту Нимейера и Лучио Коста), мне хочется только сказать несколько слов об одном из крупнейших архитекторов конца XIX и первой половины XX века, Франке Ллойде Райте, умершем в 1959 году в возрасте девяноста лет.

Райт был американцем, но он не строил небоскребов. «Величайший архитектор мира», как его называют сейчас американцы, прославился именно тем, что был врагом небоскребов и создал свою собственную теорию «органичной архитектуры» [2].

---

[1] Франк Ллойд Райт писал: «Я предвижу, что дороги вскоре будут тоже архитектурой, потому что они в полной мере могут быть ею — великой архитектурой».

[2] За три года до смерти он все же не удержался и запроектировал небоскреб, так называемый «Иллинойс» для Чикаго,— 528 этажей, 1609 метров высотой. Есть планы и чертежи, но будет ли он осуществлен — пока неизвестно.

«Я требую от архитектуры,— писал он в одной из своих статей,— того же, что и от человека: искренности и внутренней правдивости, и только с этим связаны для меня все качества архитектуры». На практике это означало, что любое архитектурное сооружение должно не противопоставлять себя окружающему пейзажу, а, наоборот, вписываться в него, становиться его органической частью. Поэтому большинство зданий Райта, в основном виллы, построенные в равнинной местности (появился даже термин — «стиль прерий»), проектировались по горизонтали, подчиняясь рельефу местности и в то же время подчеркивая его. Строительный материал тоже использовался местный — дикий, рваный камень, очень хорошо контрастирующий с плоскостями стекла и вытянутыми по горизонтали железобетонными перекрытиями.

Франк Ллойд Райт много построил на своем веку — более семисот зданий, у него несколько сотен неосуществленных проектов. В творчестве его было много противоречивого, были и спады, были и взлеты, но в целом влияние его на мировую архитектуру и как практика и как теоретика огромно.

Последнее творение Райта, его лебединая песня — это Музей Соломона Р. Гуггенхейма в Нью-Йорке на 5-й авеню. Открыт он был в 1960 году.

Мы часто любим сравнивать непривычные для нашего глаза здания с чем-нибудь знакомым. Ростовский театр Щусева, например, считался похожим на трактор, какой-то еще там, не помню какой, на самолет. Музей Гуггенхейма не похож ни на что (хотя кое-кто из наших туристов говорил, что он напоминает пароход, другие — стиральную машину). Это громадная белая железобетонная спираль, расширяющаяся кверху и покоящаяся на вытянутом горизонтальном объеме. Остальные объемы дополняют и подчеркивают основные. Громадная спираль и есть собственно музей. Вы подымаетесь на лифте на самый верх и оттуда по этой-то спирали — а она не что иное, как галерея с внутренним двором,— спускаетесь вниз. Длина ее тысяча двести метров. Более удобного — и для зрителя и для экспонатов,— более рационально устроенного музея я в своей жизни не встречал. Картины висят в один ряд, на уровне глаза. Собственно говоря, они даже не висят, а прикреплены к стене кронштейнами, что создает иллюзию их парения в воздухе на фоне белой стены. Много воздуха, много света

(и естественного и искусственного, но они как-то очень ловко смешиваются), много зелени, есть даже бассейн с фонтанчиком.

Коллекция музея богата и разнообразна. Сезанн, Модильяни, Леже, Пикассо, Пауль Клее, Кандинский, Шагал, скульптуры Липшица, Бранкузи — одним словом, все самое интересное, что было на Западе с конца XIX века. И должен сказать, что слитность архитектуры и выставленных произведений искусства абсолютная. Картинам, скульптурам здесь легко и просторно. Они у себя дома.

Франк Ллойд Райт спел свою лебединую песню и умер. Но странно — песня эта не похожа на ту музыку, которую он создавал всю свою жизнь. Не будучи никогда конструктивистом, Райт пропел гимн конструктивизму. На углу 5-й авеню и 89-й стрит во второй половине XX века он возвел здание, под проектом которого охотно подписался бы сам Ле Корбюзье, не уйди он от того, что породил. Это прекрасное, умное здание, оно войдет во все учебники архитектуры, но это не Райт.

82-й номер (август 1962 года) итальянского журнала «L'Architettura» целиком посвящен двадцатипятилетнему юбилею — нет, не архитектора, а одного из его произведений — так называемого «Дома у водопада». «Fallingwater».

«Дом у водопада» — это вилла детройтского миллионера Эдгара Кауфмана, которому пришло в голову построить ее именно здесь, в Пенсильвании, в Бир Ран, у Медвежьего ручья, в этом лесу, над этим живописным водопадом. И построить ее должен был Франк Ллойд Райт. И Франк Ллойд Райт построил.

«План дома,— говорит Райт,— это образ жизни, а образ жизни всегда индивидуален». По образу жизни Кауфмана и построена эта великолепная вилла.

Лес, негустой, прозрачный, на взгорье. Ручей, скалы, камни, водопад. Над самым водопадом, нависая над ним своими террасами, вилла. И хотя, согласно теории «органичной архитектуры» Райта, «главное в архитектуре то, ради чего строится здание — его внутреннее пространство, но не оболочка этого пространства, то есть стены и крыша, и тем более не внешний вид здания», вилла эта, внешнему виду которой уделено значительное внимание, полностью отвечает другому тезису Райта: «Внутреннее пространство является частью единого пространства, природы, поэтому оно должно не замыкаться от внешнего

пространства, но как можно больше связываться с ним». Этой связи, этого слияния Райту удалось достичь полностью. Вилла вросла в пейзаж, а может быть, выросла из него, она стала органической его частью. Скалы ручья и дикий камень стен, белые горизонтали террас и перерезающие их вертикали деревьев, покой комфорта и шум и брызги водопада — все это слилось в нечто единое и проникло внутрь виллы, где тот же дикий камень (никакой штукатурки!), а стеклянные наружные стены-витражи как бы всасывают внутрь окружающий пейзаж. Все продумано до мельчайших деталей, вплоть до места для охапки дров у камина.

Как и Ле Корбюзье в свое время, Райт верил, что с помощью архитектуры (да еще, может быть, религии) можно осуществить переустройство общественной жизни. Всю жизнь он был бунтарем, критиковал американскую демократию, американский образ жизни, капиталистическую культуру, считал, что должен служить народу стремился строить дешевые дома для рядовой американской семьи, но судьба сложилась иначе: он стал «модным» архитектором. строил роскошные виллы для миллионеров...

Райт критиковал капиталистическую систему («Наше благоденствие — фальшь»), на Первом съезде советских архитекторов говорил, что уносит с собой «впечатление громадных достижений и величайшую — какую когда-либо питал — надежду для человечества и будущей жизни на земле», а вернувшись из Москвы, сразу же отправился в Бир Ран, к Медвежьему ручью, на строительство своего маленького шедевра.

Я глубоко убежден, что и на этот раз мы упустили из рук возможность использовать знания и мастерство одного из крупнейших архитекторов мира. Более того, предложив ему сотрудничество, мы помогли бы ему осуществить его заветную мечту — строить для народа. Кауфман. возможно, превосходный человек, но все-таки обидно, когда талант такого мастера, как Райт, тратится на то, чтобы мистер Кауфман, удобно устроившись в шезлонге, сказал, пытаясь перекричать шум падающей воды: «А все-таки неплохую хату отгрохал нам старик Райт, а?»

Тот самый молодой пылкий итальянский архитектор без номера, о котором я уже упоминал, во время нашего спора об архитектуре сказал:

— В прошлом году я был в Москве. Многое мне там

понравилось, но одного я никак не мог понять: зачем вам небоскребы? В Америке, даже у нас это понятно — дорого стоит земля. А вам зачем они? Для силуэта? Не дороговато ли он обходится?

Я ответил, что недешево и что архитектурно высотные здания представляют не Бог весть какую ценность, но своеобразным памятником эпохи они все же являются, а архитектура, как известно, это «каменная летопись истории» и так далее в том же духе.

Каменная летопись истории... Теперь не каменная — железобетонная, стальная, сборная, каркасовая, панельная летопись века, общественной системы, строя.

В одном из тех писем, о которых я уже говорил, Ле Корбюзье писал: «СССР на расстоянии представляет зрелище интенсивной работы в области архитектуры, и весь мир склонен думать, что именно у вас рождается новая архитектура». Ле Корбюзье не преувеличивал — тридцать с лишним лет тому назад действительно было так. Мы были куда беднее, чем сейчас, и опыта у нас было маловато, но творческая мысль, как говорится, била ключом. Потом произошел перелом — конкурс на Дворец Советов, и на два с половиной десятка лет все пошло вспять. (Я хорошо помню те переломные годы: я даже получил «тройку» за свой диплом, не хотел отрекаться от конструктивизма.) Но годы эти, слава Богу, уже позади. Все говорит о том, что мы входим в эпоху новых строительных материалов, новых конструкций, новых приемов, новой современной архитектуры.

Новая современная архитектура? Что же это такое?

Как-то «Литературная газета» заказала мне статью на «архитектурные темы». Статью я написал, попытался разобраться в каких-то теоретических вопросах, но она почему-то долго не выходила. Оказалось, что редакция собрала «архитектурную общественность» и вместе с ней обсуждала статью. Ее и хвалили и поругивали, в конце концов она вышла, но перед выходом одна из сотрудниц газеты мне сказала:

— Видите ли, в чем дело. Не подведем ли мы молодежь? Молодежь говорит: «Сейчас все изменилось, можно строить по-новому. Стоит ли заниматься теоретизированием? Конструктивизм, неконструктивизм, формализм, неформализм... Начнем копаться в «измах» и опять запутаемся. А нам строить хочется».

Я не уверен, что архитектурная молодежь именно так думает, может быть, только небольшая часть ее, но то,

что с теорией у нас не очень благополучно, это более или менее очевидно. Впрочем, может быть, действительно с этим можно подождать? В конце концов разберемся, а сейчас важнее всего строить, строить, строить... И строим. Много строим. В иные районы Москвы приезжаешь и просто не узнаешь. Как будто недавно здесь был, а уже путаешься, не знаешь, как пройти к тому дому, к которому когда-то здесь проходил.

И все-таки хочется, чтоб строилось не только много и быстро, но и красиво.

Наше строительство во многом отличается от строительства Запада. Возможности стандартизации, массового изготовления строительных элементов заводским путем у нас неограниченны. В этом наша сила, но в этом же и сложность.

Как сочетать стандартизацию и красоту?

Живописность города — вопрос очень сложный. Один из красивейших, живописнейших городов мира — Прага, на зеленых холмах которой мирно уживаются готика, барокко и ультрасовременный дом из стекла и бетона, строилась столетиями. Случайность, незаданность архитектурного пейзажа Праги великолепна: от крыш и колоколен Старого Места и Малой Страны, когда смотришь на них с Градчанского холма, невозможно оторваться. Но нельзя же искусственно создавать случайность. Хорошо гористым городам, там сам рельеф помогает архитектору. А на ровном месте?

Римляне очень гордятся своими нынешними окраинами, где десятками возводятся новые жилые корпуса. Что ж, жить там, может быть, и удобно (я был в двух-трех квартирах, они действительно удобны и благоустроенны), но какая все-таки скука вокруг. Как утомительно однообразие...

Спасение, мне кажется, в одном. На помощь стандартизирующейся архитектуре должны прийти цвет, живопись, скульптура, зелень, малые формы. В этой области уже есть если и не очень большой, но все же заметный сдвиг. Монументально-декоративное искусство постепенно начинает дружить с архитектурой. Один из наиболее удачных примеров, на мой взгляд, новый киевский автовокзал (архитекторы А. Милецкий, И. Мельник, Э. Бельский, художники В. Мельниченко, А. Рыбачук). В нем найден свой прием — не банальный, свежий. Все три этажа вокзала, стены его и колонны — это мозаика. Черная, из глазированной керамической плитки стена, на ней

цветные горизонтальные полосы — движение! — абрисы несущихся куда-то автомобилей. То тут, то там, точно аппликация, маленькие панно сграфитто — дорога, шоссе, городская улица с фонарями, мчащиеся тебе навстречу автомашины. Колонны облицованы мозаикой из зеленой майолики — тут тоже мелькнет вдруг автобус, неожиданно среди геометрических линий вырастает маленький каштан в цвету... Если вы попадете когда-нибудь на этот вокзал, зайдите еще в ресторан и взгляните на стены. А потом в детскую комнату, если вас пустят. Какие там милые и забавные рисуночки. И к занавескам на окнах тоже присмотритесь: они сделаны по специальному заказу. И зайдите в номера для приезжающих — ручаюсь, что вы отложите свой отъезд по крайней мере на сутки.

Возможно, я несколько захваливаю вокзал — строители его мои друзья,— но, ей-Богу же, когда строят не только со знанием дела, но и с любовью (Ада Рыбачук и Володя Мельниченко ночами сами клеили мозаику на колоннах, а архитектор Милецкий до сих пор бегает на вокзал проверять, как стоят кресла в зале ожидания и не украли ли керамику в номерах, а ее тоже делали по специальному заказу) — при этих условиях трудно плохо построить. Энтузиастов в архитектуре хватает. К этому бы еще материал получше, подобротнее, и было бы чем хвастаться... А вот с теорией все-таки плоховато. Впрочем, существует Академия строительства и архитектуры, там есть специалисты, которые этим занимаются. Пожелаем же им успеха.

Был вечер. Мы стояли над Ниагарским водопадом. Он шумел и брызгался. С противоположного, канадского берега прожектора делали его то розовым, то зеленым, то голубым, фиолетовым, белым. Было очень красиво, а в общем обидно. Водопад подчинили туристам, и он покорно, терпеливо выполнял свою работу. Невдалеке сиял огнями Ниагара-Фолс — безликий, скучный город все тех же туристов.

Мы собирались уже в гостиницу (предстоял еще визит в Буффало, к какому-то зубному врачу, это входило в расписание), когда к нам подошел высокий человек в пиджаке с поднятым воротником.

— Я почув руську мову,— сказал он.— Ви руські?

— Русские.

— А можна з вами побалакати? Я українець. Деметр Корінець. Давно не чув руську мову...

Он вытащил пачку сигарет.

— Прошу.

Я вынул коробку «Запорожцев».

Он заулыбался.

— О, запорожці!

— Берите,— сказал я.

Он двумя пальцами попытался аккуратно вынуть одну папиросу.

— Нет, всю.

— Як всю?

— Так, всю.

— Всю коробку?

— Всю коробку.

Бог ты мой, как он обрадовался! Положил папиросу обратно, вынул носовой платок, завернул в него коробку и положил ее в боковой карман пиджака. Нет, курить он их сейчас не будет. Только в особых случаях. Будет хранить как память. Ведь это из Киева! Подумать только. папиросы из Киева. Запорожцы! Ведь он тоже запорожец. Все украинцы запорожцы. Ну, не все, большинство...

Он проводил нас до гостиницы. Усиленно затягивал нас в бар. Посидим, потолкуем. Он вмиг сбегает домой, переоденется, он сейчас прямо с работы, не успел переодеться. Но в бар идти мы не могли, надо было ехать к зубному врачу. Как он жалел! Да и я жалел. Посидели бы, потолковали бы...

Я уже не помню, где он работал. Кажется, по торговой части. Работой недоволен. По ту сторону, в Канаде, лучше. А мы были в Канаде? Нет? Только поездом проезжали из Чикаго? Если мы хотим, он возьмет такси, и через три минуты мы будем в Канаде. Оттуда и вид на водопад красивее, и бары дешевле. Ну, подождет немного зубной врач, не умрет...

Но в Канаду нам ехать нельзя было — строго-настрого запретил Тадеуш Осипович.

Мы распрощались с Коринцем у входа в гостиницу. Ему ужасно не хотелось домой. Подумать только, за сорок лет впервые встретиться с человеком из Киева, из его любимого Киева. Он никогда там не был: он родился здесь, но он любил Киев, привет ему большой и уклін, низький уклін...

Мы расстались...

Русский за границей. Украинец за границей. В большинстве своем это трагедия...

В Нью-Йорке я встретился с женщиной, с которой когда-то был знаком. Последний раз мы виделись за несколько лет до войны, в 1938 или 1939 году. Во время войны вместе с десятилетним сыном она пережила оккупацию. Муж был на фронте. Отступая, немцы угоняли местное население. Ее с сыном тоже загнали в эшелон. Где-то их разбомбили. Потеряли друг друга. Сын сложными путями пробрался домой. Мать исчезла.

И вот мы встретились с ней в Нью-Йорке. Оба не очень помолодели за эти годы и все же узнали друг друга. Мы сидели в Централ-парке. Она рассказывала о своих мытарствах. Почему она не вернулась домой? На этот вопрос всегда трудно ответить. Побоялась. Тогда, после войны, столько всякого говорили. Освободили ее американцы, вот и попала в Америку. О близких ничего не знала. Писала. Никто не ответил. Вероятно, уже другой адрес.

Она работает. Неплохо зарабатывает. И друзья здесь есть. Но она хочет домой. У нее там сын, внучка. Может, она им будет не в тягость. Будет нянчить внучку.

Я был у нее дома. На стенке фотография сына — совсем еще мальчик, а сейчас уже тридцать лет,— виды Киева, Владимирская горка, Днепр, все это вырезано из американских украинских журналов. Угостила меня борщом, настоящим украинским борщом.

Мы прощались в небольшом кафе в центре Нью-Йорка. Я торопился в гостиницу, меня уже ждали, через час отходил автобус на аэродром. Она писала письмо сыну. Никак не могла кончить. Все хотелось еще что-нибудь написать. «Сейчас, сейчас, одну минутку...»

Мы попрощались. Я спрятал конверт в карман и вышел на улицу. Обернулся, помахал рукой. Сквозь стеклянную дверь хорошо видна была внутренность кафе. Она сидела за столиком и плакала. Я на всю жизнь запомню этот ясный осенний вечер, маленькое нью-йоркское кафе, раскачивающуюся стеклянную дверь, столик и сидящую за ним плачущую женщину. Увижу ли я еще когда-нибудь ее? Увидит ли она своего сына?

Все это трагедия. А сколько их на белом свете... Людям, помнящим свою родину, особенно тяжело.

Как-то я получил письмо из города Перт, Западная Австралия. В нем лежало аккуратно отпечатанное приглашение на свадьбу одного молодого человека, которо-

му, когда я видел его в последний раз, было года полтора. Потом пришло другое письмо — с фотографией улыбающихся молодоженов. Рядом с женихом его мать, дочь известного киевского художника, с которой в незапамятные времена я учился вместе в театральной студии.

Война разлучила дочь с родителями, разогнала в разные концы света. Родители сейчас в Киеве, дочь в Австралии. Пятнадцать лет никто друг о друге ничего не знал. И вдруг письмо. Письмо из южного полушария на старый киевский адрес, который чудом не изменился. «Не спрашивайте, почему не писала, все очень сложно. Пишу наугад, не знаю, живы ли вы». Что же послужило толчком к написанию этого письма? Через пятнадцать лет... Фантастическая история. Бывшая киевлянка, начинавшая постепенно уже забывать свой родной город, как-то, зайдя в книжный магазин города Перт (города, о существовании которого я, например, до самого недавнего времени не имел никакого понятия), обнаружила на полке... Нет, этому поверить нельзя: на полке стояла книга — мемуары ее отца, изданные в Киеве издательством «Мистецтво» в 1959 году... Она не верила своим глазам. На первой странице портрет отца, постаревшего, поседевшего, но отца, отца... И она написала письмо.

С тех пор исчез покой. Все мысли только о Киеве. «Пришли мне все, что только есть о Киеве. Открытки, альбомы, фотографии. Опиши, как выглядят сейчас улицы. Что изменилось за эти годы. Все, все, все опиши...» Одна мечта — вернуться назад. Но как? И денег нет, и былой энергии, и, что самое страшное, не окажется ли она сейчас чужой у себя на родине? А сын? Он вырос в Австралии, привык к ней, стал австралийцем, сейчас вот и женился на австралийке. Как все сложно, как бесконечно все сложно. «Пишите, пишите почаще. Каждое письмо из Киева — радость. Самая большая радость...»

С фотокарточки, сдержанно улыбаясь, смотрит на меня двадцатипятилетний молодой человек в черном костюме, с галстуком бабочкой. Вид у него весьма респектабельный, но, по словам матери, это только вид: за свои двадцать пять лет он успел уже переменить с десяток профессий — работал на золотых приисках, в сельскохозяйственной авиации, пек хлеб, чинил радиоприемники. собирал и разбирал холодильники, командовал оравой мальчишек в каком-то магазине, торгующем моторами. Последнее его увлечение — мотоцикл. Конечно же нале-

тел на столб и расквасил всю физиономию. Но сейчас ничего, зажило. «Парень он хороший, не жалуюсь, только вот учиться не хочет. Россией он очень интересуется и советский строй ему нравится, но боится, если туда приедет, что его заставят учиться, а это его нисколько не соблазняет. Предпочитает работать. Здешняя молодежь только и ждет, когда ей стукнет четырнадцать лет, а тогда бросает школу и идет работать — в магазин, бюро, в гараж, на фабрику, девушки — в госпитали. Все тут стремятся заработать, скопить, приобрести авто, жениться. Зачем специальность, когда можно и так заработать? Вот и мой такой же. А вообще он парень хороший. И товарищ хороший. Сюда приходил «Витязь». На второй день он уже со всей молодежью команды был на «ты». Впрочем, он тебе сам обо всем напишет».

И действительно, написал. Письмо из двадцати строк начинается так: «Не знаю «выкать» или «тыкать», но я думаю, что это большой роли не играет — так что давай «тыкать». Кончалось же словами: «К следующему разу постараюсь побольше накарякать. Сердечный привет маме, всем нашим, а тебе (зачеркнуто) крепко жму руку».

Сейчас он смотрит на меня с фотокарточки и слегка улыбается. Рядом с ним молодая жена в подвенечном платье, с букетом цветов в руках. Снято в городе Перт, Западная Австралия. Бывает же такое...

В Брюсселе, когда мы вылезали из самолета после шестичасового перелета из Нью-Йорка, нас встретил приветливый, улыбающийся, грузный мужчина, сразу же представившийся:

— Мамонов, Александр Васильевич.

Это был гид авиакомпании «Сабена», предложивший нам свои услуги на те два дня, которые мы должны были провести в Бельгии в ожидании самолета из Москвы.

Мне трудно найти слова, чтоб передать то внимание и ту заботу, которыми нас окружил сын бывшего русского адмирала. Больше всего ему хотелось, чтоб мы не скучали и чтоб за эти два дня как можно больше успели посмотреть. Кроме достопримечательностей Брюсселя, он показал нам музей Конго (километрах в двадцати от Брюсселя), и даже умудрился свозить в Антверпен — в город чаек, умирающих в гавани. На обратном пути из Антверпена, хотя было уже довольно поздно, он остановил автобус на каком-то перекрестке дорог и, весело

подмигнув, сказал: «А что, если нам заехать в Ватерлоо?» И мы поехали в Ватерлоо. Панорама знаменитого сражения была уже закрыта, но Александр Васильевич куда-то скрылся, кому-то что-то сунул, и через минуту все двери перед нами были открыты. Панорама оказалась ниже среднего, сувениры — бюстики Наполеона — еще того ниже, самого поля сражения мы так и не увидели — полил проливной дождь,— но Александр Васильевич сиял с головы до ног: все, что можно было выжать из этого дня, он выжал.

Наутро, перед нашим отлетом в Москву, он торжественно явился со своей женой и вручил каждому из нас на память по шелковому платочку с видами Брюсселя и по крохотной золоченой статуэтке «Манекен-Пис» — знаменитой брюссельской скульптуры, поставленной в честь знаменательного события в жизни одного из наследных принцев: бедняжка долго мучился камнями в мочевом пузыре и вот, наконец, освободился от них. Очаровательная струйка малыша вот уже сколько лет собирает толпы любознательных туристов.

Александр Васильевич отнюдь не гид-профессионал. У него есть антикварный магазин, благодаря ему он и живет, а гидом работает только из любви к русским. «Только так я и могу вас увидеть, поездить с вами, поговорить, порасспросить». Узнав, что я когда-то был архитектором, пообещал прислать интересующие меня книги. Не успел я приехать домой, как из Брюсселя пришел большой пакет — великолепно изданный том работ Ле Корбюзье. А еще недели через две — другой, еще более великолепный. Разве не трогательно? Спасибо, Александр Васильевич! Может быть, вы когда-нибудь все-таки посетите свою бывшую родину — обещаю, мы постараемся отплатить вам тем же вниманием, той же заботой.

Заговорив о Мамонове, никак уже не обойдешь молчанием уважаемого нашего Тадеуша Осиповича, с которым мы не расставались целых две недели. Жили мы с ним в общем дружно, хотя ко мне лично он относился с некоторой подозрительностью, не лишенной, правда, оттенка юмора. Почему-то он считал, что у меня хитрые глаза и что вообще положиться на меня в серьезном деле нельзя. Тем не менее отношения у нас были самые дружеские.

Он появлялся каждое утро свежевыбритый, подвижный, улыбающийся, в неизменном своем галстуке бабоч-

кой и, обходя наши столики в ресторане, говорил бодрым голосом:

— Сегодня, друзья, у нас маленькая перемена. Вместо Модерн-арт мы поедем сначала в Метрополитен-музеум, а потом...

Подымался легкий шумок: у всех были какие-то собственные планы, которые приходилось на ходу менять. Потом шла небольшая торговля о способе транспортировки к очередному музею — кто хотел пешком, кто метро, кто автобусом, но все в конце концов утрясалось, и под похлопывание в ладоши Тадеуша Осиповича — «давайте, давайте, времени мало» — мы отправлялись туда, куда нам надо было отправиться.

По дороге Тадеуш Осипович давал объяснения. В основном они сводились к трем положениям: 1) старые дома разрушаются, новые строятся; 2) негритянского населения в этом городе столько-то, и сейчас оно из трущоб перебирается в благоустроенные дома и 3) всякий памятник какому-нибудь деятелю, не сидящему на коне, назывался памятником Колумбусу. В этом третьем он настолько нас убедил, что мы уже просто говорили: «Вот дойдем до того Колумбуса — и там сделаем небольшую остановочку».

Подобно Ивану Ивановичу, он не любил нарушения расписания и ненужных, лишних вопросов. Как-то мы ехали по 5-й авеню. В окно я увидел знакомые очертания какого-то здания.

— Тадеуш Осипович, что это?

Он пренебрежительно махнул рукой.

— А это музей одного Соломона. Мало интересного...

Так мы обнаружили Музей Гуггенхейма, в который ему ужасно не хотелось нас пускать — «опять растеряемся, опять опоздаем к обеду, и вообще там мазня». К чести Тадеуша Осиповича нужно сказать, что в вопросах искусства он стоял на позициях самого ортодоксального искусствоведа нашей Академии художеств.

Расставание наше было грустно. Тадеуш Осипович вдруг обиделся. Подошел к нам, ко мне и двум моим приятелям, когда мы сидели на аэродроме Айдл-уайлд в ожидании самолета в Европу и, потеряв вдруг обычно свойственное ему чувство юмора, произнес маленькую тираду:

— Откровенно говоря, я не только огорчен, но и удивлен. Вы не первая советская группа у меня. И всегда в день расставания мне преподносят бутылку «Сто-

личной». Вы знаете, я не пью, но я люблю прийти в свою контору, показать бутылку и сказать: «Вот как отблагодарили меня мои советские туристы». Вы первая группа, которая не преподнесла мне водки. Мне очень обидно.

Сказал, круто повернулся и ушел. Потом, уже у выхода на летное поле, он, не глядя в глаза, жал всем руки и сдержанно произносил:

— Счастливого пути.

Дорогой Тадеуш Осипович! Бог его знает, встретимся ли мы когда-нибудь. Адреса вашего я не знаю, поэтому позвольте мне здесь сказать вам несколько слов. Мне очень жаль, что вы на нас обиделись. Но, честное же слово, виноваты вы сами. Не подойди вы к нам со своей горькой речью, мы б устроили вам очень трогательное прощание: мы его даже слегка срежиссировали. У меня к тому же была заготовлена книга для вас с уже написанной, на мой взгляд, очень остроумной, надписью. А вы подошли и все разрушили. Зачем? Ай-ай-ай... Кроме того — пусть это только останется между нами,— ведь один из наших товарищей преподнес вам все-таки бутылку коньяку. И, кажется, неплохого коньячку, армянского, четыре звездочки, а может, даже и КВ...

Ну, да ладно уж, что старые обиды вспоминать. Спасибо вам за компанию, Тадеуш Осипович. Привет вашей жене... А может, еще и увидимся, кто его знает. К тому времени, надеюсь, старые кварталы будут уже полностью разрушены, новые возведены, негры перейдут из трущоб в благоустроенные квартиры, а Колумбусов станет чуть поменьше: кстати, говорят, в путеводителях точно указано, где, кому и какой памятник поставлен...

Нижеприведенный разговор, оставленный мною специально под занавес, произошел в той части Нью-Йорка, где уже нет небоскребов и реклам, в районе Лексингтон-авеню и 125-й улицы, недалеко от Гарлем-ривер, в одном из небольших салунов.

Это был последний вечер в Америке. Захотелось провести его в одиночестве. Я вышел из отеля, прошел по уже начинавшему пустеть Бродвею, дошел до Грэнд-Централ-стэйшэн, спустился в метро, сел в поезд и, решив проехать десять остановок, вышел на 125-й улице.

Двенадцатый час. На улице никого. Темновато. Чем-то похоже на Москву Тверских-Ямских улиц. Редкие фонари, какие-то заборы. Иду куда глаза глядят. На углу двух неширокий улиц обнаруживаю салун. В нем тоже пусто. В дальнем углу за столиком два пожилых небритых человека в синих комбинезонах пьют пиво. За стойкой на фоне длинных полок с разноцветными бутылками очень красивая молодая негритянка шоколадного цвета. По эту сторону стойки, облокотившись на нее, двое парней: один — постарше, в кожаной короткой курточке, другой — помоложе, негр, в очень яркой ковбойке. Все трое о чем-то негромко разговаривают. Играет музыка, что-то джазовое с синкопами.

Подхожу к стойке, кладу доллар и подымаю один палец. Не прекращая разговора, красивая негритянка наливает мне неполный высокий стакан виски. Я отношу его на пустой столик у витрины, возвращаюсь и беру еще кружку светлого пива и крохотный бутербродик с хэм-ветчиной.

Сижу за столиком, посасываю пиво, курю «Беломор»: на сигареты уже денег нет, надо оставить на метро. На меня никто не обращает внимания. Двое пожилых в комбинезонах, расплатившись, ушли. Двое других все еще разговаривают. Я рассматриваю развешанные плакаты — рекламу виски «Белая лошадь», мартини, кока-кола. Сижу один в Нью-Йорке, в салуне, пью виски.

Негр прощается с красивой барменшей и уходит. Парень в курточке задерживается, подсчитывает деньги. Потом берет еще кружку пива и, оглядевшись по сторонам, подсаживается к моему столику. Барменша вытирает стойку.

Подсевший — он немолод, у него седина на висках и глубокие складки возле рта — молча пьет пиво и курит. Докурив и ткнув сигарету в пепельницу, вдруг подымает глаза на меня. В них легкое удивление.

— «Беломор»? — спрашивает он, указав глазами на окурок в пепельнице.

— «Беломор»,— говорю я.

Вынув пачку, щелкаю пальцем по ее донышку.

— Лейтенант Патрик Стэнли,— говорит парень в курточке.— «Летающие крепости». Стрелок-радист. Аэродром Полтава.

На столе появляются еще две кружки.

Патрик Стэнли... «Летающая крепость»... Аэродром

Полтава... Так, выходит, мы с тобой вместе воевали? Ты в воздухе, я на земле. А сейчас вот сидим на окраине Нью-Йорка и пьем пиво. У вас хорошее пиво, крепкое. И холодное. Чего смеешься? Больше водку любишь? Правильно. Где научился? У нас, конечно? В госпитале? Нет, в госпитале ты научился спирт пить, медсестры приносили — сознайся, что так. Я тоже лежал в госпитале, знаю. Ты в Полтаве, я в Баку. Так-то... Вот уж сколько лет прошло. А сейчас чем занимаешься? Чинишь телевизоры? Что ж, дело неплохое. Неплохое-то неплохое, но денег все-таки не хватает. Впрочем, их всегда не хватает. Миллионерам тоже не хватает. А тут еще сын. Семнадцать лет, а ему уже машина нужна. За двести — триста долларов можно купить подержанную, вполне приличную, а ему, нет, обязательно новая нужна. Учиться, дурак, бросил, устроился в магазин. Зачем, говорит, учиться, когда и без ученья можно зарабатывать деньги... Забавно, я вот тоже получил от одной знакомой письмо из Австралии — ее сын теми же словами говорит: зачем учиться, когда можно работать... Да, с молодежью сейчас сложно. Впрочем, отцы всегда ругают своих детей. И то не так, и то не этак, мы были лучше. А в общем, вероятно, такими же были. Ну ладно, давай еще по стаканчику. Нет, уж разреши я заплачу, ты все-таки гость. Вот приеду к вам, тогда ты будешь угощать, а здесь я хозяин... Да, очень хочется в Россию поехать. Вот подкоплю немного денег и махну с женой в Полтаву. Э, нет, лучше без жены. А то встречу еще там Клаву — медсестра там была такая, Клава,— нет, один поеду, без жены. Правильно я решил? А по дороге в Киев к тебе заеду. Ты кем там работаешь? Архитектором? Что ж, неплохо. Вероятно, прилично зарабатываешь, раз сюда приехал. Самолетом туда и обратно, думаю, не дешево. Ну что, еще по одной? Не смотри на нас так, Бэтси, это последняя, сейчас уйдем. Эх, жаль, что завтра улетаешь, а то посидели бы у нас вечерок, посмотрели бы, как живет американец вроде меня. А как тебе Америка? Понравилась? Нет, только правду говори. У нас, например, газеты о вас много врут, а я не верю. А ваши? А вообще, черт, обидно. И кто ее придумал, эту холодную войну? Была горячая — дружили, началась холодная — ссоримся. Кому это нужно? Тебе? Ведь вы хорошие ребята, знаю. И мы неплохие. Чего мы не поделили? Берлин? Очень мне нужен этот Берлин. И воевать из-за него не хочу. И вообще воевать не хочу. Навоевался. И не хочу, чтоб Джим воевал. Пусть лучше

уж машину покупает и катает в ней свою девушку. А парень первоклассный, честное слово. Эх, жаль все-таки, что ты завтра уезжаешь. А то пошли бы втроем куда-нибудь и — как это у вас в России говорят — погуляли бы, да? Можно, конечно, сейчас что-нибудь взять у Бэтси и пойти ко мне, жена уехала к родителям в Балтимор... Ну ладно, ладно, знаю, тебе завтра ехать, мне тоже рано вставать. Жаль. Джима не увидишь, тебе бы он понравился. Он даже несколько русских слов знает — «спутник», «лунник», «давай-давай», «водка». Хороший парень. Нет, не пьет еще. Ну так, с товарищами там немножко. Он у меня спортсмен, хоккеист, хорошо плавает... Уходим, уходим, не сердись, Бэтси, можешь закрывать свою лавочку. Запомни только сегодняшнее число — первый раз у тебя русский был. Это не каждый день случается...

На улице уже совсем пусто. Нам не хочется расставаться, поэтому мы идем пешком до следующей станции метро, тут оно ходит всю ночь.

Эх, Патрик, Патрик. Много лет назад мы с тобой вместе воевали, ты в воздухе, я на земле, а сейчас вот вместе шагаем по гулким ночным улицам Нью-Йорка. И нам друг с другом хорошо, не хочется расставаться. Вот приезжай с Джимом к нам в гости, я тебе много интересного покажу. По музеям я тебя особенно водить не буду, а с хорошими ребятами познакомлю. Оторву тебя с Джимом от твоей туристской группы, и поедем мы к одному моему другу. Когда-то мы вместе лежали в Баку в одном госпитале, а сейчас он работает электросварщиком. Ты даже представить себе не можешь, как он тебе и Джиму обрадуется. И не потому, что вы американцы, а потому, что вы славные ребята. И он славный. Сразу же сдружитесь. Он немножко будет красоваться (ребята-то ребята, но все-таки американцы, не хочется в грязь лицом ударить), крутить телевизор, хвалить свою жену и дочек, хвалить меня, своих друзей, свою работу. Потом появятся эти самые друзья, начнется беготня в «Гастроном», пока он еще не закрыт, посыплются вопросы, все будет хлопать тебя и Джима по спине (а ручки, должен сказать, у друзей нелегкие), потом Джим с кем-нибудь из ребят помоложе, поставив локти на стол и сцепив ладони, начнут соревноваться в силе — «а ну, давай, давай!» — и все будут кричать, хохотать, а потом обязательно петь песни, и в третьем часу ночи мы безрезультатно будем ловить такси, и, слегка пошатываясь,

думаю, что побольше, чем сейчас, побредем по ночному Киеву вот так, как бредем сейчас по Нью-Йорку, только будет нас немного побольше, и уж, наверное, кто-нибудь затянет «Хотят ли русские войны», и вы с Джимом в ответ будете кричать: «Американцы тоже не хотят!» — и будет весело и хорошо и, так же как сейчас, не захочется расставаться...

Мы доходим до метро. Спускаемся вниз. Поезда уже ходят редко. Закуриваем по сигарете. На скамейке у автомата с жевательной резинкой кто-то спит, поджав ноги. Негр в синем комбинезоне подметает перрон. Уже второй час ночи.

Приходит поезд. «Ну, будь здоров, Патрик. Привет твоему Джиму».

Я вхожу в вагон. Трогаемся. Поезд въезжает в туннель.

Из Нью-Йорка в Брюссель мы летим всего шесть с половиной часов, напрямик, без всяких залетов в Манчестеры и Шенноны.

Скрылся Нью-Йорк со своими огнями, потом и полоска берега с огнями пореже. Принесли ужин. Потом мы опускаем ручки у сидений и ложимся спать. Выключается свет. Только в овальных плафонах тихо сияют искусственные созвездия.

Я долго не могу заснуть. От усталости, от обилия впечатлений за эти две недели, от мысли, что летишь над Атлантическим океаном. Вспомнился чудесный фильм «Путешествие на воздушном шаре». Вот так бы полетать над Америкой, Францией, над всем земным шаром. Не в космическом корабле в заоблачных высотах, а как в фильме Ламориса — с чудаковатым дедушкой и внучком на высоте пятидесяти метров, над лесами и лугами, над замками и соборами, боясь зацепиться за башни Нотр-Дам, между фабричными трубами и отвесными скалами Монблана, над Ла-Маншем, над Лазурным берегом. И спуститься где-то в деревне, где празднуют свадьбу, или на крохотной площади маленького провансальского городка... А потом опять вверх, выпуская дым из каких-то странных, как у архангела Гавриила, труб. И лететь, лететь, лететь, слегка покачиваясь в допотопной корзинке.

Лежу и думаю.

Думаю о том, что видел и чего не увидел, о громад-

ной стране, к которой чуть-чуть только прикоснулся, о небоскребах Нью-Йорка, о Деметри Коринце, о сталелитейном цехе на заводе Форда в Дирборне, где мне вдруг почудилось, что я стою в цехе на «Красном Октябре» в Сталинграде (тут же вспомнилось, каким он был в сорок втором году, когда через него проходила линия фронта,— страшный, разбитый, искореженный...), о своем споре с Володей, о шести солдатах морской пехоты, водрузивших знамя на острове Иводзима, о Патрике Стэнли...

Патрик Стэнли... «Летающие крепости»... Стрелок-радист... Как жаль, что мне не удалось с тобой встретиться, что всю эту историю с ночной поездкой, с салуном, с красивой негритянкой, с пачкой «Беломора», что все это я придумал. Не было салуна, не было негритянки, не было Патрика. Было только желание, чтоб так было. Чтоб посидели вот так в салуне, повспоминали бы войну, выпили бы по стопочке, прошлись бы по ночным улицам. Чтоб где-то действительно существовал Джим, хороший парень, хотя он и не хочет учиться (а ведь существует, существует...), и чтоб он с отцом приехал в Киев, и мы пошли к моему другу, и пели бы там песни, а потом шли по притихшему ночному Киеву мимо Голосеева, по Красноармейской, Крещатику, до Днепра и там, усевшись на кручах, встретили б восход солнца... Как хотелось бы, чтоб так было.

Погасли созвездия в овальных плафонах. Тихо прошла стюардесса по проходу, хорошенькая, в синей пилоточке:

— Летим над Парижем. Через час Брюссель.

Я выглядываю в иллюминатор. Светает. Ничего не видно: облака, сплошные облака. Над Европой, очевидно, дождь.

А через два дня Москва. Снег, морозец. И друзья. Вот они стоят, машут шапками: «С приездом!» Сейчас начнутся объятия, поцелуи. А потом вопросы. Вопросы, вопросы, сто тысяч вопросов. И на все надо будет ответить. Ох, нелегко...

Записки
зеваки

ЗЕВАКА — (разг., фам., пренебр.) человек, праздно, с тупым любопытством на все глазеющий, разиня, бездельник. («...За слоном толпы зевак ходили». И. Крылов.)

Н. Ушаков. Толковый словарь русского языка.

ЗЕВАКА — человек, праздно засматривающийся на что-либо, ротозей. («Лица не видно, но зрителю ясно, что это зевака, который ни за что не пропустит интересного зрелища». В. Гаршин. «Заметки о художественной выставке».)

Толковый словарь русского литературного языка. В 17-ти томах. Изд. Академии наук СССР.

Решительно становлюсь на защиту зевак и категорически протестую против тенденциозности и пренебрежительного тона определений Ушакова и составителей 17-томного словаря. Разиня, бездельник и ротозей — это разиня, бездельник и ротозей, а вовсе не зевака. Зевака — это действительно человек, глазеющий или засматривающийся на что-либо. Но почему обязательно с тупым любопытством? А если не с тупым? Праздно? Пожалуй. Человеку по каким-либо причинам некуда торопиться, вот он и «глазеет», «засматривается». А люди, у которых нет на это времени (так говорят они, а мы добавим «и охоты»), глядя на него, говорят — «делать ему нечего, вот и раззявил рот». Но так можно сказать и о старом, на первый взгляд свихнувшемся, бездельнике, гоняющемся с сачком за бабочками, а он оказывется энтомологом. или о человеке, «тупо» следящим за полетом чаек, а он просто крупнейший специалист по планерам.

Нынешняя жизнь сложилась так, что у среднего, нормального гражданина нет времени глазеть и на что-либо засматриваться — он всегда занят. А когда не занят, в лучшем случае, читает, ходит в театр, занимается спортом, в худшем — смотрит телевизор, поучает детей, как надо жить, или пьет. Конечно же, быть зевакой, то есть, на его взгляд, быть бездельником, у него нет времени, да и охоты, и поэтому зевак он презирает. Я же

Впервые: Континент. Paris, № 4, 1975.

не только не презираю, но защищаю и утверждаю, что зевакой быть надо, то есть быть человеком, который, как сказал Гаршин, «не пропустит интересного зрелища». А интересное зрелище вовсе не слон, которого водят по улице (его можно увидеть и в зоопарке, и рассматривание его там почему-то не считается «зевачеством»),— интересное разбросано буквально на каждом шагу, оно у нас под ногами, пред глазами, над головой, но мы его просто не замечаем. Не замечаем потому, видите ли, что мы люди дела, люди занятые и на пустяки терять время не хотим. Поэтому мы не знаем, как выглядит фасад дома, в котором мы живем (Химки-Ховрино и им подобные московские окраины не в счет), что изображено на барельефе над правым входом в МХАТ или стенах Казанского вокзала. А ведь сделано это для вас, серьезные, занятые люди, именно для вас, и именно для вас я, зевака, и написал эти записки.

Но тут же оговариваюсь и предупреждаю — если ты, читатель, любитель крепко сколоченного сюжета, завлекательной интриги, интересных, со сложными характерами героев, если ты любишь длинные, подробные, сотканные из деталей романы или, наоборот, сжатые как пружина новеллы — сразу предостерегаю: отложи эти страницы. Ничего подобного ты здесь не найдешь.

Но если ты, кроме чтения и других полезных или даже бесполезных занятий, не прочь, просто так, без дела, походить по улицам, руки в брюки, папиросу в зубы, задирая голову на верхние этажи домов, которые никто никогда не видит, так как смотрят только вперед (или направо, налево, витрины, киоски), присаживаясь у столика кафе или на скамеечке в скверике среди мам, бабушек, ребятишек и пенсионеров, если ты любишь заводить случайные, обычно тут же обрывающиеся, но запоминающиеся знакомства, если тебе без плана нравится бродить по улицам незнакомого города, предпочитая их шум или тишину — тишине прославленных музеев,— если ты такой, то, может быть, ты найдешь кое-что близкое, переворачивая эти странички.

Тогда беру тебя в спутники. Условие одно: пока мы гуляем, ты молчишь, а говорю я. Ты заговоришь потом, и тогда, может быть, завяжется диалог. Пока же — монолог. И второе: не удивляйся, если, выйдя с тобой, например, из московского Центрального телеграфа и свернув налево, мы попадем не на улицу Герцена, а на площадь Тертр возле собора Сакре-Кёр на Монмартре

или начнем вдруг выбирать пудовые арбузы у мечети Биби-Ханым в Самарканде... И третье: прости, буду иногда, даже довольно часто, растекаться мыслью (мысью, белкой — до сих пор идут споры среди ученых) по древу — отвлекаться в сторону, вспоминать прошлое, говорить иногда о пустяках, а иногда и не о пустяках, etc.[1] Если это небольшое условие тебя удовлетворяет, приглашаю в спутники.

* * *

Я не гонюсь за последовательностью и хронологией, но начну все-таки с самого начала.

Известный киевский детский врач возмущался моей матерью:

— Вы что, решили сразу же заморозить ребенка? На дворе 15 градусов мороза, а вы его на балкон. Немедленно убрать!

Но меня не убрали. Первые месяцы своей жизни я провел на балконе — большом, просторном, какие в новых домах теперь не увидишь. Это были мои первые прогулки. Без участия, правда, ног. Вероятно, больше спал, но иногда, возможно, и глядел. На что? А было на что.

Родился я в самом центре древнего Киевского княжества. И если не на месте самого терема Владимира Красное Солнышко, то, во всяком случае, совсем рядом. Возможно, даже там, где жили, а потом замучены были язычниками и принесены в жертву Перуну двое варягов, христиан — Иоанн и Федор. В честь их соорудили церковь. Называлась она Десятинной, так как на ее постройку пошла десятая часть княжеской казны. При Батые церковь рухнула — хоры не выдержали толпы людей, спасавшихся от татар. Построили на том же месте другую, в XIX веке, тяжелую и некрасивую, но и она не дожила до наших дней. С моего балкона ее хорошо было видно.

А родись я на тысячу лет раньше, с моего наблюдательного пункта (вознесись он столь высоко) виден был бы Перунов холм, где стоял гигантский идол, сброшенный при крещении Руси князем Владимиром в Днепр. А еще раньше, по преданию, здесь же воздвигал свой крест Андрей Первозванный. Позднее, уже не по преданию, а по указанию Елизаветы Петровны, Растрелли на этом же месте вознес к небу одну из изящнейших в нашей

---

[1] и так далее (*фр.*).

стране церквей — Андреевскую, легкую, ажурную, рококошную, над крутым, заросшим кустами обрывом, по которому катились в Днепр изваяния богов — «Перуна древяна, а главу его сребрену, а усъ златъ, и Хъерса, и Дажьбога, и Стрибога и Симарьгла, и Мокошь».

Где-то тут же, в треугольнике между Перуновым холмом, княжеским теремом и моим НП [1], находился «Бабин торжок» — рынок и в то же время форум,— Владимир вывез из Херсонеса и воздвиг здесь античные скульптуры — «дивы». Отсюда и древнее название Десятинной церкви — «Богородица у Дивов», отсюда же, очевидно, и «Бабин торжок».

Знали ли мои родители, снимая квартиру в большом, угловом доме № 4 по Владимирской улице, сколь «исторично» место, ими выбираемое? Не думаю. А вот Костомаров и Врубель, жившие в доме напротив, но несколько раньше, очевидно, все же знали, но, думаю, выбрали этот уголок не потому, что здесь когда-то в великокняжеских златоверхих теремах лился рекою мед, а просто потому, что тут красиво, и рядом Андреевская церковь, и вид на распластавшийся внизу Подол, и на Днепр, и на заднепровские дали...

Вот в таком месте я и родился. И крестился. И начал расти, хотя поп из соседней Десятинной церкви, будучи не слишком трезв, чуть не утопил меня в купели. Мать говорит, пришлось применять искусственное дыхание.

С тех пор прошло шестьдесят три года, но я до сих пор почему-то не решаюсь ступить ногой на балкон, сыгравший столь существенную роль в деле познания мною внешнего мира. Почему? А Бог его знает почему. Я и в школу свою после окончания не заходил, и в квартиру довоенную, сожженную немцами, хотя там тоже балкон и с детства любимый красивый вид на Лавру, Печерск, Голосеевский лес... Остерегаюсь как-то встреч с прошлым. Боязно...

Впрочем, я неточен. Я не захожу в дома, в квартиры, но по местам своего детства часто брожу. Вот и недавно совершил такую мемориальную экскурсию. Зашел купить «аэрозоль» от тараканов в хозяйственный магазин на углу улиц Горького и Толстого (на месте нынешнего большого дома в «мои» дни стоял маленький, одноэтажный, в котором когда-то была редакция антисемитского «Киевлянина») и, увидав каштаны бульвара, то-

---

[1] НП — наблюдательный пункт.

го самого, по которому шестнадцать лет ходил в школу, профшколу и институт, решил что-то восстановить в памяти. Начал спускаться.

Улица моя — Горького, а до этого Пролетарская, а до этого Кузнечная — была булыжной с кирпичными или плиточными (такие плиты сохранились еще во Львове) тротуарами, и было на ней в нашем квартале всего три фонаря. Сейчас асфальт и фонарей не меньше полусотни.

У большого шестиэтажного дома остановился. Здесь, как пишут в биографиях, он прожил свои юные годы — в общей сложности двадцать пять лет.

Так же я стоял перед этим домом в декабре 1943 года, заехав на недельку к матери, по дороге из госпиталя в свою воинскую часть. Стоял и, задрав голову, смотрел на узенький трапецеидальный балкон на пятом этаже. Там мы жили. В квартире № 17. Школа, профшкола, институт, театральная студия... Шесть комнат, когда дом принадлежал домовладельцу Гугелю, и две, когда нас «уплотнили». Сейчас ни одной — все сожжено, только стены закопченные, провалы окон, искореженные, чуть ли не в узлы завязанные железные балки. Но на балконе, на нашем балконе, все тот же повзрослевший за два с половиной года, растущий прямо из бетона тополек. А рядом с топольком — о чудо! — пощаженные почему-то огнем несколько вязанок дров. Я долго стоял и соображал, как бы снять их оттуда — лестничная клетка сохранилась, а перекрытия все рухнули. Достань я их, и мамина «буржуйка» спокойно могла бы просуществовать недели две, не меньше. Мечтам моим не суждено было осуществиться: на следующий день дров уже не было, меня опередили. Но как? До сих пор ломаю голову.

Прожил я в этом доме двадцать пять лет — с 1915 по 1940. В 1941 г. заезжал на несколько дней, менять паспорт — работал тогда в Ростове-на-Дону, в театре. Когда вспыхнула война, я оказался за сотни километров от дома. Немцы окружили Киев, но телефонная связь поддерживалась, и я ежедневно говорил с матерью по телефону. Голос у нее, как всегда, был бодрый, интонации оптимистические, но я знал, что мы, если и увидимся, то не скоро.

Когда меня взяли в армию, в августе сорок первого, я сразу же сообщил об этом матери.

— Ну и правильно, и хорошо,— услышал я в трубке ее веселый голос.— Я очень рада за тебя. Нельзя отсиживаться сейчас в тылу. Иди... Только не забывай писать.

Не всякая мать скажет такое своему сыну. А моя сказала. Правда, в свое время, она произнесла, не помню по какому поводу, совсем уж не педагогическую фразу: «Викун, прошу тебя, никогда не будь благоразумным». Я на всю жизнь запомнил эту просьбу и в меру сил своих пытаюсь ее выполнять.

Итак, двадцать пять лет. Как говорят, лучших. Двадцать пять лет я выходил из этой дубовой, с зеркальными стеклами, в виде какого-то узора двери (сейчас она сосновая, и никакого узора) и куда-то отправлялся. Сначала с лопаткой в Николаевский парк, потом с тетрадками, а зимой и с тремя поленьями в школу, потом в профшколу, потом с рулонами ватмана в институт, иногда с плавками на пляж или вечером в кино.

В Николаевском парке были солдаты и домработницы, тогда они назывались прислугами. Солдаты всех национальностей — русские, украинцы, осетины, немцы, поляки. Все без исключения любили нас, детей, а заодно и наших нянь. Няни подсаживались к солдатам, а детвора полировала своими задами поверженного Николая I, бронзового, длинноногого, слегка лысеющего, лежащего у собственного постамента, или бежала к «Черному морю» — маленькому бассейну его очертаний, и гонялась там друг за другом, лихо прыгая через Босфор и воюя за Крым. Сейчас наше милое море густо обсадили цветами и никто из ныне резвящихся детей даже не подозревает, что́ эти цветы от них скрывают.

Но кончилось золотое детство, началось образование. Сначала одна гимназия — Хорошиловой — тут же на Кузнечной, младший приготовительный, потом вторая — Сороколовой — на Пушкинской, старший приготовительный. Это единственное учебное заведение моего прошлого, в котором я не очень часто, но все же бывал. Там редакция журнала «Радуга», членом редколлегии которого я был двадцать лет, пока меня оттуда не изгнали. И возможно, точно уж не восстановишь, мне на собрании выносили строгий партийный выговор в том самом «классе», в котором батюшка преподавал нам Закон Божий.

В 1919 году меня перевели на Большую Подвальную в гимназию Науменко, которая вскоре стала 43-й Единой трудовой школой. С тех пор начались мои прогулки (правда, вынужденные) по одному и тому же маршруту — в школу, профшколу, институт,— до бульвара Шевченко все эти маршруты совпадали. И за все шестна-

дцать лет ничто на моем пути не менялось. Только вырастали деревья да один раз университет из красного (стены и колонны красные, капители и базы колонн черные — цвета ордена святого Владимира, имя которого было присвоено университету) стал кремовым, но, слава Богу, не надолго.

Во все свои учебные заведения я всегда опаздывал. В приготовительные классы — потому что по утрам долго молился. Стоя в кровати на коленях и сложив по-католически руки ладошками, я просил у Николая-чудотворца, святого Пантелеймона-целителя (откуда они в нашей атеистической семье появились — одному Богу известно) простить мне мои прегрешения — вчера раздавил в ванной таракана и долго плакал над судьбой осиротевших «тараканкиных детей». Мой старший брат Коля невероятно возмущался моей религиозностью и даже написал маме длинное послание, требуя удаления бонны, дурно влияющей на мое мировоззрение,— кроме веры в Бога, она, эта же бонна, привила мне еще и верноподданническое отношение к престолу. Лет до восьми я был ярым монархистом и консерватором. Научившись читать и писать, я выражал свой протест против нового режима тем, что на всех афишах приписывал твердые знаки и менял, где надо, «и» над «i»... Мать ко всему этому относилась спокойно и на Колин меморандум ответила тремя словами: «Не беспокойся, пройдет». И прошло.

Итак, в первые два класса я опоздывал по соображениям идейно-религиозным. Потом — потому, что до школы было далеко и путь туда был небезопасен. Наш двадцать четвертый двор воевал с двадцатым, и почти каждое утро противник подстерегал меня, чтобы избить, что иногда, правда не часто, и удавалось ему. Я отчаянно сопротивлялся, но Надежда Петровна, классная наставница, разглядывая очередной синяк, почему-то не очень верила, что я «случайно ударился о шкаф».

В профшкольские и институтские годы я опаздывал потому, что поздно ложился спать и утром еле продирал глаза. В силу этого мне пришлось подделать подпись профессора Ярина в матрикуле, так как его лекции по железобетону начинались всегда в восемь часов. Много лет спустя на литературном вечере в том же институте я публично признался профессору Ярину в своем жульничестве, и, представьте себе, он ничуть не обиделся, только смеялся, сидя в президиуме.

Короче, во все свои учебные заведения я всегда мчался как угорелый, иногда вскакивал на ходу на завороте в 8-й номер трамвая. Но я не часто им пользовался, ходил он редко, набит был всегда так, что даже на подножку стать было невозможно, а висеть два квартала, держась за чье-то пальто, было утомительнее, чем бежать.

На пути моем было двое часов — в крайнем левом окне на втором этаже университета и у Управления Юго-Западных железных дорог — большие, над входом, на кронштейне, с надписью «Точное время. Проверка по радио». Надпись эта внушала определенное уважение, хотя каждый раз я убеждал себя, что часы, наверно, спешат. Сейчас, проходя мимо университета и никуда не торопясь, я машинально поворачиваю голову в сторону окна с часами, хотя лет тридцать их уже нет. И мне становится чуть-чуть грустно — удобные были часы, хотя, ей-Богу, всегда спешили, так же как, не сомневаюсь, и у школьного нашего сторожа Варфоломея Степановича.

В самом центре Киева, над Крещатиком, высится 200-метровая телевизионная башня. Почему бы на ней не соорудить громадные, видные со всех концов города часы? Вот было бы удобно! Свой, киевский Биг-Бен, Спасская башня, только еще выше, а главное, оригинальнее — нигде, по-моему, такого нет.

Прости, читатель, вспоминая детство, становишься ребенком...

Обо всех этих часах, трамваях 8-й номер, мальчишках из враждебного двора я вспомнил, глядя на свой балкон, уже без тополька, в день своей мемориальной экскурсии. Постоял, повспоминал и пошел дальше.

Пересек улицу Саксаганского (когда-то Жандармскую, Марино-Благовещенскую, Пятакова, а когда Георгия Пятакова посадили, то Леонида Пятакова, его брата, вовремя умершего), зашел в продмаг, купил «Беломор». Когда-то здесь был «Сорабкоп» (почему-то через одно «о»), и лет сорок тому назад я, трепеща и волнуясь, именно в нем купил свою первую поллитровку. Я мог позволить себе такую мужественную роскошь, зарабатывая старшим рабочим на Вокзалстрое сто рублей. Было мне тогда девятнадцать лет. Тогда же я впервые и побрился в парикмахерской, тут же, рядом с Сорабкопом. Брить было нечего, я очень волновался, потел, боялся, что парик-

махер сострит что-нибудь по поводу моего гладкого, как колено, подбородка, но он оказался деликатным и даже дважды намылил меня. В эту же парикмахерскую я зашел в 1944 году, вернувшись в Киев после ранения (кстати, Николай Митясов из повести «В родном городе» — тоже), но старого Давида уже не было, сохранилось только его зеркало с двумя амурчиками наверху. Я спросил парикмахершу о Давиде. Она грустно посмотрела на меня. «В Бабьем Яру...»

Бабий Яр... Одна из наиболее трагических страниц истории Киева, мимо которой никак не пройдешь. И мы не пройдем, побываем там. Но это потом.

Сейчас же — я вышел из парикмахерской, пересек улицу и остановился у дома № 32. С этим домом, вернее с одной из его квартир, у меня многое связано. И довоенное, и военное, и послевоенное. И веселое, юное, и трагическое, и горькое, и уютное, милое, а все вместе очень значительное, на всю жизнь. Но об этом в другой раз. Скажу только, что «В окопах Сталинграда» в основном писались именно здесь, в большом старинном кресле, у окна, сквозь которое был виден столетний вяз на противоположной стороне улицы, весь усеянный гнездами...

В тот последний военный и первый послевоенный год мы все заново увлекались Хемингуэем, много о нем спорили, и, вероятно, именно поэтому маленькая дочка хозяйки Ирка, когда я садился в свое кресло, строго говорила: «А теперь тишина, дядя Вика сел за своего Хемингуэя...»

Вот с этого самого «Хемингуэя» и началась литературная деятельность автора этих строк. Но на самом деле, скажу по секрету, все это началось значительно раньше.

Как-то, роясь в старых бумагах, я обнаружил несколько тетрадочных страничек, испещренных крупным детским почерком. Это оказалось, ни более и ни менее, как либретто оперы (!!!) «Карл и Мария», которое и осмеливаюсь робко вынести на суд читателей. Думаю, что для любителей стремительно развивающегося сюжета это, безусловно, находка, если предлагаемые «Записки зеваки», по моей просьбе, не отложены в сторону.

Вот это либретто. Привожу его полностью, текстуально, позволил себе только запятые вставить.

«КАРЛ И МАРИЯ»

Опера в 5 действиях, 9 картинах, с балетом.

Действующие лица:

Мария — дочь богатого графа
Карл — офицер
Граф Люис — отец Марии
Генерал Гамлет — генерал
Александр — богатый барон
Графиня Люция Люис — мать Марии
Солдаты, гости, священник, слуги, бандиты и другие.

ДЕЙСТВИЕ I. КАРТИНА 1-я

Бал у графа Люиса. Оркестр. Танцы. Среди гостей офицер Карл. Входит Мария — очень красивая. Она танцует с Карлом. Карл поражен ее красотой, влюбляется в нее. Он ей тоже нравится. Во время бала они сидят вместе, обнявшись, и Мария говорит Карлу, чтоб он к ней пришел этим вечером. Бал продолжается.

КАРТИНА 2-я

Комната Марии. Мария с нетерпением ждет Карла и поет. Вдруг из балкона выходит Карл. При виде Карла Мария бросается ему в объятия. Они начинают разговаривать, причем Карл говорит Марии, что хочет на ней жениться. Мария согласна, но говорит, что отец хочет ее выдать за знатного барона Александра, которого она не любит. Во время разговора Карл говорит, что он состоит в тайном обществе. Вдруг за дверью слышны шаги. Карл выпрыгивает в окно. В дверях появляется Александр. Он ухаживает за Марией, но она к нему относится презрительно.

КАРТИНА 3-я

В комнате Карла собрание тайного об-ва. Они обсуждают вопрос об убийстве царя. Вдруг появляется в дверях отряд жандармов, которые после короткой битвы связывают заговорщиков и уводят в тюрьму.

ДЕЙСТВИЕ II. КАРТИНА 1-я

В тюрьме. Пленные сидят и говорят. Карл предлагает выпилить решетки в окне и убежать. Все начинают пилить. После долгой работы окно освобождается и пленные убегают. Входят сторожа и никого не находят.

КАРТИНА 2-я

В комнате Марии. Бедная Мария грустная сидит и вспоминает о Карле. Приходит отец и утешает, но она не утешается. Отец уходит. Вдруг в окне появляется фигура Карла. Мария при виде его поднимается и, подняв руки, медленно идет к Карлу. Потом узнает его и с криком радости бросается ему в объятия. Они долго стоят в этом положении, потом садятся рядом на диван, и он ей рассказывает, как спасся. Она говорит ему, что у нее завтра свадьба с нелюбимым Александром. Карл говорит Марии, что он ее похитит перед свадьбой. Потом, последний раз обнявшись, Карл уходит в окно.

ДЕЙСТВИЕ III

Большая зала. Много гостей. Александр радостный и грустная Мария сидят рядом. Вдруг Мария говорит, что у нее болит голова и она пойдет напиться воды. Уходит. Александр сидит один. Начинается балет. Наконец, приходит священник, ищут Марию, не находят. Переполох. Александр падает в обморок.

ДЕЙСТВИЕ IV. КАРТИНА 1-я

Большое поле. Вокруг лес. Карл и Мария приходят. Они садятся на бугорке и засыпают. Вдруг появляется погоня в лице 3 человек (в том числе Александра). Карл убивает 2 противников и дерется с Александром. После дуэли Александр падает мертвым. Начинается утро. Карл и Мария обнимаются и смотрят на труп, потом берут свои вещи и уходят.

КАРТИНА 2-я

Маленькая хижина, в которой живут Карл и Мария. Карл пошел за дровами, Мария копает огород. Вдруг она в земле находит железный сундучок, это клад. В нем

золото. Мария радуется. Входит Карл. Мария бросается ему в объятия и с радостью сообщает о кладе. Карл берет сундучок, открывает его и видит, что он полон золота. Оба поют от радости.

ДЕЙСТВИЕ V

Действие происходит через один год. Большая, светлая, красиво убранная комната. Там сидят разбогатевшие уже и поженившиеся Карл и Мария и вспоминают прошлое. Потом смотрят друг на друга, медленно подходят и, обнявшись, целуются.

Конец

По-моему, прекрасная опера. Лаконичная, действенная, с чудесным оптимистическим концом. Непонятно, правда, куда девался анонсированный в начале, в списке действующих лиц, генерал Гамлет, но вопрос этот надо решать уже с режиссером, так же как о роли и месте появления бандитов, тоже объявленных в начале пьесы.

С возрастом появились новые увлечения, но с «литературой» не рвал. Кое-что из тех дней мать сохранила. Перечитываю, смеюсь. Другим не читаю.

Напечатался же впервые через десять лет, в 1932 году, в журнале «Советский коллекционер». В те годы я уже не так увлекался собиранием марок, как рисованием их. Когда Наркомпочтель (так называлось тогда Министерство связи) объявил всесоюзный конкурс на марки, посвященные дирижаблестроению, я послал несколько своих эскизов. Премии никакой, конечно, мне не дали, но предложили зато сделать несколько заставок для журнала. Я был на седьмом небе от счастья. Сделал. Послал. Напечатали.

А дальше? Дальше была моя статья о коллекционировании. В том же журнале. В конце статьи несколько слов об оформлении самого журнала. Покритиковав в меру обложку и еще что-то, я, из деликатности или скромности, покритиковал и заставку «Библиография», автором которой был не больше и не меньше, как я сам. (Дело в том, что я послал два варианта, один «левый», другой достаточно банальный — книжки на полке,— его я и критиковал.) Журнал не без юмора отметил в своей заметке «от редакции», что автор статьи по непонятным для редакции

причинам оказался в положении унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла...

Вот так я начал.

О дальнейших своих шагах на этом поприще я уже где-то упоминал. Писал что-то «заграничное», с мягко шуршащими шинами «роллс-ройсами», детективы с поисками кладов (вместо этого мальчишки находили запрятанное диверсантами оружие), сногсшибательные шизофантастические истории (конференция памятников в московском музее Пушкина, куда героя по знакомству приводит влюбившаяся в него леонардовская Мона Лиза), любовные псевдогамсуновские рассказы, а в 1940 году (мне было уже почти тридцать!) — даже военный рассказ на материале финской кампании, о которой знал только по газетам. Все это усердно куда-то посылалось, но, к счастью, очень скоро возвращалось. Я обижался, дулся, но «пера не бросал».

Но оставим пока литературу в стороне и, минуя столь существенный в моей жизни Сорабкоп и парикмахерскую, свернем за угол на родную мою Кузнечную. Метров сто вниз — и мы у тридцать восьмого номера. Сюда перебрались мать с теткой после того, как немцы сожгли двадцать четвертый. Седьмая квартира... О, что это была за квартира! Шесть лицевых счетов. И шесть счетчиков в квартире. И шесть лампочек. И в кухне тоже шесть и в уборной шесть. Кто-то из моих друзей, глядя на это лампочное созвездие, дал меткое ему определение — «гроздья гнева». Электропроводка в коридоре тоже достойна была внимания. Не только пожарников, но, пожалуй, и художников. Замысловатое переплетение проводов, будь над ним соответствующая надпись («Композиция 101») и окажись оно на какой-нибудь венецианской «Биенале», безусловно, было бы отмечено художественной критикой. Думаю даже, что со знаком плюс.

Больше ничем тридцать восьмой номер не знаменит, а остановил я тебя, читатель, у этого дома только потому, что именно в нем, на четвертом этаже, в упомянутой седьмой квартире я впервые обнял и поцеловал мать после двух с половиной лет разлуки. Она стояла в заставленной незнакомой мебелью комнате с черным, закопченным потолком, склонившись над печуркой, и варила суп из концентратов. Было это в декабре 1943 года. В августе 1944-го я вторично и окончательно вернулся в эту комнату, в которой прожили мы еще шесть лет и без всякого сожаления в пятидесятом году расстались.

Вот и все об этом доме. Сюда мы больше не вернемся, а свернув налево за угол (как видишь, читатель, само собой как-то получилось, что ты стал моим спутником), выйдем на Красноармейскую (бывшую Большую Васильковскую). Здесь, на углу, против здания оперетты, высится 16-этажный, так называемый «точечный» дом. Когда-то на его месте стояла маленькая, незавидная Троицкая церковь, с которой у меня связаны грустные воспоминания. Именно сюда приходил я в «вербное воскресенье» и возвращался назад, закрывая ладонями горящую свечку, чтоб ее не задуло ветром. И именно здесь я в первый (кстати, и в последний) раз причащался. Я хотел по всем правилам до утра поститься. Но не вышло — меня заставили съесть котлету. Это было святотатство. Я ревел весь вечер...

Потом церковь снесли (в одну ночь) и на ее месте выросла шашлычная. Столики на открытом воздухе, напротив — продуктовый магазин. Излюбленное место футбольных болельщиков — в трех минутах ходьбы от шашлычной — Центральный стадион. Прозвана шашлычная «Барселоной». Почему — неизвестно. Потому же, почему диетический «Гастроном» на Крещатике со столиками для кофе (только ли кофе?..) на втором этаже называется «Ливерпуль», а открытое на свежем воздухе кафе на том же Крещатике, против улицы Ленина — «Мичиган», хотя настоящее его название, горящее неоном над столиками,— «Грот»... Крещатицкий жаргон, что поделаешь.

Сейчас «Барселоны» уже нет, вместо нее — «точечный» дом с магазином строительной книги на первом этаже. Тут же неподалеку — остановка троллейбуса. Если ехать дальше по Красноармейской, попадем в Голосеевский лес и на выставку передового опыта, если в другую сторону — попадем на Крещатик. Выберем этот, второй маршрут.

* * *

Нет, мы не сядем в троллейбус и не поедем на Крещатик. Поедем позже, но не сейчас, не сразу... Настало время поговорить о другом...

Все, что тобою, читатель, прочитано до сих пор, написано более трех лет тому назад. И многое из того, что тебя ждет впереди, написано тогда же. Но...

Написано-то было написано, и после последней фразы (можешь заглянуть в конец, она сохранилась) «до следующей встречи!» поставлен был восклицательный знак, и

аккуратно перепечатанное на машинке, отнесено в любимый журнал «Новый мир», где все принесенному обрадовались и сказали «наконец-то!», и что-то там потом было исправлено и добавлено (без этого нельзя), и опять прочитано, и написано, наконец, в левом углу рукописи «в набор», и...

На этом все кончилось.

Нет, не кончилось, началось нечто новое. Все изложенное несколькими строчками выше: все эти «принес, исправил, добавил, опять принес» происходило не так молниеносно, как в той фразе — длилось оно не меньше года! И год этот был далеко не самым уютным в моей жизни. Но поскольку уж я выбрал ту спокойную, неторопливую манеру изложения, я не внес в рукопись никаких существенных корректив, а принес и положил ее на стол редактору. Тогда-то, через два или три дня, была поставлена долгожданная надпись «в набор». Набрали, дали почитать, а потом набор рассыпали. Есть такое странное слово, вернее действие — рассыпать набор. Вот и рассыпали.

Конечно, главный редактор журнала, человек не злой и к автору относящийся со всей симпатией, мог сказать: «Дорогой мой Виктор Платонович! Не сетуйте на меня, я здесь абсолютно ни при чем. Просто позвонили мне и сказали... Ну, вы сами понимаете, не ребенок...», и тут развел бы руками и улыбнулся бы той самой улыбкой, которая в данном случае обозначала бы: «Все мы под ЦК ходим, что поделаешь...» Ну, и автор в ответ улыбнулся бы той же понимающей улыбкой и, поговорив еще о том о сем, собеседники расстались бы, убедив друг друга, да в общем-то и не убеждая,— не маленькие дети,— что лучше подождать, время покажет...

Но редактор избрал другой путь: «А не поработать ли вам еще над этим местом, а? С вашим умением и талантом...» Местом этим он избрал главу о Бабьем Яре, а так как главу эту я уже сократил и перерабатывать ее больше не хотел (ох, уж этот Бабий Яр!), то я просто обиделся и расставание наше вышло куда менее теплым, чем встреча. Кстати, о том, что набор рассыпан, мне сообщили по секрету и просили не выдавать.

На этом моя двадцатилетняя дружба с самым либеральным журналом, как называется на Западе «Новый мир», кончилась (через полгода мне рукопись вернули и даже заплатили 110% гонорара), и я понес свое неродившееся дитя в другой журнал — «Москва». Журнал этот

считается куда менее либеральным, но редактор его в силу причин, я сказал бы, сентиментально-фронтовых (оба мы в свое время воевали в Сталинграде, и оба — простыми офицерами), рукопись принял тут же и даже 60% гонорара заплатил.

В этом журнале никаких поправок и дополнений у меня не требовали, но почти сразу же после сдачи рукописи на меня в Киеве заведено было очередное партийное дело, потом из партии исключили, и само собой разумеется, ни о каком печатании не могло быть и речи...

За неделю до моего отъезда за границу я зашел в редакцию — там мы поахали, поохали, чего только в жизни не бывает... — и расстались. Рукопись я им подарил на память, положенные 40% в бухгалтерии получил, так что никто ни на кого в обиде не остался...

К чему я обо всем заговорил, не дав войти в растворившиеся двери троллейбуса?

А просто для того, чтобы поговорить о том, как пишутся книги. И эта, в частности.

У Синявского, в одной из его статей, сказано — настоящая, большая литература может появиться только в стране, где писать запрещено. Это писателя ожесточает, собирает в кулак и самый факт, что он пишет то, что думает, наперекор всему заставляет его писать кровью сердца, перешагивая через все препоны.

Но это только в том случае, если писатель решился на всё.

Но есть тысячи писателей — я говорю о нашей стране,— которые, по тем или иным причинам, на это не идут. Одни — потому, что им хочется быть признанными, отмеченными и восхваление они ставят себе только в заслугу (известный режиссер Равенских написал даже статью «Трудное искусство восхваления»!), а другие — просто потому, что иначе не напечатают, а писателю нужно печататься, с этого он живет. Так родилась литература «социалистического реализма», литература не обязательно лживая, но не позволяющая себе перешагивать определенные пределы. Пределы эти, границы — то расширяются, то сужаются. Разного рода общегосударственные кампании — то против низкопоклонства перед всем западным, то против алкоголизма или «дегероизации», то за «бесконфликтность» — борьба хорошего с еще лучшим, то вдруг оказывается, что мало пишут о рабочем классе, а надо больше — одним словом, писатель должен внимательно читать газеты и, не отрываясь от действительности

(а был и «историзм», за который тоже доставалось), идти все время в ногу...

Я относился к этой, второй, категории писателей и, если не всегда шел в ногу (это мне не раз давали понять), то писал все-таки для того, чтобы печататься, а не «в стол».

Иными словами, я был той самой солженицынской «образованщиной» (хотя с образованием у меня было и неважно — «Что делать?» Чернышевского не читал и «Капитала» К. Маркса тоже), которая не выполняла облагораживающих заповедей «жить не по лжи» — на собрания ходил, газеты читал (!) и если не отдал сына в школу и армию, то только потому, что его у меня не было. К тому же, как уже упомянуто, писал и печатался в советских журналах, а однажды, как-то, в одном номере рядом с «Иваном Денисовичем».

Скажем прямо — это не легко. С годами к тебе приходит опыт, к тому же многолетний тренаж набивает руку и с помощью умного редактора тебе удается сказать то, что хотел сказать, иногда даже так, что цензорский комар и носа не подточит. Но увы, это не всегда удается. Тогда начинают бить! Как ни парадоксально, но не меньше, а часто даже больше, доставалось писателям не второй, а именно первой категории. Наиболее шумно били (даже со специальными решениями ЦК) Эйзенштейна, Пудовкина, Эренбурга, даже таких уж правоверных и «без мыла лезущих», как Софронов и Корнейчук.

Меня тоже били. Сначала не очень больно, так, пошлепывали, потом все больше и больше, пока не перестали вообще печатать.

Забавно, что первые шлепки (а они начались сразу же после выхода моей первой книги) пресек сам Сталин. Мне присудили премию его имени и, как выяснилось, присудил ее он сам. «Вы знаете,— сказал мне Всеволод Вишневский, редактор журнала «Знамя», где я был напечатан, закрыв дверь и выключив телефон,— вас сам Сталин вставил. В последнюю ночь. Пришлось срочно переверстывать газеты». И это похоже на правду — на последнем заседании Сталинского Комитета Александр Фадеев, председатель его, «В окопах Сталинграда» из списка вычеркнул — отсутствие, мол, масштаба, узость горизонта, взгляд из окопа, дальше бруствера ничего не видит...

И тут у всех читающих (и издающих) невольно возник вопрос. Что ж это такое? В книге одни солдаты и офицеры, никаких генералов, никаких политработников и об

отступлении рассказывается — кому это нужно? — и ни слова о коммунистической партии, и главное — глазам не верилось! — почти нет Сталина, так, в двух-трех местах, мельком... Загадка!

Да, многое в поступках Сталина было загадочным. Известно, что спектакль «Дни Турбиных» по пьесе Мих. Булгакова Сталин смотрел... 17 раз! Не три, не пять, не двенадцать, а семнадцать! А человек он был, нужно думать, все-таки занятой и театры не так уж баловал своим вниманием (он любил кино, ночью, и несколько фильмов подряд — в частности, все серии «Тарзана» — и чтоб все Политбюро сидело рядом), а вот что-то в «Турбиных» его захватывало и хотелось смотреть, скрывшись за занавеской правительственной ложи. Верность престолу, долгу, присяге — этого, что ли, ему не хватало, ему, человеку, не верившему никому и никогда, кроме Гитлера!

Такова судьба первой книги. С легкой руки самодержца она заняла подобающее место на библиотечных полках и в курсах истории литературы. Вторая, третья, четвертая и все последующие, каждая имела свою судьбу — об этом когда-нибудь, в другом месте,— но, как ты, читатель, уже увидел, избранный мною, как и многими другими, литературный путь (писать и печататься) — оборвался. Оборвался на этих самых «Записках зеваки», которые сейчас у тебя в руках.

Битый и перебитый, в повязках и наклейках, я взялся за них в надежде, что все предложенное мною во вступлении — давайте гулять, глазеть и вспоминать — никого не заденет, и все мои экскурсии в детство и юность, размышления о том о сем, миновав все рогатки, доберутся до читателя...

Не вышло. Не добрались.

И вот сейчас, сидя уже не на своем киевском диване, где все это писалось, а в большом кресле у окна, за которым черепичные крыши и увитые плющом каменные ограды, я опять взялся за то, что три года тому назад было написано и так неудачно отнесено в редакцию.

Нет, ничего из написанного я не выкинул. Всё, что я писал для того читателя, до которого эти строки доберутся теперь только через Сциллы и Харибды таможен и прочих рогаток, и читая которые он будет многим рисковать, все это я оставляю нетронутым. Но за эти три года, особенно за последний, появилось столько новых маршрутов, а в голове столько новых мыслей, что не поделиться ими я не могу.

И читатель-то, кроме старого, привычного, любимого, появился сейчас у меня новый, который с полуслова-то и не поймет, ему объясни, растолкуй. И рождается из-под карандаша какое-то странное существо, с глазами и спереди, и на затылке, какое-то переплетающееся, с налезающими друг на друга членами своими. Вот в каком я положении оказался, сидя в своем кресле и поглядывая на французские крыши и плющи... Но, стоп! Интермеццо мое несколько затянулось. Пора и на троллейбус. Вот он подъезжает — первый номер, как раз наш.

* * *

...Милый, милый Киев! Как соскучился я по твоим широким улицам, по твоим каштанам, по желтому кирпичу твоих домов, темно-красным колоннам университета... Как я люблю твои откосы днепровские. Зимой мы катались там на лыжах, летом лежали на траве, считая звезды и прислушиваясь к ленивым гудкам ночных пароходов... А потом возвращались по затихшему, с погасшими уже витринами Крещатику и пугали тихо дремлющих в подворотне сторожей, закутанных даже летом в мохнатые тулупы...

Так вспоминал Киев, Крещатик лейтенант Керженцев «в окопах Сталинграда», лежа под дождиком в лопухах на берегу Донца, в ожидании, пока его саперы заминируют берег...

Разметало нас тогда, киевлян, по всем фронтам, от Петсамо до Севастополя, и никто из нас не знал, встретимся ли мы когда-нибудь с киевскими каштанами и будем ли считать звезды, лежа на днепровских откосах, и возвращаться по затихшему ночному Крещатику...

Мне повезло. Я вернулся. И квартира моя (моя ли?) в самом центре, самом сердце города, на Крещатике.

Встретился я с ним еще до встречи с мамой в том же декабре 1943 года, через месяц после освобождения города. Выскочил из грузовика у Крытого рынка, там, где кончается Крещатик и начинается Красноармейская. Я сказал к о н ч а е т с я. Это неверно. Его просто не было. Горы битого, занесенного снегом кирпича, искореженные, торчащие из этих груд железные балки, и узенькие, протоптанные в сугробах тропинки. Вот и все. И цепочкой, как муравьи, спешащие куда-то люди — на работу, за пайками, на толкучку...

А каким он был, Крещатик...

Скажем прямо, глядя сейчас на довоенные открытки, в особый восторг не приходишь — улица как улица, ну, чуть пошире других, дома как дома, четырехэтажные, зелень довольно жалкая, посредине трамвай...

Скажи нам это в 20-е — 30-е годы, мы бы глотку перегрызли. Улица как улица? А где вы видали такие тротуары, такой ширины? Незавидные дома? А в начале улицы три 8-этажных дома, бывшие банки? А Бессарабка, Крытый рынок? А трамвай? Первый в России, и вагоны длинные, четырехосные, с тремя площадками, сиденья плетеные. Да что вы, ума лишились?

Да, мы влюблены были в свой Крещатик. И если не было в нем особой красоты, то какой-то шарм южной улицы был. По вечерам не протолкнешься. «Пошли на Крещик?»,— говорили мы друг другу и слонялись по нему взад и вперед, толпясь у кинотеатров (пойти или не пойти на четвертую серию «Акул Нью-Йорка» или отложить на субботу?), грызя семечки, поглядывая на девиц. Красивые, черт возьми, киевлянки... А киевлянки ходили в каких-то ситцевых платьицах, ни помады, ни бус, ни колец, ни сережек (упаси Бог, из комсомола выгонят!), а мы, мальчишки, в юнгштурмовках (военного образца, а-ля Тельман) и кепчонках, задранных «по-ленински» назад. Серенькая, в общем, толпа, ничего яркого, броского. Появившиеся в тридцатых годах клетчатые ковбойки поражали своей сногсшибательной пестротой и экстравагантностью.

Сейчас он другой, совсем другой... На месте взорванного (кстати, нами, а не немцами, как писалось раньше, чтоб еще больше очернить захватчиков) вырос новый (по кирпичику, по кирпичику — писатели и академики вносили свой вклад...) — безвкусный, шикарный, намного шире прежнего, а теперь — о счастье! — заросший каштанами и липами (сажали сразу взрослые), заслоняющими своими кронами все эти башенки и арочки «обогащенной» архитектуры сталинских времен. С надеждой и упованием смотрю я на первые признаки плюща на Крещатике (о! французские домики!) — годик-другой и станет он красивейшей улицей в мире.

Я люблю деревья. Они всегда мне что-то говорят, что-то напоминают. На одной из киевских улиц, с забавным названием Кругло-Университетская, росло дерево — гигант. Разросшимися своими стволами оно точно опекало, благословляло улицу. Когда его срубили — а его срубили, боясь, что оно упадет на прохожих, с годами оно все боль-

ше и больше склонялось — улица осиротела, стала беспомощной и безликой. Раньше я ее любил, сейчас обхожу стороной.

Было и на Крещатике такое дерево-уникум,— если не ошибаюсь, американский клен,— он растет всегда как-то валясь в сторону, нелепо изгибаясь и, наверно же, вызывая у городских садовников ненависть. Оно чудом сохранилось от былого Крещатика (вернее, от одного из его дворов) и, бесцеремонно нарушая ранжир новеньких лип и каштанов, просуществовало, нелепо и трогательно, тыкая во все стороны свои змееобразные ветви, почти четверть века. Совсем недавно его срубили — у нас не любят ярко выраженную индивидуальность.

Кроме этого дерева-индивидуалиста, сохранилось на Крещатике еще десятка полтора довоенных деревьев — в самом его начале, возле тех самых дореволюционных банков. На открытке двадцатых годов это жалкие саженцы, обнесенные деревянным штакетником. Никакой солидности. А теперь под ними и от дождя укрыться можно. Правда, их замечают и пользуются их услугами только в этом случае. Вообще же, кроме крещатицких старожилов, если они дожили до наших дней и что-то еще помнят, никто и не подозревает, что это тоже старожилы, тоже свидетели многого...[1]

Вообще, глядя на деревья, особенно чувствуешь бег времени. Как-то на заре своей юности, как всегда торопясь в школу, я на минутку задержался у Николаевского парка. Вдоль его решетки по Караваевской улице сажали тополя. Тоненькие, озябшие веточки. Тогда это была редкость. Я минутку постоял, посмотрел и побежал дальше. Недавно, проходя по тому же месту, я встретился у входа в парк с громадным, высотой в четырехэтажный дом, раскидистым тополем, который сейчас и двумя руками не обхватишь. Да, это был один из тех юнцов, которых на моих глазах сажали миллион лет тому назад. Впрочем, зачем гиперболы, сажали их лет пятьдесят тому назад и, глядя сейчас на него, единственного выжившего и пережившего, я как-то очень ясно ощутил, что мы ровесники и оба не первой молодости.

---

[1] «Кто такие старожилы?» — спросили как-то меня. «Старики, прожившие много лет»,— ответил я. «Нет, это люди, которые ничего не помнят. Даже старожилы не припомнят таких морозов, такой жары, такой теплой зимы... Вот кто такие старожилы...»

Ох-хо-хо...

Так кто же сменил нас, в кепочках и тапочках, на Крещатике? Мальчики в джинсах и девочки в мини. И браслеты у них, и цепочки. И попытки встречаться в кафе...

В общем-то культа кафе, как везде на Западе, у нас нет. Больше на скамеечках, в саду, во дворе, а у счастливцев с отдельной комнатой — в этой комнате. Но иной раз хочется выпить и на люду, на западный манер...

Таких мест на Крещатике — могу по пальцам сосчитать — пять. Три из них, собственно говоря, даже не кафе, а закусочные, но есть столики, а в двух шагах и «Гастроном» — можно и сбегать. В «Ливерпуле» за столиками с разноцветными пластмассовыми стульями распивают «тракию» и «мельник», ставя бутылки под стол, откуда их выволакивают уборщицы или «недопепившие» всем тут известные старики. («Ну, как, дядь Петя, дела?» — «Да, ничего, помаленьку. За ваше здоровье...»)

Чуть в стороне от столиков вьется длиннющая очередь. Это за «Киевским» тортом. Без него немыслимо приехать из Киева домой — в Москву, Ленинград, Свердловск, Иркутск. Сходите как-нибудь на вокзал и посмотрите — по два, три, а то и четыре торта везут. Психоз! (Из очередей, кроме этой, меня всегда поражали две их разновидности: за кормом для рыбок и на почтамте — чисто мужская — в погоне за юбилейными штемпелями на марки.) Кафе «Ливерпуль» — место встреч друзей осеннее, зимнее. Летом же — «Морозиво» («Мороженое») у входа в Пассаж, «Мичиган» (он же «Грот») и «Бульонная» рядом с входом в метро. Публика во всех трех одна и та же, преимущественно студенты, художники, актеры, киношники, кое-кто из пописывающих. Чашечек с бульоном и так называемых «кремовок» (на языке официанток) для мороженого не так уж много, граненых стаканов побольше. Большинство посетителей друг друга знает. Сидят компаниями. Время от времени кто-нибудь бежит в «Гастроном»...

В кафе «Крещатик» надо платить за вход, там эстрадные номера, здесь больше приезжих и любителей потанцевать. Рядом прилепился бар «Стекляшка», где знакомые «всему Крещатику» бармены (а они, в свою очередь, знают не меньше трех четвертей «всего

Крещатика») разливают коктейли всех цветов и градусов. В гостинице «Дніпро» три бара — один над другим — самый верхний — любимое место киевских негров-студентов, но нас, грешных, туда не пускают — нужна валюта...

С приближением одиннадцати «Ливерпули» и «Мичиганы» постепенно пустеют, зато набиваются «Гастрономы» — до закрытия осталось пятнадцать минут... После одиннадцати толпа на Крещатике редеет, определенная часть ее переселяется во дворы и окрестные сквериĸи. Дворы в Киеве особенные — там и зелень, и скамеечки, и столики (днем на них режутся в «козла»), и всякие детские площадки с качелями и какими-то горками для катания. Ну, а летом — трава... К сожалению, все эти дворы и столики известны милиции и дружинникам — дружеская беседа часто заканчивается в отделении милиции.

К часу ночи расходятся по домам с песнями под гитару или без гитары последние веселые компании, и Крещатик затихает до утра, до первых дворников.

Увы, все это было... Сейчас этого нет. «Ливерпуль», главное место встреч, разогнали, «Мичиган» обнесли забором, что-то строят, «Бульонная» сама по себе как-то выдохлась, в «Стекляшке», очевидно, проворовались бармены и коньяка, хоть и дорогого, но не продают... Остались дворы, да подъезды, да редкие те случаи, когда кто-нибудь из холостяков пригласит к себе...

Усложнилась жизнь. Раньше часам к восьми-девяти в «Ливерпуле» всегда кого-нибудь найдешь, а сейчас только и осталось, что «Гастроном», у винного отдела или возле него — сидят на заборчике скверика, глазеют по сторонам, авось кто из друзей появится. Выпить-то хочется. И мыслишками поделиться...

Мыслишками поделиться... Вот это-то самое сложное.

В «Ливерпуле», выпив рюмочку-другую, позволяли себе кое-какие вольности. Не ахти какие — поругать арабов, поиронизировать над вставной челюстью Брежнева, рассказать парочку анекдотов — дома же, за чайным столом... Поразительно, до чего все уверены, что каждое слово подслушивается. В большинстве, я бы сказал, даже в подавляющем большинстве, известных мне московских, киевских, ленинградских домов достаточно только заговорить о «политике», как на телефон наваливается подушка или втыкается каким-то особым образом

карандаш. Идеализация технической оснащенности определенных органов поразительна. И никто почему-то не задается вопросом — сколько же миллионов, миллиардов магнитофонной ленты должно прокрутиться в одном, допустим, только Киеве, если все («ну, не все, но твой и мой, поверь мне...») телефоны подслушиваются, а магнитофоны (сколько их и сколько этажей они занимают!) не остывают.

В том, что у меня во всех углах подслушивающие аппараты, не сомневался никто. Даже я стал верить. Это резко сократило количество посетителей. Приходить стали только отчаянные смельчаки — считалось, что я слишком вольно себя веду (это у себя-то дома!). Мои попытки убедить друзей, что все самое страшное я уже выговорил в свое время в кафе и ресторанах, никого не убеждали («то — тогда, а это — теперь»). Те немногие «не смельчаки», которые отваживались иногда все-таки забежать ко мне, за чаем старались не проронить ни слова, а когда я в самых невинных выражениях касался, допустим, ближневосточных событий, делали круглые глаза и указывали куда-то наверх, в угол.

Думаю, что основное, чего удалось добиться советской власти за годы своего существования — это страх, который она вселила в людей, и точную уверенность, что КГБ все знает и все может.

До сих пор не могу понять, почему самые страшные тридцать седьмые годы в моей жизни, в жизни моей семьи не вызвали никаких осложнений. Загадка...

Читая Н. Я. Мандельштам, видишь, как совсем по-иному жила в те годы московская и ленинградская интеллигенция. Вернее, мы жили по-иному. Те — не спали ночами, прислушиваясь к каждому шагу на лестнице, считали светящиеся окна в соседних домах («неделю уже не горит свет у таких-то — забрали...»), мы же о всех страшных событиях узнавали только из газет, и то о тех только, о которых писали. И не скажу, чтоб родители мои (не говорю о себе, для меня тогда существовал только театр) так уж скромно себя вели. Тетка — правдоискатель и человек бесстрашный — протестовала и писала в ЦК по поводу всяких арестов и увольнений, другая же тетка, жившая в Швейцарии, в письмах своих (а писала она регулярно, и все письма доходили) позволяла себе весьма неодобрительно отзываться о нашей системе, а когда бабуш-

ка сообщила ей о смерти А. В. Луначарского (моя семья с ним дружила в Париже), та ей лаконично ответила — «ну, что ж, одним бандитом меньше...». Думаю, этого было вполне достаточно.

Поразительно и другое — оторванность, в частности, моя, от той жизни, которой жила в те годы Москва. В 1938 г. мне было 27 лет. Работал я во Владивостоке, в театре Красной Армии, и считался одним из самых интеллигентных, культурных, начитанных молодых актеров. Но если б мне тогда сказали, что где-то совсем рядом, в нескольких километрах от моего дома, моего театра во Владивостоке, пригороде Вторая речка (а сколько раз мы ездили туда с выездными спектаклями) умирает за колючей проволокой великий русский поэт Осип Мандельштам, я бы только вылупил глаза — «Кто, кто?». Пристало ли мне после этого удивляться, когда мой друг, военный инженер, живущий, правда, не в Москве, а в Вольске, неподалеку от Саратова, таким же «кто, кто?» отреагировал на какое-то мое высказывание о Синявском и Даниэле. Правда, в мои годы не было никаких Би-Би-Си и Голосов Америки, что, не очень, но все же как-то оправдывает меня.

С улыбкой вспоминаю я сейчас свое пламенное, всех взбудоражившее выступление в стенах Строительного института на какой-то из дискуссий (тогда они еще допускались). «Страх... вот главное, что нами сейчас руководит! — так начал я свою речь.— Страх перед дурной отметкой! Страх от одной мысли, что тебя лишат стипендии! Страх перед профессором, от которого зависит и то и другое! А он — страх — ведет к предательству и измене...». Ну, и т. д. Поводом для этой пылкой речи двадцатилетнего студента (осужденной, кстати, потом секретарем ЦК товарищем Гансом — кто его помнит сейчас? и фамилия моя попала в центральную газету — и я был в восторге, как чеховский герой) послужило решение высочайших органов, осуждающее конструктивизм в архитектуре — событие, на многие годы повергшее нашу архитектуру в состояние растерянности и упадка.

Думал ли я тогда, задиристый забияка, что эта тема — страх (о, если б перед отметками и профессорами...) — станет главной в те невеселые дни, когда я расставался с Родиной, и явится одним из тех толчков, которые вынудили меня принять столь нелегкое решение.

Страх...

Самое грустное — это то, что я со всех сторон слышу: «Надо понимать... Поймите же, что ему..., что ей, что им... что у них...» Стараюсь понять, но не понимаю.

Не понимаю, как человек, жена моего самого близкого, самого дорогого, ныне уже покойного, друга может после тридцати лет самых близких, самых дружеских отношений, вдруг, эти самые отношения пресечь навсегда. Так и было сказано: «Я с ним встречаться больше не буду». Конечно, если когда-нибудь ему что-нибудь от меня будет надо, он может... Но он не смог. Черта была подведена слишком решительно.

Не понимаю, как можно отправить назад пришедшие на твой адрес лекарства с просьбой передать их моей жене — мы были в отъезде. По телефону было сказано: «Ты сама должна понять... Я не могла иначе... И проститься с тобой я тоже не могу... Мне очень тяжело, но...» С этим человеком моя жена дружила даже не тридцать, а сорок лет. Можно сказать, самый близкий друг — совместная работа в театре, эвакуация, последние годы...

Не понимаю, когда оправдывают моего друга, с которым мы учились в одном институте, и ближайшего моего соседа (его окна видны из моих окон), забывшего вдруг ко мне дорогу (он попрощался со мной телеграфно), словами: «Пойми же, ради Бога, что ему надо объект сдавать... Зачем ему рисковать?» А друг этот в свое время любил прибегать по вечерам ко мне, усталый и раздраженный — «Дай чайку... Хочется как-то всех послать к чертовой матери, дергают со всех сторон, сил нет...» И делился со мной всеми сложностями и перипетиями своей работы. Потом предпочел не делиться — там же, мол, все прослушивается. Может, он прав, объект-то сдавать не мне, а ему...

И еще один друг... И еще... И еще...

И стало пусто. И телефон умолк. И я перестал звонить. Старался понять. До сих пор стараюсь. Но не выходит.

* * *

Вечерний Крещатик натолкнул на мрачные размышления. Может, утренний или дневной немного успокоит нас? Вряд ли. В дневные часы он одержим. Магазинная и лотошная вакханалия. Моя квартира в самом

центре, и вся толчея перед моими глазами. Когда-то, до войны, Пассаж был тихой улочкой с художественными салонами, книжными магазинами. Сейчас это «Детский мир», где меньше всего детей и с избытком взрослых.

Что происходит со взрослыми, когда где-то «выбросили» кофточки, босоножки или апельсины,— говорить не приходится. С ужасом и великим сожалением думаю о тех, чьи окна выходят в этот самый «Детский мир»... Наши, слава Богу, выходят в противоположную сторону, которая шумна только по утрам, когда разгружают ящики в тылах магазинов. И только по воскресеньям в Пассаже тишина. Магазины закрыты. Бродят голуби, да во дворе «Гастронома» единственная на весь Пассаж очередь — сдают бутылки.

Бывает время, когда Крещатик меняет свое обычное лицо. Это — праздники и дни футбольных матчей. Население его тогда увеличивается в десятки раз. В дни футбола не рекомендуется заходить в «Гастроном» — все равно ничего не добьешься,— а в дни праздников и салютов прекращается движение транспорта и улица во всю свою ширину и длину отдается во власть пешехода, если это спокойное слово можно применить к топчущейся на месте или протискивающейся куда-то толпе. Это не лучшее время для посещения Крещатика.

Мы с мамой выходим гулять обычно под вечер. Жара уже спала, но вечерней толкотни еще нет. Маршрут традиционный — до эспланады над Днепром или по Петровской аллее и назад. Идем себе под ручку, тихонько, не торопясь. У подземного перехода осаждают продавщицы цветов, они нас хорошо знают. «Возьмите ландыши бабусе, только из леса...» Мама любит ландыши, и весной у нас вся квартира в ландышах. И в распускающихся веточках тополя, каштана, клена. Потом сирень, жасмин, к концу лета гладиолусы, осенью георгины, астры... «Вы только побрызгайте их сверху, долго стоять будут...» Иногда наших баб нет, их разгоняет милиция. Зачем? Почему? Кому они мешают? Кто-то объяснил: «Безобразие! Замусоривают только Крещатик лепестками!» Действительно, безобразие, того и гляди утонет Крещатик в лепестках роз...

Так, здороваясь направо и налево,— мы ведь тоже неотъемлемая часть предвечернего Крещатика, что-то вроде его достопримечательности,— доходим до громад-

ного плаката на глухой стене дома: «Пийте, друзі, вітаміни, натуральні свіжи соки і рум'янцем неодмінно запалають ваші щоки». Мама каждый раз возмущается: «Зачем надо, чтоб у меня пылали щеки? Кто придумал, что это красиво?» А на площади Калинина на доме всю ночь вспыхивает и гаснет: «Хто морозиво вживає, той квітучий вигляд має». Мать тоже пожимает плечами: «Всю жизнь ем мороженое и никогда этого не замечала».

О, киевская реклама, мигающая, вспыхивающая, переливающаяся! Она далеко обогнала примитивные московские призывы Аэрофлота и сберкасс пользоваться их услугами и, пожалуй, даже Бродвей. У нас она в изысканной стихотворной форме.

«Якості найкращі сконцентровані саме в ньому, в цукрі рафінованім» (качества наилучшие сконцентрированы именно в нем, в сахаре рафинированном).

«Кришталь, скловироби, термоси виробництва Київського склозаводу художнього, хай будуть в квартирі у кожного» (хрусталь, стеклянные изделия, термосы, производства киевского стеклозавода художественного, пусть будут в квартире каждого).

«Піаніно, баяни, бандури не треба шукати довго. Адреса точна — в магазинах Київкультторга». (Пианино, баяны, бандуры не надо искать долго, адрес точный — в магазинах «Киевкультторга»).

И так далее, в том же духе. Разве плохо?

Погуляв по вечернему Крещатику, ты не будешь больше мучаться в поисках бандуры, обставишь наконец квартиру хрусталем и термосами, а чай будешь пить только вприкуску.

Зацепившись за рекламу, никак не могу обойти вниманием еще один вид информации — так называемую наглядную агитацию. Ничуть не оспаривая ее полезность в принципе, приведу только один пример.

Прошу уважаемого читателя, не подглядывая вперед, ответить на вопрос: «В какой газете, книге, журнале, Парке культуры и отдыха, клубе или кинотеатре могло быть помещено нижеследующее?»

«К 1980 г. будет полностью удовлетворена потребность народного хозяйства и населения в перевозках путем согласования развития всех видов транспорта».

Где? Нет, не в газете, не в Парке культуры и отдыха, не в клубе, а... на почтовой марке! Все это размещено на крохотном кусочке бумаги размером

3 × 5 см. и изданном Бог знает скольким миллионным тиражом. И такая марка не одна, а целая серия.

Ах, милая ты наша наглядная агитация. Как привыкли мы к тебе, бессмысленной и никем не читаемой — ко всем этим «Партия и народ едины» и «Выполним решения XIV пленума», ко всем этим потокам и колонкам цифр, диаграмм, и молодым парочкам с развевающимися волосами и спутниками или атомами в протянутой руке, как уже даже не раздражаемся — просто глаз наш аккомодировался и сетчатка не воспринимает, не отпечатывает в мозгу определенный набор слов и изображений...

Но однажды сетчатка у меня не сработала, сдала. Дело было в Чернобыле, маленьком и очень симпатичном украинском городке на берегу Десны. Как-то вечером мы с друзьями гуляли по прибрежным лугам и добрели до старой лесопилки. Кругом — ни души. Две на длинных веревках козы щипали траву. Где-то далеко в лесу, за речкой куковала кукушка. Заходило солнце. Тоненький месяц над лесом. Тишина и покой. И только легкий ветерок трепал выцветший, ставший из красного розовым, лозунг над воротами лесопилки: «Да здравствует традиционная дружба народов Советского Союза и Непала». Интересно, есть ли в Чернобыле хоть один человек, который мог бы пальцем указать на карте, где этот Непал находится.

* * *

Лучшее время прогулки по Крещатику — это, конечно, раннее-раннее утро. Летом, часиков этак в пять-шесть. Редкие, непонятно откуда и куда идущие — то ли с дежурства, то ли с затянувшихся именин прохожие, первые дворники, волочащие по тратуару кишки для поливки улиц. Троллейбусов еще нет. Вихрем проносятся одиночные, плюющие в этот час на светофоры, машины. На магазинах, с обязательными любезными «Добро пожаловать» (по-украински, «ласкаво просимо»), висят еще замки на каких-то железных коробках с всунутыми в них картонками... Идешь по такому Крещатику, еще прохладному, с длинными тенями, и замечаешь то, мимо чего проходишь, когда он тороплив и многолюден. Именно в это утро ты обратишь внимание на то, как выросли довоенные деревья, как

хорош виноград на балконах, переползающий по стенам с одного на другой, как мощно разросся плющ на лестнице, ведущей к павильону «Чай-кофе» (расти, расти, плющ, разрастайся по всем фасадам Крещатика — ты сделаешь большое дело!), как не нужны, безобразны и не вяжутся со старым Пассажем скульптуры у его входа и еще парочка возле лестницы к кинотеатру «Дружба». Для чего они, эти унылые мужчины и женщины с какими-то чертежами, планами и снопами в руках? Ох, как повезло бы Крещатику, если бы скульптуры могли оживать — взяли бы они свои чертежи под мышки и ушли куда-нибудь подальше...

Да, именно в это тихое, безлюдное утро ты все увидишь и заметишь. Остановишься посреди пустынного тротуара и начнешь рассматривать фасады. Ты никогда не занимался этим? Тогда — советую!

В Киеве есть дом, который знают все, даже не киевляне. «Слыхали, что у вас в Киеве есть такой дом,— говорят они,— на котором много...» Да, есть, отвечаем мы, дом Городецкого, дом с русалками.

В. Городецкий, в свое время известный в Киеве архитектор, отнюдь не был новатором. Он подражал Древней Греции (в музее украинского искусства, «со львами», как его называют киевляне), готике (в новом костеле), чему-то восточному (в караимской кенасе на Большой Подвальной, сейчас там кино «Заря»). Сделано все умело, добротно, со знанием дела, но в общем-то, копии чего-то. Но вот в жилом доме на Банковой (ныне Орджоникидзе) Городецкий нашел самого себя. В этом доме он приближается не на очень, правда, близкое расстояние к вдохновенному певцу архитектуры «модерна» — Антони Гауди, автору знаменитого собора Ла Саграда Фамилия (Святое Семейство) в Барселоне. Неудержимая фантазия, стремление и умение из камня и цемента вить веревки, лианы, сети, уничтожать камень как таковой, превращать его в цветы, растения, животных — одним словом, создавать архитектуру, уничтожая ее устоявшиеся принципы, вот что сближает этих двух архитекторов — русского и испанского. «Дом Городецкого» — это, конечно, не просто дом, это сказка, приключенческий рассказ, детская иллюстрированная книжка... Там вырастают из стен слоны, носороги, антилопы и громадные жабы на крыше, и наяды верхом на усатых дельфинах, и в канелюрах колонн извиваются маленькие ящерицы и змеи, а на решетке

дома дикий барс (или что-то ему сродни) сражается с могучим орлом...

И вот стоят перед этим домом туристы, приезжие со всех концов страны, и рассматривают, удивляются, поражаются, хвалят, осуждают, иронизируют и, конечно, фотографируют со всех сторон. Одним словом, при всей своей антиархитектурности дом этот...

Но, стоп! Я сказал «антиархитектурность» — и тут же беру свои слова обратно. Нет, дом Городецкого вовсе не антиархитектурен, в нем просто ярче, доходя до какой-то крайности, развито то, что заложено в архитектуре многих жилых домов первых лет двадцатого века. Более того, я бы сказал даже, что дом этот на фоне остального — пример скорее положительный, чем отрицательный.

Конец XIX — начало XX века — не лучшее время в истории архитектуры. Декаданс, модерн, Сандуновские бани, Елисеевские магазины, особняки Рябушинского, Кшесинской, Grand Palais в Париже. Но кроме особняков, где полет фантазии не ограничивался богатыми заказчиками, начало века было отмечено неудержимым ростом городов, строительством так называемых доходных домов и того, что за границей называется «офисами» — банков, контор, страховых обществ и т. д. И вот этим-то домам было тогда нелегко, а архитекторам и подавно.

Земельная рента в начале века (особенно на центральных улицах) росла чуть ли не в геометрической прогрессии. В Киеве в 90-х годах усадьба Меринга (в самом центре города, там где театр И. Франко, бывший Соловцова), размером в десять десятин, продана была за 300 тысяч рублей. Несколько лет спустя усадьба Штифнера (нынешний «мой» Пассаж) площадью в один гектар была приобретена страховым обществом «Россия» за полтора миллиона рублей.

Теснота участков приводила к тому, что дома на улицах-коридорах стояли плечом к плечу и оставляли в распоряжении архитектора одну только фасадную стену, остальное — либо глухие брандмауэры, либо никому не видные задние стены, выходящие окнами и балконами во дворы-колодцы.

Так расцветало фасадничество.

Правда, и ренессанс, и барокко, а до этого и готика тоже хорошо знали, что такое фасад. На него сгонялось все — и колонны, и пилястры, и сандрики, и

карнизы. Но стиль в то время создавали, в основном, не жилые дома, а уникальные сооружения — дворцы, замки, соборы; в двадцатом же веке — именно жилые дома и «офисы».

И вот бедный архитектор, лишенный объема и пространства, весь свой талант и знания вкладывает в эту самую, единственную, выходящую на улицу стену. Задача не из легких, с которой могли справиться только крупные мастера. И нужно сказать, что в России таким архитекторам, как Щусев, Щуко, Фомин, Жолтовский, Таманян, Бенуа удалось создать здания, безусловно украшающие город. Пример тому — Каменноостровский (ныне Кировский) проспект в Ленинграде одна из красивейших улиц города.

Киев, увы, похвастаться таким проспектом не может. Четыре здания на Крещатике (Зекцера и Торова, Бенуа, Андреева и Лидваля) плюс Пассаж, непосредственно на Крещатик не выходящий, ну, еще от силы десяток-другой домов — и всё. Остальное мало интересно. Пяти-шестиэтажные из желтого киевского кирпича, в большинстве неоштукатуренные здания с достаточно безвкусной лепниной и обязательно куполами — вот типичная архитектура Киева, его лицо. Ну, еще обязательный «стиль рюсс» — пузатые колонки, теремочки, кокошнички.

Спасает эту безвкусицу рельеф города и буйная зелень, скрывающая фасады. Одно в этих домах хорошо — балконы. Широкие, просторные, со специфической киевской «пузатой» решеткой из каких-то листьев и ветвей. На таком именно балконе я и начал свои прогулки — дом № 4 на Владимирской — типичный киевский дом.

Двадцать пять лет я прожил в Пассаже. О нем стоит поговорить особо, так как огромный дом этот — один из наиболее ярких образчиков нелегкой, я бы даже сказал, трагической судьбы «фасаднической архитектуры».

Пассаж — это, так сказать, внутриквартальная, совсем не широкая улица с большими магазинами на первом этаже и бесчисленным количеством квартир на остальных четырех. Думаю, что население Пассажа (вся эта улица — один дом № 15) не уступает по количеству жителей любому современному районному центру или дореволюционному уездному городу. Строил его архитектор П. Андреев. Осуществить до конца свой проект ему не удалось (строительству крещатицкой части по-

мешала мировая война), но и то, что сделано, свидетельствует о большом мастерстве автора. Да, о мастерстве и в то же время, повторяю, о трагичности его мастерства.

Даю голову на отсечение, что ни один из многих тысяч жильцов этого дома не знает, что же изображено на его фасадах. Более того, смею утверждать, этого не знает ни один киевлянин, даже ни один житель земного шара, кроме, разве что авторов проекта (если они еще живы) и... меня. Сужу по тому, что, прожив в Пассаже двадцать пять лет, я только сейчас обнаружил на его фасаде, вернее, фасадах, массу интереснейших вещей. Обнаружил, например, кроме мужских и женских голов, молодых и пожилых, несметное количество гербов, гирлянд, поддерживаемых летящими гениями, ангелочков, орлов, бычьих черепов, ночных сов с распростертыми крыльями, факелов, жезлов Меркурия, бараньих голов с подвешенными к рогам ананасами и множество барельефов — детей, играющих со львом и львицей, обнаженных мужчин и женщин, из которых я точно узнал одного только Нептуна по трезубцу в руках, какие-то обнимающиеся пары... И все это я, киевлянин, человек, любящий разглядывать фасады, открыл для себя совсем недавно, начав писать эти заметки.

И тут-то и возникает вопрос: не зря ли потратил всеми уважаемый архитектор время на прорисовку всех этих ангелочков, сов, орлов и прочей живности? Ведь никто этого не видит, не замечает. Я вот совсем недавно только обнаружил, что женская голова в замочном камне над моим парадным отличается от других таких голов тем, что она прикрыта тигровой шкурой. А сколько раз я входил в эту дверь? Тысячу, две, пять, десять тысяч раз! Непостижимо! И обидно. Столько труда потрачено. Неужели напрасно? [1]

В студенческие годы мы много говорили и спорили о синтезе искусств. Примерами положительными счита-

---

[1] Уже после обнаружения тигровой шкуры я хвастался знанием фасадов собственного дома перед другом-скульптором. И, к великому моему удивлению, разобрал вдруг, что детишки на барельефах вовсе не играют со львом и львицей, они просто-напросто... спаивают их. Да, спаивают! Одни раскрывают ему пасть и подносят чашу с вином, наливая его из амфоры. Другие же малыши с гроздьями винограда в руках приготовляют вино. А двое даже дегустируют его. Вот о каких интересных вещах рассказал нам Андреев...

ли Афинский Акрополь, капеллу Микеланджело во Флоренции, где архитектура и скульптура настолько спаялись, слились, что просто не могут существовать друг без друга. Синтез архитектуры с живописью признавался, правда, с оговорками, в домах Помпеи, а в более поздний период в архитектуре Мексики — Диега Ривера, Сикейрос и другие. Нарушителями, врагами синтеза считались Сикстинская капелла того же Микеланджело (живопись разрушает архитектурную форму) и, конечно же, барокко, где для нас, юных конструктивистов, ревнителей чистых объемов и плоскостей, всего было слишком много.

С годами вкусы несколько изменились — стало ясно, что конструктивизм отнюдь не панацея от всех бед (это понял раньше всех нас великий Корбюзье), а барокко далеко не самый плохой период в истории искусств. Стиль (если можно говорить о нем, как о чем-то имеющем начало и конец) рождается в определенную эпоху и не на ровном месте. Он отвечает требованиям своего времени, своих заказчиков (от императоров прошлого до государственных мужей последних десятилетий) и в то же время является отображением состояния умов и вкусов.

Но я не собираюсь читать сжатый курс истории архитектуры, я просто пытаюсь уяснить себе (а потому и залез в дебри), что́ и положительного и отрицательного дала человечеству архитектура начала века, а заодно разобраться в том, что можно считать ее трагедией.

Если, вспоминая прошлое, мы заговорили о синтезе архитектуры, скульптуры и живописи, то на примере андреевского Пассажа и его собратьев мы видим весьма любопытное явление — вмешательство в архитектуру книжной графики и, в свою очередь, архитектуры в книжную графику.

Сравните, например, фасады первого десятилетия XX века с графическими работами «мирискуссников» — Бенуа, Бакста, Сомова, Добужинского — с обложками «Аполлона», «Золотого руна», «Столицы и усадьбы», и вы увидите много общего. Те же маски, купидоны, гирлянды, бараньи головы. Виньетки на стенах домов, колонны и архитектурные детали на книжных страницах.

И это вполне закономерно. И у архитектора, и у графика перед глазами плоскость, прямоугольник — у первого стена, у второго лист. И плоскость эту нужно

заполнить. И заполняя ее, архитектор и график протянули друг другу руки, как позже, в двадцатые годы, сделали это архитектор и инженер. Но если во втором случае архитектура открыла нечто новое и дала миру таких мастеров, как Ле Корбюзье, Гроппиус, Райт, Леонидов, Мельников, бр. Веснины (список этот можно продолжить), то в первом случае дело обстоит несколько сложнее.

Книгу, взяв ее в руки, ты рассматриваешь, а мимо дома проходишь, не очень-то обращая на него внимание, если это не памятник архитектуры и о нем не написано в путеводителях и книгах об искусстве.

Такие крупные мастера, как Щуко, Лидваль, Рерберг, тот же Андреев (Щусев несколько в стороне, у него были свои поиски — от церквей и Казанского вокзала до Мавзолея Ленина), оформляли свои фасады с большим вкусом и знанием дела, но мы, прохожие, не успеваем, не умеем это оценить. И виноваты в этом не архитекторы, а мы. И именно потому предпочтительно гулять по городу ранним утром, когда магазины и учреждения еще закрыты, а тебе некуда торопиться.

Дома нужно рассматривать как книжки. И тогда тебе многое откроется. Хотя бы то, что Пассаж при симметричности своих фасадов несимметричен в своем построении — у него есть излом, создающий некую очень нужную в искусстве неправильность (тонкость, придающая такое совершенство Акрополю), тогда ты испытаешь то наслаждение, которое хотел доставить тебе архитектор. И тогда ты поймешь, что труд его был не напрасен — воздвигнутое им (даже если не все детали до тебя дошли) создает в целом определенный архитектурный образ, настроение, то есть то, без чего архитектура существовать не может.

И тут я возвращаюсь к Городецкому, к его дому. Пусть в нем, в этом доме, слишком много носорогов и наяд, но он сделан рукою художника. И художника, не побоявшегося выбрать сложнейший рельеф — крутой обрыв. Это дало ему возможность вырваться из строчечной застройки, а значит, и избавиться от фасада — дом одинаково интересен со всех сторон. И, пожалуй, именно это дает нам право отнести его к примерам скорее положительным, чем отрицательным того стиля, которому трудно дать название — модерн, неоклассицизм, декаданс, стиля, который не принято считать стилем, а принято осуждать, увы, не всегда с основанием.

...7 июня 1926 года на одной из центральных улиц Барселоны из-под трамвая было вытянуто тело неизвестного бродяги. Через несколько дней бродяге этому были устроены торжественные похороны, на которые стеклась чуть не половина города. Безвестным бродягой оказался 74-летний Антонио Гауди, архитектор, которому Барселона, а вместе с ней и все человечество, обязано одной из интереснейших страниц истории архитектуры. Строил он только в Барселоне, больше нигде, у нас в России почти неизвестен, если не считать знатоков, так же неизвестен, как и «почтальон Шеваль» (во Франции знаменитый примитивист Руссо именуется не иначе, как «таможенник Руссо»), тем не менее, имена обоих упоминаются во всех энциклопедиях, о них пишут монографии, а творения их изучаются всеми, кого интересуют судьбы архитектуры.

Оба они считаются представителями модерна. Но считают это, главным образом, специалисты, которым нужно втиснуть творчество того или иного художника в рамки определенного течения, стиля. Нет, ни тот, ни другой не втискиваются в эти рамки. Они не модернисты, они «кошки, которые гуляют сами по себе». Подобно Гоголю, который считал, что современную ему унылую архитектуру надо убить городом, в котором сочетались бы стили всего мира и всех веков, «почтальон Шеваль» построил свою собственную усыпальницу (!), использовав в ней все лучшее, что дали миру безвестные архитекторы Индии, Бирмы, Тибета, Японии, Китая, Рима. Гауди, напротив, избегал стилей и модерна, оперировавшего своими штампами, в том числе.

Венец его творчества — собор Ла Саграда Фамилия. Строить его он начал еще тридцатилетним молодым человеком и так и не закончил, дожив до семидесяти четырех лет. За сорок три года строительства (1883—1926) ему удалось осуществить только грандиозный по размерам фасад — портал и четыре башни. Человеку, не видавшему его в натуре, трудно, конечно, судить о впечатлении, которое производит собор (вернее, его лицо), но даже рассматривая фотографии, видишь, что перед тобою нечто незаурядное. Взмывающие ввысь веретенообразные стометровые башни, вырастающие из портала, поражают не только своим силуэтом, они сотканы из бесконечного количества деталей, которые уловить и оценить можно, очевидно, только вооружившись биноклем и временем.

Фантазия автора не знает предела. Он оперирует любыми формами — готики, романских донжонов, дворца Снежной королевы, песочных замков, вылепленных детьми на пляже, затейливостью растений и придуманных самим автором форм. Он использует цвет, майолику, скульптуру, даже надписи, игнорируя только одно — прямую линию, прямой угол и плоскость. Эти последние Гауди считал началом человеческим, кривую же — божественным, что, правда, не мешало ему и в жилых домах избегать «человеческих» прямых.

В Гауди мирно уживались (а может, и не мирно) самые противоположные начала. Художник и инженер, мистик и калькулятор. Его любили и чему-то учились у него Корбюзье и Сальвадор Дали. А он своим учителем считал природу. «Дерево — наш учитель»,— говорил он. «Парабола не придуманная, вычисленная кривая, это растопыренные пальцы». Его эмблемой были роза и дракон — эмблема святого Георгия, покровителя Каталонии,— прекраснейший из цветов и чудовищное порождение фантазии.

Любимое изречение Гауди: «Архитектура не должна придерживаться своего времени». И еще одно: «Трамваи должны останавливаться, а не пешеходы»... Увы, этого изречения не знал водитель трамвая, который переехал его.

В наш век стандартов и рационализма ни Гауди, ни «почтальон Шеваль» (он, действительно, был почтальоном, как и Руссо — таможенным чиновником) не вписываются. Их архитектура не дружит с современной. Что ж, тем хуже для современной архитектуры, добавим мы, в чем-то разделяя точку зрения Гоголя.

Талант даже в сложные времена выходит победителем.

Ну, а Городецкий?

Только сейчас, и то совершенно случайно (поднес старушке тяжелую корзину, она мне и поведала), узнал я, что автором самого любимого моего дома был тоже Городецкий. Это «замок Ричарда Львиное Сердце», как прозвали мы его еще в детстве, воюя на его лестницах и мостиках — чудесный, загадочный, ни на что не похожий дом на Андреевском спуске, круто петляющем от Андреевской церкви вниз, на Подол. Городецкий, очевидно, любил замки (я вспомнил его, гуляя сейчас по созданной для дуэлей, погонь и Фанфан Тюльпанов крыше замка...), и в нашем «Ричарде» это особенно чувству-

ется — даже сейчас, попав в его дворы и дворики, хочется скрестить с кем-нибудь шпаги...

Имя Городецкого не упоминается ни в одной энциклопедии, о нем не пишутся монографии и над «домом с русалками» кое-кто посмеивается, а другие просто от него отворачиваются — стоит ли о нем говорить,— но не зря все-таки приходят к этому дому люди, разглядывают его, фотографируют... А новые «башни» на Русановке ли, или в Химки-Ховрино, при всей их разумности и рациональности что-то совсем не хочется фотографировать.

Киевляне рассказывают легенду о дочери Городецкого, которая утонула где-то в озере Чад или Виктория-Ниянца, и в память о ней, мол, построен дом с русалками и носорогами. А где-то я читал, что, напротив, никакая там не фантазия, просто архитектору заказала этот дом какая-то фирма по производству цемента — проверить в самых сложных лепных формах качество цемента. Бог его знает, что было на самом деле, важно другое — перед нами произведение художника, у которого было свое лицо, не банальное, не стереотипное, а свое собственное. Без этого не может существовать искусство, будь это храм Василия Блаженного, капелла Роншан или хотя бы «Замок Ричарда Львиное Сердце».

* * *

«Замок Ричарда Львиное Сердце» — № 15 по Андреевскому спуску, а ниже его под горой — № 13, «дом Турбиных», в котором жил и автор пьесы, М. А. Булгаков. Теперь он стал вроде одной из достопримечательностей Киева. Почитатели Булгакова, из разных городов, сразу находят его — большое, черное «13» на ярко-белом квадрате видно издалека. Многие заходят во дворик, фотографируют, наиболее отважные рискуют познакомиться и с Инной Васильевной, дочерью Василисы...

Весь последующий раздел интересен только тем, кто любит Булгакова «Белой гвардии», кто выстаивал длиннющие очереди в Камергерском, чтоб попасть на «Дни Турбиных», кто замирал, переживая вместе с героями пьесы все перипетии этой такой милой, такой дружной семьи.

О своих поисках, о доме, в котором жили придуманные и не придуманные Булгаковым герои романа и пьесы, я как-то написал в «Новом мире», и для тех, кто

прочитал этот маленький очерк, и написаны нижеследующие строки.

Скажу прямо — писать о живых людях или их прототипах — дело неблагодарное, а, возможно, даже не всегда нужное.

Надежда Афанасьевна Булгакова, сестра писателя, в одном из писем писала:

«Несколько человек, знающих нашу семью, осуждают Вас за неточность информации. Говорят, что Вы, мол, от Инны Васильевны узнали, что есть в Москве родные писателя, надо было бы обратиться к ним. Но представьте, я так не думаю. Болезнь помешала мне вмешаться в это дело до напечатания очерка, значит, судьба: пусть будет так, как получилось».

Несмотря на столь мягкое и деликатное замечание Надежды Афанасьевны, позволю себе истины ради коечто с ее слов все же уточнить и дополнить.

«Не знаю,— пишет она,—стоит ли утруждать Ваше внимание исправлением ошибок, но кое-что скажу.

Варя, самая веселая (это верно), четвертая в семье, на гитаре не играла, она кончила Киевскую консерваторию по классу рояля, была пианисткой. Вера, старшая из сестер, вторая после Михаила, пела, училась пению; замужем за офицером никогда не была; ее муж никогда не был выслан. Мой муж был филолог, русский. Ни у кого из сестер Булгаковых мужей немцев не было.

Варя — прототип Елены Турбиной. Миша прекрасно. тонко уловил черты ее характера, ее облика, рисуя Елену Турбину. Но Вы же сами написали о героях Булгакова: «...может, и выдуманных, наполовину, на четверть выдуманных... И муж Елены — Тальберг — тоже выдуман на сколько-то».

По этому поводу пишет и племянница Надежды Афанасьевны, дочь ныне покойной Варвары Афанасьевны (Елены Турбиной):

«Моя мать, действительно, вышла замуж за офицера (моего отца); фамилия у него немецкого происхождения — Карум, но он был русским. Мать его уроженка Бобруйской губернии — Миотийская Мария Федоровна. Самое интересное, что отец мой жив. В период культа личности он был репрессирован, сослан в Мариинск, затем переехал в Новосибирск. В настоящее время он, конечно, полностью реабилитирован, пенсионер, свой трудовой путь закончил в должности заведующего кафедрой

иностранных языков Новосибирского государственного медицинского института. Сейчас ему 78 лет, но он много работает над иностранной литературой, живо интересуется новинками в литературе, музыке, искусстве.

Моя мать в ссылке никогда не была, мы приехали в Новосибирск, когда отец был освобожден. В последние годы своей жизни она работала в Новосибирском педагогическом институте старшим преподавателем кафедры иностранных языков».

Оба письма, отрывки из которых я привел,— Надежды Афанасьевны и И. Л. Карум, ее племянницы,— дополнений и разъяснений, само собой разумеется, не требуют. Как никто другой понимаю, как досадно обеим было читать все эти «неточности», касающиеся близких и дорогих им людей (я тоже огорчился бы). Но я, оправдываясь, хочу сказать, что свое посещение дома № 13 рассматривал скорее как некую живую сценку, вплетшуюся в историю «Дома Турбиных», а не как исследовательскую работу по биографии М. А. Булгакова. Я не исследователь и не биограф — просто мне дорого все, что связано с именем писателя, и каждое слово, каждый, пусть далекий, детский отрывок чьих-то воспоминаний о нем, о вымышленных или невымышленных его героях, мне интересен. Да думаю, не только мне.

Вот несколько из этих дошедших до меня отрывков.

Алексей Турбин...

Одна из читательниц пишет:

«Моя мать в 1918 году жила в Киеве (кстати, на Андреевском спуске в доме кн. Урусова, который Вы называете «Замком Ричарда») и была близко знакома с артиллерийским офицером (в чине полковника) Алексеем Петровичем Турбиным.

Еще в 1933 году, посмотрев пьесу Булгакова, она считала, что Алексей Турбин очень похож на того человека, которого она знала, и хотела узнать у Булгакова, действительно ли Булгаков «списал» его с живого человека. Но, с одной стороны, она стеснялась написать, с другой — даже боялась... Вы пишете, что полюбили этих людей, полюбили «за честность, благородство, смелость, за трагичность положения». По рассказам матери, Ал. Петр. Турбин был именно таким — благородным, очень интеллигентным, но — увы! — белым офицером. Теперь, после Вашей статьи (очерк? новелла?) я уверена, что Алексей Турбин и есть тот самый человек, конечно, не в абсо-

лютно «чистом» виде, как и всякий литературный прототип.

Последний раз моя мать видела его в Севастополе перед бегством белой армии за границу».

Это — о самом Турбине. А вот догадка одного из читателей по поводу «происхождения» этой фамилии. Булгаков — Турбин. По Ушакову — булгачить, значит, «беспокоить, будоражить», по Далю — турбовать — тоже «беспокоить, тревожить»,— по-моему, любопытная, о чем-то говорящая «раскопка».

Шервинский...

Письмо от читательницы из Горьковской области:

«Было это так. Лет 10 тому назад я ехала из Москвы домой. В купе со мной оказалась только одна пассажирка — немолодая, некрасивая женщина, разговор с которой не сулил ничего интересного. К счастью, я ошиблась. Попутчица оказалась завзятой театралкой, и мы с увлечением проговорили всю летнюю ночь.

Конечно же, вспомнили «Дни Турбиных». И хотя обе мы видели их в тридцатых годах, впечатление было настолько великое, что спектакль запомнился во всех деталях.

Вот тут-то моя собеседница мне и сказала: «А знаете, я ведь киевлянка, и в 1918 году жила в Киеве. Я немного знаю человека, которого Булгаков вывел под фамилией Шервинского».

Передаю то, что запомнила из ее рассказа.

«...1918 год. Ранняя осень. Я в гостях в одной скромной семье, состоящей из матери-старушки и 2-х дочерей-девушек. Бедная квартира, тусклый свет, неинтересный, вялый разговор. И вдруг ворвался солнечный вихрь — в комнату влетел молодой офицер — родственник старушки. Высокий, стройный, с великолепной русой шевелюрой. От его белозубой улыбки, прекрасного голоса, смеха, шуток сразу все ожило. Я сидела в уголке и следила и слушала, как он говорил, смеялся, ухаживал за девушками, целовал руки старушке, пел, играл на скрипке...

Когда я смотрела спектакль — выход Шервинского поразил меня — да ведь это же Евгений! Актер дал очень верный образ, будто знал его.

Уходя из гостей, я спросила у старушки, кто этот офицер, старушка ответила, что это ее родственник, что он служит адъютантом у одного высокопоставленного лица, чуть ли не у «самого».

В последний раз я видела его в элегантной коляске, запряженной парой вороных. Он сидел на переднем сиденье — откидной скамеечке — и что-то оживленно говорил каким-то важным особам, сидевшим в экипаже.

Потом в городе произошла смена власти, и он исчез.

После мне рассказывали, что он обосновался в Москве. Одаренный человек, он увлекался электротехникой, сделал ряд изобретений в области гальванопластики, много и плодотворно работал, а теперь доживает свой век, окруженный почетом и уважением.

Он был женат. Жену он обожал и рыцарски служил ей. На меня, как на женщину, произвел большое впечатление такой факт: 30-е годы, карточки, с промтоварами трудно, предметов роскоши совсем нет. А он, чтобы доставить удовольствие своей жене, обшаривает всю Москву и достает флакон духов «Коти». Жена их любит...»

Вот и все, что я запомнила из рассказа моей попутчицы. Помнится, мы тогда еще потолковали, не на «Елене» ли он женился, но у моей собеседницы никаких определенных данных не было».

Так ли это? Не знаю. И не проверяю. Зачем проверять? Пусть это останется «тайной» неизвестного адъютанта Шервинского и не более известного Евгения...

А вот строчки из письма, ничего нам не открывающего, но настолько трогательного, что не могу их не привести:

«...«Дом Турбиных» возвратил меня к событиям сорокалетней давности, о которых хочу рассказать Вам.

Лет мне было в те поры 5—6, но кое-что запомнилось отчетливо, совершенно фотографически.

Так вот, у моей матери была приятельница, звали ее Леля. Внешность ее совершенно изгладилась из памяти. Кроме синего костюма (как Василисин зять запомнил только форму булгаковских зубов). Меня в те времена могли интересовать зубы разве что серого волка. Помню, как-то раз мама, тетя Леля и я шли по Тверской (в Москве). Остановились у круглой афишной тумбы — были когда-то такие в Москве, летом в них ночевали беспризорники. Мама и тетя Леля разглядывали афиши и вели какие-то свои, взрослые разговоры, мне неинтересные. Вдруг мать сказала, обращаясь к тете Леле: «Миша Булгаков!» Сказано это было таким радостным, таким особенным тоном, что я невольно спросила, кто это — Миша Булгаков? — «Миша Булгаков — брат тети Лели».

И обе они, мама и тетя Леля, как-то очень тепло и радостно улыбаясь, стали говорить о Мише — Лелином брате.

Я уже умела читать и прочла на афише какого-то спектакля (тогда мне было совсем безразлично, какого именно) «М. Булгаков».

Безусловно, у М. А. Булгакова и его родственников было (и есть сейчас) великое множество знакомых, друзей, приятелей, могущих рассказать о семье Булгакова много интересного.

Читать, как я уже сказала, я умела. Прочла разные сказки — Андерсена, братьев Гримм и т. д., что обычно читают детишки. Но всех этих авторов уже на свете-то не было. И вообще, никому ничего не было известно, скажем, о братьях Гримм, чьи они, собственно, братья? А вот о Мише Булгакове все было известно доподлинно — он был брат тети Лели. И жил в Москве. И его имя было на афише. Правда, пьесы, которые он писал, были для взрослых. А коль мама и тетя Леля так этому обрадовались, значит, Миша Булгаков хороший писатель. Иначе чему бы радоваться?

Так вошло в мое сознание: Булгаков — писатель, радующий людей.

Что было с Лелей Булгаковой дальше — не знаю. Мать моя тяжело заболела и вскоре умерла. Приятельницы ее у нас уже не бывали».

Николай Турбин... Любимый мой Николка — Кудрявцев...

Почему-то мне казалось, что прототипом его должен быть самый младший брат Михаила Афанасьевича — Иван. Один — в Киеве на гитаре, другой — в Париже на балалайке... Потом подумал: а не Николай ли, второй брат Михаила?

Иоанн Сан-Францисский (в миру Шаховской) в предисловии к заграничному изданию «Белой гвардии», так и озаглавленном: «Судьба Николки Турбина», не сомневается, что Николка — это Николай Булгаков. Ссылается при этом на свидетельство одного священнослужителя, который сидел с Николаем Афанасьевичем в одном лагере во Франции во время немецкой оккупации.

Что же о них известно — о Николае и Иване?

Оба они после гражданской войны оказались в Югославии, затем во Франции. Николай Афанасьевич, получивший высшее образование в Загребе, работал в Париже ассистентом профессора д'Эффеля, всемирно известного

ученого, открывшего в свое время бактериофаг. После смерти своего шефа возглавил институт его имени. За труды свои удостоен серебряной медали. В годы оккупации попал в немецкий концлагерь. Многие заключенные обязаны ему своей жизнью. Вдова М. Булгакова Елена Сергеевна показывала мне трогательный благодарственный адрес, по-детски украшенный виньетками, который преподнесли Николаю Булгакову бывшие заключенные после освобождения. Среди них и был, кстати сказать, тот самый священнослужитель, о котором упоминал Иоанн Сан-Францисский. Летом 1966 года (а не зимой) Николай Афанасьевич умер — простудился, схватил воспаление легких и не перенес его. Похоронен он на русском кладбище в Париже.

Судьба Ивана Булгакова сложилась иначе. Чуткий, чистый, очень ранимый, он бесконечно тосковал по России. Люди, знавшие его, находили в нем что-то от Феди Протасова... Последнее время о нем ничего не было известно. Елена Сергеевна, ездившая в Париж, привезла только маленькую фотокарточку, где он снят в группе хора балалаечников одного из русских ресторанов в Париже. Он стоит вторым слева, моложавый, несмотря на свой возраст (1901 года рождения), невысокий, крепко сколоченный блондин в шелковой косоворотке, шароварах, сапогах...

Разглядывая эту фотографию, я невольно подумал: а не встречался ли я с ним в Париже в 1962 году? В той же группе вторым справа снят молодой человек, лицо которого мне показалось знакомым. Не Марк ли это Лутчек из ресторана «У водки», с которым мне так и не удалось вторично встретиться? Я спросил Елену Сергеевну, не знает ли она, кто это такой, и не цыган ли он? Да, цыган, но имени его она не знает...

Вернувшись в Киев, я ринулся на поиски. Написал в Париж своей знакомой, русской по происхождению, и попросил ее, если не трудно, сходить в тот самый ресторан на бульваре Сен-Мишель и, если там еще работает Марк, разузнать у него об Иване Афанасьевиче, которого, если и не работает с ним вместе, он, наверное, знает.

Вскоре получаю ответ и — о, чудо! — оказывается, моя знакомая прекрасно знает Марка и всю его семью. Знала его еще совсем мальчиком. Сейчас он женился на русской и вместе со своим ансамблем гастролирует в Ливане, в Бейруте, в казино «Бейрут». Туда и пишите!

Я написал. Через сколько-то времени — письмо от Марка. Не из Бейрута, а уже из Парижа. Очень милое письмо. Извиняется, что сразу не ответил («с русским у меня неладно, сейчас помогает жена»), и сообщает, что через друзей узнал нынешний адрес Ивана Афанасьевича, который и прилагает. Значит, жив! Забавная мелочь. Я сравнил фотографию балалаечников, где вторым справа стоит Марк, с присланной мне самим Марком («представляю тебе мою жену Ольгу. Снято в день свадьбы») и... Что за черт! Совсем разные люди! Второй справа — вовсе не Марк. Перепутал!

Но не все ли равно? Важно, что и Марк, а через него и Иван, обнаружились.

И вот, в который раз убедился я, как важно писателю записывать адреса. И только для этого — уверяю вас! — только для этого придумана пресловутая «записная книжка писателя». Только для адресов. А мысли придут потом. А если не придут, то, значит, и не заслуживали быть записанными.

* * *

И вот мы стоим перед этим самым домом № 13 по Андреевскому спуску. Ничем не примечательный двухэтажный дом. С балконом, забором, двориком, «тем самым», с щелью между двумя домами,в которую Николай Турбин прятал свои сокровища. Было и дерево, большое, ветвистое, зачем-то спилили, кому-то оно мешало, затемняло. Мемориальной доски нет. Впрочем, на доме, где жил Л. Н. Толстой и К. Г. Паустовский, тоже нет.

Андреевский спуск — лучшая улица Киева. На мой взгляд. Крутая, извилистая, булыжная. Новых домов нет. Один только. А так — одно-двухэтажные. Этот район города, говорят, не будут трогать. Так он и останется со своими заросшими оврагами, садами, буераками, с теряющимися в них деревянными лестницами, с прилепившимися к откосам оврагов домиками, голубятнями, верандами, с вьющимися граммофончиками, именуемыми здесь «кручеными паничами», с развешанными простынями и одеялами, с собаками, с петухами. Над бывшими лавчонками, превратившимися теперь в нормальные «коммуналки», кое-где из-под облупившейся краски выглядывают еще старые надписи. Это Гончарные, Кожемяцкие, Дегтярные, когда-то район ремесленников...

Это и есть Киев прошлого, увы, минуемый альбомами, открытками, маршрутами туристских бюро — напрасно, ох, как напрасно.

Если спуститься по Андреевскому спуску вниз и свернуть направо, попадешь на единственную сохранившуюся на Подоле после пожара 1811 года Покровскую улицу с Покровской церковью и Николой-Добрым, с уютными ампирными особнячками, которых становится все меньше и меньше. А свернешь налево — попадешь во Фроловский монастырь.

Это один из двух киевских женских монастырей. Очень чисто, прибрано, подметено, сияет новой краской. Монахини все в черном, неприветливые, на тебя не глядящие. В церкви расписано все заново. Херувимы, серафимы, архангелы и очень много румяных, благостных святых. На подмостях двое молодых ребят, измазанных краской — не из Художественного ли института?

Был когда-то в Киеве и мужской монастырь — Киево-Печерская лавра. Еще совсем недавно тебя водили по пещерам словоохотливые монахи, вступавшие в дискуссии с молодыми атеистами. В пещерах было темно и жутковато, освещалось все тонюсенькими восковыми свечками, которые ты приобретал у входа в пещеры. В пещерах покоились мощи святых отцов и великомучеников — Нестора Летописца, Ильи Муромца, святого Кукши. Под стеклом маленькие, ссохшиеся ручки.

Сейчас все это залито ярким электрическим светом. Вместо монахов — бойкие, незадерживающиеся экскурсоводы, над местами захоронений — таблички: «Кости молодого человека, приписываемые церковниками якобы св. Варсанофию». В специальном музее у входа в пещеры те же мумии и объяснения, почему они мумифицировались — в этих местах такая, мол, почва. И если и вас здесь захоронят, вы тоже сохранитесь на многие-многие годы.

Печерск — самая высокая часть города. Подол — самая низкая. В сильное половодье его даже заливает. В 1932 году вода дошла до самой Александровской улицы и нас, студентов, освободили даже от занятий, чтобы что-то выкачивать. Разъезжая по затопленным улицам на хлюпающих плоскодонках, мы казались себе гондольерами на Канале Гранде.

Подол — это свой особый мир. Как и все сейчас, он, конечно, нивелировался. О, Одесса — уже не та Одесса, говорят старые одесситы. И Подол — уже не тот Подол.

Не те базары, не та торговля, не тот Днепр... Но все-таки здесь больше тельняшек, «крабов», «морских волков». Здесь своя речь, свои повадки, свои обычаи. И, конечно же, именно поэтому здесь жил А. Куприн. Многое бы он здесь уже не узнал, но, наверное бы, пил пиво с Акимом Петровичем Меньшиковым, днепровским капитаном, умершим только в прошлом году на 108-м году жизни.

Да, Днепр уже не тот, нет плотов, снуют «ракеты», «кометы». А были плоты. Еще совсем недавно были. С будками, баграми, развешенным бельем, с лающими собаками, дымящимися над огнем котелками. С них прыгали, под них ныряли. Сейчас их нет. Плотины, шлюзы...

Подол, в отличие от Старого города, совсем плоский. Но за Житним базаром опять горы. Олеговская, например, или Мирная окунет вас опять в стихию двориков и садов. Здесь же старое Щекавицкое кладбище, запущенное, заброшенное, заросшее, покосившиеся кресты, тишина, покой и только где-то высоко в небе — жаворонок.

По этим кладбищам, по этим улочкам только и бродить. Весной сирень, море сирени, заборы от нее валятся. Черемуха, жасмин... Не добрался еще сюда город со своими башнями и панельными домами.

Так, садами, садами, огородами по булыжной мостовой попадем мы с вами на Лукьяновку.

Лукьяновка. Вера Чеберяк. Дело Бейлиса...

Бабий Яр. Черные дни Киева.

* * *

Небольшой холмик цветов. Венки. Большие, маленькие, средние, просто букеты цветов. На венках ленты с надписями: «Отцу, матери, деду — от сыновей, дочери, внуков». «Детям, которым не суждено было стать взрослыми». «Жертвам фашистских палачей».

Под венками — его сейчас не видно — серый, гранитный камень. На нем написано, что здесь будет сооружен памятник. Вокруг лужайка — трава, елочки, березки, очень чисто, прибрано. За камнем роща, от камня к дороге — дорожка из бетонных плит, несколько ступенек, два столба с прожекторами.

Мимо по асфальту проносятся машины, автобусы, троллейбусы. В ста метрах дальше пестрый, прозрачный навес «остановка троллейбуса Щербаковский универмаг». По другую сторону новая телевизионная мачта. За

асфальтом пустырь, кустарник, вдалеке новые корпуса Сырецкого массива. Если стать спиной к камню, то по правой стороне пустыря можно увидеть нечто вроде уступа, поросшего кустарником постарше. Это верхняя кромка несуществующего сейчас Яра. Здесь стояли пулеметы. И по другую сторону тоже.

Сейчас Яра нет. Он замыт. Его пересекает асфальтированная дорога. Тридцать лет назад этой дороги не было. А был глубокий, до пятидесяти метров Яр, овраг. Постепенно мелея и расширяясь, он тянулся до Подола, до Куреневки. Это была окраина Киева — Сырец. Жилья здесь не было. Ближе к городу за кирпичной оградой было еврейское кладбище. Сейчас его тоже нет.

Тридцать лет назад, в первую же неделю немецкой оккупации, на стенах киевских домов появились объявления о том, что «все жиды города Киева должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковской и Дохтуровской (возле кладбищ) с документами, деньгами, ценными вещами, теплой одеждой, бельем и прочим».

Ни заглавия, ни подписи на серых афишках не было.

Развешены они были по всему городу.

Моя мать тоже читала. У нее было много друзей евреев. Она ходила по этим друзьям и упрашивала, умоляла их никуда не ходить. Бежать, скрыться, хотя бы у нее.

Мне непонятна магия этого объявления. Считали почему-то, что евреев сгоняют в гетто. Или увозят куда-то. Куда? Не важно, куда-то...

Никто из маминых знакомых не послушался ее. Пошли. Мама их провожала. Лизу Александровну, маленькую, большеглазую еврейку и ее родителей-стариков. Где-то у еврейского кладбища маму и других провожающих, а их было много, прогнали. Здоровенные солдаты с засученными рукавами и полицаи в черной форме с серыми обшлагами. Где-то дальше, впереди, слышна была стрельба, но мать тогда ничего не поняла...

Трагедия Бабьего Яра известна. Хочу только подчеркнуть — это было первое столь массовое и в столь сжатый срок сознательное уничтожение людьми себе подобных. Сто тысяч за три дня! Разве что Варфоломеевская ночь может сравниться — там было убито до тридцати тысяч гугенотов. Хиросима и Нагасаки уже потом.

Бабий Яр — это старики, женщины, дети. Это беспомощные. Люди покрепче, помоложе, и не только евреи, нашли здесь свой удел уже позже — немцам понравился этот Яр.

Потом немцы ушли. Пытались скрыть следы своих преступлений. Но разве скроешь... Заставляли военнопленных сжигать трупы. Складывать в штабеля и сжигать. Но всего не сожжешь.

Потом овраг замыли.

В 1961 году произошла катастрофа. Прорвало дамбу, сдерживавшую намытую часть Бабьего Яра. Миллионы тонн так называемой пульпы устремились на Куреневку. Десятиметровый вал жидкого песка и глины затопил трамвайный парк, снес на своем пути прилепившиеся к откосам оврага домишки, усадьбы. Было много жертв.

Следов разрушения давно уже не видно. Дамбы восстановлены, укреплены, на месте прорыва — широкая автомобильная дорога, где был трамвайный парк, нынче многоэтажные здания.

Ничто уже не напоминает того, что здесь было. А у гранитного камня всегда цветы. И летом и зимой. Мы тоже положим свой букетик. Каждый год, 29 сентября сюда приходят люди с венками и цветами.

* * *

...Так трогательно-идиллически заканчивался мой рассказ о Бабьем Яре в рукописи, отнесенной в «Новый мир».

Да, до 1966-го все, действительно, происходило так — приходили, плакали и разбрасывали вокруг себя цветы. Венков никаких — куда их положить, куда прислонить? Ни памятника, ни обелиска — кругом кустарник, бурьян.

С сентября 1966-го все приняло иной вид. Появился камень. Серый, полированный гранит с надписью, отредактированной и утвержденной всеми положенными инстанциями, гласящий, что на месте расстрела «советских граждан в период временной немецко-фашистской окупации 1941—1943 гг.» будет сооружен памятник. И теперь каждый год в день 29 сентября («День памяти жертв временной немецко-фашистской оккупации») возле камня воздвигается трибуна и с нее секретарь Шевченковского райкома партии произносит речь, в основном посвященную достижениям вверенного ему района в области строительства и выполнения плана в разных об-

ластях. Потом выступают несколько передовиков производства и среди них обязательно один еврейской национальности (просто еврей — теперь не положено говорить) и рассказывает о зверствах сионистов в Израиле. Потом исполняется гимн и митинг объявляется закрытым. Вот тут-то и появляются люди с цветами и венками. Но возложить их не так-то просто. Милиция и дублирующая ее когорта в штатском тщательно проверяют надписи на венках и, если что-либо вызывает подозрение («А на каком языке у вас написано? Переведите».), к услугам несущих эти венки молодых людей стоящие неподалеку «воронки». Людей постарше и с маленькими букетиками двойное оцепление пропускает беспрепятственно. Ну, может, кое-кого и сфотографируют...

Вот так происходит сейчас — организованно и четко, даже с заметкой на четвертой странице «Вечернего Киева».

Что же послужило толчком к тому, что появился вдруг камень, а рядом с ним раз в год и трибуна, охраняемая не менее чем сотней людей, для этого созванных, во главе с майорами, полковниками, а возможно, даже и генералами.

А случилось так, что одному из них, точнее, начальнику киевской милиции, в 1966 г. влепили выговор за то, что он, потеряв положенную ему бдительность, допустил массовое сионистское сборище в этом замытом и недозабытом Бабьем Яру.

До злополучного 1966-го года все шло честь честью, без всяких эксцессов. В первые послевоенные годы задачи были и поважнее Бабьего Яра, только какие-то темные личности ползали по его дну в поисках то ли бриллиантов, то ли золотых коронок («с документами, деньгами, ценностями...»). Потом — просто свалка. Покосившийся столбик с лаконичной надписью: «Мусор сваливать строго воспрещается, штраф 300 руб.» ничуть не мешал окрестным жителям избавляться от ненужных им старых кроватей, консервных банок и прочего хлама. Потом Яр замыли. Казалось, можно было бы о нем и не вспоминать. Так нет, в один прекрасный день 1966-го года собралась здесь многотысячная толпа (двадцать пятая, мол, годовщина!) и несколько человек, среди них один даже коммунист, обратились к этой толпе с речами, нигде не проверенными, нигде не утвержденными. Коммунистом этим был я. Поэтому могу со всей точностью восстановить картину происшедшего.

Речь моя, действительно, никем не проверялась. Родилась она на месте, среди плачущих и рыдающих людей. И вообще это была не речь, просто захотелось сказать, о случившемся здесь 25 лет назад, о том, что на этом месте, конечно же, будет памятник, не может не быть.

Говорил в тот день и Иван Дзюба, человек, о котором в двух словах не скажешь — писатель, умница, из тех, кто никого не боится, а поэтому и нелюбимый начальством всех сортов. Одна из наиболее ярких фигур Украины 60-х годов.

Его речь, на мой взгляд, это образец того истинного интернационализма, за который потом Дзюбе досталось (5 лет лишения свободы!), хотя в обвинениях против него он стал именоваться «украинским буржуазным националистом».

Начал он со слов: «Есть предметы, есть трагедии, перед безмерностью которых любое слово бессильно и о которых больше скажет молчание — великое молчание тысяч людей. Может быть, и нам подобало бы тут обойтись без слов и молча думать об одном и том же. Однако молчание много говорит только там, где все, что можно сказать, уже сказано. Когда же сказано еще далеко не все, когда еще ничего не сказано — тогда молчание становится сообщником неправды и несвободы. Поэтому мы говорим, и должны говорить, где можно и где нельзя, используя всякий из случаев, которые представляются нам так нечасто.

И я хочу сказать несколько слов — одну тысячную часть из того, о чем сегодня думаю и что мне хотелось бы тут сказать. Я хочу обратиться к вам как к людям — как к своим братьям по человечеству. Я хочу обратиться к вам, евреям, как украинец — как член украинской нации, которой я с гордостью принадлежу.

Бабий Яр — это трагедия всего человечества, но произошла он на украинской земле. И поэтому украинец не имеет права забывать о ней так же, как и еврей. Бабий Яр — это наша общая трагедия, трагедия прежде всего еврейского и украинского народов».

И закончил словами:

«Мы должны всей своей жизнью отрицать цивилизованное человеконенавистничество и общественное хамство. Ничего более важного, чем это, сейчас для нас нет, ибо иначе все общественные идеалы утратят свой смысл.

Это наш долг перед миллионами жертв деспотизма, это наш долг перед лучшими людьми украинского и еврейского народов, которые призывали к взаимопониманию и дружбе, это наш долг перед украинской землей, на которой нам вместе жить, это наш долг перед человечеством».

Так закончил свою речь Дзюба. А вскоре появилась милиция и вежливо попросила всех разойтись. Не за эту ли вежливость и досталось потом начальнику милиции? Между прочим, кроме него, не поздоровилось еще и другому человеку, ни сном ни духом не ведавшему о происшедшем,— директору киностудии документальных фильмов. Несколько моих друзей из этой самой студии на «сионистском сборище» присутствовали и даже попытались кое-что зафиксировать на кинопленку. У них тут же ее отобрали. А директора сняли с работы.

Меня же, коммуниста, вызвали на партбюро... Бог ты мой, сколько раз вспоминали мне потом этот Бабий Яр. И у бесчисленных партследователей, с которыми свела меня судьба, и на парткомиссиях, и на бюро райкомов, горкомов, обкомов... «Расскажите, что у вас там произошло, в Бабьем Яру!» А ничего не произошло, просто я сделал то, что должны были сделать вы — райкомы, горкомы, ЦК — в день 25-летия гибели ста тысяч, как вы теперь говорите, «советских граждан», прийти и сказать то, что вместо вас сказал я — будет здесь памятник! — что сказал Дзюба — пора положить конец этой позорной вражде. Вы не пришли — не захотели, забыли — пришли и сказали мы...

Через две недели после «сборища» на месте расстрела появился камень, тот самый, что и по сию пору стоит и, думаю, простоит еще многие, многие годы.

Приблизительно тогда же (будем объективны) кому-то наверху стало все-таки неловко и решено было объявить конкурс на «памятники жертвам фашизма», в том числе в Дарнице, где был лагерь для военнопленных, и в Бабьем Яру.

Я видел представленные на конкурс проекты.

В условиях к нему было сказано, что монументы должны художественным образом отражать героизм, непреклонную волю, мужество, бесстрашие наших людей перед лицом смерти от рук немецких палачей, должны показать зверское лицо гитлеровских захватчиков, а также должны выражать скорбь о тысячах незаметных героев.

Принимай я участие в этом конкурсе и прочитай эти условия, я, откровенно говоря, стал бы в тупик. Я не говорю в данном случае о Дарницком памятнике, я говорю именно о Бабьем Яре — это памятник трагедии. Памятник в Варшавском гетто — памятник восстанию, борьбе и гибели, в Дарнице — зверски расстрелянным солдатам, бойцам, людям, попавшим в плен, сражаясь, людям в основном молодым, сильным. Бабий же Яр — это *трагедия* беспомощных, старых.

Я не случайно упомянул слово «трагедия». И подчеркнул его. Вполне сознательно.

Многие из участников конкурса пошли по пути выражения протеста. «Нет! — говорят их памятники.— Это не должно повториться! Это не может повториться!» Перед нами группа расстреливаемых со сжатыми кулаками и воздетыми к небу руками, матери, прижавшиеся к ним дети, и опять руки, вытянутые вперед — не допустим! Перед нами кричащие все то же «нет» головы. Довольно! Хватит крови!

Но, как ни странно, стоя перед этими памятниками, начинаешь чувствовать какое-то смятение, неловкость. Кажется, что т е б е кричат: «Нет!», что т е б я не подпускают. И ты пятишься назад... Тебе страшно.

Вот и хорошо, что страшно, возразят мне, здесь и дела были страшные. Согласен, страшные, но нельзя все же забывать, что здесь, кроме того, и кладбище, а на кладбище как-то неположено кричать, хочется сосредоточиться, уйти в себя, подумать, вспомнить.

И вообще, я не хочу, чтобы мне подсказывали эмоции. Они должны возникнуть сами.

Я просмотрел около тридцати проектов. Передо мной прошли символы и аллегории, протестующие женщины, вполне реалистичные, полуголые мускулистые мужчины и фигуры более условные, и вереницы идущих на казнь людей... Я увидел лестницы, стилобаты, мозаику, знамена, колючую проволоку, отпечатки ног... Увидел много талантливого, сделанного сердцем и душой (это, пожалуй, один из интереснейших конкурсов, которые я видел), и мне стало вдруг ясно: места наибольших трагедий не требуют слов. Дословная символика бледнеет перед самими событиями, аллегория бессильна.

Мне, пришедшему сюда поклониться праху погибших, не надо рассказывать, как эти люди умирали. Мне все известно. И кричать тоже не надо. Я сам знаю, где и когда надо крикнуть. Я просто хочу прийти и положить

цветы на братскую могилу, и молча, в одиночестве постоять над ней.

Я видел много памятников жертвам фашизма. Плохих и хороших. Кричащих и безмолвных. Но ни один не произвел на меня такого впечатления, как памятник в Треблинке. Там только камни. Сотни, тысячи камней. Разной величины и формы. Острые, тупые, оббитые, покосившиеся. Одни камни. Точно проросшие сквозь землю. Мороз проходит по коже...

Ближе всего к тому, о чем я говорю, что сам для себя пытаюсь решить, приближается проект памятника неизвестных авторов под девизом «Черный треугольник»: две исполинские призмы, одна чуть-чуть наклонившаяся к другой. Больше ничего. Я не могу объяснить сейчас в силу чего — а может быть, это и есть самое главное,— но я вдруг представил себя у подножия этих возвышающихся над всей местностью призм-долменов, услышал, как они, лишенные дара речи, кричат мне о чем-то страшном и незабываемом.

А может, и не кричат, а говорят шепотом. А может, это я сам кому-то говорю:

Остановись и склони голову.

Здесь расстреляны были люди.

Сто тысяч.

Руками фашистов.

Первый залп был дан 29 сентября 1941.

* * *

Нет, не надо памятника!

Лучший памятник — нынешний камень. В нем есть все — и тридцатилетнее забвение, и скромность, и длинная, лишенная каких-либо эмоций, заштампованная газетная надпись, и обещание («будет памятник, куда вы торопитесь?..»), и никакого крика и экзальтации, а главное — есть куда положить цветы. Положить и молча постоять...

А в Дарнице — трое здоровенных парней, полуголые, сплошные мускулы, полны гнева и ненависти. Непонятно только, почему они, такие сильные и сытые, не порвали свои путы и не ринулись на немцев. Да от таких ребят весь конвой разбежался бы по кустам.

* * *

И еще одна трагедия.

Может быть, даже более страшная, чем смерть. Надругательство над ней. Дикое, постыдное, ужасное, непонятное...

Я иду по тенистой аллее. Тихо, пустынно, шуршат под ногами листья. А кругом... Кругом тысячи, десятки тысяч поверженных, разбитых, исковерканных памятников...

Старое еврейское кладбище...

Сворачиваю в другую аллею, третью, четвертую... Та же картина. Многотонные гранитные, мраморные памятники в пыли, в осколках. Маленькие овальные портреты разбиты ударом камня. И так на протяжении... Не знаю, что сказать. Все памятники, все до единого, уничтожены. А их тут не сочтешь. Пятьдесят, сто тысяч... город мертвых. В мавзолеях, склепах содран мрамор, на стенах надписи — лучше не читать...

Известно, что немцы в порыве слепой злобы уничтожили центральную аллею. На остальные не хватило сил и желания. Остальное совершено потом.

Кем?

Никто не знает или молчат.

Пьяное хулиганье? Но оно, вооружившись, допустим, ломами и молотками, могло справиться с десятком-другим памятников. Они сделаны добротно, на века, на свинцовом растворе.

Нет, это не хулиганье. Это работа планомерная, сознательная. С применением техники. Без бульдозера или трактора, а то и танка, не обойдешься.

Иду дальше... Хоть бы один сохранился. Нет — все! И на дне оврага груды осколков. Не поленились подтащить и сбросить. За день, за два этого не сделаешь. Недели, месяцы...

И не в пустыне. В городе. Совсем рядом троллейбус, а в конце улицы Герцена (Герцена!), в полукилометре от кладбища, дача, в которой жил Хрущев...

Все это я обнаружил в конце пятидесятых годов. Случайно, гуляя... И онемел. Никто ничего мне об этом не говорил. А вот прошли годы. И у скольких людей там были похоронены отцы и деды. Значит, сюда приходили. И не только приходили. Некоторые из памятников, немного, может быть сотня или две, были заце-

ментированы в поверженном, лежачем положении, чтоб больше не сбивали...

Никто об этом не говорит. Молчат. Я спросил у жильцов домика при входе на кладбище. Возможно, бывшие сторожа. «Не знаем, не знаем... Ничего не знаем...» И глаза в сторону.

Я задаю себе вопрос. В сотый, тысячный раз. Кто они? Кто разрешил? Кто дал указание? Кто исполнил? И сколько их было? И когда они это совершили? И откуда эта лютая злоба, ненависть, хамство? Или наоборот — спокойный, хладнокровный расчет: сегодня — отсюда досюда, завтра — отсюда до того вот памятника, к 20-му чтоб было закончено...

И все это во второй половине XX века, в славном городе Киеве, на глазах у всех...

Я побывал там сейчас. Перед самым отъездом. Через 15 лет... Заросло кустарником. Поверженные памятники куда-то вывезены. Но не все. То тут, то там белеют среди бурьяна и зарослей недобитые пьедесталы, ступени, обломки мрамора и лабрадора.

И бульдозеры. Скрежеща и урча, пробивают на месте главной аллеи куда-то дорогу... Людей нету. Пусто. Мертво... И страшно.

* * *

Пожалуй, лучше всего бродить одному, где бы это ни было. В Киеве, в Москве, Париже, Самарканде. Тогда-то и рождаются в голове какие-то мысли, мысли, которые никак не получают туда доступа в другое время, в другом месте. Что-то вдруг придумывается, рождается, разрешаются конфликты твоих героев, не решавшиеся, когда ты сидел с карандашом в руке. Это — когда ты бродишь один по знакомым тебе местам. А незнакомые, впервые увиденные улицы, кроме всего остального, возбуждают еще какие-то параллели, ассоциации, сравнения.

Менее всего интересно гулять по Нью-Йорку. Там я выходил рано утром, когда все еще спали, и бродил по улицам, вокруг гостиницы. Было скучно. Улицы прямые, пустынные, какие-то глухие стены. Хороши только верхние этажи небоскребов. Эмпайр-стейт-билдинг — он первый, освещенный восходящим солнцем. Пытался выходить к Гудзону, но всегда напарывался на какие-то бесконечные заборы с громадными бук-

вами и тощих, пугливых кошек. В Сентрал-парке тоже скучно, а на Вашингтон-сквер, где собирается молодежь, хотя и не скучно, но это уже не прогулка, а нечто другое, и кончается она обязательно кафе или рестораном.

Один только раз мне удалось хорошо побродить. Я шел ночью по пустому Бродвею. Рекламы горели, но людей не было. Даже ни одного пьяного я не встретил, что, правда, в Нью-Йорке явление редкое. Иногда проносились машины, безмолвные, темные.

Дойдя до нашего сколько-то там этажного «Говернор-Клинтон-отеля», я поднялся в лифте почему-то на самый верх и каким-то чудом оказался на крыше отеля. Какая-то дверь, лестница и вдруг — крыша. Никто меня не задерживал.

Нью-Йорк спал. Или делал вид, что спит. Светились окна только в небоскребе редакции «Нью-Йоркер», неподалеку от нас, светились ущелья улиц и красные фонари Эмпайр-стейт-билдинга. И факел на статуе Свободы — маленькая мигающая точка. Было зябко — конец ноября.

И вдруг я увидел нечто необыкновенное. Гнездо аиста. Самое настоящее гнездо аиста у высокого, затянутого решеткой парапета. Сначала я даже не поверил. Я был уверен, что аисты — это наша украинско-среднеазиатская прерогатива. Ну, может быть, еще в Африке, Индии, Японии они водятся. Но там скорее цапли. А тут настоящее «лелекино» гнездо, как на соломенной «стрихе» полтавской хаты. Большое, метра полтора, из веток, все честь-честью. И в нем яйцо. Одно-единственное яйцо — большое, белое, такое одинокое. Бывает же такое... Я положил его в карман.

Я вспомнил это гнездо потом, в Бухаре, сидя у прозрачного, как в Тадж-Махале, бассейна Ляби-Хауз, в котором отражалась древняя мечеть и совсем такое же гнездо на верхушке столетнего тополя. Аистиха сидела на яйцах, а может, уже и цыплята вылупились, и изредка поглядывала на нас, сидящих внизу за обязательным пловом с зеленым чаем. И я подумал: хорошо тебе, бухарская аистиха, взмахнула крыльями и полетела за кормом для своих детенышей. А нью-йоркской? Куда та летала за обедом? В Сентрал-парк?

В Бухаре этих гнезд несметное количество. На всех без исключения минаретах. И на куполах мечетей. И на тополях. Их не меньше, чем телевизорных ан-

тенн, ощетинивших собой весь этот бело-глиняный, сказочный, точно из сказок Шехерезады, город.

Я много бродил по Бухаре. Тесные, кривые улочки как будто похожи одна на другую, но в каждой из них свои особые старухи, старички, чумазая ребятня. И вдруг улица эта упирается во двор, вросший в землю тысячелетней мечети. И под сенью чинары сидят бородатые старики в чалмах и что-то едят или чем-то торгуют. А рядом чего-то ищет в расселинах меж древних плит меланхоличный ишачок. «Салям»,— говорю я старикам, и те тоже говорят «салям». Я подсаживаюсь к ним, и они угощают меня дыней, полутораметровой бухарской дыней. И мы молча сидим в тени чинары под бирюзовым азиатским небом, и я разглядываю красивый орнамент арабской вязи на зеленых изразцах входа в мечеть, и спрашиваю стариков, что там написано. Они не понимают меня — я их, но слово «аллах» я все-таки улавливаю.

Мне жаль, что только старики еще могут разобрать эти надписи. Они так красивы. Мне жаль, что нынешняя молодежь редко читает Коран. Коран — это не только скрижаль ислама, это великое искусство, это история народа.

Не мне судить, нужно ли было менять орфографию в республиках Средней Азии (в Грузии и Армении она сохранилась), но то, что арабский шрифт — шрифт, которым писали Улугбек и Навои, из которого сотканы неправдоподобно прекрасные узоры мавзолеев Шах-и-зинда в Самарканде, Гур-Эмира, Биби-Ханым, Регистана — что эта вязь сама по себе произведение искусства — это ясно, по-моему, каждому.

Неизвестно для чего я поведал все это старикам. Они ни слова не поняли, но кивали головами — хоп, хоп, хоп...

Но вернемся в Нью-Йорк, на мою крышу. Подняв воротник — ветер был пронизывающий,— я любовался уснувшим городом. Старался найти самый высокий до 1930 года небоскреб Нью-Йорка — Вулворт — и так и не нашел его, и, окончательно замерзнув, оказался вдруг в Пенсильванском вокзале. Почему я там оказался — не совсем ясно, но, вероятнее всего, по той причине, по которой русский человек оказывается на вокзале ночью, хотя ему некуда ехать и некого встречать. К тому же вокзал этот, Пена-Стейшн, как его называют ньюйоркцы, находится совсем рядом с нашей гостиницей.

Громадный, с уходящими ввысь сводами, уснащенный весь, как это было модно в конце прошлого века, колоннами, он был совершенно пуст. Ни души. Ни носильщика, ни полицейского, не говоря уже о пассажирах. Я послонялся по безлюдным, гулким залам, наткнулся на телеграф, послал кому-то телеграмму — просто так, чтоб получили телеграмму из Нью-Йорка, и к концу своей прогулки обнаружил то, что, очевидно, и искал. Шоколадного цвета молодой человек налил мне чего-то очень крепкого и дал мне ломтик белоснежного хлеба с куском мяса, непонятного мне происхождения.

Устроившись на высоком табурете, я погрузился в размышления. Жуя и пия неизвестные мне кушанья, я удивлялся тому, как Хемингуэй запоминал на долгие годы все то, что он пил и ел в парижских ресторанах «Куполь» или «Липп», «Лила», «Де маго», «Ротонда», «Тулузский негр», «Мишо»... Там-то они взяли бутылку «флери» или «сансерра» и закусывали «кассонэ» — рагу из дичи с бобами и горошком, а там пили «марсала» или «бона» и ели плоские дорогие устрицы «маренн» вместо обычных, дешевых «портюгез», или вермут «шамбери касси» с толстыми сосисками «сервелас», политыми горчичным соусом. И все-то он запоминал. Очевидно, он все же был чревоугодником, наш кумир Хемингуэй. А чревоугодие, увы, грех номер один. В Киеве у входа в Ближние Лаврские пещеры на стене громадное изображение нелегкого пути в рай человеческой души. Она, душа, проходит через цепкие лапы великого множества грехов, изображенных в виде омерзительных чертей, и вот на первом месте самый тяжкий грех — чревоугодие, оставляющий далеко позади ложь, пьянство, корыстолюбие, жадность, тщеславие и даже прелюбодеяние. Какие еще были грехи у Хемингуэя, мне неизвестно, человек он был замечательный, но то, что он любил не только выпить, но и плотно, со знанием дела поесть,— это для меня теперь ясно.

Пока я посасывал свой напиток, размышляя о хемингуэйских меню, я не обратил внимания на то, что рядом со мной оказался немолодой уже человек в сером поношенном пальто и с очень грустным лицом. Он взял пиво у сонного негра и вдруг заговорил со мной по-украински. Я остолбенел!

— Просто я побачив торчащу у вас з кармана газету «Українські щоденні вісті», от і все.

Он был слегка на взводе и заговорил о спорте, точно продолжая со мной какой-то спор, который мы не успели с ним когда-то кончить. Я в этой области не очень силен, поэтому ограничивался междометиями, а он доказывал мне превосходство каких-то Биллей и Динов над Джеймсами и Тэдди. Роясь в кармане пальто в поисках спичек, я наткнулся на аистиное яйцо и вместе с содержимым кармана положил его на стойку.

— О, лелека! — обрадовался вдруг мой сосед,— аістине яйце... Відкіля воно у вас?

Я сказал, что нашел его на крыше небоскреба.

— Диви, куди його занесло. Лелека та й на хмарочосі...

Мне приятно было услышать это чисто украинское название аиста — лелека, по этому случаю мы взяли еще что-то и выпили за здоровье лелеки и ее будущего птенца, который обязательно, по мнению моего соседа, должен вылупиться.

— Ви завиніть його в щось тепле, і ось побачите, в Москві у вас запищить щось в чемодані. Їй бо...

И он стал говорить об аистах. Оказывается, хотя аисты и редкость в западном полушарии, но он хорошо помнит, что когда был маленьким, у них на ферме где-то в Массачусетсе аисты свили гнездо на крыше их дома и стали совсем ручными, он их прямо из рук кормил. Потом они куда-то улетели и больше не появлялись. Потомства после себя, к сожалению, не оставили.

Потом мы вернулись опять к спорту. Я попытался с этой темы перейти на какую-нибудь другую, на его прошлое, профессию, политику, но моей инициативы он не поддержал и продолжал обсуждать спортивные дела и возможности своих Биллей и Тэдди. Когда стало светать и вокзал начал заполняться первыми пассажирами, мы расстались.

Яйцо я привез домой. Когда раскрыл чемодан, в нем, увы, ничего не запищало.

Эта неожиданная встреча за стойкой бара с земляком (мне все-таки удалось выудить у него, что родители его родом с Черниговщины, сам же он родился уже в Америке) и разбившее спортивные рассуждения моего собеседника аистиное яйцо как-то очень меня тогда растрогали, и теперь, глядя на наших украинских аистов, важно стоящих в своих гнездах на соломенных

или теперь чаще железных крышах где-нибудь на Черкащине и Полтавщине, я всегда с теплотой вспоминаю «свое» нью-йоркское гнездо.

* * *

Пена-Стейшн невольно натолкнул меня сейчас на одну из излюбленных мною тем — вокзальную. Я с детства неравнодушен ко всему железнодорожному — паровозам, стрелкам, ночным зеленым глазам семафоров, фонарям в руках проводников и, конечно же, к вокзалам с их особым запахом, гулом и предотъездной, куда-то зовущей суетой. Идеалом был Брянский (ныне Киевский) вокзал в Москве — крытые стеклом платформы придавали ему особый, заграничный вид, ни дать, ни взять — парижский вокзал Сен-Лазар, который я знал, правда, только по картине Клода Манэ.

Долгое время наш киевский вокзал был кровоточащей для нас раной, несмываемым позором. Такой город, а вокзал — барак. Длинный, одноэтажный, деревянный барак. А перед ним площадь — грязная, булыжная, с извозчиками и мальчишками: «Кому воды холодной!» Сейчас стоит новый вокзал, о котором и будет рассказ. Но прежде, чем начать его, я убедительно прошу всех впервые приезжающих в Киев (не прилетающих, а именно приезжающих) не заходить внутрь вокзала, а пройдя по перрону, выйти прямо к метро или по подземному ходу к троллейбусу. Так будет лучше.

Вокзал — это ворота города. В Киеве их надо миновать. А возвращаясь к себе домой, постараться через вестибюль пройти, как это ни трудно, с закрытыми глазами. Так тоже будет лучше.

Итак, в 1929 году начали строить новый вокзал. Это было событием. Объявили конкурс. Участниками его были известные московские и ленинградские архитекторы, но первую премию получил киевлянин — Александр Матвеевич Вербицкий, добропорядочный последователь дореволюционного модерна, маститый киевский архитектор, с которым впоследствии столкнула и меня судьба.

Условия конкурса были довольно необычны. Фасад здания должен был быть выдержан в духе выходившего тогда на арену конструктивизма, но с учетом элементов украинского барокко. Сочетание, мягко выражаясь, довольно нелепое.



В. Некрасов. 1944 г.

В. Некрасов с начштаба Митясовым. 1944 г.

В. Некрасов с матерью Зинаидой Николаевной. Киев. 60-е гг.



Мать В. Некрасова — Зинаида Николаевна. Фотография В. Некрасова.

В. Некрасов на похоронах А. Ахматовой. Комарово. 1966 г.

А. Д. Сахаров, Е. Г. Боннэр, В. П. Некрасов, В. Н. Войнович. Москва. Вестибюль больницы АН СССР. Фотография В. Кондырева. Декабрь 1973 г.





В. Некрасов, Г. Шпаликов, внук Вадим на киевской кухне. Фотография В. Кондырева. 1974 г.

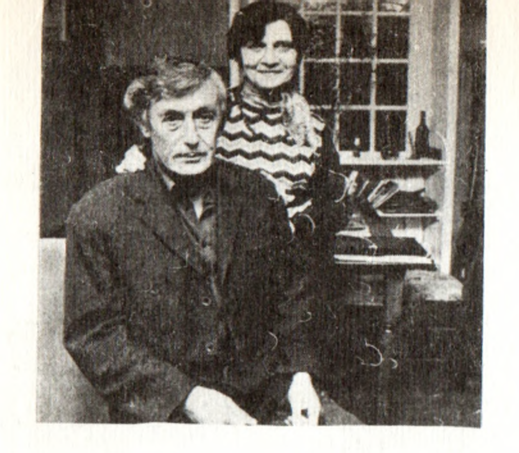


В. Некрасов. Киев. Фотография Шурубора. 1974 г.



Карикатура на В. Некрасова «И нашим, и вашим» в журнале «Перець» (Киев, 1963, № 10, май).

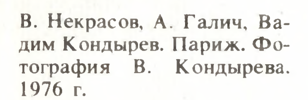
В. Некрасов в своем кабинете. Киев. Фотография Шурубора. 1974 г.



В. Некрасов с женой Галиной Викторовной. Марлот, под Парижем. Фотография, 1974 г.



В. Некрасов с Е. Г. Боннэр на присуждении А. Д. Сахарову Нобелевской премии мира. Осло. Декабрь 1975 г.



В. Некрасов, А. Галич, Вадим Кондырев. Париж. Фотография В. Кондырева. 1976 г.



В. Некрасов в своем кабинете. Ванв, 1976 г.

Похороны А. Галича, кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, Фотография В. Кондырева. 1978 г.

В. Некрасов и А. Вознесенский. Париж. Фотография В. Кондырева. 1978 г.

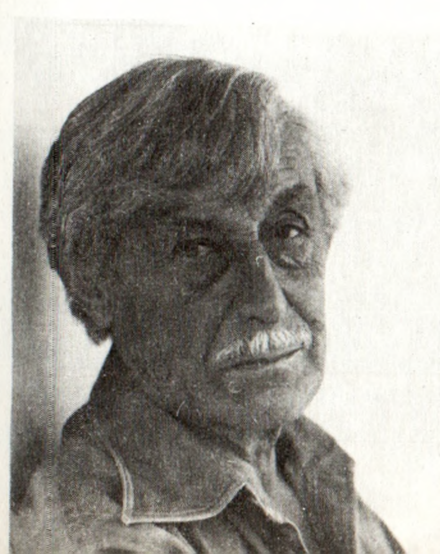


А. Гладилин, Б. Окуджава, В. Максимов, В. Некрасов. Париж. Фотография В. Кондырева. 1979 г.

В. Некрасов и Б. Окуджава. Париж. Фотография В. Кондырева. 1979 г.



В. Некрасов. Париж. 1980 г.



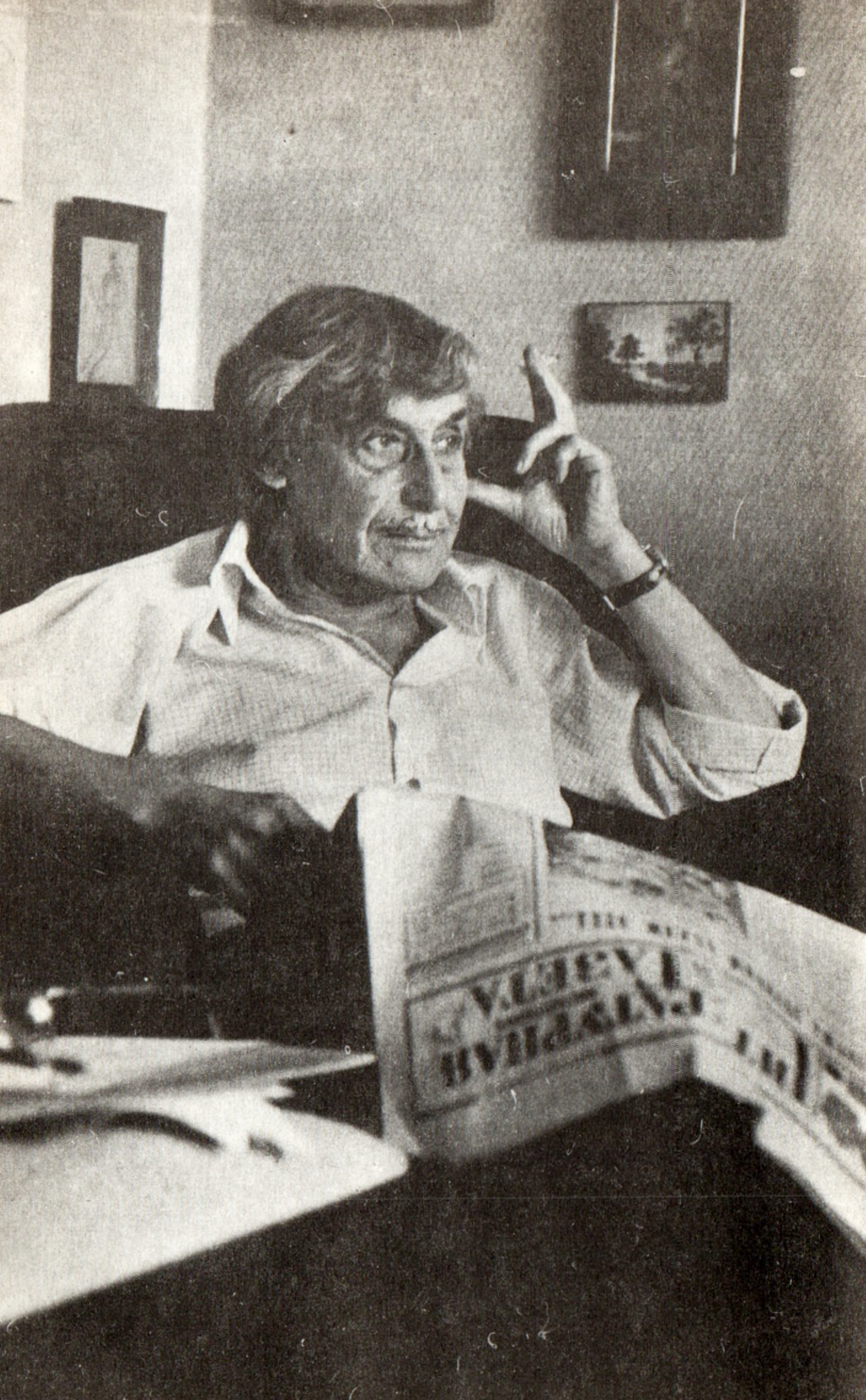
В. Некрасов. Фотография Н. Тепсе. 1980 г.

В. Некрасов. Париж. 1983 г.

М. Козаков и В. Некрасов. Вена. Фотография В. Кондырева. 1983 г.

В. Некрасов в парижском кафе. 1983 г.

В. Кондратьев и В. Некрасов на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. 1984 г.



Встреча нового года — 31 декабря 1985 г. с С. Лунгиным. Фотография В. Кондырева.

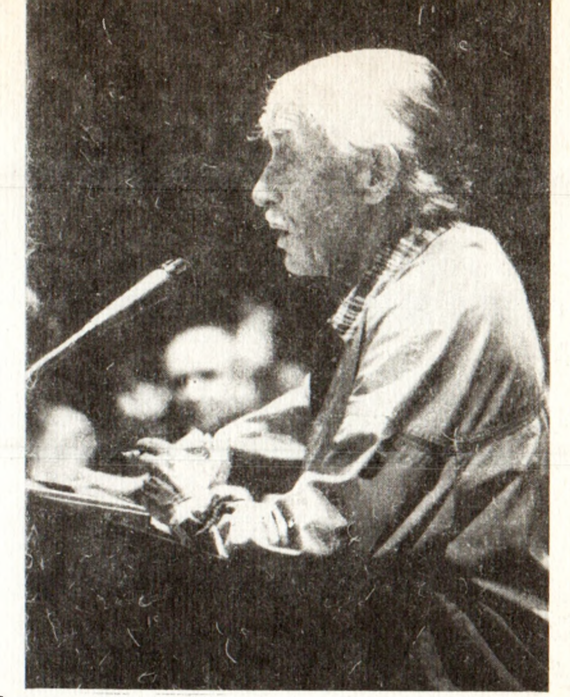
В. Аксенов и В. Некрасов. У памятника Жанны д'Арк, Орлеан. Фотография В. Кондырева. 1985 г.

В. Некрасов. Ванв, 1985 г.

В. Некрасов с женой Галиной Викторовной. Фотография В. Кондырева. 1986 г.

Чаепитие у В. Некрасова. М. Геллер, В. Кондырев, В. Некрасов. Фотография В. Кондырева. 1986 г.

Некрасов. Сан-Франциско. 1985 г.



Семья В. Некрасова: В. Некрасов, Мила, Виктор, Вадим Кондыревы и Г. В. Некрасова. Париж. Фотография В. Кондырева. Февраль 1987 г.

Некрасов и Раиса Орло-
Париж. 30 июля 1987 г.



Некрасов и художник
Целков. 1986. Фотогра-
я В. Кондырева.



Одна из последних фотографий В. Некрасова (с Викой Загреба). 17 июня 1987 г. Фотография В. Кондырева.

Вербицкий из этого тупика как-то выбрался. Отдал дань барокко в центральной части вокзала, обрамив громадное параболическое окно вестибюля так называемым кокошником. Украинского в нем было не ахти как много, но что-то от митрополичьих покоев Софийского собора все-таки чувствовалось. Другой киевский архитектор, Дьяченко, в этой части пошел еще дальше, совсем приблизился к XVIII веку, поре расцвета украинского, так называемого Мазепинского барокко. Братья же Веснины, напротив, сделали упор на современность, конструктивизм — бетон, стекло. Вербицкий нашел середину — и бетон, и стекло, и вот, пожалуйста, кокошник.

Мне проект вокзала очень нравился. Скажу по секрету, нравились мне тогда все проекты без исключения, но поскольку строить предполагали по проекту Вербицкого, я влюбился именно в него.

И вот, о счастье: окончив профшколу, я стажером пошел на строительство этого самого вокзала. Два года корпел в техотделе над синьками арматуры, а потом мастерил «восьмерки» и «кубики» из литого бетона, которые, «схватываясь» на двадцать восьмые сутки. разрывались и раздавливались в бетонной лаборатории Политехнического института. Все это мне казалось знаменательным и важным — я строил вокзал, красу и гордость нового Киева.

Вокзал был весь в лесах — и снаружи, и внутри,— и я бегал по ним, как матрос по реям, и любовался с 45-метровой высоты вестибюля (того самого кокошника) расстилавшимся внизу городом — куполами Владимирского собора, далекой Софией и маленьким памятником Ленину у самого вокзала, на виадуке над товарными путями — скромный бюст, обсаженный вокруг трогательными незабудками.

Потом леса сняли и вокзал предстал в своей бетонной наготе — в гигантских параболических, освобожденных от опалубки арках было что-то торжественное, от древних соборов, величественное. И в то же время все было просто и целесообразно. Вестибюль, широкая лестница, направо и налево залы ожидания, высокие, светлые, без всяких украшений — XX век...

Я был счастлив и горд. Снял своего любимца со всех возможных точек и фотографии отправил в журнал «Глобус». Их напечатали. Гордость и счастье дошли до предела.

Так простоял вокзал до войны, до прихода немцев. Уходя, они попытались его взорвать, но «мой» бетон был крепок и толу не поддался — только стекла повылетали и кое-где закоптилась белоснежная штукатурка.

Но главная трагедия ожидала вокзал впереди. Его восстановили. Но как? Кому-то показалось, что торжество победы неотъемлемо связано с пышностью форм. Побольше колонн, карнизов, капителей, завитков, лепных украшений. Это называлось «обогащением». И обогатили...

Нет, приезжий, очень прошу тебя — не заходи внутрь вокзала. Все, что есть безвкусного, лишенного какой-либо архитектурной логики, собрано там воедино. Арки уничтожены, заменены спаренными колоннами, параболические окна по мере возможности заделаны и «украшены» по бокам нелепыми пилястрами, потолок усеян какими-то звездочками, в залах ожидания на стенах производственно-идиллические пейзажи, вместо светящихся плафонов — тяжелые метростроевские люстры. От замысла архитектора не осталось ничего. Смотрел ли автор этой расправы — имени его не будем называть — в глаза Вербицкому, когда расправлялся с его творением? Ведь он был, кажется, его учеником.

Я, кстати, тоже был. Делал под его руководством проект опять-таки вокзала (он был почему-то полукруглый, более чем неудобный для эксплуатации), а затем какой-то ресторан на берегу Днепра. Дружбы у нас не получилось. Александр Матвеевич внимательно, молча, сквозь пенсне рассматривал мои архитектурные упражнения, качал головой и выше «тройки» оценки мне не ставил.

Потом уже, после войны, пытаясь попасть в аспирантуру своего же Строительного института, я опять попал к нему, и он тихо и спокойно, такой же, как и до войны, седой, длиннолицый, в пенсне, срезал меня на «кляузуре» — блиц-проекте, который нужно сделать не выходя из аудитории за какие-нибудь три-четыре часа. «Воевали вы, может быть, и неплохо, не мне судить, но до аспирантуры надо все-таки малость восстановить забытое. Поработайте годик-другой в проектном бюро, а потом милости просим».

С горя я напился и устроился в газету.

* * *

Когда во Франции меня спрашивают, какие газеты я читаю, ожидая, что я скажу «Le Monde» или, на худой конец, «Quotidien de Paris», огорашиваю кратким: «Ici-Paris»... Ну и «France-Dimanche». Парижане шокированы. Самые пошлые, бульварные листки, чтиво для консьержек, и вдруг...

Да, вдруг...

Парижанам невдомек, что такое «Правда». А нам после постной сухомятки так хочется убийств, ограблений, прелюбодеяний, любовных похождений кинозвезд и экзотических принцесс.

В Женеве меня попросили выступить на семинаре русского факультета. Тема — «Журналистика в СССР». Как человек объективный я рассказал об «Отделе писем» советских газет, отделе, в основном, консультативном и, действительно, много помогающем «трудящимся» в борьбе с житейски-бытовыми сложностями и безобразиями. Я имел касательство к одному из таких отделов и знаю, как много они могут сделать. Но если говорить о прямом назначении газеты — об информации... Ох и доставалось мне в свое время от итальянских газетчиков-коммунистов за наши газеты. «Правда» для них должна служить примером, но как этому примеру следовать?

В Женеве я предложил студентам такую игру. Пусть кто-нибудь сбегает за угол за «Правдой» (в Женеве она продается), а я тем временем расскажу примерное ее содержание.

— Итак,— начал я, выпроводив студента,— на первой полосе вверху справа будет несколько улыбающихся физиономий в касках. Что́ точно и на сколько процентов они перевыполняли план, сказать точно не могу, но что рекорд поставили — ручаюсь! Внизу справа — сообщение о дружеской встрече (с фотографией или без, в зависимости от ранга и значения гостя) на Внуковском аэродроме. Если высокий гость в этот день не ожидается — приветствие Живкову или Кадару, или еще кому-нибудь с очередным юбилеем и обязательными пожеланиями «крепкого здоровья, новых больших успехов в Вашей деятельности на благо трудящихся... республики, во имя торжества мира и социализма». Слева передовица — «К еще большему...», «К. дальнейшему увеличению...», «В закрома родины...», «Глубже

вникать...». Кроме корректоров, дежурного по номеру и еще десятка-двух лиц никем не читается. Внутренность газеты — 2-я, 3-я, 4-я страницы тоже, в основном, пропускаются. Задержимся на пятой — международная информация и шестой — спорт, искусство, погода, телевидение.

Пятая — слева вверху «Вести из стран социализма» — улыбающиеся лица, на этот раз венгра или поляка (текст не читается), справа «Колонка комментатора» (не читается никогда), посредине доводящая до колик от смеха карикатура Абрамова или Фомичева — залатанный, печальный английский лев или маленькие, брызгающие слюной человечки (Би-Би-Си, Радио Свобода), или еще что-нибудь в этом роде о НАТО, инфляции или безработице. Справа «С телетайпной ленты» — землетрясения, катастрофы, наводнения и опять же рост безработицы (если не читается, то просматривается). Как правило, читаются три маленькие колонки внизу — про раскопки, пигмеев, истребление тигров или слонов, кражу картин в музеях, полет на воздушном шаре или «Через Атлантику на плоту». На этой же странице обычно и «достойные отповеди» — ответы «небезызвестному» или «печальной памяти» «с позволения сказать» журналисту, «махровому», если он уже очень допек, или «которого никак не обвинишь в симпатиях к Советскому Союзу», если что-нибудь похвалил. Основные козыри в этой, условно назовем ее полемике, кавычки, обрубленные цитаты и насмерть разящее «ошибаетесь, господа! не выйдет!» (слова «господин», «госпожа» — Голда Меир! — почему-то считаются особенно разоблачительными). Кончается статья, как правило, обязательным: «комментарии, как говорится, излишни». Оппонент сражен, валяется в пыли...

О шестой странице говорить нечего, кроме того, что она единственно читаемая — футбольно-хоккейные баталии, шахматы, что-нибудь о природе, балете и обязательная идиллическая фотография (фото-конкурс «Правды») в стиле дореволюционной «Нивы» — закат, вечереет, весенние мотивы. Дальше — радио, телевидение, театры (кино нет, это в «Вечёрке»), погода.

Принесли «Правду».

Признаюсь, испытал некоторое разочарование. Ребята в касках не улыбаются, а просто стоят на извивающихся трубах гигантского высоковольтного агрегата...

И никто на Внуковский аэродром с дружеским визитом не прибыл. Наоборот, «Нерушимая братская дружба» крепнет и развивается на трибуне в Берлине — улыбаются на этот раз Брежнев и Громыко, Гречко мрачен. Зато поздравление товарищу Петру Ярошевичу есть: «В нашей стране высоко ценят ваш большой личный вклад в дело укрепления...» С передовицей тоже не угадал. Оказалось «Отчетно-выборные партийные собрания», но «хлеб — родине» все же есть, рядом заметка.

На пятой странице вместо поляков или венгров улыбаются болгарки — уборка фруктов в аграрно-промышенном комплексе Камча Варненского округа. У М. Абрамова на карикатуре — угадал — человечки, но не Би-Би-Си, а неофашисты в виде пауков с бомбами, гранатами, пистолетами и кинжалами. Тут уж не до смеха — просто страшно. «Новости науки и техники» — о потухших звездах. Достойной отповеди, какой-нибудь «У лжи короткие ноги», увы, нет.

А вот шестая страница в чем-то побила даже рекорд. В заметке «Жил Мишка на заставе» прапорщик В. Смирнов рассказывает поистине интереснейшую историю. Историю о медвежонке, который отбился от мамаши и поселился у пограничников. Вот о его жизни, о том, как подружился он с поваром младшим сержантом Борисом Кирьяшиным, как тот разнообразил ему меню — со сгущенки перешел на свежую рыбу, гречневую кашу и остатки компота, как мишук гонял по двору насмерть перепуганного поросенка и дружил с заставским котом Васькой и о том, как пришлось с ним расстаться, и поведал читателям «Правды» милый прапорщик Смирнов. От последних строчек наворачиваются слезы на глаза: «Его отвели в лес, сняли ошейник. Мишка смотрел на удаляющихся людей и шумно вздыхал, еще не понимая, почему его оставили одного...»

Надо добавить, что в «Правде», не в пример «Le Monde», не говоря уже о «New-York Times», всего 6 страниц, и в стране издаются миллионными тиражами «Пионеры», «Звездочки», «Вожатые», юные читатели которых очень любят читать про приблудных мишек, лисичек и лосят, про то, как они дружат с котом Васькой и мл. сержантом Борисом Кирьяшиным.

На этой же странице, вместо балета, статья, посвященная юбилею видного поэта. Массив его поэзии,

как сказано в статье, видится крупно... «Гуманистический смысл социалистической революции как необходимая предпосылка и основа для распрямления человеческой личности, для расцвета людей и народов, искусство, как память и совесть человечества, незаменимое и важное для тех, кто социально обновляет мир. Орудие борьбы за интернационализм, за торжество гуманности — подлинной, активной, возвышающей человека — обо всем этом размышляет, в эти проблемы углубляется, к ним приобщает, ими заражает нас муза поэта».

Прорвавшись сквозь это чудовищное нагромождение чепухи, не знаешь, смеяться или плакать? Как могла родиться такая фраза, такой пассаж? Что руководило автором этих строк? Восторг и экстатическое преклонение перед поэтом или утонченное издевательство? Смею утверждать — ни то, ни другое, а самое обыкновенное безразличие плюс набитая рука. Представляю себе разговор редактора с автором статьи. «Надо, старик, тиснуть юбилейную статейку об Н. Н. Наверху сказали,— палец в потолок,— преподнести, как надо. А ты умеешь, не жалей слов и превосходных степеней. Подпусти фимиамчику, всякого там гуманизма, творческого накала, широты диапазона, ну, сам знаешь...» Не сомневаюсь, окажись поэт не юбиляром, а наоборот, «буржуазным националистом» (а юбиляр в свое время чуть-чуть им не оказался) или просто «подпевалой чужих идей», тот же автор, с той же лихостью, тот же пассаж, начинающийся со слов «Гуманистический смысл» и кончающийся «за торжество гуманности», завершил бы словами: «Все это чуждо, враждебно поэту, его муза не заражает, не вдохновляет, массив его поэзии ничтожен, пространство ее мелко и узко. Советскому читателю она не нужна, он давно перерос и обогнал ее».

Я хорошо знаю этого поэта и, если не дружил, то был, во всяком случае, в приятельских отношениях, на Новый год получал поздравительные открытки. Ни первый набор слов, ни второй, придуманный мною, но в свое время весьма вероятный и возможный, к истинному творчеству поэта не имеют никакого отношения. Судьба его, поэтическая и гражданская, не легка (я хотел написать сначала «сложна», потом «проста», но остановился даже не на «тяжела», хотя, вероятно, надо было сказать именно так) — это судьба советского ин-

теллигента, избравшего служение не народу, а власть предержащим. Одно время он и сам был этой властью. Занимая высокий пост, всегда мог оказаться в краях не столь отдаленных. Искреннее расположение (действительно искреннее) к нему одного авторитетного лица избавило его от печальной участи — а он был уже на краю. О музе его говорить не будем — она часто меняла туалеты, а случалось, оставалась и без них. Гражданская его муза — на миг предположим, что есть и такая,— мало отличается от поэтической. Я помню, как в тяжелые дни «космополитизма» он сначала защищал своего друга (вернее, не нападал на него), а потом, после соответствующего внушения, отрекся от него, что не помешало им остаться друзьями — одна из особенностей дружб в тоталитарном государстве.

А в общем мне этих людей жалко. Господи, до чего им хочется сохранить приличный вид, как важно им сидеть на председательском месте (и хочется и колется, боязно с ним расстаться) и в то же время дружить с Пабло Нерудой или Ренато Гуттузо. Впрочем, и тем тоже хочется дружить, хотя нашему надо отчитываться во всех своих заграничных поездках, а тем нет — захотел в Израиль и поехал в Израиль или, на худой конец, в Париж послом.

Знал я и другого поэта, очень крупного, но не в пример предыдущему, честного и порядочного. Более того, он действительно служил — нет, не хочется мне говорить «народу» — это понятие слишком растяжимое, неуловимое, используемое всеми режимами, в особенности диктаторскими,— не хочется говорить и «служил», просто был человек, веривший в правду и пытавшийся в меру своих сил помочь ей. И вот для него — члена ЦК и депутата Верховного Совета — очень важны были эти иллюзорные знаки избранности и расставаться с ними (а это случалось) было для него более чем болезненно.

Писатель и государство, писатель и народ, писатель и цирковое искусство (в частности, эквилибристика, баланс, жонглирование) — все это темы, которых не миновать, но сейчас, коснувшись газеты, поговорим о ней обстоятельнее.

Та, в которой я проработал два с половиной года, с 1944-го по 1947-й — «Радянське мистецтво» (по-русски «Советское искусство»), выходила раз в неделю,

«высокой» политики, кроме общих, положенных в передовице фраз, не касалась, а потому особенно типичной я б ее не назвал. К тому же редактор наш был, хотя и важен, но ленив и все перепоручал своему заместителю, человеку живому, веселому, умному, умевшему найти общий язык со своими подчиненными. Да и время — конец войны, начало мира — было полегче.

И все же не обходилось и без курьезов. Как-то я понес председателю комитета по делам искусств (главный редактор был болен) статейку о том, над чем работают сейчас художники Украины. Статейка как статейка — тот о войне, тот о восстановлении, тот портреты передовиков, индустриальные пейзажи. Председатель пробежал глазами статью, одобрительно кивая головой, но в одном месте что-то вычеркнул и надписал сверху. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в картине одного достаточно известного художника «Н. С. Хрущев в гостях у шахтеров Донбасса» фамилия Хрущева была заменена Кагановичем. Я вопросительно глянул на своего начальника. «Газеты надо читать, молодой человек. Со вчерашнего дня первым секретарем у нас Лазарь Моисеевич».— «Да,— несколько растерялся я,— но художник, ведь...» — «Ничего, переделает...» И самое забавное, действительно переделал.

Не менее забавен и очень типичен другой случай. На этот раз не из моей, а из «творческой» биографии моего друга, работавшего в центральной республиканской газете. На летучке или планерке обсуждалась последняя пьеса Александра Корнейчука, мэтра и законодателя всей советской драматургии. Два сотрудника, из наиболее интеллигентных и культурных (вдруг почему-то их прорвало), очень тонко, с юмором расправились с пьесой, а заодно и со спектаклем. Мой друг, тогда еще неофит и в театральных делах не очень-то разбиравшийся, встал горой за пьесу — она ему, действительно, понравилась. Культурно-интеллигентные сотрудники высмеяли и моего друга. Наутро он обнаружил в газете статью этих самых двух насмешников — пьесу они оценили как крупнейший вклад в советскую драматургию, а спектакль — как победу театра. Мой друг не верил своим глазам. «Диалектика,— как ни в чем не бывало усмехнулись насмешники.— А ты учись, в газете и не то бывает...»

Но лучше всего, по-моему, охарактеризовал со-

ветскую прессу другой мой друг, полный юмора и сарказма. Как-то, взглянув то ли на «Правду», то ли на «Известия», он сказал: «Не понимаю, к чему этот устарелый лозунг там, наверху: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Я бы поставил другой, куда более определяющий сущность газеты: «Не твое собачье дело!»

Не твое собачье дело! Что дают, то и жри. Люди поумнее тебя делают газету. И все давно к этому привыкли. И к нечитаемым передовицам, и к пропускаемым статьям, и к отсутствию серьезных, действительно что-то комментирующих комментаторов, или просто к отсутствию их (читай коммюнике, сам разбирайся!), к умению замалчивать то, о чем говорит вся мировая пресса (Уотергейтское дело, например), или преподносить факты в совершенно искаженном виде (ближневосточные войны), а в общем-то к удивительной, обретшей все формы профессионализма, дезинформации. Я не говорю уже о критике каких-либо действий правительства — это начисто исключено. Немыслим и шарж, даже дружеский, на кого-либо из членов правительства (учитесь, учитесь, французские газеты, что вы со своим Жискаром делаете...). За всю свою сознательную жизнь я могу припомнить один только случай, когда в лакейски-шутливой форме изображен был в газете Хрущев. Он отправлялся на «Балтике», роскошном турбоэлектроходе в Нью-Йорк на сессию ООН и изображен был в виде капитана у штурвала. Вокруг сияли всякие «миры» и «дружбы», а в волнах барахтались излюбленные пигмеи Уолл-Стрита и Пентагона... Больше не припомню. Кажется, только в двадцатых годах появлялся на страницах «Крокодила» Ленин, но и это более чем отдаленно можно было назвать карикатурой. Да что карикатуру, просто фотографию в неустановленном, неутвержденном ракурсе дать нельзя — только с этой точки, слева Брежнев (до этого Хрущев), справа Садат (до этого Насер), посредине стол с нарзаном и наточенными карандашами. А мавзолей только фронтально и чтоб все поместились — в горошинках этих и не поймешь, кто — кто. Того же Брежнева или Косыгина, снятого западными корреспондентами, пошли ты их по почте, не пропустят — чего это у него рот раскрыт, несолидно.

Привыкли!

И я привык... Читаю газеты с десятилетнего возраста. Помню еще греко-турецкую войну, Вашингтон-

скую конференцию по морскому разоружению, нескончаемый поток борисефимовских Чемберленов (помню одну из, очевидно, последних карикатур на въевшегося в наши печенки «незадачливого» премьера — Борис Ефимов стоит на коленях, держит в руках очередную челюсть и монокль сэра Остина и подпись: «Прости, читатель, опять Чемберлена нарисовал!»), помню «Пролетарскую Правду» на синей бумаге (я бегал ее читать, вывешенную на каменной стене возле университета), помню и рождение первой киевской «Вечёрки» — но это уже позже.

На моих глазах советская пресса из агитационной (полулживой еще) превратилась в тенденциозную (насквозь лживую), из читаемой (ленинградская «Красная Газета») в просматриваемую. При мне еще были такие фельетонисты с собственным (относительно, конечно) лицом, как Сосновский, Зорин, Заславский, Мих. Кольцов. На моих глазах все деградировало и превратилось в то, что мы имели в сталинские годы и имеем сейчас — уныло-призывно-лозунговое, тянущее на зевоту.

И вот, несмотря на все это,— скуку, серость, штамп, повторяемые газетами всех союзных и автономных республик, одним словом, «не твое собачье дело»,— газеты раскупают, подписываются на них (коммунисты в порядке партийной дисциплины, после на партбюро неподписавшихся стыдят и укоряют) и, как ни странно, читают, сердятся, когда газета опаздывает. Конечно, какая-нибудь «Литературка» или «Советский спорт» (самая читаемая газета, как и журнал «Здоровье» или «Работница» — выкройки) несколько отличаются от «Правды» — бывают даже интересные статьи и разборы — но «Правда» считается образцом, святым писанием и критиковать ее или даже не соглашаться с чем-то в ней не разрешается, упаси Бог. Именно поэтому (забавно, но что поделаешь) подшивки старой «Правды» в спецхранах библиотек выдают только по специальному разрешению — ведь «отдельные допущенные ошибки» допускались не партией и не ее центральным органом, а ты там вдруг прочтешь то, что тебе сегодня не положено.

Не положено! Не положено читать, не положено видеть, не положено слышать, короче — не положено знать!

* * *

Незадолго до моего отъезда за границу я был приглашен к ответственному секретарю Союза писателей Украины. Десять лет тому назад он был вторым секретарем Ленинского райкома, и мы встречались с ним довольно часто по поводу моих «партийных дел». Тогда молодой, довольно бойкий человек, он пытался в чем-то меня уговаривать и даже как будто симпатизировал мне, что не помешало ему проголосовать за мое исключение. Сейчас это был разжиревший, очень поважневший чиновник (основанием для его приема в Союз писателей оказался какой-то его очерк о поездке в Непал), пригласивший меня не столько интересуясь моими делами (впрочем, конечно, и интересуясь), а в основном, чтоб подготовить почву для моего исключения (без «беседы» некрасиво). Беседа была бессмысленная, а с моей стороны даже агрессивная. Я спросил его, к слову, читал ли он Солженицына. Он замялся — кое-что читал. Что значит кое-что? Ивана Денисовича? Он вроде как утвердительно кивнул головой. Ну, а «Раковый корпус», «В круге первом»? В ответ что-то неопределенное. Когда же я спросил об «Архипелаге ГУЛАГ», он, не дослушав, выпалил: «Конечно, нет, что вы. Я антисоветчины не читаю!» Сколько ни пытался я убедить его, что нельзя, просто неприлично, ему, руководителю Союза, не ознакомиться (при полной возможности и безнаказанности) с книгой, о которой столько сейчас говорят и пишут, он только мотал головой. «Нет, нет, антисоветчину я не читаю...» До сих пор не могу понять, где он врал, где говорил правду.

Не положено! Не положено читать, видеть, слышать! Не положено знать!

Моего следователя, виноват, следователя по особо важным делам полковника Старостина больше всего интересовало, почему я читаю (храню!) антисоветские издания. Высокий, седой, приторно вежливый, с псевдоинтеллигентной, улыбающейся (кроме тех случаев, когда он не улыбался, а не улыбался он в моменты, когда ему казалось, что он припер меня к стенке) физиономией, весь в планках и юбилейных значках, встречал меня всегда подчеркнуто любезно, прикладывая руку к сердцу: «Как здоровье уважаемой Галины Викторовны и неведомой мне, но, говорят, прелестной Джульки?» (Джулька — это собака). Потом делал госте-

приимное движение в сторону моего стула: «Что ж? Продолжим нашу работу?» И мы продолжали нашу работу, длившуюся шесть дней, с утра до позднего вечера, с перерывом на обед. Все это происходило в его кабинете Комитета госбезопасности на знаменитой Короленко, 33.

Возле него, на столе слева, высилась стопка изъятых у меня во время обыска «материалов» — он приносил их, уносил, приносил новые.

— Рукопись неизвестного автора, отпечатанная на пишущей машинке, через два интервала, на белой, нелинованной бумаге. Так? Так. Страниц — одну минуточку — раз, два, три, четыре — четыре неполных страницы,— все это диктуется стенографистке, потом ласково-улыбчатый взгляд в мою сторону: — С какой целью эта рукопись хранилась у вас?

Я отвечал, стараясь быть разнообразным в своих ответах, что-то забыв, что-то припоминая, на что-то отвечая быстро и четко. Мне казалось тогда, что я отвечаю умно, правильно, не вызывая сомнения в правоте моих ответов, тем не менее основное чувство, которое я тогда испытывал,— это был стыд. Стыдно, что вдаешься в подробности, в чем-то оправдываешься, что вообще отвечаешь, а главное, пытаешься показать, что все это тебе нипочем. В перерывах, во время перекуров, мы говорили о посторонних вещах, например, о том, что он отдыхал когда-то с Твардовским и играл с ним в шахматы, и я тоже что-то говорил о Твардовском и вообще можно было подумать, что мы с моим полковником тоже разыграем сейчас партию-другую.

От чувства стыда я не могу отделаться до сих пор. Немолодой человек, писатель, должен доказывать, что он имеет право читать книги. И еще объяснять, почему та или другая книга его интересует...

— Ну зачем вам вся эта антисоветская макулатура? — возмущался он, указывая на солидные стопки «Paris-Match», «Express», «Observateur»,— что здесь может быть интересного?

И я, как дурак, пытался объяснять, что это журналы, которые во Франции читают все, от рабочего до министра, и что не вижу никакого криминала, ну и т. д.

Кстати, среди изъятых (потом, правда, возвращенных) материалов были «Беседы преподобного Серафима Саровского» издания 1878 г., альбомчик фото-

графий помпейских фресок (в протоколе значилось — «порнографический альбом») и расписка моей домработницы, что она получила такую-то сумму в счет чего-то.

В протоколе обыска, длившегося 42 часа, насчитывалось 60 страниц со ста пунктами изъятых материалов, в том числе хирургический скальпель моей матери — врача — холодное оружие.

Каждый раз, возвращаясь с допроса, я спрашивал себя — зачем все это затеяно, с какой целью? Неужели они, действительно, думают, что у меня можно найти что-то такое, что может принести вред государству? Зачем забрали магнитофон, пишущую машинку, фотоаппарат?

Ответ я получил через неделю, в субботу.

За большим столом большого кабинета сидел красивый, с черными небольшими усами, хитроглазый, улыбающийся человек в штатском, лет пятидесяти или около этого. Генерал. Второй по значению чин КГБ Украины.

При моем появлении встал. Предложил папиросы. Несколько минут разговор шел о качестве табака, о кашле, о том, что пора бросать. Улыбка не сходила с его уст. От курева перешли к литературе. Мои заслуги в этой области оцениваются очень высоко. «В окопах Сталинграда» — лучшая книга о войне. И, наконец, начало серьезного разговора. Как же так это получилось — все та же улыбка — что из окопов Сталинграда я перебрался вдруг в окопы холодной войны? Вопрос достаточно ясный. Из дальнейшего выясняется, что сейчас, в период обострившейся идеологической борьбы (не могу припомнить, было ли когда-нибудь время, когда она притуплялась?), всем нам, а таким людям, как я, в особенности, нужно четко и недвусмысленно определить, по какую сторону баррикад они находятся. Вот, пожалуйста,— крупнейшие академики, писатели, деятели культуры не скрывают своего возмущения по поводу кое-каких действий кое-каких лиц (имя Сахарова и Солженицына за все время разговора ни разу не упоминалось). Так вот — все в ваших руках. Любая газета, сами понимаете, с удовольствием предоставит вам свои страницы. После паузы разговор переносится на то, что я, вероятно, устал (последняя неделя была все-таки, вероятно, утомительной?), что не мешало бы мне поехать куда-нибудь

отдохнуть (вы, кажется, поклонник Коктебеля?), а заодно и поработать... А потом наш товарищ к вам подъедет... И опять пауза... Подлиннее предыдущей. «А то, знаете ли,— улыбка на минуту исчезла, потом опять появляется,— найденного у вас во время обыска вполне достаточно, чтоб ваш образ жизни несколько изменился,— хитрые глаза на секунду становятся серьезными.— В соседней комнате сидят двое молодых людей, которые сразу могут это исполнить, скажи я им только слово...»

Но слово так и не было сказано, очевидно, решено было, что еще рано. И все же это были не самые приятные минуты в моей жизни.

— Подумайте, подумайте,— сказал он мне на прощанье.— Очень нам бы помогли,— и крепкое, мужское рукопожатие.

Вот такой вот разговор. Я изложил суть, выжимку — посредине были и фронтовые воспоминания, и примеры из жизни, и легкое мое хвастовство — мол, стреляный-перестреляный, немцы от меня были в 60-ти метрах в Сталинграде, но суть была ясна, все в моих руках.

На следующий день он позвонил по телефону (я сразу не узнал и в трубке услышал укоризненное: «так быстро забыть, а я-то думал...») и спросил, в каких издательствах или редакциях лежат мои рукописи. И дальше, со смешком: «Надеюсь, ничего антисоветского в них нет? Ну, что ж, может, и поможем как-нибудь...»

Через день мы с женой были уже в Кривом Роге, у детей — отдохнуть, действительно, не мешало.

* * *

Февраль был теплый, мягкий, почти без снега. Я слонялся по улицам малознакомого мне города и все думал о том, как постепенно отчуждаюсь от своего родного и, как мне казалось, любимого Киева.

Когда-то, проходя по той или иной улице, слоняясь по дорожкам Маринского или Царского сада, я вспоминал — вот здесь я впервые прошелся под ручку с девушкой, а здесь, на мосту над Петровской аллеей, впервые поцеловался, а здесь купил первую поллитровку, первую пачку папирос... А теперь? Прорезная, ныне

Свердлова, на всю жизнь будет памятна мне визитами к милейшему моему полковнику Старостину, а симпатичная лестница в конце Ирининской — возвращениями от него, а здесь, в подземном переходе у Бессарабки, меня схватили под локотки два милиционера и через полчаса я оказался в вытрезвителе, хотя трезв был как стеклышко. А в другом переходе, у Почтамта, я как-то завел игру с «мальчиками», следовавшими за мной по пятам. Откровенно говоря, я, то ли по рассеянности, то ли по легкомыслию, никогда их не замечаю. Но Витя, сын моей жены, верный мой друг, засекает их сразу: «Поглядите на того. Факт. Наш!!!» И, действительно, оказывается «нашим». Так вот, однажды дикий ливень загнал меня с Витькой и тремя «нашими» в подземный переход. И захотелось мне, из озорства что ли, познакомиться с ними поближе. Подошел к одному из них — он рассматривал у продавщицы открыток виды Киева — и так, более или менее в пространство, стал сетовать на качество открыток, мол, не умеют у нас еще делать. «Наш» даже головы не повернул. Подошел к другому, в плаще, жующему пирожок. Прошелся по качеству пирожков. Та же реакция, как изваяние. Подошел и к третьему. В руках у него был зонтик, и здесь я совсем обнаглел, обратился прямо к нему. «Что ж это,— говорю,— другим вашим ребятам зонтиков не выдают? Или это ваш собственный?» Хозяин зонтика даже бровью не повел... Дождь чуть-чуть утих, и мы с Витей, прыгая через лужи, помчались к «Гастроному». Влетая в магазин, я обернулся. Раскрыв зонтик, наш милый друг скакал через лужи к тому же «Гастроному».

Раньше я этим не интересовался, а теперь вот задумался — кто они такие, эти «мальчики», откуда их вербуют, чему учат, кем они мечтают стать, если вообще о чем-нибудь мечтают? Вид у них сверхординарный — очевидно, так задумано. И одеты нарочито серо, незаметно, что, кстати, на фоне нынешней достаточно пестро одетой молодежи сразу выделяет их. Как правило, в пиджаках, какая бы ни была жара — очевидно, необходимы внутренние карманы для миниатюрных радиопередатчиков. Работают грубо и неумело. Впрочем, я до сих пор не понимаю, какова их цель — следить за каждым нашим шагом или давить на нашу психику — учти, мы здесь, рядом, не сводим с тебя глаз. К слову сказать, с глазами у них дело плохо.

То зыркнет, то отведет в сторону, то делает вид, что ты ему совсем неинтересен, то фиксирует тебя, как фотокамера, спрятавшись за деревом. С боковым зрением у всех у них дело обстоит неважно.

Интересует меня и другая категория людей, эти уже постарше, лет 30—35-ти — тех, что проводят обыск. У меня их было семеро, не считая двух так называемых понятых. Вежливость и обходительность их просто поразительны. Чем-то они напоминают молодых людей из бюро «Добрых услуг». Так же возятся с картинами, статуэтками, смахивают пыль со шкафов. «Галина Викторовна, дайте тряпочку, я заодно уже вытру...» или «Я иду в «Гастроном», может, вам яичек или колбасы?» Но трогательнее всего было с Булгаковым. Я вспомнил, что именно в этот день, в четверг, мне назначено было зайти в «Лавку писателей» за однотомником Булгакова. Я попросил у старшего разрешения позвонить по телефону (подходить к телефону не разрешалось, и сами они на звонки тоже не подходили). «Что вы, Виктор Платонович,— удивился даже старший,— мы это мигом! Витя, одна нога здесь, другая там. Дайте ему записку, он сейчас принесет». Через десять минут однотомник был в моих руках.

Ну как это все назовешь? Новая инструкция, новый стиль? Или другая, более культурная категория обыскивающих? Надо было только видеть, как они запечатывали семь громадных мешков с изъятыми «материалами» — подкладывали газеты, упаси Бог, чтоб не накапать сургучом на пол...

Уходя (это было в третьем часу ночи, на вторые сутки), они прощались с нами, как старые друзья после новогодней встречи (это кто-то из них так сострил... Еще острит), а один из Вить (все они были Витями, кроме одного, Владимира Ильича), с извиняющейся интонацией сказал: «Не сердитесь на нас, такая работа...» Я не выдержал и съязвил: «Можно было выбрать и другую».

Обо всем этом я думал, шлепая по талому криворожскому снегу, о том, как все отдаляется и отдаляется от меня, как все более чужим и враждебным становится для меня город, в котором я прожил почти всю свою жизнь, который любил и которым гордился. На место старых, милых, уютных картинок «детства, отрочества и юности» выплыли новые, куда менее милые и уютные.

...Николаевский парк, парк моего детства... По тем же дорожкам, по которым я бегал то ли индейцем, то ли кем-то из «сыщиков и разбойников», я уже «маститым» прохаживался, вроде как и друзья, и вел «беседу» с тем самым секретарем Ленинского райкома, который стал вдруг писателем, беседовал о том, каким должен быть настоящий коммунист — это была его работа, за нее он получал не такой уж малый оклад. (Кстати, один из моих приятелей, ныне сидящий, как-то не вытерпев непрекращающейся слежки, обернулся и спросил у своего «мальчика»: «Слушай, сколько ты за это получаешь?» Тот, не сморгнув глазом, ответил: «Сто шестьдесят рублей».)

Пушкинская улица... В этом длинном трехэтажном с двумя парадными доме была гимназия Сороколовой, и я в ней учился. Через пятьдесят лет в одной из ее аудиторий, ныне кабинете редактора журнала «Радуга», десятка полтора моих «единомышленников по партии» во главе с туповатым генералом, Героем Советского Союза, «прорабатывали» меня за очередные ошибки.

А чуть дальше, минуя бульвар,— Театр русской драмы. Здесь я три года учился в студии и изображал на сцене «3-го мужика» или «4-го горожанина» в пьесе Тренева «Пугачевщина». На этом вот крылечке у входа в артистические уборные мы летом, в бородах своих и зипунах, курили и без конца точили языки... Но на это воспоминание напластовалось уже другое — парадное соседнего шестиэтажного дома, в которое, когда я заходил (а там жил мой друг, с которым мы встретимся и будем обсуждать недавние киевские события под сводами Нотр-Дам), всегда обнаруживал лениво слоняющегося у телефонной будки того самого, получающего 160 руб. в месяц...

Трехсвятительская (ныне на этом отрезке Десятинная) улица. В самом ее начале, налево во дворе, жил Сережа Доманский. У него по вечерам мы собирались и за круглым, черным столом со свечой (для таинственности) читали друг другу свои литературные опусы, которым в подметки не годились все эти печатающиеся, современные авторы. Иногда, когда надоедало, занимались росписью стен и пола сюрреалистическими или, как тогда говорили, супрематическими портретами и пейзажами. Теперь, проходя мимо этого двора, я поворачиваю голову не только налево, но и направо —

там заслоняет небеса громадное, все в циклопических колоннах здание Обкома Партии, где меня дважды исключали и на второй раз исключили-таки из партии. Там милая и даже симпатизировавшая мне Елена Яковлевна, двенадцать лет тому назад просто инструктор, а десять лет спустя уже Председатель Парткомиссии, учила меня уму-разуму и удивлялась тому, что я давно не перечитывал Ленина («Как? В тяжелые минуты своей жизни я всегда обращаюсь за советом к Владимиру Ильичу...»).

Днепр... Пожалуй, только Днепр не осквернен позднейшими наслоениями. Впрочем, и тут, валяясь на животе на песочке и разглядывая с левого берега силуэт Киева — видишь, как небережно к нему относятся. Среди весело разбросанных в густой зелени златоверхих колоколен и куполов лавры и Выдубецкого монастыря затесались холодные, сухие параллелепипеды высотных зданий, и сразу померк, лишился седой своей былинности один из красивейших ландшафтов в мире.

Но это только цветочки, ягодки еще впереди. Не без дрожи вспоминаю я рассказ одного моего знакомого о том, как встречен был аплодисментами всего нашего украинского руководства проект прославления «города-героя», предложенный ныне покойным скульптором Вучетичем. Стометровая золоченая фигура Родины-матери со щитом и мечом в руках (на два метра выше Лаврской колокольни, во как!) и десятка два тридцатиметровых героев и героинь бесславной обороны должны взмыть к небу на холме у моста Патона и размахом, и масштабом побить собственный рекорд на Мамаевом кургане в Сталинграде...

Этот второй удар (Сталинградская Мать-Родина стоит как раз на месте «моих» окопов на передовой 1047 стрелкового полка 284 стрелковой дивизии, полковым инженером которого я имел честь состоять), этот второй удар я не перенесу. Одна надежда на то, что автор проекта переселился в лучший из миров, а без его феноменальной пробивной силы никому не удастся выторговать те десятки и сотни миллионов рублей, которые стоит это чудовищное, золоченое нагромождение мускулов и безвкусицы. Вряд ли состояние нашего бюджета позволит тратить такие суммы на осквернение нашей столицы.

* * *

Эти строки писались 2-го февраля 1975 года — в 32-ю годовщину разгрома немцев в Сталинграде. За два дня до этого, 31-го января, капитулировала южная группировка во главе с Паулюсом, в этот же день — северная.

Дни стояли солнечные, яркие, морозные. Вереницы пленных, в длинных шинелях, закутанные в одеяла, с громадными мешками за плечами (Господи, чего только в них не было, даже альбомы с коллекциями марок) стекались к Волге. Появились первые беженцы — на детских саночках, с жалким скарбом и детишками возвращались к несуществующим своим жилищам. Мальчишки уже ползали по пушкам и подбитым танкам.

Бои, если уже не бушевавшие, а догоравшие в развалинах, откатились куда-то далеко на запад. Только веселые автоматные трели выпивших победителей нарушали неожиданную, неправдоподобную тишину города.

Война в Сталинграде кончилась!

Пьяный Чумак на последней странице «В окопах Сталинграда» спрашивает пьяного Керженцева:

— Почему так вышло? А? Помнишь, как долбали нас в сентябре? И все-таки не вышло. Почему? Почему не спихнули нас в Волгу?

Я задаю себе этот же вопрос сейчас, тридцать два года спустя. Почему не вышло?

Существует прелестный, возможно и придуманный, но тем не менее прелестный, рассказ одного известного актера о его беседе с маршалом Тимошенко. Ехали они куда-то вместе в поезде. Естественно — выпили. И тут рассказчик спрашивает у маршала:

— Скажите, товарищ маршал, как же это вышло в 41-м году, когда немцы уже вплотную подошли к Москве? Еще шаг и... и вот, не взяли.

Маршал посмотрел на актера:

— А чёрт его знает!

(В рассказе маршал высказался более определенно.)

Заговорили потом о Ленинграде, Сталинграде, Курской дуге, и на все был один ответ:

— А чёрт его знает!

Наутро маршал пришел в себя, ополоснулся, опохмелился и доверительно наклонился к рассказчику:

— Слушай, я вчера, кажется, наговорил чего-то лишнего... Забудь!

Было это или не было, трудно сказать, но для меня, как и для маршала, Москва, Ленинград и Сталинград, в котором я провоевал пять с половиной месяцев, все же остаются загадками.

Москвичи, пережившие день 16-го октября 1941 года, говорят, что город можно было взять голыми руками. Трагические слова Левитана по радио, что «положение создалось угрожающее» и остановившееся внезапно метро, до последнего момента работавшее, как часовой механизм,— деморализовали окончательно. Начался исход, сжигали бумаги, партбилеты, выбрасывали сочинения Ленина и Сталина — город был готов... Немцы остановились у Химок и дальше не пошли.

Мой друг, оборонявший Ленинград, говорил мне — «Были дни, когда немцы могли, перешагнув через наши спящие тела, без единого выстрела войти в город».

В Сталинграде немцы не смогли спихнуть в Волгу дивизию Родимцева, глубина обороны которой была двести метров...

В сентябре, октябре превосходство немцев было подавляющим. Авиация их господствовала в небе. Пополнение мы получали из одних сопливых детей, стариков, да не говорящих по-русски узбеков. Инженерное оборудование — курам на смех: несколько десятков противотанковых и противопехотных мин, спираль Бруно да МЗП — малозаметное препятствие. В батальонах сорок активных штыков казались уже роскошью.

В тридцатую годовщину разгрома немцев я выступал по Сталинградскому телевидению. Озаренный лучами прожекторов, я сидел в кресле в полукилометре от своей бывшей передовой, а ныне — размахивающей мечом 80-метровой Матери-Родины.

— Расскажите, как вы воевали в те дни,— сказали мне.

Я начал было об этих самых минах и Бруно, о том, что лопат не хватало, воровали друг у друга, но меня перебили:

— Об этом не надо. Лучше о героизме...

Милейшим людям со Сталинградского телевидения невдомек было — и это через тридцать-то лет! — что

в этом и был героизм — ничего нет, а стояли. И выстояли...

Впрочем, и Гитлер со всем своим генералитетом чего-то не додумал. Ведь город, как таковой, фактически был взят. Вокзал, весь центр, на юг почти до Сарепты, на север до завода Метиз. Осталось несколько вцепившихся в руины заводов и на Мамаевом кургане дивизий — плюнь на них и закрепи оборону — Сталинград, мол, взят, займись другими фронтами...

Но я не стратег. Я, как маршал — черт его знает...

* * *

И все же город, по которому интереснее, веселее, легче и в то же время утомительнее всего бродить — это Париж. Это хорошо знали Хемингуэй и Маяковский (впрочем, и многие другие). Первый не зря отождествлял его с «праздником, который всегда с тобой», а второй хотел «жить и умереть в Париже», хотя и предпочитал Москву. А может, и знал ее повадки.

Перечитайте хемингуэевскую «Фиесту» или хотя бы тот же «Праздник, который всегда с тобой», и вы увидите, с каким наслаждением он просто перечисляет улицы, по которым ходит. «Я прошел мимо лицея Генриха Четвертого, мимо старинной церкви Сент-Этьен-дю-Мон, пересек открытую всем ветрам площадь Пантеона, ища укрытия, свернул направо, вышел на подветренную сторону бульвара Сен-Мишель и, пройдя мимо Клюни и бульвара Сен-Мишель, добрался до известного мне славного кафе на площади Сен-Мишель» («Праздник...»), или: «...вышел и, повернув направо, пересек улицу Ренн, чтоб избежать искушения выпить кофе у «Де маго», дошел по улице Бонапарта до улицы Гименэ, потом до улицы Ассас и зашагал дальше по Нотр-Дам-де-Шан к кафе «Клозери де Лила» (там же). Или: «Мы свернули с площади Контрэскарп и пошли, узкими переулками, между высокими старинными домами. Мы вышли на улицу дю-По-де-Фер и шли по ней до улицы Сен-Жак и потом пошли к югу, мимо Валь де Грасс, и вдоль железной ограды кладбища. Вернулись на бульвар дю-Пор-Рояль... Мы пошли по бульвару дю-Пор-Рояль, пока он не перешел в бульвар Монпарнас, и дальше, мимо «Клозери де Лила», ресторана «Лавинь», «Дамуа» и всех маленьких кафе, пересекли улицу против Ротонды, и мимо его огней

и столиков — в кафе «Селект» («Фиеста»). Ну и так далее.

И мне, когда я читаю, тоже приятно, и кажется, что я тоже иду по улице Бонапарт, миную Сен-Жермен-де-Прэ и, свернув налево по улице Жанэт, захожу к Мишо. Хэм уже там поджидает Фицжеральда Скотта. Я подсаживаюсь к нему.

— Что будем пить?

— Я взял фин-а-л'о,— говорит он.— Здесь всегда приличный коньяк. Заказать вам?

— Спасибо.

Он подзывает Жана, с которым в приятельских отношениях, и, кроме выпивки, просит принести еще две порции турндо.

— Это говяжье филе,— поясняет он,— завернутое наподобие рулета. Тут его превосходно делают.

Потом мы едим турндо, действительно отличное, и говорим о Джойсе, который тоже тут часто бывает, и слабостях Фицджеральда Скотта, который вот-вот должен прийти.

Вот так-то. В кафе Мишо, на углу Святых Отцов и Жакоб. Маленькое уютное кафе, где в 1925 году бывали Джойс и Хэм, и Фицжеральд Скотт, и многие, многие другие.

И в «Липп» я тоже бывал, это на бульваре Сен-Жермен, напротив «Кафе де Флор». Туда тоже захаживал в свое время Хэм и пил там кагор, разбавленный водой. А я зашел с двумя журналистами из «Радио Люксембург», а потом перешел через улицу в «Кафе де Флор» и встретил там Вильяма Клейна, знаменитого фотографа, впоследствии и кинорежиссера, и мы пили с ним холодное пиво «биер альзасьен» и закусывали креветками. Потом он повел меня в свою мастерскую и показывал свои новые работы — он увлекся сейчас живописью, состоявшей из одних переплетающихся между собой букв.

— L'art de l'horreur,— пояснил он,— искусство ужасов. Из букв составляются слова, а я их уже не воспринимаю. Особенно, когда вижу. Я уже давно не читаю газет и не слушаю радио. Как могут работать корректоры и дикторы? Как их не рвет...

Мы возвращаемся в «Липп» и застаем там, кроме двух журналистов из «Радио Люксембург», еще корреспондента газеты «Последние новости».

Корреспондент показывает последний номер газеты и

говорит мне: «Тут и про вас кое-что есть». Это, оказывается, репортаж о моем выступлении в Музее Гимэ, в клубе «Жар-Птица», где я говорил о выставке в Манеже (это было в 1962 году), о том, какие там идут дискуссии и споры и как молодежь сцепляется с догматиками.

— А мы во Франции,— сказал улыбаясь Вильям Клейн,— любим все из ряда вон выходящее и больше всего боимся набившего оскомину. Пикассо спасает только его возраст, а то его давно считали бы банальным, повторяющим собственные зады.

Так зашел разговор о традиции и новаторстве, как окрестили бы его в какой-нибудь из наших газет, разговор, продолжавшийся в «Де маго» и так и не закончившийся где-то уже в районе Пантеона.

В Киеве, когда мы собираемся идти куда-нибудь гулять, мы старательно обходим Крещатик — там слишком много знакомых. В Париже, если ты даже не Хемингуэй и не пишешь статей в «Франс суар», но если ты прожил там хотя бы две недели, рассчитывать на одиночество в квадрате Сена — Рю де Ренн — Люксембург — Рю Сен Жак — вряд ли возможно. Там всегда кого-нибудь встретишь и осядешь в каком-нибудь кафе после обязательного предложения: «А не выпить ли нам по стаканчику?..»

Относительное одиночество и спокойствие можно обрести на острове Сен-Луи, прилепившемся к нижней оконечности Ситэ. Там всего две набережные, одна продольная улица, восемь поперечных и симпатичная старая церковь Сен-Луи-ан-Лиль. Дома там все старые, там все тесно и уютно, а кафе, хоть и меньше, такие же, как и в остальном Париже, только народу пожиже. Оттуда недалеко до площади Бастилии и маленькой очаровательной площади Вогезов — пляс де Вож. Квадратная, застроенная трехэтажными старинными домами, с крутыми черепичными крышами, она чем-то напоминает Львовскую площадь «Рынок», но вместо ратуши-горсовета, там посредине уютный сквер, где можно посидеть, и, никого не боясь, почитать даже книжку.

Генрих IV сказал: «Париж стóит обедни», а кто-то перефразировал: «Если б не было Парижа, его надо было бы придумать», орловский помещик Тургенев до последних дней жизни не мог с ним расстаться, а Паустовский, когда мы были с ним в Париже, сказал: «Вы знаете,

у меня здесь даже астма проходит», а парижский воздух, увы, далеко не коктебельский.

Спор о традиции и новаторстве, начавшийся в кафе «Липп» и так и не закончившийся у Пантеона, мог произойти где угодно, но в Париже он принял свою окраску. Все свелось в конце концов к нему самому.

— Париж — лучший город в мире, потому что он терпит все, кроме безвкусицы,— сказал кто-то из нас.

— И Марк Шагал может расписать плафон Гранд-Опера́, не боясь, что его четвертуют...

— А муравьед Сальвадора Дали привлекает внимание парижан больше, чем его хозяин...

— И вообще, Париж, что Ноев ковчег, в нем мирно уживаются в газетном киоске «Огонек» и «Пари-матч», а за одним столиком наша компания, которая мирно сосет коктейли,— сказал я,— удивительнейшее сочетание всего — людей, идей, стилей,— и в этом его лицо.

— И именно поэтому, очевидно, мы и взяли коктейль как символ некоего смешения вкусов и взглядов,— сказал один из люксембуржцев.

— Но в нем нет водки,— сказал я,— это ущемляет мое национальное достоинство.

— Сейчас исправим ошибку. Гарсон, добавьте в этот стакан немного «Столичной». Или, может, «кальвадоса»? Это французский самогон.

Вместо «Столичной», извинившись, принесли «Московской», и мы, стоя, опустошили свои стаканы за самый небанальный в мире город, в котором можно гулять по улицам с муравьедом на цепочке и даже рисовать карикатуры на самого «месье ле женераль».

Но, условившись завтра в три встретиться в «Куполь» — там я еще не был, мы разошлись по домам. Мой путь был по Сюффло, до бульвара Сен-Мишель, дальше по Сен-Жермен до улицы Святых Отцов и далее, минуя Мишо, по мосту Карусель, через две арки Лувра к своему Гранд-Отель-дю-Лувр. На мосту я еще немного постоял, глядя в черную воду Сены и думая о том, как бы завтра уединиться и не ходить в «Куполь». Выход был один: запереться в номере и всем говорить, что я работаю. Из этого ничего не вышло — в три часа мне позвонили и сказали, что меня ждут лучшие в мире улитки, бутылка бургундского 1873 года разлива и знакомство с Кордобесом, самым знаменитым в мире матадором. Это меня доконало.

* * *

Вот такой милый, припудренный, полупридуманный Париж изобразил я три года тому назад для журнала «Новый мир». Что может быть невиннее? Кафе, улочки, переулочки, давно умерший Хемингуэй, милые тосты... Не тут-то было. Эта крохотная главка, эти сверхдружелюбные тосты повергли всех в ужас. «Да что вы, Виктор Платонович, побойтесь Бога! Что это за Ноев ковчег, мирно уживающиеся в газетном киоске «Огонек» и «Пари-матч», а за каким-то там столом вы трогательно распиваете коктейли с буржуазными журналистами... Простите, но на нашем советском языке это называется «мирное сосуществование идеологий». Нет, нет, это не пройдет, никто не пропустит!» И мой дружеский тост, а с ним и Парижский Ноев ковчег превратился в вялое, невыразительное «удивительнейшее сочетание людей, идей и стилей»... Вот так-то.

В той же главке, чуть повыше, корреспондент показывает мне последний номер газеты (было «Русской мысли» — вычеркнул) и говорит: «Тут и про вас кое-что есть». И дальше о моем выступлении в клубе «Жар-Птица». Весь последующий абзац был начисто изъят. А посвящен он был той самой заметке в «Русской мысли», заканчивавшейся печально-ироническими словами: «Бедный Некрасов, упиваясь дискуссиями и спорами, он не подозревал, что пока он обо всем этом рассказывал, Хрущев уже громил левых художников в том же Манеже». Бог ты мой, как я сопротивлялся, предлагал сжать, сократить, заменить «громил» на «критиковал», на меня смотрели как на идиота: «Да ну, Виктор Платонович, вы ж не ребенок, сами должны понять... Цензура все равно вычеркнет, зачем задерживать номер!»

А милый старый Марк Шагал? Тоже оказался под угрозой — «расписывает плафон Гранд-Опера, не боясь, что его четвертуют...». Но тут я уперся и ни в какую. Остался.

Как ни странно, но все связанное со «Столичной» и «Московской» прошло без потерь, хотя в свое время именно это выжигалось каленым железом.

Помню, какая баталия развернулась вокруг «злоупотребления спиртным», когда сдавался в печать «Родной город». Совпало это с очередной антиалкогольной кампанией, и Твардовский, отнюдь не гнушавшийся напитков, потребовал, чтоб я «прошелся по всей книге «в смысле

выпивок». Я уперся. Меня уламывали. Наконец собрались все вместе, вся редколлегия во главе с Александром Трифоновичем и тут-то и началось. Я дрался как лев, как тигр, но я был один, а их пятеро... С грустью и тоской читаю я теперь первую страницу повести, где продавец воды, весело подмигнув герою повести Николаю, говорит:

«— С фронта, небось, товарищ капитан?

Николай кивнул головой.

— Может, тогда кружечку пивца прикажете?

— Нет, не надо.

— А то хорошее, «жигулевское».

Не было никакого пива! Не было! Было «сто грамм»...

«— Может, тогда сто грамм прикажете?

— Нет, не надо.

— Как же так, фронтовик и не надо?»

Сколько я ни убеждал, что, к стыду своему, фронтовика, Николай ведь отказался от водки, не выпил, а ведь мог, тогда другой разговор (я невольно, под давлением, начал соглашаться, что пить, именно пить, на первой странице не надо) — меня приперли к стенке, убедили, доказали пять пьющих мужиков, что нельзя. И я, заливаясь слезами, сдался... И так по всей книге — вместо поллитровки четвертинка, вместо четвертинки стопка, вместо стопки — пиво... Кончилось все в уютном подвальчике — Твардовский, хлопнув рукой по рукописи, сказал: «Ну, а теперь, сил больше нет, спустимся в подвальчик, к милой нашей Нине, и компенсируем, так сказать, все, что мы только что выкинули...»

О водка! О проклятое зелье!

Нестершееся в памяти воспоминание о тех днях, когда Твардовский боролся с «моей» водкой в книгах и отнюдь не с «нашей» в жизни, возбудило во мне — ренегате и изменнике — желание спеть тебе, проклятое зелье, оду!

Я не могу не спеть ее, т. к. слишком долго и упорно дружил с тобой, повергая в тоску и ужас друзей и знакомых, не могу, т. к. только этим искуплю свою вину перед тобой, если и не забытой, то давно уже отвергнутой. Почему? — другой вопрос. Об изменах трудно писать. Не будем...

С тоской и легким презрением смотрю на людей западной культуры, посасывающих соки, аперитивы и коктейли, пьющих за обедом вино, не знающих счастья «продолжения» (сбегать еще?), муки утреннего похмелья. Они могут часами сидеть за кружкой пива, утк-

нувшись в газету, или с рюмочкой (фужером?) в руке вести неторопливую беседу. Третьи, считающие себя знатоками «l'âme slave» [1], весело подмигивая, после сытного обеда, сыра и фруктов заявляют вдруг: «А, теперь можно и la vodka!» и пьют ее крошечными глотками, опять же подмигивая: «formidable»! [2]

Нет, не для того, не для таких ты создана! Я пил тебя из всех возможных сосудов — из рюмок, стопок, стаканов (граненых и не граненых), из медных и алюминиевых кружек, бритвенных стаканчиков и завинчивающихся от термоса, из тонких, китайского фарфора чашечек и толстых фаянсовых с крышкой пивных кружек, просто из горлышка («с гópла будешь?»), а однажды просто сосал губку; пил утром, вечером, днем и ночью; дома, в гостях, на званых ужинах и банкетах, на свадьбах и похоронах; тайно, в ванне, вытаскивая трясущимися руками из «загашника» специально недопитую четвертинку; в подъездах, парадных, пустых дворах, озираясь по сторонам и запивая пивом; в поле, в лесу, в горах, у моря (там-то, на пляже, в Ялте, и произведен был эксперимент с губкой); на пароходе, в поезде, автомобиле, самолете; в землянке у раскаленной печурки или прямо на передовой, в окопе, на корточках, чтоб не сшиб снайпер; в шумной веселой компании, впятером, втроем, вдвоем, один...

И со всей ответственностью могу заявить — лучше всего пить вдвоем! В затхлой атмосфере прокуренной холостяцкой комнаты, закусывая колбасой и огурцом, разложенными на газете.

Говорю со всей ответственностью и знанием дела человека, пившего во дворцах и лучших ресторанах из хрустальных бокалов и тыкавшего вилкой в трепетно-розовую осетрину, распластавшуюся на кузнецовском фарфоре или каком-нибудь другом гарднере...

Нет! Дым столбом, вернее пластами, окурки в блюдечке, колбасу или сыр перочинным ножиком, хлеб отламывается руками и макается в бычки в томате, на дворе ночь, оба сидят в майках и вот тут-то открываются такие глубины и просторы, решаются такой сложности мировые проблемы, распутываются и запутываются такие морские и гордиевы узлы человеческих взаимоотноше-

---

[1] славянская душа (*фр.*).
[2] великолепная (*фр.*).

ний, открываются такие чистые, нетронутые уголки и закоулки души, а перспективы так радужны и манящи...

И вот тут-то кончается водка. И нужно — и немедленно — достать, так как самое важное еще не сказано. Самое сложное не распутано, самое сокровенное не приоткрыто, самое трогательное не выдавило еще слезу...

День это или ночь, открыты ли магазины или закрыты, есть деньги или нет — значения не имеет. Открывается и находится и то, и другое — вытряхиваются все карманы всех пиджаков, прощупываются все швы и подолы и — о! трешка! — мятая, забытая, спьяну сунутая трешка, а в пальто под подкладкой сладко звенит еще что-то металлическое и, если не магазин, то ресторан, кафе, вокзал, с заднего хода через какую-нибудь Светочку или Жанну, или, на худой конец, полупьяного швейцара (о! это ожидание, пока он куда-то уходит, Бог знает сколько времени пропадает, потом появляется с заветной нашей, завернутой в газету!) — и назад, в дым, табак, плавающие окурки... Если это вокзал или дальний ресторан, какая-нибудь киевская «Лыбедь» или московская «Советская», долго еще бредешь по бульварам, шелестя листьями, футболя пустые бутылки и превращая урны в пылающие жертвенники... В этих прогулках своя прелесть, свои откровения.

Да, вдвоем, вдвоем! Третий или засыпает, или изрыгает на пол непереваренные колбасу и бычки и надо за ним убирать, или — самое худшее — вступает в беседу со своими «постойте, постойте, дайте ж и мне сказать... Был у меня однажды такой случай...» Нет! Не надо третьего! Вдвоем!

А утреннее просыпание. Нет, не на третий или пятый день, когда уже все было — и люди, и музыка, и рестораны, и ненужные девицы — а именно после той ночи, вдвоем, после двух поллитровок и пива, когда ничего внутри не трясется и ты точно знаешь, что Борька или Игорь Александрович вчера получили деньги и что, если к ним придешь... И вот тут-то третий уже не мешает. Он даже нравится тебе. Нравится тем, что неожиданно обрадовался вам, и понимает все, что предшествовало вашему визиту, и действительно, получил вчера деньги и извиняется только, что не успел еще сполоснуть морду, поэтому, ребята, придется вам самим... И мы с радостью и весельем, сжимая в кулаки пятерки, мчимся по лестнице вниз, в «Гастроном», и все приказчицы нам кажутся милыми и хорошенькими, и мы, разбегаясь по

отделам, остря и пролезая вне очереди, наполняем «авоську» бутылками, банками и папиросами... Впереди огни!

А было время, забавное, далекое время, когда водку продавали с семи часов (теперь с одиннадцати, а до одиннадцати только через знакомую продавщицу) и существовало бесчисленное количество вариантов утреннего ее распития. С одним из них в те незабываемые, радужные времена ознакомил меня Александр Трифонович Твардовский, тот самый, что боролся...

«За мной!» — сказал он в одно прекрасное утро, раскрыв свои бело-голубые глаза и сразу же вскочив на ноги.— «За мной!» Проехав пол-Москвы на всех видах транспорта (кроме метро — его он не переносил, боялся, что-то его давило), мы оказались где-то возле Киевского вокзала у магазина, вокруг которого, поглядывая на часы — было без пяти семь — разгуливало десятка полтора таких же, как мы, жаждущих. Ровно в семь магазин открылся. Тихо, с шуточками, не толкаясь, каждый взял свои и — «За мной» — мы оказались в очень симпатичном, поленовском московском дворике за длинными, вкопанными в землю столами и, точно с неба, с облаков, спустилась к нам симпатичнейшая бабушка и раздала всем по куску хлеба с солью и по помидору. О, милая бабушка, как ласкова и прекрасна ты была, как кстати ты появилась, раздала свой паек и так же быстренько скрылась, собрав все бутылки... И как мило мы все посидели, перекидываясь двумя-тремя словами, а через полчаса явился вежливый участовый, и мы, не вступая ни в какие пререкания (да они и не предвиделись), так же вежливо, как он пришел, ушли... Ну, не сказка ли, не райские ли времена, кисельные берега, молочные реки? Почти коммунизм...

Да, да, все знаем! Губит организм, разрушает психику, разрушает семью и, вообще, страна спилась — все это нам известно,— но, как говорится, что поделаешь, так уж на Руси заведено, и так как выхода нет, давайте сойдемся на знаменитом учении Станиславского: «ищи в дурном хорошее, в хорошем дурное» — лучше, применимо к невоздержанию, не скажешь.

Бог его знает, как это получилось, но получилось. Заговорив о Париже, скатился вдруг к водке. «L'âme slave», другого объяснения нет. Но ничего, настанет время (я еще слишком молодой француз) и я сложу оду лучшему в мире вину. Мадригал стаканчику бургундского

завершит где-нибудь мои воспомининая о родном Киеве. Так искуплю я свою вину перед Парижем.

Но вернемся к немv.

Париж...

* * *

«Ну, как вам Париж?» Бессмысленнейший из всех вопросов, уступающий, может быть, только: «Ну, как жизнь?»

И все же, как мне Париж?

Одна советская деятельница на поприще литературы, вернувшись из Парижа, на следующий день говорила: «Вы знаете, всю ночь не спала, ревела. Так разочаровал меня Париж». Думаю, что эта стерва (не хочется называть фамилии), говорила это не по дурости (нет, все-таки, таких дураков), а просто, чтоб не потерять возможность поехать туда еще раз.

Что касается меня, то у меня с Парижем свои собственные отношения. Для меня он город, может быть, даже более родной, чем Киев. В нем я впервые стал произносить слова. Французские притом. В нем я лепил свои первые бабки из песка. В нем впервые полюбил солдат (они, тогда еще в красных кепи и шароварах, занимались шагистикой совсем рядом с «нашим» парком Монсури и, конечно же, забавлялись нами во время своих перекуров). В нем я впервые столкнулся с войной — как-то ночью мне показали летающий над городом, озаренный прожекторами, цеппелин.

На углу коротышки rue Roli, где мы жили, был малюсенький магазинчик. Там продавали леденцы. Мне давали су (тогда они еще были), и я покупал леденцы. И незаметно прилавок становился все ниже и ниже...

В парке Монсури, в самом центре его, озеро. В нем плавали утки. Я бесконечно радовался им и называл их «les ga-ga». Когда меня повели в зоологический сад, я не обратил внимания ни на слона, ни на жирафу, я искал «les ga-ga». Нашел и был счастлив.

Больше всего я любил бананы. Ел их как-то по-особенному, не обрывая сразу шкурки, а постепенно их отворачивая. Когда мы вернулись в Россию, первые мои слова были: «quel sale pays, il n'y a pas de bananes» — Какая противная страна, в ней нет бананов!

По-видимому, на всю жизнь у меня сохранился некий «фруктовый» критерий при оценке той или другой

страны. Газета «Figaro», например, утверждает, что я заявил их корреспонденту: «Свобода? Нет, не это поразило меня в Париже. Обилие фруктов!» Между прочим, этот же корреспондент поведал читателям, что я в свое время был «protegé de Staline», членом ЦК КПСС и миллионером в рублях... Но обилие фруктов, действительно, поразило. После московских очередей за апельсинами — как не поразишься.

Итак, наши с Парижем отношения. Зародившиеся еще тогда, до первой мировой войны, я пытаюсь их восстановить сейчас, через пятьдесят лет, полстолетия. И каких полстолетия!

Тогда — пятилетний, круглолицый аккуратный мальчик с локонами, в офицерском костюмчике (сохранилась фотография — на скамейке, в парке Монсури) жующий бананы (бананы жуй!), любитель уток... Теперь — седовласый, длиннолицый, жующий, ранее сосущий «Gauloise», любитель поваляться на диване, полистать «Ici-Paris»... Как восстановить былые отношения? Бананы есть, но нет «пуалю» [1] в красных кепи, нет зуавов (один из них лежал в мамином Hôpital Stanislas и мы с ним очень дружили), нет мамы, водившей меня в зоопарк посмотреть на слона, но Париж есть. И я в нем. Не турист, не гость, не член делегации. Парижанин. В кармане Carte de séjour [2] и даже чековая книжка в «Banque des Paris et Pays-Bas» [3]...

Я — парижанин. Странный парижанин — с чужим паспортом — серпастым, молоткастым, с чужим языком, с чужими привычками (вскочил в заднюю дверь автобуса и сразу на меня зашипели), с чужими взглядами на жизнь — это преодолеть будет, пожалуй что, труднее всего. И все же я — парижанин. Не надо мчаться в Лувр, на Эйфелеву башню, на place Pigalle. Стадию «витринного обалдения» и массовой закупки открыток давно уже пережил. Могу уже ругать порядки. Не как корреспондент «Литгазеты», а как парижанин. Правда, с московско-киевским оттенком. Фруктов много, а телефонных автоматов мало. В Киеве, в центре, они рядами, через каждые двадцать шагов, а тут от Сен-Мишеля до Одеона — ни одного. Зато на вокзале от них можно спятить (от железнодорожных). Для того, чтоб мне с женой из

---

[1] солдат (*фр.*).
[2] вид на жительство (*фр.*).
[3] Парижско-нидерландский банк (*фр.*).

Фонтенбло, допустим, на денек съездить в Париж (значит, туда и обратно) я должен в эту чертову щель опустить... сорок четыре однофранковых монеты. А если у тебя еще и полтинники (другой автомат, меняющий тебе десятифранковую бумажку, выбрасывает восемь франков и четыре полтинника), то, значит, эту операцию надо проделать 54 раза... Тем временем поезд уходит.

Метро? Вот тут-то я не москвич. Меня ничуть не раздражает ковер невыметаемых желтых метровских билетов на полу и отсутствие «красоты», а к бесконечным переходам быстро привыкаешь (только не на Этуаль. Там кажется, что ты уже никогда на свет Божий не выйдешь, а парижане утверждают, что и сумочки там из рук вырывают). Но зато нет того уголка в Париже, куда нельзя добраться на метро... А старые вагончики с переплетающимися монограммами и допотопными поршнями, открывающими и закрывающими дверь... А входы в метро девятисотых годов — извивы растений на решетках и надписи как в старом «Illustration», сохранившемся у нас еще с «того» Парижа и сожженном немцами... А фонари... Не везде, но на Concorde, Champs Elysees, Vendôme... В прошлые свои приезды я застал еще ажанов в пелеринках и тупорылые автобусы с открытой задней площадкой. Теперь их нет — ни тех, ни других. И я грущу.

Но об этом ли грустить?..

...Как сладостно ощущать атмосферу, насыщенную историей; погрузиться в туман, обволакивающий островерхие крыши высоких домов, с их фронтонами и башнями, любоваться «patine», покрывающей порталы, вывески, фонтаны; увидеть прекрасные особняки, высокие, заросшие плющом ограды, позеленевшие статуи, затейливый боскет, таинственные изображения на гербе, священную Мадонну в нише!

С трепетом я приближаюсь к старинным кварталам. Вот Rue St. Merri, Musée Carnavalet, Place des Vosges.

Теперь нельзя уже отыскать многих построек.

Десять лет, прошедших с тех пор, как я бродил, изучая парижскую старину, изгладили многое в моей памяти — или я забыл расположение улиц, местонахождение отдельных зданий?

Справляюсь в книжке Marquise de Rochegude, сверяюсь со своими записями, ищу, полный закрадывающихся подозрений — ищу, убежденный в своей забывчивости, и — и с ужасом вижу, что не только отдельные порталы, кариатиды, башни, не только прекрасные дворцы и

пышные особняки, но целые нагромождения домов, огромные куски кварталов, с их вросшими друг в друга крышами, пугающими трубами, ажурными решетками, увитыми плющом балконами — исчезли, и навсегда! Исчезли многие своеобразные и милые украшения домов, не досчитаться большого количества вывесок, резных дверей, их обрамлений...

Это не мои строчки. Эту грусть по ушедшему Парижу излил в своей книжке «Старый Париж» еще в 1917 г. Георгий Лукомский, прекрасный, тонкий художник плеяды «Мира Искусства», излил более полустолетия назад. Книга издана в революционном Петрограде в количестве 800 экземпляров и один из них, неизвестно как, оказался у меня и, минуя все таможенные преграды, попал в Париж, новый, новейший, самоновейший Париж.

Другой, из той же плеяды, Александр Бенуа, писал: «Казалось бы, после всех войн, осад, баррикад, революций от самого Парижа не должно было остаться камня на камне; однако, не говоря уже об отдельных великолепных зданиях, хранить которые и гордиться которыми умеют (не то, что мы) французы в Париже, некоторые кварталы стоят столетия без изменения, а для квартала Saint Severin все еще продолжается XV век, и его красивые окна робко поглядывают на темную мостовую, точно все еще ожидая, что на них появится палач короля или ковыляющая стая страшных бродяг...»

Книжка Лукомского иллюстрирована им самим. Маленькие вклеенные рисунки. Старые дома, особняки, крыши, трубы, уголки дворов. Уютно и трогательно.

Place des Vosges... В прошлом Place Royale, непередаваемый уголок начала XVII века, чудом сохранивший весь свой ансамбль, место дуэлей и тайных свиданий, плащей и полумасок, где под аркадами встречались герои комедий Корнеля, а в крутоверхих особняках в данное время жили и Ришелье, и тот же Корнель, и Марион Делорм, Мадам де Севинье, Мольер, Виктор Гюго и знаменитая Рашель. Лукомский влюблен в эту маленькую, замкнутую со всех сторон очаровательную площадь с идиотским названием [1], знает, кто где, в каком особняке, отеле жил, кто

---

[1] Place Royale в 1792 г. переименовали в Place des Federés, в 1793 г. в Place d'Indivisivisibilité (площадь Неделимости), а в 1800 г. указ консулов объявил, что департамент, дающий наибольшую контрибуцию, запечатлит свое название в одной из площадей Парижа. Так появилась прощадь Вогезов.

с кем сражался на дуэли, подымал свой бокал «Vive le Roi!» или «Vive le Cardinal!» [1], в каком из полутемных, с пылающим камином погребков. И сидя сейчас среди неистово кричащих и толкающих друг друга в фонтан мальчишек, я мысленно рисую себе не только мушкетеров и мольеровских жеманниц, но и сидящего где-то неподалеку, на скамейке, старого русского художника, влюбленного в Париж и неизвестно мне, где умершего...

Я чуть-чуть уже знаю Париж, с десяток площадей, с полсотни улиц, но я не тороплюсь, у меня есть время, я не турист, не член делегации (о! какое это счастье!) я — парижанин.

И вот для меня, полугодовалого парижанина, Париж это не только Place Royale или St. Germain des Près (метро, из которого я обычно вылезаю на свет Божий), не Лувр, который я более или менее внимательно прошагал, изнывая от усталости, двенадцать лет тому назад, не Пантеон, в котором еще не был, и не Монмартр (там я просто-напросто заснул, присев на скамейку в Sacré-Coeur — ноги уже не несли), для меня Париж сейчас, именно сейчас, некое, весьма сложное, переплетение различных воспоминаний и ассоциаций, клубок из прошлого и настоящего, некое священное место, где неожиданно вдруг встретилось то, что, казалось, никогда и ни при каких обстоятельствах не могло бы встретиться. А вот встретилось. И не только встретилось, а дало уже какие-то крохотные, но уже зелененькие, трогательные ростки. Такие же, еще нежные и робкие, как в саду дома, где я сейчас живу — сейчас январь, по-русски Крещение, а трава зеленая и среди нее маленькие ромашечки, а на калитке всю зиму (зима!) цветут желтенькие цветочки, которые здесь называются jasmin d'hiver — зимний жасмин. И вот этот загадочный для меня жасмин пустил, кроме золотых своих звездочек, зеленые, микроскопические листочки — апрельские листочки...

Переплетение, пересечение, совсем недавно еще немыслимое.

Нотр-Дам... Своды уходят к небесам, и где-то там, на недосягаемой высоте, кирпично переплетаются... Фиолетовые с чуть-чуть розовым витражи... Застывшие каменные скульптуры... Подсвеченные гладиолусы у подножья Мадонны. Тишина. Три-четыре склоненные фигуры — молятся. И мы — два бывших киевлянина — на скамей-

---

[1] «Да здравствует король!»... «Да здравствует кардинал!» (*фр.*).

ке с пюпитром. Он приехал из Иерусалима. Я — из Киева. А он до этого тоже из Киева... Из того самого, где мы, выходя с ним из моего парадного, оглядывались по сторонам — кто сегодня будет за нами ходить. Садясь в машину, знали — вот та «Волга» с антенной и четырьмя пассажирами будет следовать за нами по пятам. У меня дома, на кухне, за чаем, когда надо было сказать о чем-то очень важном, писали друг другу записки, а потом сжигали их. Пробиваясь сквозь глушку, крутили вместе приемники. По вечерам, ночью провожали друг друга — «ну, вот, до того еще угла...» — и все говорили, говорили, говорили...

В Париже, только здесь, в Нотр-Дам, мы нашли место, чтобы поговорить тихо, вполголоса — на улице, на набережных глаза разбегались — я показывал ему Париж.

...Ресторан «Куполь» на бульваре Монпарнас. Нас не двое, а трое. Я и мой московский друг, известный поэт и песенник. Его песни поют по всему Советскому Союзу. Третий — журналист, берущий у нас интервью. Но он тихий, застенчивый, задает вопрос и надолго умолкает. И вдруг выяснилось, что мы с Сашей впервые вдвоем, хотя знакомы уже сорок лет... Впервые без общества, без жен, не боясь, что нас перебьют (журналист не в счет), и никто не попросит его спеть, вот так вот сидим, он вытаскивает улитки, я ковыряюсь в салате, и говорим о том, о чем не удалось поговорить за все эти сорок лет.

В последний раз, в Москве, я прибежал к нему из отделения милиции, где меня продержали около двух часов — машина моего друга, в которой я ехал, мол, похожа на машину, переехавшую какую-то девочку. Пока я сидел, он уже трезвонил по всей Москве и иностранные корреспонденты начали стекаться к 88-му отделению милиции... По случаю моего «освобождения» («произошло недоразумение, мы приносим свои извинения») кое-что было выпито, и разговор шел о том, как все это осточертело и даже больше, чем осточертело... А сейчас, в «Куполь», мы говорим о том, что вот мы сейчас в «Куполь», а те, кто был у него в тот вечер, все еще там, и им ох, как все это осточертело, дальше уж некуда... А мы здесь... А завтра он уедет к себе в Норвегию, он живет сейчас в Норвегии, окна выходят прямо на фиорды... А Володьку исключили из Союза писателей. А другого, вероятно, скоро исключат. А обоим надо кормить детей... Одному из них

я вчера звонил — длинные гудки, никто не отвечает. «Они» подключают другой зуммер — «видите, никого нет дома».

Журналист задает вопрос, что-то о перспективах, планах на будущее. Есть, есть планы — такие-то и такие — но сейчас не хочется об этом говорить — ведь мы впервые за сорок лет сидим вдвоем.

...Гран-Палэ... Недалеко от Елисейских полей и моста Александра III. Вычурное здание то ли конца прошлого, то ли начала этого века. Помню его еще по открыткам всемирной выставки 1900 года. Крылатые гении, виктории, кони. Головокружительно, сногсшибательно прекрасно. И вот, в одной из аудиторий этого на весь мир известного — по альбомам, увражам, проспектам, открыткам, путеводителям — здания, невысокий, бородатый, немного застенчивый человек негромким голосом рассказывает о русской иконе. На небольшом экране застывшие лики святых, Богоматерь, младенец Христос, и человек рассказывает сидящим здесь молодым французам то, что, может быть, им интересно, но в тысячу раз интереснее мне... А человек этот, передвигающий сейчас диапозитивы, знает об этих иконах больше, чем кто-либо другой, а до этого, у себя дома, просидел в лагере шесть лет... Шесть лет... А сейчас monsieur le professeur, Сорбонна, Гран-Палэ...

Вот такой он у меня сейчас, Париж. Странный...

* * *

«Ну, а как вам французы?»

Второй стереотипный вопрос.

Французы?

Тринадцать лет тому назад один довольно бойкий журналист, не правый и не левый, а так себе, серединка на половинку, уверял меня:

— Парижанин любит обсуждать и осуждать, но не любит вникать. Газеты он читает ежедневно, но относится к ним скептически. Каждый гнет по-своему, говорит он, и каждый в чем-то убедителен, но я не хочу, чтоб меня убеждали. Вас интересует, как относится француз — государственный служащий или мелкий буржуа — к действительности? А по-разному. В основном, в зависимости от цен на продукты, от того, вздорожал или не вздорожал сегодня уголь или бифштекс. Об этом говорят в кафе за

столиками, иногда даже очень темпераментно, а думают о другом — скорее бы воскресенье, скорее бы сесть в свое «де шво» и мотнуть куда-нибудь, этак километров за сто от Парижа, поваляться на травке, поудить рыбу, стрельнуть в фазана...

А другой француз сказал:

— Франция сейчас слишком увлечена настоящим, забыла о прошлом и не думает о будущем.

— Что значит увлечена настоящим? — спросил я.

— А то, что сытость успокаивает. А мы, в общем, сыты. Вы скажете мне, что не все одинаково. Согласен. Если б все было благополучно, рабочие не бастовали бы, не требовали повышения зарплаты. И все же, дорогой мой, Франция не думает о завтрашнем дне, не хочет — боится...

Все это слышано мною давно, в декабре 1962 года и описано в очерке «Месяц во Франции», до французов, по неизвестной мне причине, не дошедшем. Там я писал и о своей первой, после детства, встрече с Парижем, и с Корбюзье, и о веселой выпивке со студентами в какой-то мансарде на берегу Сены, и закончил свой очерк словами о французском народе, веселом, задорном, чуть-чуть сентиментальном, иногда грустном, но всегда живом.

Увы, веселья и задорности я что-то не очень замечаю сейчас у французов. Стали они сумрачнее и озабоченнее. Надвигающаяся инфляция наложила свою печать на всех. Но впечатление это — тут же оговариваюсь — слишком внешнее, уличное, по-настоящему-то я французов не знаю.

Случилось так, что, попав во Францию, я сразу окунулся в русскую среду. Трехэтажный дом в парижском предместье Фонтенэ-о-Роз, гостеприимно распахнувший перед нами двери, перенес нас сразу в атмосферу московской квартиры с ее нескончаемыми спорами, безалаберщиной, суетой, надрывающимся телефоном, едой, что попало и когда попало, кучей книг и старинными иконами.

Книги... Пожалуй, это главное, что сразило нас во Франции. Все то, что у себя на родине читалось тайно, наспех, за одну ночь, передаваемое из рук в руки на смятых машинописных листочках, лежало здесь на полках магазинов в необозримом количестве. Мы, приехавшие из голодного края, набросились на все эти «Архипелаги ГУЛАГи» и до сих пор глотаем, не успеваем переварить все это богатство. А тут еще и газеты с потоком подроб-

нейшей информации. Хорошо еще, что я плохо знаю французский язык,— газеты и журналы не оставляли бы ни на что другое времени.

Может показаться странным, и даже смешным, но незнание языка в какой-то степени спасает от чрезмерного избытка впечатлений. Переселившись из одного мира в другой — с Крещатика, скажем, в созвездие Кассиопеи или со дна морского на его поверхность без предохранительных средств, можешь оказаться разорванным на куски. Первый месяц в Париже я все время чувствовал себя выброшенной на берег рыбой — жабры мои не могли пропустить сквозь себя сразу столько кислорода. Ощущение такое же, как когда я первый раз выбрался из стен госпиталя — голова пошла кругом от голубого неба и пьянящего воздуха.

Сейчас мои жабры в нормальном состоянии. Пульс — 76. Париж далеко. Вокруг лес. Нерусский, цивилизованный, с циклопическими валунами, по которым карабкаются «уикэндовские» парижане. Знаменитый лес Фонтенбло И маленькие городишки. И в каждом своя церквушка XI или XII века, и памятник «A nos morts» [1] и свой château [2], а уютные виллы с обязательными табличками «La tourelle» [3] или «Petit nid» [4] и, конечно же, «antiquîtés» — без этого никакая дыра во Франции не может — старые подсвечники, абажуры, дуэльные пистолеты.

По склонности своей бродить, шатаюсь по ухоженным лесным аллеям с указателями и скамеечками на перекрестках, забредаю в эти самые соседние городишки и, наслаждаясь одиночеством, пытаюсь разобраться в навалившемся на меня.

А навалилось — за год не разберешься. А разобраться хочется. И о чем спорят с пеной у рта маоисты с троцкистами (мало им нашего примера!) или, если не спорят, то говорят между собой кавалергарды на панихиде по Николаю II? И почему не прогорает маленький магазинчик у остановки автобуса № 194 в Фонтенэ-о-Роз — он торгует пепельницами и подставками для ламп мексиканского, пакистанского и иранского оникса (я за два месяца не видел ни одного покупателя). И кто и когда покупает развешенные в громадном количестве цепи в

---

[1] нашим усопшим (*фр.*).
[2] замок (*фр.*).
[3] башенки (*фр.*).
[4] маленькое гнездышко (*фр.*)

«Sex-shop» на Пигаль и как ими пользоваться? И что лучше, левее, прогрессивнее — «L'Express» или «L'Observateur»? И почему Жискар д'Эстен не стесняется сниматься в трусиках, да еще в компании с Фордом и Киссинджером, и почему не позволяет этого себе с Брежневым или Косыгиным (а в Пицунде бассейны не хуже Мартиникских!). Наконец, как не уронить здесь, на Западе, достоинства русского интеллигента, если за самолет Киев — Цюрих тебе пришлось платить собственными деньгами, а не лететь бесплатно. И еще десять тысяч таких или еще более сложных вопросов.

Вот так и брожу по дорожкам, а мимо, не торопясь, проезжает кавалькада красивых всадников (делать им, что ли, нечего, разъездились...), и из леса выхожу на поляну, на вьющуюся мимо кладбища дорогу, попадаю в соседний городок, захожу в «Tabac» — «Gauloise, s. v. p.». Вот и все мое общение с французами. «Bonjour Mme, bonjour Mr!» в местной булочной, приветливые улыбки на почте, до местного кюре и аптекаря еще не добрался.

Единственное, что удалось мне все же уловить — это, в общем-то, замкнутость французов. Бистро бистром, а так, больше по домам.

В малюсеньком городишке Grez-sur-Loing, куда я как-то забрел (старинная колокольня и Vieille tour du XII siècle — везде указатели), я в три часа дня не обнаружил ни одного (не преувеличиваю!) человека. Город был мертв, даже немного страшно стало. В моем Marlotte приблизительно то же самое, только машин побольше.

Обнаружил я, вернее, учуял повышенный интерес к деньгам у французов. Растущие цены и дороговизна жизни не последние темы в разговорах. «Oh! C'est trop cher!» [1] куда чаще встречается, чем русское: «Нравится — покупай». Французская мама не поступит, как моя, когда я, четырехлетний карапуз, проходя мимо магазина игрушек, требовал сначала un bateau (тогда я еще говорил по-французски), потом avec un marin... deux... trois... quatre и, наконец, заливаясь слезами, «plein de marins» [2]. Нарушая все педагогические каноны, мать заваливала детскую моряками и корабликами. Для меня на всю жизнь этот «bateau plein de marins» — синоним не только моей жадности, но, может быть и неразумной, но такой родной, русской щедрости.

---

[1] О! Это слишком дорого (*фр.*).

[2] Кораблик... с моряком... два... три... четыре... полный моряков. (*фр.*).

Что и говорить — швыряние деньгами не французская черта. Расчетливость и умение разбираться в разного рода финансовых комбинациях куда ближе этой нации д'Артаньянов (а не был ли он, часом, армянином с «ц» на конце?). И не без некоторого налета грусти скажу, что черта эта стала, увы, не чужда и тем русским, которые давно живут во Франции. Вот маленький забавный рассказик.

Разговор за чайным столом милой русской семьи, живущей в Париже с двадцатых годов. Рассказываю о своем друге, полуфранцузе, полуукраинце, запутавшемся в каких-то банковских операциях.

— Забавно,— говорю я,— вот он сидит передо мной, уткнувшись в «Le Monde», и что-то пытается сообразить по поводу своих акций далеких южноафриканских золотых копей и никак не может решиться, продавать ему или не продавать золотые слитки. А давно ли это было — наша киевская кухня — любимое место вечерних разговоров — и до глубокой ночи, до часу, до двух все об одном и том же — о лагерях, психушках, обысках, вперемежку с ОВИРами, таможнями, очередными историями о том, что того выпустили, а того нет... А сейчас вот сижу и слушаю про акции, копи, слитки... Смешно...

Моя хозяйка вдруг встрепенулась.

— Кстати, Саша, ты «Le Monde» смотрел сегодня? Говорят, золото опять упало...

Вот так-то...

Нет, я несправедлив. И жаловаться мне грех. До сих пор ничего, кроме внимания, радушия и желания помочь, кто как может, я здесь, во Франции, а до этого и в Швейцарии, не встречал. Только благодаря этому я спокойно могу закончить начатое в Киеве — добрые парижане создали мне такие условия для работы, о которых я и мечтать не мог — тишину, уют, покой — остается только не подкачать, ведь здесь, в Marlotte, жили и творили «не аби хто» — Мюрже, Альфред де Мюссе, Золя, Оскар Уайльд, из художников — Сезанн, Ренуар, Сислей, даже великий Коро. Рядом с нашим домом жил Сарасатэ, а чуть подальше — Жак Тибо...

И все же француз для меня еще загадка. С русским, говорят, надо пуд соли съесть, прежде чем разобраться в нем. А с французом? Иногда мне кажется, что он мудр, скептичен, порою циничен, иногда, что наивен до предела. «Нет! Нет! Если у нас и победят коммунисты, все будет

совсем не так, как у вас. Вот, увидите,— и тут же, понизив голос,— но они никогда не победят...»

Я вспоминаю рассказ Эренбурга о его беседе с Хосе Диасом, председателем или секретарем испанской компартии.

Эренбург его спросил:

— Когда вы победите, вам, наверное, придется запретить бой быков. Это ж негуманно, кровавое зрелище, разжигает нездоровые инстинкты.

Хосе Диас грустно улыбнулся.

— Да, придется, очевидно, запретить. Но на последнюю корриду я все же пойду. И всю ночь потом буду плакать.

* * *

Прогулка была парная — я и мать.

Больше всего в жизни она любила гулять. В ту зиму было холодно, поэтому мы сначала долго одевались. Процедура была сложная — одна кофта, на нее другая, затем теплый шарф, вызывавший всегда сопротивление — «шерстит», затем демисезонное пальто — мы приехали осенью, и в Москве нас застигла зима,— на ноги валенки, на руки теплые, заячьи рукавицы. На носу пенсне — самое сложное, так как оно сразу же на морозе запотевало.

В последние годы мама в пенсне уже не нуждалась — так называемая компенсация зрения,— но она к нему привыкла и не хотела расставаться даже во время воздушных тревог, когда ей, врачу вокзального медпункта, надо было надевать противогазовую маску. Вместо пенсне приходилось пользоваться лорнетом — сочетание для тех лет довольное забавное.

Итак, мы одеты. Выходим. Куда же направить свои стопы? Все зависит от ветра. Сегодня он дует в эту сторону, поэтому мы идем в ту — к мосту.

Когда-то это был Большой Новинский переулок — узенькая улица, идущая от Новинского бульвара к Москве-реке. Сейчас это широкий проспект Калинина. Последнее здание переулка разрушалось на моих глазах — двухэтажный домик, в котором находилось какое-то проектное бюро. Домик гиб на глазах, под ударами тяжелого чугунного шара, обливаясь кровью. Кровь — это красный кирпич, из которого он построен. Домик стонал, обливаясь кровью, и, мучительно сопротивляясь, умирал. Сейчас на его месте скверик, а чуть правее — подземный переход. В скверике растут деревца и почему-то нет цветов.

Теперь снесли еще несколько домов в сторону реки. Когда мы гуляли, они были еще целы. Говорят, должны были построить новое высотное здание для сотрудников СЭВ, но грунт оказался не подходящим.

Крепко поддерживая друг друга, чтоб не скользить, мы минуем эти домики и подходим к забору с афишами. Здесь мы задерживаемся. Знакомимся с репертуаром театров.

— Пойдем в Художественный, я давно там не была.

— Не на что, мамочка, идти.

— Как не на что? Вот «Дни Турбиных», ты разве их не любишь?

— Люблю, потому и не хожу.

— Ты консерватор и старик! Ты не любишь молодежь.

— Нет, я люблю молодежь, но Яншин уже не молод.

Мать вздыхает.

— Странное дело, ты всегда любил театр, а теперь калачом не заманишь.

— Я — дитя века, к тому же ленив, и предпочитаю диван и, в крайнем случае, телевизор.

— Терпеть не могу твой телевизор. Не вздумай только его покупать. Хочу ходить в театр.

Я оттягиваю маму от афиши — рядом афиша «Современника», а там много знакомых.

Мы идем дальше. Направо строится небоскреб СЭВ.

— Не понимаю, зачем столько этажей,— говорит мать.— Ты можешь сосчитать сколько?

Пытаюсь сосчитать, но сбиваюсь.

— По-моему, двадцать пять,— говорю.

— Если нам там дадут квартиру, возьмем двадцать пятый, хорошо?

— Квартиры нам там не дадут,— успокаиваю я.— И вообще, я предпочитаю особняки.

Мать со мной соглашается, и мы останавливаемся на особняке, в котором жил когда-то Шаляпин, за американским посольством. Этот особняк нам обоим нравится.

— Я помню этот особняк, когда еще была маленькой. Перед ним был палисадничек. Жили мы тогда на Садово-Кудринской, у Капканщиковых.

Тот особняк я тоже знаю — налево от него когда-то жил Чехов, направо — Берия.

Полюбовавшись домом СЭВ и так и не сосчитав, сколько в нем этажей, мы возращаемся назад. По ту сторону Садовой — Новый Арбат. Он нам противопоказан. На том месте, где сейчас ресторан, был дом, где жила

наша приятельница. Его теперь нет, и мы не желаем туда ходить. Вообще, нам обидно за весь тот район. Мы с мамой любили старую Москву и оплакиваем Собачью площадку. Там был когда-то любимый нами «Дом сороковых годов», а сейчас на его месте какое-то министерство, задавившее собой все окрест, и поленовский «Московский дворик» в том числе. Наличие рядом пивного бара «Жигули» не спасает положения.

Итак, мы не переходим Садовую и идем либо налево, к площади Восстания, либо направо — к Смоленскому рынку.

Смоленский рынок... От рынка, каким я его помню, с рундуками и «бывшими» дамами, торгующими бюстгальтерами на меху, сохранилось только название и два дома — Арбат 54, с «Гастрономом» внизу, известным на всю Москву, так как он, подобно Елисееву, торгует до 11 вечера, и другой, напротив него, с обувным магазином на углу.

Композиционный центр «рынка» и всего этого района — Дом Министерства иностранных дел. Он строился на моих глазах (я жил тогда на Сивцевом Вражке) в конце сороковых годов. Пока он еще был металлическим каркасом, в нем было что-то привлекательное. Потом он оброс камнем, обогатился (распространенный в те годы архитектурный термин) башенками и обелисками, и мои симпатии к нему поуменьшились. Теперь я к нему привык.

Вряд ли кто сейчас помнит, что на архитектурном проекте здания не было остроконечного, в виде шпиля, завершения. Таким, без шпиля, изображен он был и на серии почтовых марок, посвященных московским высотным зданиям. Потом, проезжая как-то мимо, Сталин сказал, что здание выглядит обрубленным, и срочно был достроен шпиль, а к нему соответствующее архитектурное дополнение в виде подставки. Что внутри этой подставки — неведомо. В свое время москвичи, пытавшиеся логически обосновать надстройку, утверждали, что туда вмонтирована, мол, радарная установка. И все становилось на свое место, само высотное здание в том числе.

Много говорили в те дни об уместности этих зданий. Сторонники их утверждали, что городу нужны вертикали, архитектурные акценты, что ими были когда-то московские «сорок сороков», сейчас же нужно что-то другое. Противники их, соглашаясь с акцентом, считали, что акценты эти могли быть и пониже. Так или иначе, здания были построены и, что там ни говори, создали

нынешний силуэт Москвы. А я добавлю — стали памятниками архитектуры первой половины XX века и имеют законное право на доски «охраняется государством».

Сегодня высотные здания приобрели другой облик. Здание СЭВ, в котором я никак не мог сосчитать этажи, не похоже на соседствующий с ним высотный дом на площади Восстания (кстати, и тот и другой построены архитектором Посохиным — любопытная трансформация), и на нем в свое время появится доска с надписью «Памятник архитектуры второй половины XX века». А вот для одного из памятников первой половины XX века, двадцатых еще годов, «свое время» давно настало, а доски на нем нет. И глядя на него, не скажешь, что он охраняется государством. Речь идет о так называемом «Доме наркомфина», или «доме на Новинском», выдающегося советского архитектора М. Я. Гинзбурга. Скажем прямо, это облупившееся, всеми забытое (и домоуправлением и Моссоветом, кстати), здание — один из наиболее ярких примеров архитектуры тех лет, искавшей свои, новые, присущие тому времени формы.

Дом этот не только запущен, его просто трудно обнаружить. За сорок с лишним лет, прошедших со дня его постройки (а он расположен в глубине участка), деревья перед ним так разрослись, что дома просто не видно. Так, белеет что-то за стволами, а что — Бог его знает. Многие жители этого района даже и не подозревают, что рядом с ними «памятник», в котором впервые были применены архитектурные принципы Корбюзье — плоская крыша, ленточные окна, отсутствие первого этажа, замененного столбами.

Таких домов, подобных дому Гинзбурга (точнее, М. Гинзбурга и Э. Мелиниса), в Москве еще много [1].

---

[1] Дом Госторга на ул. Кирова (арх. Б. Великовский, 1926); Госбанк на Неглинной (И. Жолтовский, 1926—1928; очень любопытное исключение в архитектуре тех лет); Клуб Коммунальников на Лесной ул. (арх. И. Голосов, 1927); Клуб завода «Каучук» и клуб на Стромынке (арх. К. Мельников, 1927); Планетарий (арх. М. Барщ и М. Синявский, 1928); Комбинат «Правды» (арх. П. Голосов, 1929); новый корпус Моссовета (арх. И. Фомин, 1929, тоже исключение из общих правил); Центральный телеграф (арх. И. Рерберг... до какой-то степени тоже исключение); здание «Известий» (арх. Г. Бархин, 1932); Дом Центросоюза, ныне Статуправления (арх. Ле Корбюзье, 1928—1932); дом на углу Орликова пер. (А. Щусев, 1932); Дворец культуры Пролетарского р-на, ныне завод им. Лихачева (бр. Веснины, 1932).

Имена в скобках (см. сноску) — это имена тех, кто стоял у истоков советской архитектуры. И нету там имени только одного человека, «творчество которого не только вошло в золотой фонд советской архитектуры, в ее историю, но и сейчас участвует как боевое оружие в сражении против серости архитектурной мысли, являясь критерием качества архитектуры, неисчерпаемым источником для творчества. Имя его должно быть поставлено в ряду основоположников современной архитектуры...»

Приведенные выше строки взяты из статьи кандидата архитектуры П. Александрова, напечатанной в журнале «Архитектура СССР», № 1 за 1968 год, под названием «Архитектор-новатор».

С фотографии на нас смотрит немолодой, лысоватый человек с сигаретой в мундштуке в зубах, с прищуренным одним глазом, в темной расстегнутой рубахе, тренировочных штанах, в накинутом на одно плечо пиджаке. Пристально смотрит на вас, приподняв одну бровь.

В 1927 году человек этот блестяще закончил архитектурный факультет ВХУТЕМАСа, где учился у братьев Весниных, награжден был заграничной командировкой и оставлен в аспирантуре. Дипломный проект его на первой выставке советской архитектуры в 1927 г. занял центральное место и широко был опубликован во всей зарубежной прессе. Думаю, ни Нимейер, построивший город Бразилиа, ни авторы трилона и сферы на нью-йоркской выставке в 1939 году не будут отрицать влияния этого человека на их творчество. Конкурсный проект Дома Центросоюза того же архитектора получил очень высокую оценку участвовавшего в этом конкурсе Ле Корбюзье и, возможно, в какой-то степени повлиял на окончательный вариант самого Ле Корбюзье (он отказался от ленточных окон).

В те годы я был студентом. Имя этого архитектора, как и Гинзбурга, Весниных, Мельникова, не сходило с наших уст. Проекты его были во всех журналах. Мы пытались ему подражать, как только могли, копировали его графику — громадные черные листы с тонкими белыми линиями и цветовыми пятнами.

Кто же этот человек, имени которого нет в списках, нет ни в одной энциклопедии и о котором девять лет спустя после его смерти говорится как об основоположнике советской архитектуры?

Имя этого человека Леонидов. Иван Петрович Леонидов. Умер он в 1959 году, так и не построив в своей жизни ни одного здания...

Новатор в самом высоком и чистом смысле этого слова, он не мог перенести 1930 года, когда во всех газетах замелькало слово «леонидовщина». Как творца его убил конкурс на Дворец Советов, решения которого отбросили нашу архитектуру на десятки лет назад.

Лебединая его песня — конкурсный проект Дома Наркомтяжпрома — самобытный, яркий, ни на что не похожий (и, конечно, технически неосуществимый в 1933 году) остался только на бумаге.

И в истории, добавим мы.

Да, в те годы трудно было осуществить предлагаемое Леонидовым. Его дипломный проект — Музей Ленина на Воробьевых горах, и последний — Наркомтяжпром на Красной площади, блестящие по мысли и исполнению, были тогда нам не под силу. Они пугали своей смелостью и оригинальностью, и скажем даже, утопичностью. Но это было дерзание, это было будущее. Леонидов смотрел вперед, перешагивая десятилетия. И, глядя сейчас на новые кварталы Москвы, видишь, что все это у Леонидова было пятьдесят лет тому назад. Все это он предвидел.

Подводя итоги первой архитектурной выставки в Москве в 1927 году, М. Я. Гинзбург писал в журнале «Советская архитектура» о проекте двадцатипятилетнего дипломанта:

«Блестяще выполненная в ряде тонких графических рисунков и в манере работа эта более всего ценна для нас как категорический прорыв той самой системы приемов, схем и элементов, которые неизбежно становятся для нас общими и обычными, в лучшем случае являясь результатом единства методов, а в худшем — нависая угрозой стилевых трафаретов».

Не хочется приводить параллелей с судьбой познавшего после своей смерти всемирную славу Гогена или Модильяни, продававшего при жизни стоящие сейчас сотни тысяч франков портреты за 40—50 франков, но думается, что широкое знакомство с творчеством Леонидова, его изучение — единственное, чем можно искупить вину современников перед ним и всей историей нашей архитектуры.

Имя Леонидова всегда как-то сочеталось с именем

другого, тоже прогремевшего архитектора — Константина Мельникова.

Судьбы их сходны. Но не во всем. К. Мельников в 20-е годы не только проектировал, но и строил. И построенное им всегда было центром всеобщего внимания. До конкурса на Дворец Советов он успел еще кое-что построить. Клуб «Каучук» на Плющихе, другой — Коммунальников на Стромынке, советский павильон на Парижской выставке декоративного искусства в 1925 году и даже свой собственный дом, существующий до сих пор в Кривоарбатском переулке, недалеко от Плотникова переулка. Загадочный этот дом, стоящий в глубине участка, и поныне привлекает всеобщее внимание.

Описать его не просто — не то башня, не то труба, даже не одна, а две, тесно прижавшиеся друг к другу. В передней башне большое окно, а в задней окон нет, есть ромбовидные отверстия снизу доверху. Кроме того, есть еще терраса — на первой башне-трубе, всегда пустая. Над входом дома надпись из камня или штукатурки: «Константин Мельников, архитектор».

Построен этот дом давно — в 1927 году. Значит, в годы нэпа или сразу после него. Это весьма знаменательно. Получить в центре Москвы участок в вечное владение и построить на нем дом — не всякому дано. А вот дали. Значит, знаменитый был архитектор Константин Мельников.

Да, знаменитый. Мы его учили. В тридцатых годах учили. Он был мэтром, живым классиком. Таковым и остался. Как и братья Веснины, Леонидов, Гинзбург.

Потом их стали ругать. Объявили формалистами. В газетах появились статьи: «Какофония в архитектуре», «Про некоторые архитектурные упражнения», «Против формалистических выкрутасов в архитектуре», «Лестница, которая ведет в никуда (Архитектура вверх тормашками)». Последняя посвящена была К. Мельникову. Напечатана в «Комсомольской правде» 18 ноября 1936 года.

В статье этой упоминается и дом в Кривоарбатском. «Этот каменный цилиндр,— читаем в статье,— может быть местом принудительного заточения, силосной башней, всем, чем хотите, только не домом, в котором добровольно могут поселиться люди. (По имеющимся у нас сведениям, этот дом архитектор построил для самого себя (?!)».

Кончается статья призывом к строителям прекратить свой птичий полет. «Спуститесь на землю, отсюда виднее ваша работа, тут дано вам место. Тут создавайте прекрасную архитектуру социалистической страны без гнилого, неискреннего, фальшивого либеральничания, которое не менее опасно, чем прожектерство формалистических штукарей».

Ну, и так далее. С тех пор исчезло его имя со страниц журналов. Строить он перестал. Дальнейшая его судьба была неизвестна.

И вот, оказывается, архитектор этот дожил до наших дней. И в этой самой «силосной башне».

Как же с ним познакомиться — с этим архитектурным зубром, мамонтом, основоположником и родоначальником?

Мне это удалось. Не скажу, что удачно, но удалось.

Из окна квартиры моих друзей — они живут в Плотниковом переулке, над «Диетическим» магазином,— я увидел как-то эту самую «силосную башню». Как? Неужели сохранилась? Сохранилась. А хозяин? И хозяин сохранился. Появляется даже в «Гастрономе» с авоськой. Но хозяева квартиры знают его сына, художника, вместе когда-то учились в институте, он даже вроде как укаживал за хозяйкой квартиры. Можно ему позвонить — телефон есть.

Позвонили. Сказали, что такой-то и такой-то мечтал бы познакомиться с заочным своим учителем юности, почел бы за честь, ну и т. д. Ответили согласием, позвоните тогда-то и тогда-то.

Позвонили тогда-то и тогда-то. Ждут. Завтра в двенадцать часов. Здесь, как утверждают мои друзья, я допустил промашку. Не надел галстука, а пошел в синей с белой полоской так называемой «олимпийке». Но об этом позже.

Итак, ровно в 12 часов я позвонил у деревянной калитки «силосной башни». Дико залаяла собака. Потом в башне открылась дверь, и вышел подтянутый старик в коричневой домашней куртке с кокетливо выглядывающим из бокового кармана белоснежными платочком. Открыл, гремя замками, калитку. Уже калитка была не такая, как «у людей». С внутренней стороны у нее было нечто вроде полукруглого забора, так что войти можно было, только когда калитка открыта настежь. С грехом пополам я втиснулся в нее.

Входя в дом, я старательно вытер ноги о лохматый коврик и, как можно любезнее улыбаясь, сказал, что я счастлив, что вступаю в дом, в какой-то степени памятник архитектуры, который я в свое время, в студенческие годы, изучал.

Хозяин на это не обратил или, как потом я понял, сделал вид, что не обратил внимания, а внимательно смотрел, как я вытираю ноги.

Потом я разделся в очень странной полукруглой прихожей (из нее в открытую дверь я увидел такую же странную полукруглую комнату) и по крутой винтовой лестнице без перил (хозяин, которому никак не меньше семидесяти, а то и больше, весьма бойко по ней передвигался), поднялся на второй этаж, в очень большую, очень высокую, тоже круглую комнату, даже не комнату, а скорее ателье, поразившую меня своей пустотой. Кушетка, покрытая одеялом (очевидно, ателье служило и спальней), большой, заваленный книгами и бумагами письменный стол и несколько прекрасных старинных кресел. На стенах портреты. Много. И очень неплохих. В течение последующего получаса я успел их рассмотреть внимательнее. Написаны легко, свободно, никому не подражая. Больше всего портретов какой-то дамы, очевидно жены, разных возрастов и в разных позах.

Прежде чем меня пригласили к столу, мне в руки дали старую газету. Как выяснилось, чтоб я еще раз вытер ноги. Поняв, что чистая, сухая обувь — некий пунктик хозяина (на дворе действительно была грязь, а калоши теперь не в моде), я, идя навстречу хозяину и в то же время полушутливо, сказал, что могу для простоты разуться. Предложение мое было принято, и я остался в носках.

Потом меня пригласили к столу. Хозяин тоже сел за стол и, положив хорошо выбритый подбородок на скрещенные руки, стал смотреть в пространство. Лицо его было красивое, худое, маленькие седые усики. И очень грустные, задумчивые глаза. За его спиной на стене висел его автопортрет юных лет — этакий д'Артаньян с черными усиками и жгучим взглядом. Сейчас жгучего взгляда не осталось — только печаль.

Пауза затянулась, и я, чтоб разбить ее, стал развивать тему, начатую еще в прихожей,— как я, в прошлом архитектор, счастлив попасть в этот дом и беседовать (тут я несколько перегнул, беседы-то пока не

было) со столь знаменитым мастером, которого мы, студенты, еще в тридцатые годы и т. д.

Мельников молча слушал, не перебивая меня, и продолжал глядеть в пространство. Потом, не поворачивая головы и не глядя на меня, спросил:

— Так вы, значит, архитектор? А мне сказали, что писатель...

Я пустился в объяснения. Так, мол, и так, был в свое время и архитектором и актером, а потом, в силу сложившихся обстоятельств, стал писать.

— Значит, никак себя найти не можете? Бросаетесь из стороны в сторону?

Я сказал, что сейчас, как мне кажется, я на чем-то все-таки остановился.

— Что же вы написали?

Я сказал.

— Это что же, протокол о Сталинградской битве?

Я растерялся — почему протокол?

— А что же вы еще могли написать, кроме протоколов, хроники?

Я еще больше растерялся и не нашел, что ответить.

Опять молчание.

— Это кто — вы в молодости? — спросил я наконец, указывая на портрет, и чтоб прекратить тягостное молчание.

Лаконичное «да», и после паузы:

— Вы, конечно же, не знаете, что я художник. А я художник...— и вдруг, без всякого перехода: — Мне сказали, что вы писали что-то о Корбюзье.

Да, писал, мне посчастливилось встретиться с ним в Париже, и я об этом написал.

— Гоняетесь за знаменитостями, значит?

Я ответил шутливым тоном, что поэтому вот и к нему пришел.

Он быстро взглянул на меня (впервые за весь разговор) и опять, упершись в пространство, грустно сказал:

— Я с ним тоже встречался.

Очевидно, во время его приезда в Москву, когда строилось по его проекту здание Центросоюза?

— Нет, не в Москве, а в Париже. Вам, очевидно, неведомо, что по моему проекту в Париже был построен советский павильон на выставке декоративного искусства в 1925 году?

Я обиделся. Почему неведомо? И тут же пальцами изобразил схему этого павильона.

На него это не очень подействовало.

— Хорошо,— сказал он,— вот вы все говорите Корбюзье, Корбюзье (очевидно, он очень ревновал к Корбюзье, так как я о нем упомянул только один раз), а кого же вы из русских архитекторов знаете?

Я сказал, сделав упор на него и опять-таки расточив комплименты. Тут он вдруг перешел в атаку.

— Так, теперь вы хвалите Мельникова... А скажите прямо, зачем вы к этому самому Мельникову пришли? Какова ваша цель?

Как зачем? Просто познакомиться с родоначальником, основоположником и т. д. и т. д., повторяя все то, что я уже говорил.

— Простите, так вы писатель? — перебил он меня.

— Да...

— Ваша фамилия Тихонов?

Так. Я слегка обомлел. Нет, не Тихонов.

— Не Тихонов, значит. Хорошо. Так что же вы писать обо мне думаете?

Я развел руками. Нет, специальной мысли об этом у меня не было, но, если это ему улыбается, могу и написать. Молодому поколению архитекторов, конечно же, будет очень интересно узнать, над чем сейчас работает маститый архитектор, каковы его взгляды на нынешнюю архитектуру, на пути ее развития.

Монолог мой был прерван.

— А вам не кажется, что прежде, чем писать, не мешало бы поинтересоваться, насколько все это интересно самому маститому архитектору?

Тут я окончательно стал в тупик. Не нашелся что ответить. Что-то промямлил, «конечно, если... я не знал... я думал... просто мне хотелось...».

— Так вот, молодой человек,— холодно и очень медленно, с расстановкой сказано было мне,— если вам что-нибудь хочется и для этого надо беспокоить другого человека, желательно предварительно осведомиться, насколько это интересно другому человеку... Вы читали рассказ или, уже не помню, может быть, это и в какой-то повести Тургенева, о молодом человеке, который приходит к некоему знаменитому профессору?

Я признался, что, к своему стыду, не помню.

Он мне напомнил и рассказал неведомую мне историю о каком-то молодом человеке, который в нетрез-

вом виде (все мои друзья, которым я рассказывал о моем визите, до сих пор уверены, что до звонка в заветную калитку я принял «свои сто грамм» в какой-нибудь забегаловке, чего, как ни странно, на самом деле не было) явился к какому-то светиле и стал его убеждать помочь что-то написать в его диссертации.

— Так вот, если не читали,— закончил он свой рассказ,— прочтите, обязательно прочтите.

Я понял, что мой визит несколько затянулся. Мне ясно дали понять это. Встав со стула, я извинился и сказал, что, по-видимому, не вовремя пришел и поэтому позволю себе раскланяться.

— Пожалуйста.

Я обулся, сбежал по лестнице и, еще раз извинившись за неуместное вторжение, ушел.

— Вы сможете сами открыть калитку?

— Сумею...

На этом наше знакомство закончилось.

Я нисколько не обижен на Мельникова. Я понимаю его. Сорок лет отделяет его от дней, когда имя его гремело повсюду. Сорок лет...

Мне жаль только, что он не понял меня. Я шел к нему с открытым сердцем, без всякой задней мысли, так же как и сейчас, невольно задумываясь,— как много надо иметь внутренней силы, чтоб не сломиться под ударами незаслуженной критики и гордо перенести нелегкие годы забвения.

Я ушел от него с чувством горечи.

Выйдя из переулка, я свернул налево по Плотникову. На углу Сивцева Вражка я постоял недолго. Здесь когда-то я жил, в этом маленьком домике на втором этаже. Вот мое окно.

Теперь мне кажется, что это было очень давно. В крохотной комнате, вся обстановка которой состояла из железной койки, колченогого стола и занимавшего полкомнаты рояля, я заканчивал свое первое литературное произведение, здесь же начал второе. По вечерам, при свете стосвечовой лампы, покрытой бумажным колпаком, отчего в комнате всегда пахло жженым, я читал вслух написанное. Верной слушательницей моей была Р., визиты которой почему-то повергали в смущение моих старушек-хозяек. Задыхаясь от волнения, они сдавленным шепотом спрашивали сквозь замочную скважину: «Кто?» — и потом долго лязгали замком и цепочкой. Не сомневаюсь, что они

были уверены, будто Р. приезжает сюда инкогнито, меняя по дороге фиакры с завешенными окнами, и только на лестнице снимает полумаску. Веселясь по этому поводу, мы с Р. прозвали мою резиденцию ПЭ, от Рю-де-ля-Пэ — самой фешенебельной и галантной из парижских улиц... Сейчас мне кажется, что это действительно так, и Р. на самом деле, кутаясь в черную шаль и шурша шелковыми юбками, пыталась незаметно проскользнуть мимо консьержки в подъезде. И было это давно, лет сто назад. Тогда же, когда Пушкин захаживал в небольшой особняк с колоннами на углу Гагаринского и Хрущевского переулков. Там собирались декабристы, и в стене одной из комнат был потайной ход, и на кафельных печах с медными вьюшками в овальных медальонах маркизы целовались с пастушками.

У этого дома я тоже постоял. Но никто не вышел. Я спросил у кучера, сидевшего на облучке, кого он дожидается.

— А тебе не все равно? — сказал он мрачно.— Мой барин здесь подолгу сидит, не дождешься.

— А кто твой барин?

— Камер-юнкер. А ты?

— Гвардии капитан, теперь запаса.

Мы закурили по «Беломору». Глядя на выросшую за особняком девятиэтажную башню, мы заговорили о том, как быстро все на глазах меняется. Давно ли еще звонили колокола у Николы-на-Песках и хлеб в булочной на углу Смоленского продавался настоящий ржаной, а водка стоила...

— Да,— вздохнул кучер,— не звонят больше колокола у Николы, жителям, мол, мешает, и булочной тоже нет, а на месте этой башни, где сейчас кафе «Адриатика» — неплохое кафе, только дерут три шкуры,— был особняк купца Снегина. И еще пять таких особняков у него было, и три доходных дома, и трактиров по всей Москве штук пятнадцать, если не больше.

Мы повздыхали, повздыхали, и я побрел дальше. Мне почему-то подумалось, что человек, от которого я только что ушел, так же вот бродит по этим когда-то тихим арбатским переулкам и смотрит, как на месте уютных особняков с мезонинчиками вырастают похожие как две капли воды одна на другую, лишенные балконов и собственного лица, эти белые девятиэтажные башни, как рассыпается под скрежет бульдозеров старая Москва...

— Не грустно на это смотреть? — спросил я.

— Мало сказать грустно...

Мы испытующе посмотрели друг другу в глаза, я и он, оба с поседевшими д'Артаньяновскими усиками, и не сговариваясь направились к «Адриатике», той самой, где был когда-то особняк купца Снегина.

— Да,— сказал мой спутник, когда мы устроились за столиком у окна.— Появление этих башен вполне закономерно. Без них сейчас не обойтись, что поделаешь. Но какое они имели право вторгаться сюда, в самое сердце Москвы? Кто им это разрешил? В конце концов, это просто бесцеремонно. А бесцеремонность в архитектуре так же непростительна, как и безвкусица. Да, да, по вашему взгляду я вижу, что вы со мной согласны и с жаром заговорите сейчас о новой гостинице «Националь» на улице Горького. А я вам скажу, что вы опоздали на добрых два столетия и все это началось, когда еще Матвей Казаков позволил себе построить в Кремле Сенат, а полстолетия спустя архитектором Тоном был сооружен Большой Кремлевский дворец. Разве они имеют право стоять рядом с Успенским собором, Потешным дворцом? И вот, глядя на Казаковых и Тонов, московская башня решила, что ей все разрешено, и двинула из своих Мневников и Филей в святая святых Москвы. Как тут не загрустить, как не заплакать? Мне говорят — новая Москва! И я за новую, но я за Москву. Лужники построили на месте сараев и бараков, университет — хорош он или плох — на месте одноэтажных хибар, а эти башни заполнили сейчас всю Москву, посягнули на ее сердце, на то, что каждому москвичу дорого — на московскую улицу. У нее свое лицо, у этой улицы, своя душа. И улица эта не Горького — упаси Бог! — а Пречистенка, Ордынка, Поварская, старый Арбат, который уже тоже начинают ломать. Этим улицам не миновать общей судьбы, но они еще чудом сохранили свой дух, свое неповторимое московское обаяние уютных двориков, замысловатых проходных дворов, детских площадок, глухих брандмауэров, вросших в землю флигельков с геранью на окнах. Пусть она, эта улица, не так строга, как ленинградская, не так живописна, как киевская, но она своя, московская, ее ни с чем не спутаешь. Надо ее любить, беречь.

Нашел что беречь,— скажут мне и вспомнят Париж, барона Османа, которого тоже ругали, когда он проби-

вал свои широкие бульвары через самое сердце еще Виктором Гюго воспетого Парижа.

Знаю, знаю, знаю... Парижские бульвары прекрасны, но строились-то они по указке трусливого Луи-Бонапарта, боявшегося «черни» и ее баррикад на узких улицах. А чего нам бояться? Страховому обществу «Россия» до революции мог нравиться этот участок, и оно, ни с кем и ни с чем не считаясь, покупало его и строило свои громады. Но сейчас... Ведь все по плану делается — городской архитектор, архитектурное управление, горисполком, дерева без чьего-то там разрешения срубить нельзя... А башни все лезут и лезут...

Я робко вставил:

— И это говорите вы, который...

— Да, я, который... Вы не учитываете одной вещи — вернее, двух. Во-первых, что все, о чем вы хотели сказать, происходило в двадцатые годы, когда у Мейерхольда артисты ходили в зеленых париках и все, что не было выкрашено в красный цвет, кроме этих париков, считалось контрреволюционным. И второе — небезызвестный вам клуб «Каучук» был не саранчой, лишенной какой-либо индивидуальности, а первой робкой ласточкой, призывом, запевом, если хотите — Марсельезой... А башня, в которой мы с вами сидим, может быть, и полезна в борьбе с жилищным кризисом, но как произведение искусства — ей ноль цена. Типовой проект расселил людей, но убил искусство. Стер лицо. У Сызрани и Москвы оно теперь одно, не отличишь.

— Что же делать?

— Думать! Прежде всего — думать. Думать и искать. А не только печатать синьки. И не класть ноги на стол, на котором хрусталь и фарфор, как это позволил себе сделать все тот же Казаков, с легкой руки которого все началось. Пусть даже сам царь или царица тебе приказывают: «Строй!», разведи руками и скажи: «Не имею-с права, тут до меня еще строили, и поискуснее... Разрешите где-нибудь в сторонке, подальше...» — мой собеседник вдруг рассмеялся.— Но самое смешное, а может и горькое, это то, что никто до сих пор не задумался: а кто же, в конце концов, автор этой башни? А ведь он есть! И, вероятно, даже не он, а они, целые бюро. Но кто они — никто не знает. Так же как никто не знает, кто же построил Реймский собор или Нотр-Дам. Смешно, не правда ли? Впрочем, стоит ли обо всем этом говорить, когда

существует столько неразрешенных проблем и, как пишут в газетах, мы скоро задохнемся от выхлопных газов и будем жить друг у друга на головах. А в общем-то, вы должны меня понять — все это только брюзжание человека преклонного возраста, которому, в силу именно этого и не вполне удачно сложившейся биографии, ничего другого не остается. Простите меня великодушно.

На этом монолог моего собеседника, в уста которого я просто-напросто вложил свои собственные мысли, чтобы было интереснее,— и закончился.

Я встал, расплатился и вышел на улицу. Собеседник мой, как и положено в таких случаях, медленно растаял в воздухе.

Есть один вид искусства, который все считают себя вправе критиковать. Все, без исключения. От академика до домашней хозяйки в очереди. Это архитектура. Когда критикуют какую-нибудь книгу или картину, всегда говорят: «Я, конечно, не писатель, не художник, но...» Когда же ругают новый дом, этой оговорки не делают... «Понастроили коробок и думают...» — говорили в 20 — 30-е годы. Попозже, в период излишеств — «Понатыкали колонн и считают...» Теперь мы говорим: «Куда ни глянь, везде башни...»

Ох уж эти башни... Вот и я включился в критику их, хотя и имею кое-какое оправдание — был когда-то архитектором. Но, может быть, именно поэтому не встать ли мне на защиту архитекторов и градостроителей?

Немного подумаем.

Что делать, например, такому городу, как Москва, в котором семь миллионов жителей, не считая сотен тысяч командировочных и вообще приезжих, да к тому же не сидящих на одном месте? Как их всех расселить, как помочь им в городской толкотне и суетне? И как всего этого достичь, не меняя лица города?

Хорошо Ленинграду — он молод, каких-нибудь 250 лет; его проектировали, улицы широкие, прямые. А Москва? Ей стукнуло уже 825, и никто ее не проектировал, а росла она кольцами — Кремль, потом Китай-город, Земляной вал — и сейчас проглатывает одну деревню за другой.

Мы очень любим говорить — ох, если бы... Если б мы сейчас реконструировали улицу Горького, если б сегодня восстанавливали Крещатик. Не знаю, были бы они луч-

ше — можно судить по новому «Националю»,— но они, эти улицы, есть, и с места они никогда не сойдут, со всеми своими цоколями из лабрадора величиной с целый этаж, с арками, эркерами, лоджиями, скульптурами, башенками. Думаю, что улица Горького в какой-то, может быть и отдаленной, степени, но могла бы понравиться Гоголю. В своей сноске к статье об архитектуре он мечтал об улице... «которая бы вмещала в себе архитектурную летопись... Кто ленив перевертывать толстые томы, тому бы стоило только пройти по ней, чтоб узнать все».

Встаньте около Исторического музея и посмотрите на улицу Горького. Маленькая, коротенькая, но все-таки история архитектуры. На углу Охотного ряда старый «Националь» — не лучший образец модерна начала века; налево от него так называемый «дом на Моховой» И. Жолтовского (1934) — первенец реакции на «коробочную» архитектуру 20-х годов; сразу за старым стеклянный параллелепипед нового «Националя» — московский вариант нью-йоркского Манхеттена; за ним опять старая Тверская, дом с серебряным куполом, где театр Ермоловой; затем Центральный телеграф И. Рерберга (1925—1927) — некое исключение в архитектуре тех лет, «новое», но еще не порвавшее со «старым»; за Газетным переулком две пышные сросшиеся громады периода 1937—1940, когда купеческую Тверскую превращали в социалистическую улицу торжеств и встреч; и, наконец, надстроенный в 1945 г. Л. Чечулиным Моссовет, пример одного из странных увлечений тех лет, когда считалось, что архитектор развивает и дополняет замысел зодчего XVIII века. Это левая сторона. Правая — вальяжные дома А. Мордвинова, «отца» всей реконструкции.

Такова главная улица Москвы, ее Невский, Елисейские поля, Унтер ден Линден... Красиво? Боюсь, что это определение вряд ли можно сюда применить. Скорее сумбурно. Но и старая Тверская красотой не блистала, к тому же была просто узка, особенно в том месте, где начинался подъем. Дальше, за Советской площадью, все более или менее спокойно. Нужно ли жалеть снесенные дома Старой Тверской? Не думаю. Наиболее интересные из них были передвинуты в глубь участков, а если говорить об общем облике улиц прошлых лет, то он полностью сохранился на другой «главной» улице, на Кузнецком мосту.

Сейчас в Москве родилась еще одна «главная» улица — проспект Калинина. Не скажу, чтоб появление его было встречено восторженными криками — один мой знакомый с горечью сказал, что Новый Арбат не стоит заупокойной по Собачьей площадке — но так или иначе, а рациональное и, скажем прямо, довольно крупное зерно в его пробивке сквозь запутанную сетку милых нашему сердцу арбатских переулков есть. Разгрузка центра Москвы широкими радиальными магистралями остро необходима. Да и вид у проспекта шикарный, «современный», под стать джинсам и мини запрудившей его молодежи. Даже собственная для контраста и переклички эпох церквушка у него есть. Одним словом, проспект громко, во всеуслышание объявил о своем существовании и стал неотъемлемой частью Москвы. Что касается меня, особой симпатии я к нему не питаю, как ко всему бесцеремонному, но, что поделаешь, уже привык и принимаю как данность. А по вечерам даже любуюсь им, сидя на балконе моих друзей,— как одно за другим зажигаются окна его башен, а небо еще не погасло, и медленно разгораются светильники газосветных фонарей, и несутся машины с красными огоньками — туда, с сияющими фарами — сюда, подмигивая правым глазом на поворотах. Красиво.

Ясно одно — город, насчитывающий на своем веку не одно столетие, не может сохранить свое лицо нетронутым. Москва испытала это на себе как ни один другой город. Все восемь столетий ее существования лицо ее «трогали» все, кому только не лень. И князья, и Петр, пытавшийся, правда, без особого успеха, внести в ее сумятицу некую регулярность, и все последующие цари и царицы, и купцы, и фабриканты, и градоначальники. Вносили свою лепту и пожары. Один из них, 1812 года, как известно, способствовал именно украшению. Меньше чем за десять лет Москва отстроилась заново. И тут отдадим должное выдающемуся архитектору О. Бове, под руководством которого созданная специально Комиссия строений провела гигантскую работу по восстановлению города. На смену большим дворянским усадьбам дворцового типа пришли маленькие, уютные особнячки средних и мелких дворян и купцов, сделанные по так называемым «апробированным», а на нашем языке — типовым, проектам. И нужно сказать, типовые эти проекты, сделанные с большим вкусом и разнообразием, придали всем этим особнячкам, выходящим, как правило, на

красную линию (допожарные усадьбы строились, в основном, в глубине участка, с большим парадным двором впереди), удивительную человечность и теплоту, которые так отличают московскую архитектуру начала прошлого века. Посмотрите на особняк А. Поливанова по ул. Веснина, № 9, и вы сразу поймете, о чем идет речь. Это один из самых типичных московских домов того времени — одноэтажный, с шестиколонным дорическим портиком, с мезонином, удивительных пропорций, он поражает своим каким-то свойственным только этому роду домов обаянием. Под стать ему особняк на углу Кропоткинского переулка — он в глубине участка за каменной стеной и решеткой, и на спускающихся в сад ступеньках его невольно ищешь глазами старушек в чепцах, варящих варенье. Да, «незлым тихим словом» вспомнишь Бове...

Вторая половина XIX века крепко поработала над лицом Москвы. Город разросся и вверх, и вширь. Как грибы после дождя (прошу простить, но лучше не скажешь) стали расти доходные дома, конторы и банки. Думаю, что для старого москвича тех лет все они — многоэтажные, холодные, с глухими брандмауэрами — были немилы, как ныне нам злосчастные белые башни. Для него какая-нибудь Остоженка или Покровка, на которые мы смотрим сейчас с таким умилением, наверное, казались варварским глумлением над стариной.

Пришла Революция... Лицо Москвы покрылось плакатами. Громадными, кричащими, рычащими, зовущими, требующими, гвоздящими. Интересно, какой был первый построенный после семнадцатого года дом? Моссельпром у Арбатской площади? Или несуществующий уже сейчас Экспортхлеб в Охотном ряду? В основном же строительство было на бумаге. Дворцы Культуры, дворцы Труда, клубы. Очень любили тогда слово «дворец». И все это куда-то устремлялось, динамичное, фабрично-заводское, похожее на подъемные краны. Башня Татлина, первые проекты Весниных. Двадцатые годы... Затем тридцатые.

Я нашел среди книг моего друга уникальный, на мой взгляд, альбом «От Москвы купеческой к Москве социалистической». ОГИЗ-ИЗОГИЗ. 1932 год. Фотографии — прежде, теперь...

Прежде — вербное катанье купечества и буржуазии (Красная площадь). Дрожки, барыни, толстый полицейский в светлой шинели, за «рядами», ГУМом —

купола, Иверские ворота... Теперь — парад физкультурников «Готов к труду и обороне».

Реконструкция Арбатской площади. Вся реконструкция в том, что снесли церковь в центре площади и рядом с Художественным кинотеатром построили деревянный крытый рынок — я его помню. На улице людишки — туда-сюда, трамваи с двумя прицепами «А» и № 4, автобусы «Лейланд», три легковые машины, подвода с мешками. До сегодняшнего дня сохранился только кинотеатр да дома на Воздвиженке (ныне проспект Калинина).

Реконструкция Никитской площади. Снесли дом, на его месте поставили Тимирязева.

Реконструкция Красных ворот. Снесли ворота, на их месте трамвайные рельсы.

Пушкинская площадь. Разница между «прежде» и «теперь» только в количестве людей (2,5 миллиона в 1932 г.), да в транспорте: тогда конка — теперь трамвай. Ну, еще вывески и газовые фонари.

Я хорошо помню эту площадь. Страстной монастырь, павильон трамвайной остановки посреди площади Пушкина на старом месте. Теперь от всего этого осталось только здание «Известий» да дом на углу бульвара, где был когда-то пивной бар, а теперь молочное кафе. Нет уже кино «Ша-Нуар» (впоследствии «Центральный»), нет «дома Фамусова» (а как хорошо он мог вмонтироваться в строящееся сейчас новое здание «Известий», как по-настоящему это было бы современно), нет Страстного монастыря.

Я отнюдь не против сноса. Думаю, что Москва ничуть не пострадала бы, если б половину ее домов снесли. Что может быть, например, унылее Таганской площади с ее нынешними домами. Вовсе не каждый дом с фронтоном надо сохранять. Да и большинство из них в таком состоянии, что никаким капитальным ремонтом дела не поправишь. Речь идет только о том, что́ красиво и, в отдельных случаях, что «дорого как память».

В Варшаве полностью восстановили по чертежам, по обмерам Рыночную площадь. Фасады, внешний весь облик сохранили такими, какими они были, всю же внутреннюю начинку модернизировали со всеми требованиями комфорта. Но это архитектурный центр Варшавы, и каждое здание в нем — памятник искусства. Ставить на капитальный ремонт все приарбатские домики и особнячки бессмысленно. Надо выбирать наи-

более красивые, наиболее типичные для своего времени, а где-то, может быть, целый квартал или уличку (вроде Златой улички в Праге) и, расселив жильцов по новым, хорошим домам, отдать эти реставрированные особняки библиотекам, детским садам, музеям, картинным галереям.

Что может быть лучше маленьких музеев. Недалеко от Полянки, в тихом, зеленом Щетининском переулке, в небольшом одноэтажном домике находится теперь музей Тропинина. Фонд его, разместившийся в четырех небольших залах,— дар коллекционера и знатока живописи Вишневского. Как приятно бродить по этим тихим, малолюдным комнатам с поскрипывающими полами и тихо позванивающими старинными люстрами. А на стенах — Вишняков, Антропов, Тропинин, таинственно-загадочный Рокотов. Под стеклом — акварели, медальоны, изящные дамы в кружевах. Как спокойно, не торопясь, можно всем этим любоваться, переходя из зала в зал, возвращаясь назад, не боясь экскурсий.

А в Антипьевском переулке, рядом с Музеем им. Пушкина и церковью св. Антипия XVI века, в особняке Верстовского сейчас кабинет гравюры. Это также один из послепожарных «апробированных» особняков. В нем периодически устраиваются выставки. И в нем тоже тишина, покой, бронзовые канделябры у деревянной лестницы, расходящейся двумя маршами на второй этаж, мраморные, какие-то очень комнатные колонны, на фасаде изящные медальоны, мезонин с полукруглым окном. Все очень тщательно, любовно отреставрировано, видно, что делали это люди знающие, не равнодушные.

Но что меня поразило — это таинственный, пустой дом, даже целая небольшая усадьба между домом Верстовского и церковью Антипия. Церковь старательно реставрируется, купола покрыты даже медью, а в пустом, большом, с разными пристройками доме живут, очевидно, только привидения, выходящие по ночам в тенистый, запущенный сад, со всех сторон огороженный стенами. Когда-то это был дом фабриканта Пастухова, затем поселили здесь детский сад (сохранились еще низенькие, детские скамеечки в саду, покосившаяся «гимнастика», как говорили в старину), сейчас — ничего. В центре Москвы — и ничего... Кстати, дом на углу Кропоткинской также стоит с заколоченными окнами.

Я говорю обо всем этом, невольно тревожась за вторжение башен в арбатские переулки. Тревожусь за маленький домик на углу Гагаринского и Хрущевского переулков, о котором я уже упоминал и к которому башни уже подступили вплотную. Почему бы не открыть в нем музей декабристов?

Но вернемся к началу тридцатых годов, к годам, когда асфальтировали площадь Свердлова и много об этом писали, когда не было еще метро, но говорили о нем все и ждали с великим нетерпением. Я учился тогда в Строительном институте и хорошо помню, как пытались тогда архитекторы изменить лицо Москвы. И Ленинграда тоже. Нет, не изменить а, как говорили тогда, наоборот, подчеркнуть, в других же случаях — исправить. В Москве, например, весь Арбат, все его дома без исключения выкрасили в лиловый цвет. Причем не просто в лиловый, а в лиловый, сгущающийся по тону от Смоленской площади к Арбатской. Это называлось не помню уже точно как, но приблизительно так: подчеркнуть интенсификацией цвета всеобщее стремление от периферии к центру. Помню хорошо Арбат, я там жил, но кажется мне, что другие радиальные улицы тоже усиленно «интенсифицировались».

В Ленинграде поступили иначе. Решено было, что Невский проспект, или, как он тогда назывался, Проспект 25 Октября, слишком однообразен и уныл. Надо его оживить. И оживили. В каждом доме каждый этаж был выкрашен в другой цвет. Черный, желтый, красный, голубой, оранжевый. Не помню уже, что было сделано с гранитными фасадами, но хорошо помню безудержную пестроту фасадов, приводившую неподготовленного человека просто в содрогание.

Все это кажется сейчас смешным и наивным, но это было. Так в тридцатые годы молодые и немолодые энтузиасты боролись с «прогнившим» прошлым. Кровь кипела, руки чесались, но денег было мало, опыта еще меньше, и вся энергия уходила на снос, утопические проекты и раскраску фасадов.

Снос... Оказывается, это не всегда плохо. По Москве надо бродить. У нормального современного человека на это не хватает времени. Но только так можно увидеть, что же происходит сейчас с Москвой. Из окна троллейбуса можно увидеть, как хорошо сейчас стало дому Пашкова — Румянцевскому музею, когда снесли заслонявшие его дома, или церкви Большого Вознесения

у Никитских ворот, в которой венчался Пушкин,— она точно заново родилась,— но то, что происходит в переулочках, не все замечают. А они-то зажили сейчас новой жизнью. Снесли обветшалое, разваливающееся, и вдруг появились московские дворики. Как будто сняли, выражаясь мхатовским языком, четвертую стену. Выглянули наружу флигельки, увитые виноградом верандочки, уютные столики в тени деревьев, о существовании которых знали только жильцы этого дворика, а теперь и мы. Стали просторнее перекрестки, появились зеленые садики, открылись какие-то скрытые до сих пор от человеческого глаза перспективы. Такое я обнаружил, например, на улице А. Толстого, в замоскворецких переулочках. Ощущение, будто все эти кривые улочки и тупички расстегнули ворот и вздохнули полной грудью. А Москве это ох как надо.

Многим это может показаться мелким, лишенным размаха. В наш космический век думать надо другими, мол, категориями, другими масштабами, а он, видите ли, каким-то дворикам радуется. Радуюсь и не стесняюсь этого. Радуюсь, потому что люблю Москву. А Москва для меня это и Красная площадь со сменой караула у мавзолея, и метро Дворец Советов, ныне Кропоткинская, с каким-то всегда казавшимся мне загадочным сиянием колонн, и поленовский дворик с Николой-на-Песках, и яркая зимняя кустодиевская Москва, и Аполлинария Васнецова, средневековая, деревянная, с теремами, сказочная, которой нет, а как хорошо бы было, если б хоть крохотный кусочек ее сохранился... И грибоедовская, пушкинская, Наташи Ростовой. Слишком многое связано у русского человека с Москвой, чтоб не радовался он всему, что связано с ее прошлым, с ее историей. А в ней было многое. И кровь Лобного места, и пепел восемьсот двенадцатого, и залпы революций, и огни салютов сорок пятого.

Давайте же любить в Москве все, что в звуке ее имени сливается и отзывается, и будет отзываться в нашем сердце всю жизнь, всегда.

* * *

Ну, а Киев? Твой родной Киев? Небось скучаешь?

Нет, не скучаю.

Скучаю по Ирке, той самой Ирке, которая, когда была маленькая, говорила: «Не мешайте дяде Вике,

он сел за своего Хемингуэя». Сейчас она уже большая, ее Сережке уже десять лет... Скучаю по ее маме, Жене, которая давно уже Евгения Александровна и куда более седая, чем я, а дружили мы с ней, когда обоим нам было по восемнадцать лет... Скучаю по безалаберному алкашу Сашке, умному и талантливому, но в свои тридцать лет не сумевшему еще наладить свою жизнь,— хочется делать одно, а приходится делать другое... Скучаю по Рафуле, с которым мы сделали несколько не очень плохих фильмов, последний из которых так и не вышел на экраны из-за моего плохого поведения. По Гавриле, которому это же мое поведение вылилось боком (пытался меня еще оправдывать) — исключили из партии, из двух Союзов — писателей и кинематографистов — и с работы уволили... Скучаю по Рюрику, ехидному и ироничному, снобу, великому мастеру перемывания чужих костей (всегда, уходя от него, думаешь, а как он тебя сейчас пригвоздит к стенке?)... Скучаю по Яньке, тому самому журналисту, который расхваливал тридцать лет тому назад пьесу Корнейчука, и по толстухе жене его, и дочке, и по внуку, и старушке-маме, всегда считавшей, что у меня слишком громкий голос... Ну, еще по двум, трем, с которыми не прочь был бы посидеть и подвести кое-какие итоги... И все! На два миллиона жителей. Не густо...

Но есть люди, друзья, о которых мало сказать, скучаю. Им просто плохо. И кое-кому, опять-таки, из-за дружбы со мной. (И ты, Некрасов, знай — будем твоих друзей сажать!) Славику Глузману впаяли семь лет (чтение, мол, и распространение Самиздата!). За спиной у него уже два года, и такой, казалось, тихий, доброжелательный, мухи не обидит, он в лагере сейчас первый борец против бесправия и тупой жестокости. А Леня Плющ в «психушке» — слишком уж разносторонние были у него интересы и книги не те читал. Плевать, что по убеждениям марксист, не нужны нам такие марксисты. Вот и колют его всякими якобы лекарствами, называется, лечат, а жена с двумя детьми без работы, бьется как рыба об лед, а ей с улыбочкой: «Вот вылечим мужа, тогда можете куда угодно ехать...» И Саша Фельдман тоже пусть посидит, нечего крутиться возле синагоги, смуту сеять и венки свои с непонятными там надписями на Бабий Яр волочить. Посидишь, потаскаешь камни поймешь наконец как у нас хулиганить. Саша получил три года за то, что оскорбил, вырвал из рук торт, де-

вушку и избил (!) двух здоровенных парней, которые, как потом оказалось, были просто-напросто двумя переодетыми милиционерами... А Марику Райгородецкому два года за то, что Замятина в портфеле носил, значит, читал и распространял...

Вот по ком я скучаю, вот кого мне недостает. А каштаны и липы и без меня будут цвести и распускаться, и пляж, который я обычно открывал в мае месяце, а то и в апреле, тоже обойдется как-нибудь без меня, и Днепр будет катить свои воды в Черное море, Крещатик будет бурлить и выстраиваться в очереди за апельсинами или помидорами, а «друзья», переходившие в последнее время при виде меня на другой тротуар, с облегчением вздохнут — «убрался, слава Богу, подобру-поздорову, тоже, видите ли, борец за справедливость...».

Нет, не скучаю я по Киеву...

Я разлюбил его. Разлюбил потому, что он разлюбил меня.

Возможно, он неплохо еще относился ко мне, загорелому мальчишке, гонявшему на стройных, как пирога, полутриггерах по Днепру, делавшему заплывы от Стратегического моста до Цепного, изображавшему испанцев, подкрашивая жженой пробкой усики в «Благочестивой Марте» Тирсо де Молина, или корпевшему над дипломным проектом (впрочем, это было уже, кажется, началом заката). Казалось, ничем я и не провинился — воевал, был ранен,— но с тех пор, как стал об этом писать, стараясь, по мере сил, не очень врать, почувствовал я на себе косые взгляды. Возможно, дружи я с Корнейчуком, выступай на собраниях против космополитов и националистов, затаптывай в грязь Максима Рыльского и Владимира Сосюру, а потом включись в запоздалый хор славословий сначала одному, потом другому — избери я такой путь, быть может, все пошло бы иначе. Но что-то не захотелось. И все пошло так, как пошло... Собрания, проработки, выкрики из зала «Позор!»; и обвинительные речи, и грозные с председательского места: «А нам не интересно, о чем вы думали, скажите прямо, не виляя, как вы относитесь к критике товарища Хрущева, Никиты Сергеевича!», и выступающие один за другим писатели: «Допустил... Скатился... Докатился... Пытается... Выкручивается...»

Нет, не скучаю я по Киеву...

Ни по каштанам его и липам, ни по днепровским откосам, ни по красным колоннам университета. Все это

заслонило другое... И только, может быть, одно место тянет меня к себе — три могилки за железной оградой на Байковом кладбище. Там покоятся три самых близких для меня человека, проживших такую хорошую, ясную и такую нелегкую жизнь. Бабушка умерла еще при немцах — самый добрый человек в мире, тетя Соня — человек жестких правил — прожила еще двадцать с лишним лет, последней умерла мама, дожив до 91 года,— умерла тихо, легко вздохнув у меня на руках. Ее я любил и люблю больше всех на свете, ее мне больше всего не хватает — ее ясности, веселости, доброжелательности ко всем. Даже к Хрущеву. «Знаешь, я очень волнуюсь за него, как бы с ним чего не вышло — со всеми, кто тебя обидит, всегда что-нибудь происходит. Маршал Жуков запретил твой фильм «Солдаты», вот его и уволили. Ох, боюсь я за Никиту...» (Он незадолго до этого обрушился на меня за мои очерки об Америке и Италии.) Потом, когда Хрущев действительно пострадал (за меня, конечно!), все вздыхала: «Может, ему, как пенсионеру, разрешат все-таки два месяца в году работать. Ведь он такой деятельный и так поговорить любит...» Вот какой человек была моя мама, очень скучно без нее.

* * *

Засим, дорогой читатель, не пора ли поставить точку? Надо и тебе немного отдохнуть. Иди домой, ложись на диван и послушайся совета одной прекрасной книги. Называется она «Гид по таинственному Парижу». «Если тебе все надоели,— говорится там в предисловии,— и не хочется ни с кем разговаривать, а на дворе к тому же стужа и ветер завывает в трубах, подвинь свое кресло к камину, поставь рядом стакан старого доброго вина, зажги трубку и возьми меня в руки».

Вот и тебе, читатель, советую: возьми в руки, если нету гида, проверенного уже в таких случаях Чехова или Жоржа Сименона, и в компании полицейского комиссара Мегрэ забудь на какое-то время обо мне. А настанет время, опять погуляем, дай только придумать маршрут

До следующей встречи!

Саперлипопет, или Если б да кабы, да во рту росли грибы...

1

Саперлипопет... Саперлипопет...

Какое странное звукосочетание. И очень знакомое. Всплыло откуда-то издалека. Никак не вспомню, откуда. Что-то очень и очень далекое, из детства. Даже как будто голос чей-то слышу.

Как возникло оно в моей памяти, это нелепое для русского уха слово, послужившее толчком, отправной точкой для всего последующего?

Началось все из-за незаслуженной и непонятной вражды местного городского транспорта по отношению ко мне. Точнее — двух автобусных маршрутов — 126-го и 189-го, в маленьком Ванве, предместье Парижа, где я сейчас живу.

Обычно автобусом я не пользуюсь, предпочитаю до метро идти пешком — семь-восемь минут прекрасного моциона для человека сидячего (или лежачего) образа жизни. Но когда торопишься и каждая минута на счету, они оба, точно сговорившись, бесстыдно издеваются над тобой. 126-й стремглав выскакивает из-за угла и у остановки не задерживается — в этот момент она, как назло, пуста,— а 189-й, неторопливо появляющийся из-за другого угла, Бог знает сколько времени торчит под красным светом и когда наконец, запыхавшись, в него влезаешь, еще дважды застывает у светофоров, пока не доберется до метро.

Короче, выходя из дому, я сразу же начинаю бежать.

Так и в этот раз. Мы со 189-м одновременно появились из-за своих углов. Я припустился, чтоб поймать его на следующей остановке. И нужно же, чтоб именно

Впервые: London, 1983.

в этот день, час и минуту хозяйка магазинчика готового платья надумала мыть тротуар. Причем не просто мыть, как всегда, а еще и с мылом. Одним словом, растянулся. Во всю длину. И вот тут-то, поднимаясь,— слава Богу, никаких шеек бедра, слегка только ушиб колено,— я невольно скользнул взглядом по вывеске магазина. «Саперлипопет». Господи, сколько раз я проходил мим этого магазинчика — распродажа каких-то кофточек, джинсов, юбчонок — и ни разу не обратил внимание на вывеску, название его. Саперлипопет...

Весь день вертелось у меня в голове это идиотское слово. Дома сразу же ринулся к Ляруссу. Оказывается, это французское «жюрон», нечто среднее между ругательством и восклицанием на манер русского «а, черт!», сейчас полузабытое и замененное более коротким, энергичным и малоприличным «мэрд!». (Диву даешься, когда слышишь на каждом шагу из уст самых что ни на есть галантных французов это слово, означающее просто-напросто «г....о».)

Но откуда и как застряло в моей памяти оно, это заковыристое «саперлипопет»? И голос, интонация...

Только какое-то время спустя, вытирая пыль с чернильниц и пресс-папье ломберного столика, я взглянул на фотографию моего старшего брата Коли в гимназической форме, и меня вдруг осенило — это он. Это его голос.

Как необъяснимо и загадочно все связанное с нашим внутренним миром. С памятью, в частности. Мучительно пытаюсь сейчас вспомнить, о чем мы условились вчера с не очень, правда, мне нужным типом насчет завтрашней встречи, а вот солдата Ютэн и лежавшего рядом с ним зуава помню, как будто вчера их видел. Оба они лежали в «Опиталь Станислас», где работала тогда мама, один ранен был в ногу и позвоночник, другой в руку. И даже запах, исходивший от их гипса, я вспомнил, когда мне в свою очередь накладывали гипс в госпитале, в Баку. В Баку мне было уже тридцать с чем-то, а тогда, в Париже, четыре или пять...

Вот и Колин голос звучит до сих пор в ушах. А его давно уже нет в живых, и когда он погиб, мне было восемь, девять...

На фотографии на ломберном столике ему лет шестнадцать, не больше. Задумчивый мальчик в сереньком мундирчике и гимназической фуражке с гербом. Когда ж это снято? И где? Роюсь в памяти, в старых альбомах,

сохранившихся письмах, но концы с концами никак не сходятся.

В общем-то я плохо помню Колю. Любил ли он меня, своего младшего брата? Боюсь, что не очень. Заставлял целовать отталкивающие, цветные изображения каких-то язв и болячек в мамином медицинском Ляруссе. А однажды, схватив меня под мышки, перекинул через перила балкона, а жили мы на пятом этаже — и так и держал на весу, заявив, что, если признаюсь, что не люблю бабушку, помилует, а нет... Было очень страшно, но я не признался. Весьма горжусь этим поступком, пожалуй, единственным героическим в моей жизни. Очевидно, он был очень сильным, Коля, если мог держать на весу, на вытянутых руках шестилетнего мальчишку — никак не меньше мне было в ту пору.

Возможно, именно тогда, над пропастью, и врезалось мне в память это самое «саперлипопет», в сердцах вырвавшееся у моего мучителя.

Жестокость в определенном возрасте свойственна подросткам. Коля был жесток. По отношению ко мне, во всяком случае. И в то же время мог подолгу сидеть со мной и рисовать истории забавных человечков, нечто вроде околдовавших потом весь мир комиксов. Терпеливо и даже любовно поправлял неуверенные мои каракули. И вечером, перед сном, мог вдруг подбежать, обнять, расцеловать и щелкнуть по носу — спи, саперлипопет! И я любил его за это. За все. Даже за Ляросс.

И плакал, плакал, долго плакал, когда мама вернулась из Миргорода, так и не обнаружив тела погибшего Коли.

Коля был очень талантлив. Мне ясно это особенно теперь, когда я разглядываю его рисунки. Они сохранились. Я их развесил над ломберным столиком. Рисованию нигде никогда не учился, но его пастельки, гуаши и коллажи сделаны рукой не любителя. Они на уровне тех лет, лет перехода Кандинского от Мюнхена к самому себе. Но Коля никому не подражал. Смотрю на свои рисунки,— тоже всю жизнь рисовал,— то под Добужинского, то под Бенуа, Билибина, Акимова, а то вдруг вылезает Гоген, Озанфан. Сделано много, но пусть лежит в папках, показывается друзьям, выставлять нельзя — подражание, нет собственного лица. У Коли оно было.

Он и писал. Больше по-французски, но кое-что и русское сохранилось. Какие-то начала, недописанное. Стран-

ное, полукафкианское. Какой-то тип, живущий с улиткой...

Увлекался театром, эстрадой. Сохранилась тетрадочка с вырезками из парижских журналов. Знаменитые шансонье, звезды кафешантанов и кабаре.

Кем был бы он, переживи он свои восемнадцать лет? Не вернись он на родину...

Да, ему не было еще и двадцати лет, когда его убили, засекли шомполами. Думаю, что неполных девятнадцать лет...

2

Случай... Предопределение. Пророчество. Расположение планет. Пятна на солнце. Расположись они как-то иначе в тот памятный всем день 25-го октября 1917 года и не было б теперь Андропова, а до него Брежнева, ну и т. д. Не замучай насморк Наполеона в день Бородина... Поставь Штауфенберг свой портфель с бомбой сантиметров на десять ближе к Гитлеру... Выстрели удачнее,— назовем это так,— Фанни Каплан...

Парапсихология. Телепатия. Телекинез. Недавно узнанное мною слово — реинкарнация — продолжение жизни личности после физической смерти в какой-то иной форме и ее последующее воплощение.

Все это чепуха — говорят люди положительные и здравомыслящие. Я к ним не отношусь. И если не очень верю в зеленых человечков, то во всякие чудеса, даже в привидения, верю. Ну, не может же, посудите сами, какой-нибудь шотландский или нормандский замок существовать без своей Белой дамы или всяких там вздохов и завываний замученных жертв. Именно отсутствие их было бы противоестественным.

А загадки мироздания?

Пролетела мимо пчела. Пчелка-мохнатка. Покружилась, покружилась над ромашкой и села на нее. А кто тебя придумал, ромашка? Твои лепестки, твою симметрию? Или асимметрию орхидеи? А пчелке-мохнатке ее крылышки, сколько-то там тысяч ударов в секунду? Кто? И зачем? И почему у нас одна печенка, одна селезенка, а почек две? И сердце одно. (Впрочем, в соседней палате, в Баку, лежал солдат, которому безжалостная немецкая пуля пронзила сердце. А он не умер. Оказалось справа другое сердце... Но это так, к слову.) Ясно одно — мир полон загадок...

Вот такие мысли одолевают меня сейчас здесь, в уютном садике у друзей на окраине Женевы. Сижу под сосенкой в покойном кресле. В трусах. Не жарко, легкий ветерок, пишу.

Пчела посидела на своей ромашке и улетела. Легкие, белые облачка над моей головой рассеялись. Одно довольно долго стояло, и нижняя часть его — я никогда такого не видел — семи цветов радуги. Опять загадка — горизонтальная радуга. Я даже сбегал за фотоаппаратом и сфотографировал.

Пчела улетела. Пришел Вадик, внук. Я его тоже вытащил в Женеву, с другом, подальше от школьных двоек и родительских слез. В ухе уже серьга, маленький, вроде золотой, шарик. У Людо еще нет, но будет, не сомневаюсь. Представляю, что было бы, появись милый мой Вадик с этой серьгой в своем родном Кривом Роге. Том самом, о котором, когда его спросили, где этот город находится, без колебания ответил: «За границей».

За границей... А не вспыхни вдруг на солнце протуберанец, или не переместись Альдебаран в сторону созвездия Гончих или каких-нибудь других Псов, и гнали бы сейчас Вадика в «Гастроном» за колбасой, говорят, только что выбросили московскую, и не просил бы он у меня двадцать франков — «Хватит и десяти»,— «Но нас двое...»,— «Но франки швейцарские, один к трем, значит, тридцать французских...», и даю все же двадцать, и они в своих маечках и джинсах удаляются играть в какие-то кегли — это тут, совсем рядом, у кафе, скоро вернемся. Вернулись в девять утра. Где были, что делали, негодяи? Молчат. Загадка. У Людо в ухе тоже уже серьга.

Протуберанцы... Пятна на солнце... Реинкарнация...

А может, все-таки случай, Его Величество случай? Стечение обстоятельств. Ненаучно? Согласен. И все же... Саперлипопет...

3

В борьбе обретешь ты право свое. Эсеровский лозунг. Одного живого эсера я знал. Дядю Колю, он же Ульянов (нет-нет, никакого отношения!..). Почти всю жизнь прожил в Швейцарии. Принимал участие в московском эсеровском восстании, потом то ли понял что-то, то ли испугался и, оказавшись каким-то образом в Швейца-

рии, вернулся к своей основной профессии геолога. До гробовой доски занимался Монбланом. Встретившись с ним на склоне моих и еще более крутом его лет, я обнаружил в нем борцовские задатки (или остатки) только по отношению ко мне. Весьма темпераментно, несмотря на свои девяносто лет, доказывал мне, что американцы плохие, а в советской системе есть кое-что и хорошее.

Я не принадлежал уже тогда к враждебной эсерам партии, поэтому позволял себе не соглашаться с дядей Колей и не очень щадил его, обладая несчетным количеством убедительнейших аргументов. Он обижался, обзывал меня «дураком», гневно хлопал дверью, но вскоре возвращался, и все начиналось сначала.

Я заговорил сейчас о дяде, хотя и писал в свое время о нем, потому что именно он напомнил мне эсеровский лозунг, а я, невежливый племянничек, спросил его, как он этот лозунг воплощал в жизнь. «Дорогой дядя Коля,— закончил я свой монолог,— не окажись ты в Швейцарии, на груди утеса-великана, твоего любимого Монблана, гнить бы твоим косточкам где-нибудь на Колыме или Магадане». Здесь произошел взрыв: «Идиотское «бы»! — закричал он на меня.— Если бы, если бы... Если бы, да кабы, да во рту росли грибы. Если б Наполеон на месяц раньше начал свой поход на Россию. Не в июне, а в мае, даже в апреле. А? Если бы, если бы... Если бы твои родители не вывезли тебя из Парижа в пятнадцатом году? Кем бы ты был, в кого бы вырос? А? Отвечай!»

Не помню, что я ответил, очевидно, не удержался и сострил, подлив масла в разбушевавшуюся стихию, но вопрос этот запал мне в душу. А действительно, не вывези меня родители в пятнадцатом году? Кем бы был, в кого бы вырос? А?

Предлагаю некую игру. Может, не всем она будет интересна, поскольку касается в данном случае меня, и все же приглашаю.

Человек устроен так, что в определенном возрасте на будущее начинает смотреть пессимистически, к прошлому же относится не всегда с нужной долей критики.

Одним словом, мы склонны идеализировать если не самих себя — мы люди скромные,— то свое прошлое. Давайте же сейчас, включившись в предлагаемую игру, попытаемся, запасясь юмором, малость пожонглировать им, этим прошлым, потасовать колоду. Посмотрим, что из этого выйдет.

Маленькое вступление к игре.

За рюмкой водки, стаканчиком вина, кружкой-другой пива любим мы пофилософствовать. Что наша жизнь? Игра! Добро и зло — одни мечтания. Труд сладкий — сказки для бабья... Или — жизнь человеческая подобна кривой — взлеты, падения, опять взлеты. Я же, как художник, а не математик («Слаб в вычитании, путается в умножении, никакого понятия о делении» — первая четверть 1923/24 гг. уч-ка 3 группы 43-й ЕТШ В. Некрасова),— мыслю образами. Я вижу богатыря на своем буланом коне на перепутьи, перед бел-горюч камнем. «Поедешь налево — татарин. Поедешь направо — соловей-разбойник, поедешь прямо — Лубянка».

А может, не Лубянка, а Шанз-Элизе или пляс Пигаль? Мне, например, попался именно такой бел- или розово-горюч камень...

Ну, а если б поехал влево? Или вернулся бы назад, в поисках другого перепутья, а там шестикрылый серафим?

Саперлипопет...

4

Конечно, об этом говорили не один вечер. Ехать или не ехать? Немцев удержали на Марне, но они все же рвутся к Парижу. Обстреливают из «Больших Берт», сбрасывают бомбы с цеппелинов. Для малыша это только развлечение — вчера никак нельзя было оторвать его от окна, ночное небо исполосовано прожекторами и где-то на скрещении их лучей серебрится сигара. «C'est lui! Regardez! Regardez!» — «Это он, смотрите, смотрите!»...

Коля, как и положено всякому пятнадцатилетнему, хотя и побаивался, но упаси Бог обнаружить этот страх, проявляет недюжинные познания в военном искусстве. В спор об «уезжать или не уезжать» не вступает.

Бабушка же и мама говорят об этом, как только мать возвращается из госпиталя.

Бабушка, Алина Антоновна, больше всего боится, конечно, за детей. Немцы возьмут Париж, куда мы денемся? А Киев — там и мебель, и все вещи наши,— все-таки дальше от фронта. И вообще, это Россия. Если уж попадать немцам в руки, так лучше в своей России. Всегда можно скрыться на какое-то время у Сережи Эрна, бабушкиного племянника, в его поместье

в Солоновщине. А здесь куда? Ни друзей, ни знакомых французских, одни русские...

Мать на противоположных позициях. Немцы никогда не возьмут Парижа. И вообще, ей как врачу не гоже бросать свой госпиталь — раненых с каждым днем все больше и больше, а врачей, особенно хирургов, криком кричи, а больше не становится. Сегодня с Соммы двадцать человек привезли, из них восемь тяжелых, а класть некуда, и главный хирург к тому же заболел. Бросать госпиталь в такой момент преступление. И только потому, что Киев дальше от фронта, чем Париж.

Последующие события показали, что мать совершила-таки это преступление. После, надо думать, долгих и утомительных споров относительно маршрута — через Италию и Грецию или Англию — Швецию, выбран был северный путь. Следующий этап — что взять, что оставить, как быть с Викиной нянькой — бретонкой Сесиль — хочет тоже уехать? Наконец все упаковано, Сесиль оставлена, и через Лондон, Северное море (немецкие подводные лодки!), Швецию, Финляндию семейство добирается до России и оседает в Киеве, где мебель и прочие вещи... Начинается новая жизнь.

Ну, а победи мама, а не бабушка?

Война бы кончилась, не без маминого участия, можно было бы и не краснеть. Дети росли бы. Возможно, Февральская революция опять поманила бы в Россию, но неумение принимать быстрые решения привело бы к тому, что дотянули бы до Великой Октябрьской социалистической революции, а та смешала все карты.

Гражданская война. Глазами из Парижа. Коля, думаю, особенно ею бы не интересовался (даже там, в Миргороде, не так он ею, как она им заинтересовалась — нашел большевистский патруль французские книжки у мальчика — шпион! — и убили). Младший же (как это было в Киеве) болел бы за белых, добровольцев, так они себя называли.

Первая волна эмиграции. Дружба с генеральскими отпрысками. Единая, неделимая. Потом все это надоело бы — споры, ссоры, распри...

Лицей. Институт. Возможно, тоже архитектурный («мальчик так хорошо рисует...»). Корпение потом над скучными планами в частном архитектурном ателье. Возможно, одновременно пописывал бы рассказики а-ля Пруст, читал бы французским друзьям в Клозери де Лила или в тесной мансарде в Марэ.

Правый, левый? Скорее левый, рвался бы в Испанию. Гитлера ненавидел, поглядывал бы на Москву. В войну ринулся бы в маки. С полного одобрения матери — «Иди, иди, малыш, только давай о себе как-то знать...». После войны рвался бы в Советский Союз. «Все-таки мы, русские, победили!» В маки дружил бы со сбежавшими из плена советскими офицерами. Вот это ребята! О них написал свою первую книгу «Дымок махорки». В определенном кругу прозвучала, даже какую-то премию получила.

Крушение Сталина переживал как личную трагедию. «Дядя Коля, кажется, с ним встречался,— говорила мать,— не очень одобрял, спроси у него». А жена, если русская — «Ну и слава Богу, вздохнут наконец люди», а если француженка, повторяя слова то ли Сартра, то ли Арагона: «Идиот этот ваш Круштншэф, совсем не думает о Булонь-Биянкур... Во что ж им, рабочим, теперь верить?»

Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев...

Максимов, к которому он ринулся, как только тот оказался в Париже, разливая водку по стаканам (о Господи, и это все надо выпить сразу?), говорил ему...

— Вы идеалист, Виктор. Все ищете жемчужину в говне. А ее нет, как ни ищи. А если найдете, знайте, что она из того же вещества... Все вы, русские, никогда не бывавшие в России, путаете русское с советским. И радуетесь не тому, чему надо. Радуетесь дутым успехам. Ах-ах, победили безграмотность! А вы знаете, что это главная беда советской власти? Ну, не беда — ошибка. Беда наша, народа. Читать-то научили, а книги запретили. И те, кто пишут, главные враги. Будь он даже мальчишкой-поэтом, читающим свои стихи у ног Маяковского...

— Да, но ведь и при Сталине были и Твардовский, и Пастернак.

— А Маяковский пустил себе пулю в лоб... И не равняйте Пастернака с Твардовским. Один был блаженненький, но гений, а другой, хоть и честный человек, но искренний коммунист, верящий в коммунизм. Теперь таких уже нет.

— А вы уверены, что верил?

— Верил. Более того, верил в Сталина.

— А вы?

— Вопрос, на который так прямо не ответишь. Верил, не верил... Сгубил миллионы, знаем, но все же

помним, что Рузвельты и Черчилли, встречаясь с ним, терялись. Вот он и вышел победителем. В Берлине — над немцами, в Ялте, над союзниками. Нет, я не верил в Сталина. В тоталитаризм верить нельзя. Ему можно либо покоряться, либо восставать...

— Почему ж вы не восстали?

— Стыдно, Виктор, надо знать историю своего народа. Помнить о Новочеркасске, о танках, окруживших восставшие лагеря. О том, что командование садилось даже за один стол с руководителями этих восстаний, даже вставало, чтоб почтить память погибших. Потом теми же танками задавили бунт. Но бунт-то был, был, был... А вы говорите...

С Максимовым трудно спорить, у него пропасть аргументов, к тому же он все время подливает.

На каком-то симпозиуме или коллоквиуме встретился с Войновичем. Кажется, в Лос-Анджелесе. И тот с места в карьер:

— В России были?

— Нет.

— Почему?

А черт его знает, почему. То ли боязно в чем-то разочароваться, то ли с грубостью сталкиваться не хочется. О ней столько говорят приезжающие.

— Простите, но вы писатель русский или французский? — вторым вопросом огорошил Войнович.

— Писатель русский, но пишу по-французски.

— Как Набоков?

— Не надо параллелей, Владимир Николаевич. Набоков есть Набоков, а ваш покорный слуга... Что поделаешь, живу во Франции, французский мне ближе, но без русских не могу. Особенно, когда столкнулся с вами, с той стороны. В маки в первый раз.

— Не с той стороны, а из России. Вы русский, Россия ваша родина. Вы ж там родились?

— Там. В Киеве. В матери городов русских.

— И неужели не тянет туда?

— Тянет, а как же...

— Ну вот и поезжайте, зачем остановка?

Легко говорить «поезжайте». Это тебе не Италия, Испания, сел в машину и покатил. Это встреча с родиной, которую не знаешь. Вернее, знаешь, но как, по книгам, «Юманите», рассказам родителей, своих и чужих, всегда что-то идеализирующих в потерянной своей молодости, по кинофильмам, таким разным — «Падение Берлина»,

«Журавли», «Баллада о солдате»,— никогда не поймешь, где в них правда, где вранье, по тому же Войновичу, по новым, недавно появившимся авторам... И ехать не для Эрмитажа и Третьяковской галереи, а для чего-то существенного. Для общения. Вот и здесь, с советскими, как-то не очень получается. Не то что они, советские, высокомерны, нет, но, когда говоришь с ними, в каждом их слове чувствуешь — «Ну как вы можете это понять? Мы прошли через все, понимаете, все. Энтузиазм, гордость, унижение, убийства, растления, героизм, победу... Все на собственном горбу. И знаем, ЧТО несем вам. А вы нас слушать не хотите. А несем мы вам рабство. Ясно?»

А мы, действительно, не понимаем. О каком рабстве можно думать, когда смотришь Плисецкую или Васильева в «Спартаке», взбунтовавшемся рабе.

Войнович улыбается своей милой улыбкой.

— Вот в этом-то и закавыка. Мы мастера обманывать. А вы мастера покупаться. Вас ничего не стоит купить. Умиляетесь нашему балету, бешено аплодируете Краснознаменному ансамблю, гордитесь Гагариным, а он был той же собачкой, что в космос запустили, только в отличие от нее малость выпивал... Оттуда и алконавт слово пошло. Верите в наш спорт, в победы на Олимпиадах. Не знаете, что все эти купленные машинами, дачами, заграничными поездками мальчики лишаются всего, если только проиграют. Короче, обмануть вас — раз плюнуть. Вы доверчивы. И в то же время не верите в то, во что надо верить. Вы ахнули от солженицынского ГУЛАГа. А сколько до него о том же самом писалось? Не верили. Не может быть! У Гитлера было, знаем, но это же Гитлер, говорите вы. А то, что Сталин сажал и губил не только евреев, а всех, без разбора, это в мозгу у вас не укладывалось. Не может быть! И опять же Плисецкая, Рихтер, Прокофьев, Шостакович, Эйзенштейн...

Нет, с ними трудно спорить. Они, действительно, знают что-то, чего не знаем мы. Но, кроме того, они считают, что и нас самих они знают лучше, чем мы сами. Языка не одолели, газет не читают, им пересказывают их содержание, но суждения обо всем категорические, возражений не терпящие: Картер тряпка, Штраус — молодец,— все зависит от степени ненависти к советской системе.

Войнович опять смеется.

— Да поймите вы, Христа ради, что она заслужила эту ненависть. Вот для вас хуже всех Пиночет. Диктатор, видите ли... А мы только улыбаемся или злимся. Тоже мне диктатура. В день какого-то юбилея Неруды многотысячная демонстрация, антиправительственные митинги. И никто не разгоняет. Десятка два крикунов арестуют, а к вечеру они уже на свободе. Диктатура... А у нас. Попробуйте выйти на Красную площадь с лозунгом, пусть на нем только «Миру — мир» будет написано, сразу же схватят...

— Зачем же мне тогда в эту страну ехать? Даже без лозунга «Миру — мир»?

— А чтоб собственными глазами все увидеть!

И он поехал.

5

Поехал посмотреть собственными глазами. С туристской группой. На десять дней. Москва, Ленинград, Киев. Поехал к себе на родину. Со своим деревянным эмигрантским русским языком — «не так ли?», «взял поезд», «курьезно», «роояль», «коолит», «синема» — да и интонации французские, кверху в конце фразы и все время вырывающиеся «а бон», «д'аккор» [1]. В своих, попроще, стоптанных туфлях «Bally», пятилетней давности рубахе, но с выточками, которые сразу же засекались москвичами, как и джинсы («в Москве 200 рублей пара, а все мальчишки носят, не удивишь»), а джинсы удивляли неизвестным еще покроем и пуговицами вместо эклер-молний. Ходил по Москве, тут же разгаданный и разоблаченный, преимущественно молодежью, а те, что постарше, все больше расспрашивали про Польшу и Афганистан — «У нас, в очередях, всех этих строптивых братьев-соседей только осуждают. Мы их кормим, освобождаем, а они еще недовольны, бунтуют... В Ярославле, приехала тут одна, рассказывает, и по карточкам-то ничего не достанешь, яиц месяц уже не видели, а они, видишь,— свобода им нужна, профсоюзы какие-то...».

В Третьяковке (москвичи обожают эти Третьяковка, Маяковка, Отечка...) бесконечно долго держали возле «Утра стрелецкой казни» и «Княжны Тараканой-

---

[1] «хорошо», «договорились» (*фр.*).

вой» — посмотрите, как выписан шелк! — а о Кандинском та же экскурсоводка, милая и интеллигентная, испуганно сказала: «Нет, не в русле русского искусства. Народом не воспринимается». В Ленинграде кроме Эрмитажа, Русского музея и маятника Фуко в Исаакиевском соборе показали дом, где жил Достоевский, и Раскольников, старуха-процентщица. Но больше всего говорили о Пушкине, к месту и не к месту цитировали его стихи. В Петропавловском соборе, где похоронены цари, на вопрос о том, правда ли, что при вскрытии гробницы Александра I там ничего не обнаружили, сухо было отвечено: «Никакого вскрытия не было. Бабьи сплетни». При осмотре же тюремных казематов просто ничего не ответили, когда кто-то спросил: «А есть ли тут камеры тех, кто уже при советской власти был арестован? Министры Временного правительства, например?» — молодой человек, водивший экскурсии, просто сделал вид, что не расслышал вопроса.

От Киева, где он родился, матери городов русских, осталось какое-то странное, двойственное впечатление. И красив, ничего не скажешь, и фальшив одновременно. Нашел дом, в котором родился, на Владимирской, № 4, рядом с немыслимо чистенькой, точно к празднику приодетой Андреевской церковью. Растреллиевский шедеврик знал по фотографиям, а родной дом никаких эмоций не вызывал. Дом как дом, кирпичный, четырехэтажный, некрасивый, зато балконы большие, широкие. На одном из них, на последнем этаже, по рассказам матери, он провел первые месяцы своей жизни. Ну, провел так провел, велика важность. Доски мраморной о том, что родился здесь французский писатель с русской фамилией, никогда не будет, хорошо, что к какому-то торжественному юбилею доской, и кажется даже с портретом, почтили дом, где жил Булгаков.

Зато море эмоций, впрочем скорее отрицательных, вызвал победный мемориал над Днепром. Тяжеловесная Брунгильда немыслимых размеров с мечом и щитом в руках стояла на постаменте, в котором расположился музей военной славы. Но музей был закрыт на ремонт, и туристам показали скульптуры разных героев, очень мускулистых и решительных. Такие же бронзовые бицепсы, лятусы и могучие брюшные прессы показаны были на том месте, где тянулся когда-то Бабий Яр. Там расстреливали евреев в первые три дня оккупации.

Несколько десятков тысяч. Но об этом ни слова, ни в надписях, ни в облике полуголых гладиаторов, которым впору было передушить весь конвой, в лучшем случае обратить их в бегство...

Вечером бродили по Крещатику, широкой, пустынной, обсаженной деревьями улице. Из любопытства заходили в продуктовые магазины — их три на Крещатике, называются «Гастрономы» — у винных отделов происходили маленькие битвы. Тут же востроглазые, серолицые молодые люди приценивались к часам, к транзисторам, к джинсам, предлагали иконы.

Я, нынешний, парижский, эту крещатицко-гастрономовскую молодежь прекрасно знаю. Неоднократно одаривал рублями или сам в долю входил. Знаю, кто из них падок на часы, кто на «Плейбой» и футбольные журналы, кто торгует иконами якобы XVII века. Пьяницы. Есть и наркоманы, но за стаканчиком подкрашенной сиропом «Столичной» («бабуля, чтоб не засекли, хватай стеклотару, да поживей!») могут и об израильских успехах поговорить, и о результатах последнего Кубка Европы, и об Иди-Амине и Энтебской операции, и не только о цене (50 рублей!), но и о содержании «Мастера и Маргариты». И меньше всего о девочках. У них, в основном, стреляют на пол-литру, у них же, если живет одна или с подругой, ее же «раздавливают», а утром просыпаются малость опухшие и опять же выцыганивают что-то на «поправку». Все они вроде где-то работают, или числятся на работе, или делают вид, что ищут ее, целый день чем-то, не ясно чем, заняты, вечером же встречаются у «Гастронома» или на втором этаже «Мороженого», рядом, у входа в Пассаж, или напротив в так называемом «Ливерпуле», или в «Гроте» против улицы Ленина. И всегда есть что выпить, и о чем перекинуться парой слов, над чем посмеяться, над чем поиздеваться. Над потерями, убытками и прочими прорехами советской власти в том числе. Милиция их всех знает, но в общем-то не очень трогает. Ни их, ни присоседившихся художников, киношников, ни так называемых письменников.

Если парижский гость к ним присоединится (а такое случилось-таки), то, несмотря на дикую утреннюю головную боль и кое-какие другие последствия, случившиеся ночью («Ничего, парижанин, вытрем, не впервой...»), через неделю, в Париже будет о чем рассказывать...

— Ну, как съездили? — все с той же тихой, ирони-

ческой улыбкой спросил Войнович.— Понравилась ро дина?

— Споили, Владимир Николаевич, споили, как вы говорите, в доску. Что пили, не знаю, какие-то смеси, биомицин называли, разбавленный спирт, потом сказали, что мало и надо, чтоб я пошел в бар отеля «Дніпро», где продают на валюту, и я пошел, русских, советских туда не пускали, только иностранцев, и я взял две бутылки коньяка, и мы пошли назад, и опять пили, и они пели про какого-то корнета Оболенского или что-то в этом роде, потом раздобыли гитару, под нее бывший капитан пускал слезу, вспомнив, что до смерти четыре шага. Потом схватили такси — набилось в него человек шесть или семь,— ездили, называется, за «пополнением», в какой-то «паровозный резерв», где машинисты ночью обедают. И пьют, конечно. И мы пили. И пели во все горло, ночью, полиция, милиция то есть, почему-то не останавливала. В общем, было весело. Но утром, утром...

— М-да... В вашем возрасте все это не очень-то...

— Да в том-то и дело, что забыл про возраст. А здесь, в Париже, все время помнишь. Даже карточка такая есть, «Вермей» называется. Пятьдесят процентов скидки в поезде... И называемся мы «труазьем аж» — третий возраст... А впереди что? Четвертый? Для нас, русских, Сен-Жёневьев-де-Буа, где Бунин, Мережковский, Мозжухин, дроздовцы, Галич...

— Вот видите, зря мы, значит, ругаем советскую власть. Поехали, помолодели.

А Максимов сказал:

— Что киевская молодежь? Вы б с писателями погуляли, лауреатами и Героями Соцтруда, это вам не по рублику, или в бар за бутылкой коньяка, узнали б и «Арагви», и «Националь», «Метрополь», ЦДЛ. А повези вас в Тбилиси, ног бы не унесли, там бы и похоронили...

6

Да, поездка встряхнула. И основательно. Началось, конечно, с таможни. Молодые, кровь с молоком, таможенники так увлеклись «Пари-матчем» и «Плейбоем» (для того и взяты были), что не обратили внимания на «Жизнь и судьбу» Гроссмана, засунутую среди советских изданий Шукшина, Распутина, Белова. Так и провез, осчастливив москвичей,— умудрялись за ночь прочесть

все 600 страниц мельчайшего шрифта. Один же из молодых писателей, специализировавшийся на книгах о военной игре «Зарница» («я туда под шумок и Киплинга протащил, и генерала Баден-Пауэля, организатора первых скаутов в Англо-бурскую войну»), просто заплакал, когда Гроссман был ему оставлен на вечное пользование. «Ну чем я вас отблагодарю?» — и совал серебряные кавказские кинжалы, из моржовой кости эвенкские, у него была целая коллекция. А другой, журналист спортивной газеты, увидав набитую цветными фотографиями брошюру «Мундиаль-82», ахнул: «Вы знаете, сколько мне за нее дадут? Не поверите. Пару джинсов и Мандельштама впридачу, если уж очень буду жмотничать. Ну, а по вашим, парижским меркам, какой у вас самый дорогой ресторан?» — «Максим», «Распутин», «Царевич», «Шехерезада».— «Так вот, втроем целый вечер просидеть... — и тут же засмеялся,— а если буду только на один вечер давать почитать, то с «Динамо», допустим, смогу выдоить на ремонт квартиры. Небольшой, правда, однокомнатной».

В Париж вернулся с полупустым чемоданчиком «дипломат». Все оставил в Москве. Дома всплеснули руками: «Клошар!» — стираная-перестираная ковбойка, штаны с пузырями на коленях, стоптанные сандалеты...

Пожалуй, это больше всего, что поразило в Союзе — хотя и слыхал об этом неоднократно,— гипнотическая тяга ко всему западному. Неважно к чему, лишь бы заграничное. Не говоря уже о джинсах и рубахах — ручки, карандаши, зажигалки, темные очки (ого-го!), желтенькие бритвы (3 франка 5 штук), крем для бритья, зубная паста, щетки, гребешки, трусы-слипы (два мальчика из-за них чуть не передрались, пришлось уйти в ванную и снять свои, заменив их на цветастые «семейные» советские трусы), полиэтиленовые мешки «FNAC», баночки от йогурта и приведшие женщин просто в восторг зеленые губочки-терочки для мытья посуды. Все это было взято с собой — бери, бери, не представляешь, сколько счастья доставишь москвичам. И доставил!

Поразили и толпы людей, и не только мальчишек, стоящие на улице возле «Мерседеса», ожидающего своих хозяев неподалеку от «Националя» или у посольств. И это в стране ракет, летающих дальше всех и лучше всех. «А потому и гоняются наши бабы за зелеными губочками, что ракет не сосчитать,— сказал

один.— А будь ракет поменьше, а губочек и губной помады побольше, не тряслись бы вы перед нами, плевали бы, как на какую-нибудь Гану или Нигерию, где в джунглях разве что обезьяны не душатся «Герленом»... Впрочем, другой, скептик, заметил: «Так уж вы уверены, что ракеты эти летают и дальше, и лучше всех? Советское — это значит отличное! А мы говорим — это значит «шампанское». Тоже дерьмо...» Кстати о шампанском. Пьют его в Союзе разве что на Новый год, во Дворце бракосочетаний да когда перед закрытием магазинов на винных полках ничего кроме него уже не остается. Пьют же... Но это тема для отдельной диссертации. Во всяком случае, не так, как французы. Те пусть и с утра, в кафе, перед работой, рюмочку-другую, маленькими глотками, не торопясь, что-то обсуждая, свое, местное, футбольный матч.

Завели как-то москвичи любознательного своего гостя («собственными глазами хочу, собственными ушами...») в элементарную столичную «стекляшку».

Обычной, вываливающейся на улицу, очереди за пивом еще не было. У прилавка, как объяснили хозяева-москвичи, в этот ранний час только те, кому срочно надо опохмелиться. Двое в ржавых спецовках, с виду водопроводчики, угрюмо разделывали у стойки воблу.

— Дать кец? — спросил один из них, заметив внимательный взгляд гостя.

Гость улыбнулся: «Не откажусь».

И завязалась беседа, та самая, из-за которой и приехал-то он к себе на родину.

— Вот эта рыбина,— говорил старший из водопроводчиков,— слыхал я, что тогда, в гражданскую, кроме нее и пшена, ничего не было. А сейчас — попробуй достань. Тебе, хоть и русскому, но из тех краев, не понять. Купить ее не купишь, х...я, а достать можно. В обмен. Я одному хмырю кое-какие деталишки завалящие дал (тоже ни за какие деньги не достанешь), а он мне десяточек вот этой, золотистой. Вот так и живем...

Все это было сказано без признака улыбки, хмуро, зло.

Отсутствие улыбки особенно как-то поражало. В Париже, в метро, тоже не только целующиеся парочки, к концу дня на лицах серая усталость, здесь же, кроме усталости, какая-то внутренняя привычная озлобленность, затаенная готовность противостоять любой агрес-

сии, а она поминутно вспыхивает где-то при входе или выходе. Нет, ни в метро, ни на улице, ни в магазинах улыбки нет, не увидишь.

— А чего лыбиться? — пожал плечами все тот же, старший.— Вору не до улыбок. А мы все воры, дорогой товарищ, или как там у вас, камрад. Все. И этот, и этот, и этот,— у прилавка постепенно стали накапливаться любители пива.— А она, эта толстая у бочки, главная воровка. И все на нее в обиде, что не доливает, но понимают — иначе не проживешь. И советская власть наша, голубушка, тоже понимает. Воруй, только не зарывайся. Правильно я говорю, Антон?

— Точно,— кивнул Антон, помоложе.— Не воруют только футболисты да хоккеисты. Спекулянты, но не воры. Торгуют шмотками после загранки, зачем им воровать?

Тема эта, воровства и обмана, очень популярная в Союзе, получила свое развитие за отнюдь не пустым вечерним столом в одном из профессорских домов Москвы. Один из гостей, намазывая толстым слоем икру на ослепительно белый, хрустящий хлеб, с улыбкой (только здесь, за столом, они стали появляться) сказал:

— Вот икра. Ты самая, за которую девять грамм свинца замминистра рыбной промышленности получил. Откуда она здесь, на столе? И все прочее. Стол ведь ломится от яств. Где достали, дорогая наша хозяюшка, Мария Ивановна? В «Гастрономе» № 2, у Елисеева, на рынке? Черта с два! Женщина приносит. Есть такая женщина. Ворует и приносит... так выпьем-ка за женщин!

Все выпили за женщин. Потом кто-то крикнул: «А за мужчин? Мне тут один завмаг, не-не, не скажу какой, два кило копченых угрей по блату отпустил». И все выпили за мужчин.

Слово взял хозяин.

— Вы здесь совсем недавно, дорогой Виктор Платонович, но, вероятно, обратили все же внимание на обилие лозунгов «Партия и народ едины». Почему-то над всеми въездами в туннели висят. Многие смеются над ними. А я не смеюсь. И вы не смейтесь. Да, да, едины! Притерлись друг к другу, ненавидят, острой ненавистью ненавидят, те этих, эти тех, но на данном этапе, как говорится, прожить друг без друга не могут. На черта колхознику или рабочему хваленая эта демократия, свобода? Да он не знает, с чем ее едят. А тут все знает. Где и как толь достать, и что принести секретарю райкома, чтоб полу-

торку на сутки выдурить, а хапуге начальнику милиции, чтоб наскандалившего спьяну пацана твоего освободил. А Партия — та самая, с большой буквы, честь и совесть народа, знает, что как платят, так и работают. Ну и пусть воруют, только не зарываются. Едины, едины...

Вот это да! Какая прелесть! Простой рабочий и заслуженный профессор закончили свои сентенции одними и теми же словами. Словами, точнейшим образом определившими сущность советской власти. Воруй, но не зарывайся! Вероятно, и в Кремле, за тесными их застольями, они, так называемые руководители, ведя пьяную беседу на ту или иную тему, говорят, осуждая кого-нибудь из потерявших стыд министров: «Знает же, падло, что на воровство сквозь пальцы смотрим, без него наш винтик не проживет, но знай же, гад, меру. Воруй, но не зарывайся!»

Очень все это было интересно, стоило ехать. Интересно вникать в то, как советская хозяйка умудряется печься, чтоб холодильник был не пуст,— одна другой звонит, что где выбросили. Забавно обнаруживать в букинистических магазинах Матисса, Модильяни, Сезанна, Лежэ, в обложках «Скира», но, упаси Бог, Сальвадора Дали — его только из-под прилавка. Интересно, и не только печально, все, связанное с еврейским вопросом. Централизованный, насаждаемый сверху, антисемитизм и значительно меньший, чем можно было ожидать при такой легализированной директивности, охват им населения. И увлечение ивритом, древней историей, Библией определенной прослойки молодежи. И крестики на шее. И относительно малый процент наркоманов, при алкоголизме, ставшем уже всенародным бедствием. Слыхал, правда, что в Афганистане солдаты, лишенные привычной водки или самогона, с лихвой переключились на гашиш...

Все это интересовало, удивляло, пугало, радовало, восхищало, отталкивало, возмущало, не укладывалось в голове...

Одно особенно никак не укладывалось. Свободные, еретические речи, и не только за профессорским столом, а и в забегаловке, да еще с кем, с незнакомым иностранцем, с другой стороны всеобщая запуганность. Что вы, разве можно? Звонить в Париж, поддерживать переписку с уехавшими евреями? Телефон выносят в соседнюю комнату, покрывают подушкой, хотя все знают, что подслушивать можно и из стоящей у подъезда машины.

Ну, и излюбленнейшая тема, кто на кого «стучит». «Не может быть, чтоб на тебя не «стучали». Исключено. Но кто, кто?» И всем, сидящим за столом, становится не по себе.

7

По части запуганности, или, скажем так, разновидности ее — лояльности по отношению к советской власти, цену которой знают поголовно все — поразил особенно старый друг детства, еще парижского. Он со своими родителями вернулся в Россию тогда же, в пятнадцатом году. Отец его занимал какой-то крупный пост, но, как ни странно, умер естественной смертью, а сам Мика стал одним из ведущих журналистов страны. Из тех, кто без конца ездят по заграницам, участвуют во всех конгрессах, съездах, обо всем, что происходит в мире, знают не только понаслышке.

На телефонный звонок ответил сдержанно — «А-а, очень рад, очень рад...», но особой радости в голосе не чувствовалось. Тем не менее пригласил к себе в гости. Жил он в одном из безликих, высоких домов, что выросли на месте старых особнячков арбатских переулков. Квартира большая, светлая, с двумя балконами и видом на кремлевские башни. Обставлена со вкусом, с некоторой претензией — чувствовалось, что хозяин усердно листает заграничные архитектурные журналы.

Низкие столики, шарообразные, подсвеченные аквариумы с экзотическими рыбками, в углу, в японской вазе нечто вроде икебаны из веток и листьев, на стенах африканские маски, абстрактные полотна, на почетном месте, над камином (электрическим!) два пейзажика в золоченых рамах — Марке и Дерена...

Именно о них, как и где они ему достались, больше всего хотелось говорить в этот вечер хозяину. О них, и о бутылке старого «Амонтиладо» («Помнишь Эдгара По?»), привезенной им из Штатов, о маленькой японской сосенке «банзаи», которая, увы, гибнет, хотя из Японии ему присылают удобрения и по телефону дают советы — что поделаешь, климат не тот...

В прихожей, встретившись впервые через пятьдесят с чем-то лет, развели сначала руками, потом обнялись, ткнулись друг в друга щеками, потом отодвинулись, посмотрели опять друг на друга и, не сговорившись, одновременно произнесли протяжное «м-да-а»...

Полнотелая, добротная жена с бриллиантовыми серьгами в ушах сказала, соответственно торжественному моменту:

— Встреча двух миров! — и серебристо рассмеялась.— Ну как, узнали бы друг друга на улице?

— А как же,— сказал гость.— По жгучим, рыжим кудрям...

— А я по золотым локонам,— ответил хозяин, и оба рассмеялись — один был лыс, другой сед.

Представили сыновей-близнецов, вежливых и безразличных. Они тут же исчезли, за столом выпили по рюмке водки и растворились навсегда. «Свои дела, свои жены, у каждого уже по второй, нет, не в нас, не в нас...»

До застолья ходили по квартире, рассматривали картины, негритянских божков, о каждом рассказывалась его история, потом рассматривали старые альбомы с фотографиями, поахали-поохали над одной, где три пятилетних мальчика, один кудрявый, другой златокудрый, а третий в шапочке, держатся за руки и внимательно ждут птички, которая должна вылететь.

— И кто б мог подумать,— вздохнул хозяин, перехватив готовую эту фразу у гостя.— Росли вместе, кормили уточек в пруду, лепили песочные бабки, смотрели «гиньоль» и вот, пожалуйста, один маститый борзописец, другой французский бель-лэтр, а третий... Пал смертью храбрых наш Алик, до войны подававший надежды поэт, на фронте журналист.

— Он, кажется, в Новороссийске погиб, на той самой Малой земле, воспетой Брежневым?

— Да. В Новороссийске,— сухо сказал Мика, не подхватив брошенный ему мяч. В дальнейшем он тоже всячески избегал его.

После третьей или четвертой рюмки заговорили о войне, о Сталине. Собственно говоря, заговорил не Мика, а Вика, хотя Мика в 42-м году некоторое время был в Сталинграде, корреспондентом «Известий», в довольно близких отношениях был с Еременко, командующим фронтом, с Чуйковым. Хорошо знал, встречался там с Симоновым, Гроссманом...

— Кстати, ты читал вторую часть его романа, арестованного в свое время? — спросил Вика.— Недавно на Западе вышел. «Жизнь и судьба» называется.

— Пытался, не пошел... И шрифт мелкий, глаза устают.

— То есть как это не пошел? — опешил гость.— Ты, сталинградец, из-за мелкого шрифта не прочитал лучшее, что написано о Сталинграде? Не понимаю.

— Прочту, прочту, не беспокойся,— замахал руками Мика, точно отбиваясь.— Вообще, про войну как-то уже не очень хочется. Столько уже написано.

— Ну, а новоиспеченного лауреата небось все же читал? Может, и писал даже?

— Чего с журналистами не бывает. Мемуары Черчилля, де Голля, даже о стихотворных упражнениях великого кормчего пришлось писать.

— А, корифея всех времен и народов? В журнале «Иберия» за тысяча восемьсот какой-то там год?

— Нет,— коротко отрезал Мика и посмотрел на жену.— Где ж твоя хваленая индейка, хозяйка?

Но малость выпивший гость не унимался:

— Поразили меня ваши водители троллейбусов и автобусов. Культ личности и тому подобное, а у них эта самая личность на самом видном месте, на ветровом стекле.

— Что ты хочешь, народ соскучился по настоящему хозяину.

— Ты это серьезно? А коллективизация, расправа с армией, ГУЛАГ, дело врачей, все это что, забыто?

— Ну как тебе сказать...

И так и не сказал, зазвонил телефон, потом вышел из кабинета с книгой в руках.

— Тут кое-какие мои статейки. О разных странах. О Южном полюсе даже. Бывал там, нет? А я был.

На первой странице размашистым почерком было написано:

«Другу детства, французскому писателю от советского журналиста. Ха-ха!

Мика».

Расставаясь, о месте новой встречи не условились. Не было даже сказано: «Будешь в Париже, заходи».

8

Тема Сталина развилась на следующий же день в крохотной каморке молодого — относительно молодого, сорок с чем-то лет,— художника-диссидента, который упорно не желал считать себя таковым.

— Ну, какой я диссидент. Диссидент это борец, протестант, а я вольный художник. Хочу делать то, что хочу, не спрашивая разрешения, вот и все...

Гость был в восторге от проведенного вечера, скорее даже ночи. Никаких зажженных, как вчера, свечей и подсвеченных золотых рыбок, и у жены в ушах никаких бриллиантов, ели на клеенке, пили не из хрусталя, а из кружек, и не заморское «Амонтиладо», а нормальную водку. Стены были увешаны не Деренами и потугами на Поллака, а веселыми пародиями хозяина дома на Пикассо, Матисса, даже Джотто, и среди них два пейзажа вполне реалистические и жанровая сценка — очередь к московским такси.

О живописи говорили недолго, закончили рассматриванием альбома гитлеровских акварелей времен еще той войны, кто-то из фронтовиков подарил.

— У нас считается бездарностью,— говорил Эдик, аккуратно переворачивая страницы,— несостоявшийся архитектор, горе-художник, а я вам скажу, гений не гений, но профессионал. Акварель — самая сложная техника, а посмотрите на эти облака, на клубы дыма. Лихо сделано. И впечатляет даже.

Впечатляли, правда, не так клубы дыма над горящими французскими городами, как полиграфическое воспроизведение всего этого. Бумага, штрихи, акварельные потеки, пятно от капнувшего кофе. Полное ощущение оригинала, а не копии.

— И в геральдике разбирался,— добавил с усмешкой Вика, в детские еще годы придумавший и нарисовавший собственный герб.— Сталин в этой области был профаном, нет ничего бездарнее советских орденов и медалей.

Тут Эдик посмотрел на гостя не то что с печалью, а даже вроде осуждающе.

— Ах, дорогой Виктор Платонович, профан, профан... Ну, профан... Придумал всех этих Кутузовых и Суворовых, а с формой несколько подкачал. Развешивал в своей комнате вырезки из «Огонька», а Гитлер, может быть, оригиналы Кранаха. Один писал стихи о ландышах, другой делал, пусть профессиональные — в этом, может, быть и разница — акварельки войны. Другое страшно. Не знаю, как с Гитлером в Германии, а у нас со Сталиным... Вы знаете, что я себе представил однажды? Высадись где-нибудь в Коктебеле, допустим, отец и учитель, как в свое время Наполеон с острова Эльбы. Сто дней. Помните? Французские газеты писали вначале —

«Узурпатор высадился в бухте такой-то», а через сколько-то там дней — «Его Императорское Величество вступает в Париж!». Солдаты, посланные Бурбонами задержать его, падали на колени, рыдали. Маршал Ней — тот самый, любимец, а потом враг — тут же перешел на его сторону. А Наполеон шел и выходил первым — «Стреляйте в своего императора!». Так вот, я боюсь, что случись такое сейчас со Сталиным, окажись он живым,— допустим такую петрушку — на руках внесли бы в Кремль.

Это был самый серьезный разговор в Москве. Да и не только в Москве. Вообще.

Сталин. Гитлер... Нужны ли параллели? Сопоставления? И тот и тот убийца. Но один говорил — ты лучше всех, красивее, умнее, чище, но тебе тесно. И мешают евреи. Уничтожим их, пойдем на Восток, где и земли, и недра, и люди, не умеющие этим распоряжаться. Победим и заживем! И во имя этого убивал евреев, коммунистов, всех, кто стоял на его пути. А другой? Убивал побольше первого и не только евреев и коммунистов (а их тоже), убивал всех, без разбора. Но в силу очень сложных обстоятельств стал главным врагом Гитлера. И победил его, единственного человека, которому поверил в 1939 году. Победил. Не считая трупов. А победителей, как известно, не судят. Поэтому не судили ни Молотова, ни Кагановича, ни Маленкова, у которых крови на руках побольше, чем у томящегося в тюрьме Шпандау старика Гесса, не судили и самого Сталина. Выгнали, правда, из мавзолея, но не развеяли прах тайно по ветру, а перенесли чуть ближе к кремлевской стене и над могилой его красивый бюстик работы то ли Меркулова, то ли Томского, и каждое утро на плиту кладут утвержденные по списку одного из кремлевских учреждений три пиона, таких же, как у Калинина, Буденного, Ворошилова...

Всю ночь они говорили с Эдиком про Сталина.

— Ну что вы,— убеждал малость захмелевший Вика.— Сто дней, Эльба, Коктебель... Наполеон, при всем этом, был военным гением. И бесстрашным к тому же гением. Аркольский мост, чумные лазареты. Аустерлицы, Фридлянды, Ваграмы — это его победы. Победы военачальника. А Сталинград? Победа солдат, а не маршалов...

— Виктор Платонович, дорогой мой, поверьте мне, я не идеализирую этого убийцу, но именно он — пусть и перепугавшийся насмерть в первые дни войны — имен-

но он, не принимавший участия ни в одном Аустерлице, понял, что надо вернуть из лагеря Рокоссовского, именно он прогнал всех Ворошиловых и Буденных и оперся на Василевского, Жукова, тоже имевших кое-какое отношение к Сталинграду, не только солдаты... И вообще, победил не только Гитлера, но и Рузвельта, Черчилля.

— Эдик, Эдик, речь не о том, кто кого победил, а о том, о чем вы сами заговорили. Победить победил, но какой ценой? И вы считаете, что все это забыто? И двадцать миллионов, которыми почему-то все время теперь хвастаются, и другие миллионы, о которых не вспоминают? А вы говорите — Коктебель, на руках в Кремль внесут...

Так и не разобрались в этом клубке. Спорили, доказывали, убеждали, приводили неопровержимые доказательства, а в конце концов, убедив со смехом друг друга, что во всем виноваты не только Сталин, Ленин, Маркс со своим Энгельсом, а может быть, вовсе Спартак или какой-нибудь неандертальский вождь, оба устали и уснули. Гостю постелили на диване, а утром он проснулся со странным ощущением — никогда у него такой интересной ночи не было.

9

Летя в самолете Москва — Париж, он подводил итоги. Что такое итог? Чему итог? Жизни? Взглядам? Идеям?

Никак не мог разобраться, что ж это такое, советские люди? И советская власть?

Советские люди... Кто? Мика, Эдик, водопроводчик в забегаловке, киевские пьяницы? Все все понимают. Может быть, это и отличает советских людей от нас, западных? Но вот водопроводчик, протягивая тебе эту самую рыбину, воблу, говорит, жри, вкусная. Но ворованная. Кем, где и когда, не важно, но знай,— это наша жизнь. А случись невероятное, напади снова, как в 41-м, агрессор, и он, этот самый водопроводчик, пойдет защищать эту жизнь, эту власть, которая не кормит его, а разрешает воровать — и за это он ей благодарен,— пойдет защищать, как защищали ее сталинградские солдаты.

А Мика, друг детства Мика? Не хочется даже о нем вспоминать. Раб. Раб, на котором и держится это рабовладельческое общество. Он защищает его сейчас, когда

никакой войны нет, причем непонятно, от кого и что защищает — западные его не читают, свои знают, что врет. И он это знает, немолодой, образованный, все понявший и на все закрывший глаза.

А его дети? Два появившихся и исчезнувших близнеца? Обоим за сорок, один инженер, другой что-то там по кибернетике. Оба, очевидно, не только в своей профессии разбираются, но папаше не нужно было в этот вечер их общество, и они исчезли. По двум-трем произнесенным ими фразам, понятно, что циники. «В Доме кино показывают сегодня «Эммануэль» для советских импотентов. Не интересуешься, папа?» Ну его, Мику... Это приспособившаяся элита, это не лицо страны. Что же, Сахаров тогда? Нет, он некое оправдание, герой, взваливший на себя тяжесть всего происходящего. И Эдик не лицо, хотя очень хотелось бы, чтоб именно он — веселый, умный, ироничный и где-то печальный — был лицом. Двести шестьдесят миллионов лиц, а ищешь одно... Чепуха!

Ну, а власть?

Власть есть власть. Насилие. Властью был Нерон, Кромвель, Петр Великий, перед которым преклонялся свободолюбивый Пушкин. Ромен Роллан, Уэллс, Фейхтвангер пытались найти какие-то оправдания в кровавом режиме Сталина. Аристократу Анри Барбюсу принадлежит изречение «Сталин — это Ленин сегодня». У ироничного, скептичного Бернарда Шоу в столовой, на самом видном месте, фотографии, очевидно подаренные, Ибсена, Ганди и... Ленина, Сталина, Дзержинского. Андре Жид, путешествуя по Союзу, многим искренне восторгался, и в книге его больше восторгов, чем осуждений. Но осуждения были, за это и оплеван был Михаилом Кольцовым, но никак не мог понять — «Ведь я искал хорошее в этой стране, хорошее, хорошее...».

Нынешний парижский гость не искал ни хорошего, ни плохого. Вглядывался, впитывал, тонул во взаимных словоизлияниях, пытался разобраться в противоречиях. О власти кое-что знал, но чтоб понять ее до конца, говорили ему, да еще такую, надо малость под ней пожить. И все же ему, десятидневному туристу, удалось уловить одну, тщательно скрываемую черту этой власти. Уловить и понять. Понять, что Советская власть, несмотря на свои ракеты и танки, если не слаба, то труслива. И понял это на шереметьевской таможне.

Сначала один, потом два, наконец четыре таможенника заинтересовались полупустым чемоданом «дипло-

мат». Возможно, удивил их внешний вид иностранца — ковбоечка, тапочки, а тут еще полупустой чемоданчик. Рассматривали со всех сторон, выпотрошили, проверили каждую зубную щетку, гребешек, пасту, потом унесли пустой чемоданчик и через полчаса, явно разочарованные, вернули обратно.

— Что вы искали? — не удержался и спросил покидавший страну гость.— Атомную бомбу, гашиш?

— Чего надо, того и искали,— буркнул в ответ старший из таможенников.

— А может, литературу, микрофильмы? — и чувствуя, что зарывается, поставил все же точку над i: — Ох, и боитесь вы печатного слова.

— Мы ничего не боимся, ясно?

Таможенник сказал это громко и четко, но в этом ответе слышен был истинный ответ власти, ответ, который она сама от себя пытается скрыть — да, боится.

Это было последнее впечатление от страны, от родины, с которой ему так хотелось познакомиться.

Слава Богу, всего этого не было, все это придумано. Игра. Семья вернулась в Россию. И Вика не кончал парижский лицей, очевидно, Мишле, лучший из парижских, и не писал под Пруста (Гамсун и Хемингуэй, такое странное сочетание ожидало его в жизни), и не воевал в маки, и с москвичами и киевлянами встречи были иные.

Да, слава Богу. Хотя, возможно, даже вероятнее всего, у оставшегося в Париже мальчика была бы теперь собственная квартира, а не снимаемая у месье Бретаньона за все растущую плату. Не исключено, что и маленький домик с садиком где-нибудь на берегу речки. А может, и на Лазурном берегу. И собственная яхта.

И мама покоилась бы на тихом, ухоженном русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа, а не на Байковом, в Киеве, куда никогда уже не придешь и не положишь букетика ландышей. И Коля был бы жив...

Вариаций много, не счесть — погибнуть в маки, сложить голову под Гвадалахарой, наконец, как многие из русских, вернуться в Советский Союз и угодить в лагерь... Но мы в своей игре выбрали другой, менее трагический путь и тем не менее говорим — слава Богу! Слава Богу. Почему? Но не будем забегать вперед.

10

Итак, вернулись в Россию.

Последние годы царского режима, революция, гражданская война, НЭП, коллективизация, индустриализация, тридцать седьмой год...

Вот тут могло кое-что случиться. Но не случилось. А очень и очень могло.

Поселилось семейство, вернувшись из Парижа, на пятом этаже большого шестиэтажного дома, принадлежавшего некоему Гугелю. Никто никогда его не видал, остались после него только швейцар Герасим с женой лифтершей Катей и детьми — от них многое что зависело в те нелегкие годы — но дом сам по себе был прекрасен. Квартиры удобные, большие, по пять, шесть комнат с наборным паркетом, лестница мраморная, широкая, перила прекрасно отполированные (не без участия наших животов и задниц, чемпионы этого спорта съезжали вниз «по-амазонски»), входные двери из ромбовидного зеркального стекла, ну и лифт, в основном, естественно, не работавший из-за перебоев с электричеством. Но, когда работал, знаменит был тем, что лифтерша Катя за определенную мзду поднимала на нем наших котов, которым после прогулки лень было подниматься по ступенькам.

Шестикомнатность гугельских квартир была в свое время, конечно, плюсом — столовая, даже с камином, гостиная, спальни, детская, кабинет — с незабываемого же семнадцатого года — минусом.

Появилось такое понятие, как уплотнение, такое слово, как реквизиция. Само собой разумеется, что шесть комнат для трех женщин (мама, бабушка и тетка) с ребенком (Коли уже не было) — роскошь. И уплотнили. Не очень помню, но жили у нас сначала немец, потом француз, когда же оккупантов изгнали, появились в нашем доме — по порядку — двое симпатичных студентов-медиков, его звали Файвель Давыдович, ее Бронислава Викторовна. Потом на их месте, бывшем мамином кабинете, поселился лихой осетин, как он утверждал, из Дикой дивизии. К нему приходили женщины. Как-то одну из них он обозвал словом, которое я не понял, но бабушка мне объяснила, что это то же самое, что институтка. В моменты безденежья он приносил мне серебряные кавказские кинжалы и без особой надежды спрашивал, не купит ли кто-нибудь из моих товарищей. Потом

жильцами, в других уже комнатах, стали люди, которых называли чекистами. Семейство Уваровых с малышом Юрочкой, обожаемым всеми. Юрочка Сальц-Вальц, называл он себя, что означало Юрий Александрович Уваров. За ними,— они куда-то уехали,— муж и жена Кушниры, наименее общительные из всех. И, наконец, Сидельниковы — он сотрудник милиции, с братьями, женой и отцом. В угловой комнате, кроме того, жили двое библиотекарей — супруги Балики.

Из шести комнат за нами остались, в результате всех уплотнений, только две — бывшая гостиная (в ней бабушка на широкой, орехового дерева, кровати, мама на синем диванчике и я на раскладушке, именовавшейся тогда «раскидачкой»), и тети Сонина комната, она, при всем своем демократизме, любила одиночество.

Вот в двух словах история одного из самых страшных явлений, принесенных новой властью,— коммунальных квартир, в просторечье коммуналок. О них, родивших в народе лютую ненависть и зависть к соседям, написано столько, что нет смысла повторять.

Мне, до того самого счастливого дня, когда выдали ордер на отдельную квартиру (фронтовик, писатель, лауреат, коммунист!), суждено было жить, как и всем нормальным людям, в коммуналках. Не самых страшных. Но с полдюжиной примусов на кухне, с отдельными лампочками над кухонными столами и в уборной (посмотрев на гроздь висевших в передней лампочек, мой друг сказал: «Гроздья гнева»), с горой корыт, тазов и прочего хлама в коридорах, с неспускающейся водой в уборных.

Все это было неудобно, хотя и привычно (другой жизни мальчишки моего возраста не знали), но в случае с моей семьей сыграло, думаю, весьма положительную роль.

Сам по себе напрашивающийся вопрос — почему семейство «бывших», даже дворян, к тому же переписывающихся со Швейцарией — мамина сестра спокон веков там жила — почему это семейство не репрессировали? Ни в первые годы революции, ни в последующие тридцать седьмые. Почему?

Ответ может быть только один — благодаря соседям. Тем самым, чекистским. Мать их всех лечила. И маленького Юрочку Сальц-Вальца, и его папу, и маму, и вечно чем-то болевшую жену Кушнира, и все семейство Сидельниковых. И делала это всегда с охотой, потому что была хорошим врачом и любила и умела лечить людей.

А люди часто болеют. И любят, чтоб их лечили. Без поликлиники, дома, это особенно любят. И банки тут же ставят, на собственной кровати.

И бабушку все любили, Алину Антоновну. Ее просто нельзя было не любить. И чекисты — не знаю, чем они занимались в служебное время,— не были исключением, тоже любили.

Трудно как-то поверить, что в жестокий наш век любовь могла спасти людей, но другого объяснения я не нахожу.

И тут, в нашей игре «а если бы», я делаю намеренный пропуск. Могло не быть в нашей квартире № 17 по бывшей Кузнечной, позднее Пролетарской, позднее Горького, улице накаких Уваровых, Кушниров и Сидельниковых или быть-то были, но в силу каких-то причин невзлюбили бы они Зинаиду Николаевну и Алину Антоновну, а особенно, Софью Николаевну, все время протестовавшую против незаконных увольнений и арестов,— и жизненный путь трех женщин и одного молодого человека круто изменился бы. Но не мне, не испробовавшему тюремной похлёбки, а по-русски баланды, не мне, после Шаламова и Солженицына, рассказывать об этих не случившихся, но возможных днях. Поэтому и пропуск.

Крутой перелом в жизни трех пожилых женщин и их внука, племянника и сына мог произойти в любой момент знаменательной четверти века, отделяющей Великую Октябрьскую от Великой Отечественной. Но не произошел. Семейство без особых треволнений безбедно прожило эти двадцать пять лет. Уточним, безбедно — это значит без бед, а не без бедности. О каком достатке может идти речь, когда мать ежедневно топала босиком по Протасову Яру и Дарданеллам [1] участковым врачом, тетка — консультант-библиограф, бабушка — домохозяйка, а чадо больше училось, чем работало, а когда работало — старшим рабочим на «Вокзалстрое» — тоже получало гроши. К счастью, оно тогда еще не пило, ходило в юнгштурмовке и тапочках (первый костюм был сшит к защите диплома, т. е. в 25-летнем возрасте) и только часы

---

[1] Дарданеллы — нет, не памятный по Первой войне пролив, отделяющий Мраморное от Эгейского моря, а узкая и скользкая тропинка между двумя «глинищами» на Демиевке, хулиганской окраине Киева (позднее — Сталинка).

у него были заграничные,— бабушке дважды (в 1924 и 1928 г.) удалось съездить к младшей дочери в Лозанну — невероятно, но факт.

Ну, какие переломы могли произойти в эту эпоху? Разве что ноги, при восхождении на Эльбрус. Даже получи он за свой проект библиотеки Академии Наук в Киеве отличную отметку, а не скучную тройку (никаких капителей, пилястр и фронтонов — мы не предатели!) — ничего бы особенного не изменилось бы в судьбе чертежника какого-нибудь «Киевпроекта». Даже успехи в области театрального искусства. А может быть?.. Может быть, понравься молодой, говорят, способный, но не со слишком советской внешностью актер Константину Сергеевичу Станиславскому, и все пошло бы по-другому? А ведь был такой случай, был...

Веселая шайка верящих в свою звезду, только что окончивших студию при театре Русской драмы (теперь он называется почему-то имени Леси Украинки) гениев ринулась в Москву. В Москву, в Москву, в Москву! В театральную Мекку! Там Художественный театр, там живой еще Станиславский, там его студия, предел мечтаний... Повезло только одному Ионе Локштанову. Он был принят в Святая Святых. И как верный друг сказал:

— Клянусь тебе, я сведу тебя со Станиславским.

И клятву сдержал. И историческая, как мы тогда без тени юмора считали, встреча состоялась.

Почему-то запись о ней, сделанная в тот же вечер 12 июля 1938 года, сохранилась. Можно было бы ее привести, но особыми литературными достоинствами она не отличалась, да и знакомил я уже с ней читателя лет десять тому назад, но сейчас, готовясь к небольшому скачку в сторону, позволю себе все же ненадолго на этом событии остановиться.

Двое нахальных, самоуверенных молодых человека отняли у немолодого и всегда чем-то больного Константина Сергеевича два часа его драгоценного времени. Преподнесли ему коронный свой номер — Хлестакова (Ионя подыгрывал Осипа, городничего и трактирного слугу в отрывке из второго акта), парный этюд (с вспышками темперамента!) и специально написанный самим испытуемым рассказик, выданный за сочинение никогда не существовавшего литовского писателя Скочиляса («Как, как? — переспросил К. С., а потом, вроде вспомнив, кивнул,— да-да, знаю...»).

Без конца обсуждалось потом, насколько успешно прошел показ. Да-да, он сказал «с вашим Хлестаковым можно выступать на профессиональной сцене» — такой похвалы из уст самого мэтра предостаточно,— да, но тут же он придрался к маленьким «правдочкам», из которых рождается большая. Было спрошено, например, какой номер телефона я набирал в этюде. Я выпалил какой-то. «Нет-нет,— сказал К. С.,— я внимательно следил за вашим пальцем, вы набирали только ноль». Господи, сколько вокруг этого ноля было потом разговору. «Холодный, бесчувственный старик, плевать ему на эмоции, за пальцем, видишь ли, следит...» — «Да, но ты помнишь, что во время твоего темпераментного этюда он стянул скатерть со стола, значит, не только пальцы, но и эмоции».

Но кончился показ вовсе не триумфом. Было сказано:

— Вот осенью состоится конкурс в студию. Считайте, что экзамен вы сдали, а по конкурсу посмотрим.

Я считал это провалом, Ионя и все друзья — победой. Но случилось так, что Константин Сергеевич до конкурса не дожил, умер через два месяца после «исторического» свидания. Друзья подтрунивали надо мной — «Про́сто, увидев тебя, понял, что дальше в этом мире ему делать нечего и тихо ушел из жизни. Гордись!»

Хорошо, ну а приняли бы в Святая Святых? До этого была воля вольная — «Тайна Нельской башни», «Парижские нищие», «За океаном» — страсти, страсти! — даже до сих пор заливаюсь краской! — Вронский. Изображалось все это, правда, на захудалых клубных сценах всяких там Гайсинов, Гайворонов и Немировых, но все же размах — Скриб, Гордин, Дюма, Толстой, даже Шейнин. А тут под придирчивым глазом старика «третий месяц изображай будильник», как жаловался один из любимейших учеников его Гошка Рево.

И все же... Отзвонив положенное количество месяцев, получил бы путевку в жизнь. И тут я холодею.

В армию не взяли б, была б броня (впрочем, в Ростове она тоже была, но как-то отделался), выступал бы с концертами в воинских частях и госпиталях. (В июле 41-го, до мобилизации, узнал я, что это такое. Стыдобушка. На второй же день войны, выступая перед новобранцами, так волновался, что забыл последнее четверостишье стихов Николая Асеева — первые стихи о войне в

«Правде» — и тут же, от того же волнения, сам сочинил какой-то набор слов и ничего, сошло.)

Но это война, фронтовые бригады, где-то что-то все-таки рвется, стреляет, а ты патриотическим глаголом жжешь сердце. Ну а потом?

Мир. На подмостках ерш из Абрау-Дюрсо с сивухой — старика Островского с Корнейчуком, Шекспира с Софроновым, Розов или Миша Рощин уже радость. Великий МХАТ, качалово-москвинский МХАТ решает проблемы не мироздания и неба в алмазах, а сталеварения. Малый наперегонки с Вахтанговым, изнывая от благодарности к автору, воплощает на сцене героев Малой земли и целины, «Современник» тихо угасает, «Таганка» на волоске, «Малая Бронная» пока еще с Эфросом, но «ще не вечір»...

11

...Ресторан для избранных на улице Горького. Прибежище Счастливцевых и Несчастливцевых. Пропивается получка или премиальные «Мосфильма». Двоими, сидящими в углу за маленьким столиком.

— Вот, казалось бы, радоваться только, сижу в ВТО с любимым другом, пью виски, закусываю креветками, жена в отъезде, дети, слава Богу, не звонят, где-то тоже загорают, читаю себе Тютчева и Цветаеву, новая пластинка вот вышла, из Америки привезли первый том десятитомного Булгакова и парижскую запись последнего концерта Ролингсов. Что еще надо, живи и радуйся... И не получается. На душе, как в той песенке «Завтра Новый год, а настроение, черт его знает почему, е.....е в.... под мышку».

— Тоша, Тоша, ты это обо мне. Булгакова, правда никто не привез, но жена и дети, как и у тебя, в отъезде, тишь да гладь, а настроение тоже «в под мышку». И из-за чего? Из-за кого, точнее.

— Сын, что ли, спился?

— Да нет, из-за другого алкаша. Талантливого, нашего, умного, пусть хитрого, всех и все знающего, но все же пьяницы, значит, не самого последнего человека.

— Знаешь что? Не будем о нем. Он все же дело делает. И людям как-то помогает. А то, что подписывает какие-то ненужные письма,— что ж, это плата за то, что дают ему все же дело делать... Погрозим ему пальцем —

поймет, поверь мне,— и простим. По-христиански... Давай еще по одной.

— Давай... Знаешь, Тоша, за что выпьем? За то, чтоб никогда нам с тобой не светила звездочка Героя Соцтруда. Хватит с нас Народных СССР.

— Хватит...

— Хватит...

— С гаком?

— С гаком! Закажем еще креветок?

— А может, раков? С пивом. У них сегодня пильзенское, настоящее.

— Раков так раков. Идет. Э-э, мэтр! Кстати, о птичках, о народных. Ведь не сыграй я Железного Феликса, так и сидел бы в заслуженных. Плевали мы на это, скажешь ты. Плевать-то плевали, а сыграть сыграли...

— А я Алексей Максимовича, Викуля, а Коля Губенко Керенского, кристальный Вася Шукшин, напялив на голову лысый парик, маршала Конева, а Кваша Карла Маркса, пробривал себе лоб, а друг твой Кеша — Ильича. Попробуй отказаться от таких ролей. Не дорос, мол? Знаем, знаем мы эти ваши штучки и в книжечку запишут, «Личное дело» называется: «Идеологически не выдержан, политически не развит, ссылаясь на объективные причины, отказался от роли...», и пошло, и пошло...

— Так не отказался же, вот в чем ужас. И сыграл-то плохо, стыдно вспомнить. И автора пьесы презирал, а сыграл. А в награду, пожалуйста, почетное звание, со всеми дополнительными благами, мать их...

— Не казнись, все мы такие. А чтоб Героя получить, мало сыграть мудака в пьесе говнюка, надо и письмишко это самое подписать. Вот ведь и бывший властитель дум Эуген тоже подписал. Вроде оппозиционер. Не ахти какой, но все же...

— Не говори мне о нем, сплошное огорчение. Никогда ж не подписывал. Балансировал, и нашим, и вашим хотел, но подписывать не подписывал. А тут гневно сжимает кулаки. Оккупанты, видите ли, не жалеют никого — ни стариков, ни женщин, ни детей. Ни палестинских, ни ливанских. Остановить убийц! Прекратить провокации в Ливане! И не стыдно...

— Не стыдно. Будем рады уже тому, что о братской руке, протянутой Афганистану, стихов хоть не пишет.

— Ну что ж, давай радоваться.

— Давай!

— Давай!

И в этот момент появляется тот самый Эуген.

— А-а... Представителям наипервейшего в мире искусства наше нижайшее. Пришипились в уголочке и чьи-то косточки перемывают. Можно к вам?

И что ж? Представители наипервейшего говорят «нет»? Черта с два! В лучшем случае скажут: «Ваши, кстати, перемывали, но можем и чьи-нибудь еще. На ваше усмотрение». И подвинутся, и закажут еще пива. И соответствующие косточки для перемывки найдутся. И усердно примутся за дело.

Сгустил? Сгустил.

Зачем? Ведь не только же в ВТО сидят. И не только Железного Феликса, юного Маркса, начинающего адвоката Владимира Ульянова играют. Не только Ленина, но и Гамлета, Порфирия Порфирьевича сыграл Смоктуновский. И в МХАТе не только «Сталевары», но и Булгаков, Распутин, Володин. И в кино давно уже нет «Клятв», «Третьих ударов», «Падений Берлинов».

Зачем сгущать? Зачем подслушивать в ВТО именно этот разговор, а не другой, где пьют и поздравляют молодого актера с Протасовым или заливающуюся краской девушку с Ниной Заречной?

А потому что нет новой Нины Заречной! А та, чеховская, дожила до наших дней только потому, что автор не дожил. А дотяни он, победив свою чахотку, гнить бы его косточкам на Колыме. И никаких «Чаек». Даже с занавеса содрали бы.

Да, но...

Стоп!

Дальше не могу. Боже мой, какое счастье, что чаша сия миновала меня. Ни я, ни Театр ничего от этого не потеряли. Ни о каком Народном не могло быть и речи. И никаких Железных Феликсов. (Как ни странно, но в юные, актерские годы свои мечтал сыграть не только Хлестакова или Раскольникова, но почему-то и... Якова Свердлова. Шел в те годы фильм о нем. Такой себе интеллигент-революционер в пенсне. Как раз для меня, худенький, небольшого росточка.) Нет, играл бы вторые, третьи роли, преимущественно отрицательные, белогвардейцев, интеллигентных хлюпиков. В газетах, какой-нибудь «Сызранской правде», хвалили бы, допустим, может, и в «Советской культуре» появилось бы «отлично справился с нелегкой ролью ренегата-отщепенца Заслужен-

ный артист Башкирской АССР такой-то». И все бы поздравляли.

А ночью, после спектакля, ни в каком не «Арагви», а в захудалой сызранской или краснодарской «Волне», без всяких креветок глушили бы «Московскую», багровея от градусов и обиды.

— Читал распределение? Каренину-то сисястой своей мадам дал. А?

— А ты сомневался? Думал — твоей Шуре?

— Да, но мадам уже за полста. Постыдился бы...

— Не по его воле. По ее. Если б по его, то играть бы Вознесенской, сам знаешь.

— Вознесенская уже забыта. Он теперь за этой, как ее? Новенькая, в букольках.

— Хе-хе... Новенькую в букольках Карлинский закадрил.

— Все! Не видать ему теперь Фердинанда.

— Не беспокойся, будет и Фердинанд. Он уже в партию подал...

— Жорка? Побойся Бога, он и Гегеля от Гоголя не отличит.

— Зато «Спидолу» нашему Фигаро по блату достал.

И пошло, и пошло... До утра.

Нет, слава Всевышнему, миновала меня сия чаша. Сыграл на прощание князя Кутайсова в «Генералиссимусе Суворове» — три слова под занавес, в последнем акте — и командиром взвода в Запасной саперный батальон — с места песню, шагом марш по маршруту, указанному на карте. Закончился он в селе Пичуга, Сталинградской области. И всю зиму учил бойцов чему-то не очень ясному тебе самому. Все же лучше, чем читать с эстрады стихи Николая Асеева.

12

Война!

Опасность на каждом шагу. Снаряды, бомбы, тупица начальник, нерадивые подчиненные, вор старшина. Да и ты сам. Выпей я, например, больше или меньше после того как попался на глаза пьяному начальнику штаба.

— Э-э, инженер! Давай-ка сюда! Голую Долину надо кровь из носу взять, ясно? Собирай мальчиков, по кустам расползлись и вперед, за Родину, за Сталина! Возь-

мешь — «Красное Знамя», не возьмешь — сдавай партбилет, ясно? Выполняй!

Тут-то и заскочил к Ваньке Фищенко, разведчику, ахнул кружку, стало веселее. Мальчиков собрал человек пятнадцать, пистолет в руку и — «За мной!». Кончилось все в медсанбате. А возьми я эту чертову Долину?

Вариантов не счесть. В первый же день, как столкнулся с немцами — май сорок второго, тимошенковское наступление под Харьковом. Десяток сопливых саперов с трехлинейками образца 1891/30 г. против четырех танков с черными крестами. «Справа по одному к роще «Огурец»!» И побежали. Знаменитый Нурми мог мне позавидовать. А не вспомни я этот овощ, и подавили бы нас гусеницами... Или «Хенде хох!» — лагерь, потом другой, свой — читай солженицынский «ГУЛАГ».

Одно знаю — ни Александром Матросовым, ни Гастелло не был бы, окажись я даже летчиком. Все было куда банальнее. Начал младшим лейтенантом, кончил капитаном. В Люблине. И тоже не слишком героически.

На этот раз было пиво. В подвальчике бойцы расстреляли бочки, и пиво выносили ведрами. Мы с начфином присоединились. «Эй, танкисты, холодненького!» В Люблин въехал на броне «тридцатьчетверки». Не дойдя до Краковского Пшедместья, центра, стала. Чего, спрашивается? Фрицев испугались? Железные, а я из мяса, за мной! И с пистолетом в руке покатился по мостовой. Снайпер! А окажись он попроворнее — и лежать бы мне в Люблине на кладбище воинов-освободителей...

Этим лихим эпизодом и закончилась военная карьера замкомбата 88-го Гвардейского саперного батальона.

Госпиталь. Демобилизация. Инвалид II группы. Карточки, распределители, отоваривания, семья...

Нормальный человек женится лет двадцати. Витя, мой пасынок, двадцати семи. Сделай я этот опрометчивый шаг в его возрасте, и к моменту демобилизации появившийся еще до войны пацан ходил бы уже в школу.

Многие женятся на своих сокурсницах. Воины иной раз на госпитальных сестричках. Некоторые отбивают жен у ближайших друзей. Или у сотрудников по конструкторском бюро.

И могли же планеты расположиться так, что отбил бы я жену, например, у писателя Н. Ну зачем ему, старо-

му и плюгавому, такая красивая и элегантная? Руку и сердце!

Через полгода выясняется, что никаких гонораров не хватит. «Неужели тебе приятно, если твоя жена будет ходить мымрой?» Вот и ходит не мымрой, даже Скобцева завидует. А гонорары тают. Научпоповскую халтуру взял, не спасает. К счастью, к концу года ушла к Евтушенко.

Но могла подвернуться и другая. Верная подруга. Все, что ты ни напишешь, прекрасно. Завидует машинисткам, которые первые знакомятся с текстом. И к внешности твоей относится с почтением и уважением, знает, какой цвет к лицу, к седине. И хозяйка прекрасная. Гостей обожает. И все бы хорошо, не втемяшь она себе в голову, что алкоголь разрушает семью. В отсутствие мужа отодвигает все диваны и кушетки в поисках недопитой четвертинки. Найдя, разбавляет водой. Дура, главного загашника-то ей все равно не найти...

Третий, четвертый, сотый вариант — один из сложнейших, как бы они, эти мымры и воительницы с алкоголем, сочетались бы с Зинаидой Николаевной — но обо всем этом писать как-то лень, утонешь в семейных мелочах и конфликтах, отцах и детях, дедушках и внучках — ну его, не моя это специальность, не лежит к этому сердце.

За всю свою жизнь я знал только две семьи душа в душу. Одна в Москве, другая в Киеве. Ни разу не изменили друг другу, всегда есть о чем поговорить, поделиться мыслями, друг без друга дня прожить не могут — тоскуют. Пожалуй, даже для соцреализма эти две здоровые советские семьи показались бы лакировкой. «Нет-нет,— сказал бы редактор,— переборщили. Ну неужели Сергей Львович ваш хоть на минутку не может увлечься какой-нибудь актрисулей? Во время съемок, экспедиции, выпив лишнего? Потом пусть раскается, повинится, но вашей же идиллии никто не поверит. Очень прошу, переделайте. Лично для меня...» Но я не переделаю, напишу как есть, в минуту ностальгического криза. Лишь бы сами мои герои не обиделись — неужели мы такие зануды?

Итак, минуем эту тему. Моя жизнь сложилась иначе и пока еще не закончилась. Подведу итоги не сейчас, под женевской сосенкой, а потом, в райских кущах — надо же чем-то там заниматься, а то подохнешь от скуки.

13

Писательская карьера, судьба...

О. Генри первый свой рассказ написал в тюрьме, на какой-то конкурс, в подарок своему сыну. Было ему сорок лет. Сервантесу пятьдесят пять, когда он начал своего «Дон Кихота» в севильской тюрьме. Стивенсон выпустил первую книжку про какое-то Пентландское восстание 1666 года пятнадцатилетним мальчиком и только через восемнадцать лет прогремел на весь мир «Островом сокровищ». Александр Дюма начал с никем не замеченного водевиля «Охота и любовь» и лишь в сорок два года воздвиг памятник самому себе «Тремя мушкетерами». Виллергие, Лорд Р'Оон, Орас де Сент-Обен, Альфред Кудре, Эжен Мориссо, граф Алекс. де Б.— псевдонимы посредственного очеркиста, ставшего впоследствии великим Бальзаком. Математик, профессор Оксфордского университета Чарльз Латуидж Доджсон писал между делом, чтоб позабавить свою племянницу и превратился в Льюиса Кэролла, автора переведенной на все языки мира «Алисы в Стране Чудес». Мопассана без конца муштровал и не выпускал на свет божий Флобер. Бабеля тиранил Горький.

Мне повезло,— я попал в руки Владимира Борисовича Александрова. Но до этого была цепь довольно забавных взаимопереплетающихся событий.

— Как вам нравится,— жаловалась моя строгая тетка знакомым.— Керосин стоит бешеные деньги, а мой племянник завел керосиновую лампу со стеклом, при коптилке, видите ли, ему неудобно, и целыми вечерами пишет свое гениальное произведение.

Знакомые сочувствовали, а со временем, когда «гениальное» это произведение увидело свет, попробуй они хоть что-нибудь критическое по поводу него сказать — тетка горло перегрызла бы.

Так или иначе, но оно было закончено, перепечатано, в Киеве отвергнуто всеми издательствами и отправлено в Москву Ясе Свету, пусть там покажет кому надо Но в руки оно ему попало не сразу и не прямо.

Откатимся года на два назад. Баку, госпиталь. Приходит на мое имя открытка. Написана она некоей незнакомой мне дамой по фамилии Соловейчик. Из Дербента. Там, на вокзале, некий раненый, услышав, что она едет в Баку, попросил зайти в эвакогоспиталь номер такой-то, в Черном городе и передать привет от такого-то. «В Ба-

ку я не поехала,— заканчивает она свою открытку,— фамилию раненого забыла, но привет передаю. Желаю скорого выздоровления. Мира Соловейчик».

Прошло два года.

Как выяснилось, на бандероли с рукописью я по ошибке написал не ул. Веснина, 28, кв. 7, а кв. 17 (до войны я жил в 17-й квартире). И надо же, чтоб в том же самом доме, где жил Яся, в 17-й квартире жила та самая Мира Соловейчик, к тому же имеющая какое-то отношение к литературе. «А не лежал ли он когда-нибудь в Баку, ваш Некрасов?» — спросила она, занеся бандероль. «Лежал»,— ответил Свет, и с этого момента не он, а она, дама энергичная, с литературными связями, взяла шефство над рукописью.

Побегать пришлось ей много, безуспешно, везде отказы, пока злополучное произведение не попало в руки того самого, ныне, увы, покойного, Владимира Борисовича Александрова, критика, одного из образованнейших людей на свете, заядлого холостяка, народника и денди одновременно, знатока утонченных блюд, а заодно и напитков, что нас особенно и сблизило.

Дальше все пошло как по маслу. Твардовский, Вишневский, «Знамя», растерянность официальной критики, Сталинская премия, успех, издания и переиздания, деньги...

Увы, почти никого из тех, кто стоял у моей литературной колыбели, не осталось в живых. Ни Твардовского, ни Вишневского, ни Толи Тарасенкова и Туси Разумовской, первых редакторов по «Знамени», ни Игоря Александровича Саца, «личного» моего редактора и друга, ни Миры Соловейчик, ни Владимира Борисовича, которому я обязан не только тем, что он меня «открыл», но и тем, что, открыв, приобщил к тому, чем так щедро одарила его природа — к его уму, культуре, благородству и порядочности. Господи, как мало осталось людей с такими задатками...

Итак, волею судеб, Зевеса или расположения светил мечта жизни осуществилась. Пошел в тетку — та, в десятилетнем еще возрасте, писала в своем лозаннском дневнике: «одна мечта — стать писательницей!» Мечта в какой-то степени осуществилась — ее воспоминания, «Минувшее», опубликованные в 1963 году «Новым миром» (ей было тогда 82 года!), одобрены были самим Корнеем Чуковским. «Здорово! В Москве только и разговора, что о Вашем «Минувшем»!» — писал он ей, и это

было высшим орденом, который тетя Соня с гордостью носила до последних дней.

Писательская карьера и мне не давала покоя. Единственное в моей жизни «Полное собрание сочинений» увидело свет (в одном экземпляре!) в 1922 или 1923 году. Состояло оно из шести томов. Страницы были пронумерованы, через каждые десять или двенадцать значилось — Глава такая-то. Текста, правда, не было, считалось, что со временем я восполню этот пробел. Безжалостные варвары, немецко-фашистские оккупанты сожгли этот раритет вместе с домом и шкафом, где он хранился,— маленькие, сшитые нитками странички, с обязательным на каждой обложке «Издательство Девріенъ, Кіевъ, 1922 г.». (В те годы я был еще монархистом, носил в кармане карандаш и на всех афишах приписывал «ъ».)

Я горько оплакиваю эту потерю. До нового собрания сочинений вряд ли доживу, но так или иначе мечта детства осуществилась — в графе «профессия» я мог писать уже не «журналист» (после демобилизации, засыпавшись на экзаменах в аспирантуру в свой собственный, Строительный институт, стал вдруг газетчиком — «Радянське мистецтво», по-русски «Советское искусство»), а «Член Союза писателей СССР».

Так я стал советским писателем.

14
ЧТО Ж ЭТО ТАКОЕ, СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ?

Весь мир считает, что скучнее и серее советской литературы ничего нет. Все по заказу.

По заказу, не спорю. И человек, охотно или неохотно выполняющий его, щедро вознаграждается. Но все ли его выполняют, этот заказ? Нет, не все. И именно поэтому русская, советская (уточним, появившаяся на свет после семнадцатого года) литература, безусловно, интереснейшая в мире.

Бежать по утоптанной дорожке куда легче, чем по рытвинам и ухабам. Рекорды, установленные в Мексике, куда выше достигнутых в Мюнхене, Риме или Мельбурне — на высоте 2500 тысяч метров воздух разреженнее. Воздух московских (и прочих советских) издательств — воздух погреба, а дорожка, по которой писатель бежит, усеяна не только рытвинами и ухабами, она заминиро-

вана. Добежать до финиша не легче, чем легендарному Джесси Оуэнсу в Берлине под ненавидящим взглядом самого фюрера.

То, что написать хорошую книгу в нашей стране трудно,— это аксиома. Под хорошей подразумевается правдивая, говорящая не о пустяках, а о чем-то существенном, я не говорю уже о самом главном. Впрочем, Василий Семенович Гроссман попытался это сделать, написав «Жизнь и судьбу», вторую часть разруганного в свое время романа «За правое дело». Написал о самом главном и страшном, о тождестве двух, вроде бы враждебных, систем и — о! как легко было всех нас купить в те годы обманчивой оттепели — отдал не кому-нибудь, а в «Знамя», бездарному и трусливому Вадиму Кожевникову. Результат известен — рукопись арестовали. В сталинские годы та же судьба постигла бы и автора, но шестидесятые годы отличались все же от пятидесятых.

(По «делу» Гроссмана меня специально вызывали из Киева в Москву, в ЦК. Считалось почему-то, что я могу повлиять как-то на Гроссмана).

— Гроссман написал антисоветский роман,— решительно заявил мне ведавший литературой в ЦК тов. Поликарпов.

— Нет, Гроссман не мог написать антисоветского романа,— сказал я.— Это исключено.

— Вы не читали его, а я читал. Это антисоветский роман!

— Вы неправильно его поняли.

Разгневанный Поликарпов возвысил голос. Я тоже, он стукнул кулаком по столу. И я стукнул, добавив что-то насчет того, что немцев в Сталинграде не испугался, так уж штатского за письменным столом подавно. Это подействовало. В дальнейшем я эту, возникшую в гневном запале, фразу с успехом использовал в других, не менее сложных ситуациях.

Беседа наша мирно закончилась просьбой воздействовать на Гроссмана и убедить его никому написанное не показывать. Само собой разумеется, о проведенной беседе ни слова. Я тут же побежал к Василию Семеновичу и все рассказал. Он печально улыбнулся, показал пальцем на потолок и вынул из буфета пол-литра...)

Гроссман написал великую книгу. Живя в Советском Союзе, рискуя всем. Это подвиг. И он его совершил. Солженицын тоже написал великую книгу «ГУЛАГ», но он ее скрывал. Гроссман ничего не скрывал, поверил

почему-то крокодилу и сам полез в его пасть. Безумный, но подвиг.

Нет, советская литература такими подвигами не очень может похвастаться. А может, вообще он не нужен, подвиг? Или — не только из подвигов соткано искусство, литература?

Так думают многие. Писатели, в частности. Даны ведь миру «Смерть Ивана Ильича» и «Холстомер», «Дом с мезонином» и «Попрыгунья», «Над вечным покоем» и «Вечерний звон». Они скрасили наши дни. С ними легче жить.

Вот мы и подошли к главному.

В три шеи был изгнан из страны конструктивизм, с его коробками, жалкими подражаниями всяким там Корбюзье. Нам нужна настоящая, жизнеутверждающая, богатая архитектура. И хоть именно тогда мерла от голода Украина, страну заполнили колонны, портики, жизнеутверждающие фасады. На экраны вышли «Веселые ребята».

Великое счастье жить на земле! О нем, об этом счастье, говорил Горький в 1934 году на Первом съезде писателей, обрадовав участников, преподнеся им социалистический реализм. «Социалистический реализм — это непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле».

Здоровье... Долголетие... Великое счастье жить на земле.

Горький жил тогда в недурном особняке Рябушинского на Мало-Никитской, а до этого в вилле в Сорренто, и в те же дни на восток один за одним шли эшелоны с полтавскими, черниговскими, курскими — всех не перечтешь — колхозниками, виноват, «кулаками» и «подкулачниками».

А Шолохов писал «Поднятую целину», Алексей Толстой «Петра Первого» — вот какой был царь, но вы, товарищ Сталин, его переплюнули!

«Творчеству художников социалистического реализма присуще умение смотреть из будущего на настоящее». Тоже Горький, тогда же.

Ну вот, мы и посмотрели из будущего, через пятьдесят лет, на то, что было настоящим. А два года спустя после прекрасных слов о здоровье, долголетии и счастье жить на земле, Сталин убил Горького. А заодно и еще

несколько сот писателей. И миллионы не-писателей. Которым тоже хотелось долго и счастливо жить на земле.

Все это со временем стало называться «культом личности», отдельными ошибками, отходом от ленинских норм, но писать об этом — зачем? Зачем ворошить прошлое, растравлять раны? Партия все исправила, все поставила на свое место. Пишите о героях целины, романтиках БАМа, битве за урожай, славных пограничниках, ученых, кующих победу...

Вот, пожалуйста, и заказ! — ловят нас на горяченьком западные коллеги.

Ладно, разберемся.

В Союзе писателей, говорят, больше восьми тысяч членов. Не-членов — пишущих и печатающихся — не счесть. Кто же они такие?

Позволю себе маленький эксперимент, некую вольность. Поделим грубо всю писательскую массу на несколько категорий.

1. Верные автоматчики (выражение Хрущева) литературы. Все пункты Устава Союза писателей выполняют с завидным усердием и увлечением. Воспевают, призывают, прокладывают, воодушевляют, воспитывают, ведут... Люди злые все эти глаголы заменяют одним — вылизывают. Но это было бы упрощением — Маяковский воспевал не во имя житейских благ, он (до какого-то времени) верил. Мейерхольд, Эйзенштейн, Довженко тоже верили. Или убеждали себя, что верят. Закрывая на что-то глаза (надеюсь, что мучительно), пытались, нет, не приспособиться, напротив, возглавить. Это им стоило дорого, Мейерхольду жизни, но убежден, что каждый из них, обливаясь кровью под ударами, стонал: «За что? За что? Ведь я так старался...» Сейчас таких уже нет. Последние могикане — Эренбург, Михаил Ромм — перед смертью что-то поняли, от чего-то отреклись, перестали воспевать, пытались искупить прошлое.

Нынешние автоматчики из другого теста. Иллюзий, веры — никакой. Основной стимул — те самые блага жизни. Циничны. Продажны. Умеют поторговаться. У иных и перо тонко отточено, и язык неплохо подвешен. Вознаграждение по заслугам. Посты (оплачиваемые!), тиражи, распределители, дачи, заграничные поездки. За отдельные срывы — пьянки, перерасходы, утайки заработка при оплате партвзносов — погрозят пальчиком, шито-крыто. За особое усердие — Героя Социалисти-

ческого Труда. Дважды пока еще не было, разве что Брежнев. На очереди Шолохов. На подходе — пока не видно [1].

2. Основная масса писателей. Цену всему знают — и зрелому социализму, и лично товарищу Брежневу, Шауро (нынешний Поликарпов), Георгию Мокеевичу Маркову (нынешний Фадеев, без его влиятельности только), Чаковскому, всему Союзу писателей вкупе — но, кроме того, знают, что плетью обуха не перешибешь. На собраниях без излишнего энтузиазма, но покорно голосуют за что положено, дома отплевываются. Если не фантасты, не исторические романисты, не детские писатели, пытаются писать о жизни. Ну, не совсем она такая, как на самом деле — о политике, Андропове, нехватке мяса, Афганистане, что слышал по Би-Би-Си, о бриллиантах брежневской дочки, т. е. о том, о чем целыми вечерами на кухне, герой, упаси Бог, ни-ни. И все же написанное на что-то похоже. Жизнь какая-то неладная, серая, скучная, дети отбиваются от рук, друзья изменяют женам, пьют, даже перепиваются — раньше на все это было табу.

Проходит это отнюдь не гладко — доделки, переделки, вычеркивания («Ну зачем вам это, дорогой Николай Степанович? И без того все понятно. Зачем подчеркивать, усугублять?»), замены одного героя другим, смягчение концовки («не надо точек на i»), введение мажорной интонации. Все это выводит из себя, треплет нервы, лишает сна, но зато, когда книга выходит, есть ощущение, что поработал на славу, основная идея сохранилась, самое существенное удалось отстоять — «Вы знаете, сколько из-за этого куска пришлось драться? В ЦК даже посылали» — и внимательный читатель, умеющий читать между строк, конечно же, уловит главное, для чего и писался роман. Что поделаешь — всем хочется быть немножко крамольными, при всем при том...

Благ поменьше, чем у первой категории, не сравнить. Тиражи поскромнее, путевки в Дома творчества в Коктебель, Малеевку берутся с бою (заграничные духи и колготки, увы, девальвировались), загранпоездки только за особые услуги (а как не хочется их делать!), влиятельные посты исключены.

---

[1] Г. М. Марков был удостоен звания Героя Социалистического Труда дважды в 1974 и 1984 гг. (*сост.*).

Но жить все же можно. Отдельная квартира, заболеешь — оплаченный бюллетень. Литфондовская поликлиника, гонорара более или менее хватает (на Западе это не получается), но главное — чувствуешь себя не подонком, уверен, что читатель тебя читает и даже благодарит за ту, пусть скромную, пусть под сурдинку сказанную, но все же правду и где-нибудь на малеевской лыжне, под елочкой можешь по поводу этого излить душу другу, а заодно поругать начальство, ну и вообще...

2А. Подотдел той же категории. Правдоискатели. Найдя, поведывают ее, правду. Не всю, конечно, об этом не может быть и речи, но врать и лакировать ни в какую! Область, охватываемая этими авторами, в основном, деревня. Тут почему-то некая поблажка. Этим писателям даже улыбаются, пытаются приручить, заманить к себе, награждают премиями. Но случая перехода в «их» лагерь пока не наблюдалось. Явление новое, обнадеживающее.

3. Врать надоело! Ну их! На всю железку! Таких исключают из Союза, выдворяют за пределы, кое-кого сажают. Книги их изымают, из справочников и словарей вычеркивают. Злопыхатели и очернители, советская литература как-нибудь и без них обойдется.

Такова в самом грубом виде классификация литературного процесса, писательской братии. Есть отклонения, нюансы, неожиданности. Есть ответвления. Например те, кого окрестили бардами. По популярности, по любви к ним читателей, вернее слушателей, с ними никто не сравнится. Власть не нашла еще способа с ними бороться. «Двое из самых каверзных, слава Богу, отдали концы, третий тоже не очень здоров, часто болеет...» А народ слушает, переписывает, поет...

Ну, а автор этих строк, к какой категории он примыкал? Во всяком случае не к третьей, с грустью приходится признаться. Ко второй? Ко второй «Б»? Пожалуй. Где-то между ними. Имел и квартиру отдельную, и литфондовскую поликлинику, писал для журналов, издательств, за железный занавес ничего не посылал. Парочку-другую подпольных, в меру крамольных рассказиков писал для друзей, почитывал им за вечерним чаепитием. Вот так и жил. Пока не выяснилось, что мы с советской властью смертельно друг другу надоели. В результате — Париж. Десятый уж год...

Хорошо, но не пора ли кончать эти несколько затянувшиеся исследовательски-теоретические выкладки? Вернемся-ка к нашей игре.

Мой добрый конь застыл, храпя, у очередного бел-горюч камня.

Поедешь прямо — голубое небо, легкий ветерок и толпа хорошо одетых, упитанных Героев Соцтруда, лауреатов, председателей, редакторов, издателей, их замов, помощников, чуть в сторонке рядовые товарищи, тоже в меру упитанные... К нам, к нам! — машут они тебе руками и шофера их ЗИЛов, «Волг», даже «Мерседесов» (не густо, но есть) приветливо открывают дверцы...

Направо — темный лес.

Налево — еще темней.

Поколебался недолго и поехал прямо.

И окружили меня добрые, приветливые люди.

15

— Ну, в нашем полку прибыло. Выпьем же за пополнение!

Константин Михайлович Симонов поднял бокал и с нескрываемой симпатией посмотрел на несколько смущенного молодого автора. Симонов только что приехал из Москвы и привез с собой свеженький, пахнущий еще типографской краской восьмой-девятый номер «Знамени», тот самый, долгожданный...

Расположились за маленьким столиком, вдвоем, в небольшом открытом ресторанчике на склоне Днепра, сразу же налево за ажурным мостиком Петровской аллеи. Дул легкий ветерок. Небо из голубого стало розовым, потом лиловым, потом как-то забылось, не до него было.

Говорили тоже о чем-то розовом, радужном. Закусывали чем-то очень вкусным и дорогим.

— Нет, нет, Виктор Платонович, разрешите уж мне. Все-таки в начальствах хожу, посостоятельней.

Было очень-очень хорошо. И важно было не испортить, не увлечься, не расхваливать «Дни и ночи», не злоупотреблять фронтовыми воспоминаниями. Держаться скромно, с достоинством, не проявлять излишней радости. Хотелось же схватить журнал и тут же упиться им. Удержался, полистал, отложил в сторону.

Ах, как хорошо! Подумать только, сам Симонов привез...

Рассчитываясь, Константин Михайлович вынул из бокового кармана толстенную пачку сотенных и, не требуя сдачи, бросил какое-то их количество на стол. Пачку небрежно сунул обратно в карман. Такой толстой я еще не видел.

Александр Евдокимович Корнейчук, толстогубый, весь в орденских планках и лауреатских значках, как всегда улыбаясь, указал на бутылки:

— С чего начнем? «Столичная», «Выборова», коньячок? Или, может, «Вермут»?

«Вермут» я видел впервые, поэтому остановился на нем.

— «Вермут» так «Вермут». А тебе, Ванда?

Мужеподобная Ванда с руками колхозницы — любимое занятие копаться в саду — предпочла водку. Потом и мы перешли на нее.

Выпив, как положено, первую рюмку «за того, который...», вторую осушили за писателей-фронтовиков.

— У нас их много, каждый второй воевал.— Корнейчук разлил по третьей.— И хорошо воевали. На разных фронтах. И в партизанах фрицам духу давали.

Выпили и за партизан.

Сидели за длинным, покрытым белой скатертью столом, уставленным всеми видами балыков, телятин, семг, осетрин, не говоря уже о нежнейшей селедке — норвежской, пояснил хозяин,— с крупно нарезанными кружочками лука. Было это в сорок шестом году. Еще до реформы, жили на карточки. По писательским, литерным, выдавали чуть побольше. Я получил уже литеру «А». Литер-атор. Кроме того, были литер-бетеры и прочие кое-какеры. Это так «хохмили» тогда.

После четвертой или пятой рюмки Александр Евдокимович заговорил о Сталине. Какой он, мол, прекрасный тамада. Тут подключилась и Ванда Львовна, до этого помалкивавшая. Она с товарищем Сталиным тоже неоднократно встречалась. Курьезный был человек.

— Ванда хочет сказать, что с юмором,— поправил ее Корнейчук.— Чего, чего, а этого у него хватало.

Я удивился, не знал. Корнейчук рассмеялся.

— Расскажи-ка, Ванда, Виктору про этот ваш Щеттинек.

И Василевская, в прошлом член польского, так называемого Люблинского, правительства, рассказала, как Сталин вызвал их, чтоб уточнить границу между Польшей и Германией. Все шло хорошо, к взаимному удовлетворению, но вот Штеттин он почему-то оставил немцам.

— Мы просим, а он смеется и говорит: «Нэт, нэт, это нэмецкий город».

Мы убеждали, что с XII века он польский, а Иосиф Виссарионович только смеется. «Нэт, нэт, нэ польский, а прусский. С XIII века». Мы чуть не плачем, ведь лучший порт на Балтике, а он ни в какую. «Хватит! Нэмцам отдаю. Они тоже нэплохо воевали». И мы умолкли. А когда расставались, уже к дверям шли, вдогонку сказал: «Мынуточку...» Мы обернулись. «Как его, этот город, Штеттин, да? Ладно, бэритэ сэбэ»,— и хитро подмигнул.— Воевали-то они нэплохо, но все же каждый второй у них фашист. Бэритэ сэбэ, пока не раздумал...»

После этого Александр Евдокимович удалился в свой кабинет и вернулся, неся, точно святыню, белый лист бумаги.

— Письмо от товарища Сталина,— полушепотом произнес он и, не давая мне его в руки, только показав, прочитал:

— «Спасибо, товарищ Корнейчук, за хорошую пьесу «Фронт». Такие пьесы помогают бить врага. С комприветом. И. Сталин».

Так же бережно, чуть ли не на цыпочках, письмо было отнесено обратно в кабинет.

Потом, малость еще выпив, опять заговорили о писательских делах.

— Значит, так, Виктор. Творчество творчеством, а и общественные дела не надо забывать. Посоветовались мы тут с товарищами и решили, что отважному нашему воину надо какой-нибудь пост дать. Например, моим заместителем по русской литературе. Что скажешь?

Я пожал плечами.

— Загін російських письменників в нас не великий, але добрий,— перешел он вдруг на украинский язык.— Ось і будеш керувати російською секцією. Добре?

Так стал я членом Президиума и шестнадцатым, если не изменяет память, заместителем Голови Спілки письменників України... Избрали единогласно. Даже аплодировали.

На каком-то съезде или пленуме подошел бело-розовый Фадеев — волосы белые, физиономия розовая, вплоть до ушей.

— Что-то вид у вас неважный, Некрасов. Худой, бледный. Не болен ли? Или заработался? Оправдать первый успех хочешь? — Он стал искать кого-то глазами, нашел, подозвал.— Надо, товарищ Суббоцкий, путевочку защитнику волжской твердыни дать. На юг куда-нибудь, к теплому морю. За наш счет, разумеется.

И, похлопав по плечу, мол, давай-давай, отошел.

Обхаживали, обхаживали, заманивали...

И шло бы так из года в год. Похлопывали бы по плечу, угощали бы вермутом, считали бы, что в их полку прибыло, все чаще и чаще пускали бы за границу. На съезды борцов за мир, симпозиумы о «традиции и новаторстве» или судьбе романа, на встречи обществ «СССР — Эфиопия», «СССР — Мадагаскар». Посмотрел бы Африку, встречался бы с разными Менгисту, вручал бы им медали, то ли за борьбу, то ли за стихи.

Жил бы не тужил. Попивал бы с друзьями. И теми, и другими. С одним — обнимаясь, с другим — морщась. Что-то писал бы. Может, и медалька какая-нибудь перепала бы, даже наверняка. Отдыхал бы с неунывающей, всегда веселой мамой в разных Малеевках и Коктебелях. Путевки получал бы без боя. И продлевали бы без всяких хлопот. И дачка под Киевом. Что еще надо?

Хорошо...

А может быть?..

Может, в этой кажущейся идиллии не только розы, «сто грамм» и уютные вечера, освященные улыбкой загадочной Тай-Ах в волошинском доме? И коктебельский пляж не только сердолики и халцедоны? Бывают и зыбучие пески. А они засасывают...

16

Приехала как-то в Париж группа советских поэтов. Человек пятнадцать, не меньше. Во главе с поседевшим, обрюзгшим, потраченным молью Симоновым. Всех не припомню, но были там Роберт Рождественский, Евтушенко, наш украинец Коротич, Олжас Сулейменов, Булат Окуджава...

Это была какая-то неделя какой-то дружбы, и все они выступали в большом спортивном зале, где-то на окраине

Парижа. Я сел во втором ряду. В первом сидели товарищи из посольства.

Поэты читали стихи — неплохие, средние, плохие, очень плохие. Кто с большим, кто с меньшим темпераментом. Какой-то француз переводил. Зал хлопал. Иногда погромче, иногда потише. Особых оваций не было, но, после концерта, участники, обмениваясь мнениями, очевидно, пришли все же к выводу, что встреча прошла с успехом.

Я сидел во втором ряду, тоже хлопал. В перерыве все пятнадцать скрылись за кулисами. Только один соскочил с эстрады и решительно направился ко мне. Мы обнялись и расцеловались. Не виделись лет шесть, а может и больше. Все это происходило на виду у всех. И товарищей из посольства в том числе. Человеком этим, был... Ну, догадайтесь сами.

После концерта поехали ко мне. Из пятнадцати приехавших не меньше, чем с двенадцатью, я был знаком, с полудюжиной выпивал в свое время. И крепко. Ни один из них не позвонил.

С тех пор прошло сколько-то там лет. И, вспоминая этот вечер, я мысленно реконструирую его, включая в нашу игру...

...Я сижу на эстраде. Единственный не-поэт среди всех. По правую мою руку Евтушенко — он жмет мне колено и шепчет, что сейчас даст дрозда, прочтет поэму с двойным дном,— по левую Симонов. Как старейший и наиболее известный во Франции (в «Ляруссе» даже его портрет есть), открывая вечер, прочел «Жди меня, и я вернусь». Все почувствовали какую-то неловкость, но он, вполне удовлетворенный самим собой, раскланялся и вернулся на свое место. Через минуту наклонился ко мне.

— Вы видите, кто сидит во втором ряду?

— Где?

— А вон там, чуть правее Червоненко, посла. Во втором ряду.

Я посмотрел в указанном направлении и увидел Виталия Никитина. Того самого, которого три года тому назад выперли за пределы Союза. Знаменит он был тем, что, не будучи никаким писателем, а простым старлеем на минном заградителе, участвовал в обороне Одессы и Севастополя, сразу же после войны написал книгу «Тельняшки, за мной!». Книга наделала шуму, одни хвалили взахлеб, другие ругали с неменьшим усердием

Вторые оказались сильнее и, учитывая еще непокорный, строптивый характер автора, кончилось все выдворением из страны.

Сейчас он сидит во втором ряду, крепко поседевший, но загорелый, как всегда, и, по-моему, в той же ковбойке, в которой был, когда мы в последний раз выпивали. Слушал внимательно, хлопал не меньше других. Очевидно, из вежливости.

— Вы с ним в каких? — спросил, опять наклонившись ко мне, Симонов.

— Как в каких? В нормальных.

— А вы знаете, что он выступает по «Свободе»?

— Не только знаю, но и слушаю.

Больше вопросов Симонов не задавал, отодвинулся.

17

На следующий день мы с Виталием обедали в «Лондонской таверне», недалеко от Сен-Жермен-де-Пре и кафе «Де маго».

— В это время здесь всегда пус — сказал он, ставший истым парижанином.— И тихо и кормят прилично.

— И очереди на улице нет, как в нашем «Арагви».

— Ну, а «Дом литераторов», ВТО как поживают?

— Выродились. Не то уже. Совсем не то. За столиками незнакомые лица. Из молодого, подрастающего поколения. Самоуверенные, хамоватые, развязные.

— Но пьющие, подозреваю, не хуже нашего поколения.

— Почище. Только за чужой счет норовят. Если не ставят пол-литра редактору...

Когда нам подали «фо-филе» с неведомым мне гарниром, мы еще говорили о ЦДЛ и поколениях. Пили сначала «Божолэ», потом переглянулись и взяли «Смирновскую». И вот тут-то, после второй или третьей рюмки разговор принял несколько иной характер.

Виталий по натуре человек деликатный. При всей своей невоздержанности и прямоте, он не позволил себе ни одного могущего задеть или обидеть меня вопроса. Но я понимал, что задать их очень хочется, и чувствовал, что раньше или позже мы их коснемся. Причем, инициатором буду я. Из какого-то мазохизма.

Так оно и случилось. Ну чем я лучше Симонова, думал я. Разве что тем, что не побоялся встретиться с Виталием. А так, хоть и не пишем мы по специальному заказу, как какой-нибудь Корнейчук или поменьше рангом Сахнин, но власти-то мы все же служим. Каждый по-своему, но служим. Знают, что не подкачаем.

Вспомнил, как уезжая на какой-то конгресс в Рим, все допытывался у одного из старших своих друзей, поэрудированнее, как сформулировать понятие «соцреализм», чтоб было убедительно и не очень краснеть потом? «И рыбку съесть, и на эту самую штуку сесть?» — рассмеялся тогда мой друг и прочел мне маленькую, вполне изящно изложенную лекцию по марксизму-ленинизму. В Риме я пытался ее воспроизвести, за что крепко получил по зубам от самого Пазолини, кстати, тоже коммуниста.

— Да не переживайте вы,— успокаивал потом меня Сурков,— подумаешь, Пазолини, кто его в Союзе знает? А на то, что напишут о вас в «Мессаджеро» или «Джорно», наплевать. По нашим меркам, это продажные, антисоветские, буржуазные газеты.

И я внял его совету — попытался не переживать.

Сейчас Виталий, сдерживая ухмылку, говорил:

— Ох и тяжело, ох и больно смотреть на всех вас, советских писателей, с моих нынешних парижских высот. И все-то вы озираетесь, боитесь лишнее слово сказать. Ты не обижайся, я не о тебе, ты свое дело сделал и имеешь право на какие-то плоды. Но за них все же платить надо. Бесплатно не раздаются.

Что я мог на это ответить? Да, бесплатно не раздаются. И мы платим.

Хотелось бы забыть, да не забывается сборище в Союзе писателей по поводу событий в Чехословакии. К моменту голосования один только Никитин встал и вышел в коридор. А когда, кажется, Ильин подошел к нему и поинтересовался, почему он не голосует, спокойно ответил: «А потому что я за это самое человеческое лицо, которое сейчас гусеницами давят».

Потом его исключали из Союза. Я не пошел, сослался на болезнь. В наших условиях это считается почти героизмом, но Виталий, если исключали бы меня, пришел бы и голосовал бы против.

После «фо-филе» заказана была еще форель, потом подкатили столик на колесиках с не менее чем десятью сортами сыра, закончили все ананасным мороженым со

сливками и кофе-экспрессом. Попутно добавлена была и «Смирновская».

— Трудно было оторваться от коллектива? — спросил Виталий.

— Как тебе сказать. Коллектив все же особый, кто не хочет оторваться? Да все. Сам Симонов что-то там насчет «Галлимара» говорил.

— А кроме него, другого товарища в штатском при вас нету?

— Есть, но она дама приличная. Относительно, конечно.

— А если засечет?

— Они этот ресторан не знают...

— И все же?

— Что ж, буду нести ответ. Скажу, что...

— Случайно встретились на улице, неловко было отказать...

Мы оба рассмеялись, ну, как не догадаться, что именно так я отвечу, засеки меня Клавдия Сергеевна.

И надо же, чтоб, выходя из ресторана, мы нос к носу столкнулись именно с ней. Она, вместе с Коротичем и Рождественским, стояла на углу рю де Ренн и разглядывала в витрине дубленки.

Вечером, когда все шли на прием в общество «Франция — СССР», она, в холле гостиницы, весьма корректно, но с интонациями классной дамы, сказала мне, отведя в сторону:

— Вы же не мальчик, Виктор Платонович, и должны были бы понимать, что советскому писателю как-то не к лицу встречаться с отщепенцами. Член партии все же...

Я ответил что-то вроде того, что вырос из того возраста, когда извиняются за содеянное и отвечают «больше не буду», но осадок остался мерзейший.

Виталий только улыбнулся, когда я рассказал ему на следующий день об этой стычке.

— Дорогой Александр Матросов, грудь твою уже прострелили, но давай все же устроим поминки.

И повел меня в маленький ресторанчик «Л'Эклюз», на берегу Сены, против букинистов, в двух шагах от Буль-Миша.

В тот вечер мы выпили крепко и говорили совсем уже начистоту. Нет, Виталий не осуждал меня, только огорчался.

— Ты мне небезразличен, понимаешь? — говорил он, разливая очередную порцию на этот раз коньяка.—

И судьба твоя тоже. И не потому что ты когда-то, на заре туманной юности, написал хорошую книжку. Ты тогда ничего не знал, что к чему и с чем его едят. А сейчас знаешь. Все знаешь. И тем не менее придерживаешься правил их игры. А играть с ними нельзя, они шулера... Нет, и никто от тебя не требует, чтоб ты их подсвечниками, шандалами лупил по голове, я вообще ничего от тебя не требую. Но сидеть с ними за одним столом...

— Стыдно?

— Нет, я другое хотел сказать... О даче на берегу Днепра. И «Волга», и тиражи массовые, Гослит Полное собрание сочинений выпускает, с портретом, где ты еще молодой и красивый, с хвалебным предисловием какого-нибудь Феликса Кузнецова.

— Ошибся, Михаила Алексеева, он тоже ведь сталинградец.

Виталий схватился за голову.

— Не убивай меня, не убивай! Ведь это отъявленный...

— Знаю, знаю, но если уж выбирать...

— Ладно,— перебил он меня,— Алексеев так Алексеев, один черт. Но я это вот к чему, весь этот длинный монолог... Вспомни, когда это началось?

— Что «это»?

— Что, что, что? Сам знаешь, «что»... Благополучие.

Повисла пауза. Он потянулся к бутылке.

— Бла-го-по-лу-чие... Это так называется. Все эти Кончи-Заспы, машины вне очереди, заграничные вояжи... — Он провел рукой по моим волосам, потрепал.— Седой, б..дь, совсем седой стал...— Разлил по коньячку.— Ладно, не будем вспоминать, кто старое помянет, тому глаз вон. Поехали?

Мы выпили.

18

М-да... Я-то хорошо помню, когда «это» началось. Очень хорошо. В 1946 году еще. Когда Сталин руками и устами спившегося алкаша Жданова нанес первый после войны удар по литературе. Зощенко был назван тогда пошляком и подонком литературы, Ахматова блудницей и монахиней, у которой блуд смешан с молитвой, и оба они, и он, и она, не желающие идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе.

С этого все и началось.

Постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград», доклад Жданова на эту же тему и покаянная статья редакции «Знамени» напечатаны были в том самом, десятом, номере журнала, где и мои «Окопы», называвшиеся тогда «Сталинградом», вторая их часть.

Вот так, не успел я вылупиться, как сразу же окунули в дерьмо...

Ну и что? Возмущался, кипел, протестовал? Да, и возмущался, и кипел — за пол-литрой, с друзьями,— но, будучи секретарем парторганизации издательства «Радянське мистецтво» провел все же по указанию райкома собрание на эту тему. Длилось оно, правда, полторы минуты (Володя Мельник хронометрировал!), в детали не вдавался, сказал только: «Все вы, товарищи, знакомы с последним постановлением ЦК ВКП(б) и, конечно же, как настоящие коммунисты, примете его к сведению и исполнению», на этом собрание закончил, все разошлись, но собрание все же провел. И соответствующую реляцию отправил в райком [1]. А потом? Когда стали топтать Максима Рыльского, Сосюру, Яновского — за национализм, умиление прошлым, низкопоклонство? Не встал же и не сказал: «Товарищи, что вы делаете? Опомнитесь! Это же лучшие ваши писатели!» Нет, ничего этого не сказал, промолчал. (В тот же день Корнейчук, как бы между делом, осведомился: «Ты почему заявку на строительство дачи не подаешь? Подавай, поможем...») И в разгар космополитической кампании кратко, но осудил с трибуны, что, нет, не «позорное», как говорили другие, «прискорбное» явление. (На следующий день, на этот раз не Корнейчук, а Збанацкий — секретарь парткома, намекнул, что есть возможность без очереди получить машину.)

И выросла среди дубрав Кончи-Заспы, на берегу Днепра, двухэтажная дача, с верандой и гаражом, где стояла бежевая «Волга», а после поездки в ФРГ и недурной «Опелек», и не только в Гослите, но и директор «Совписа» Лесючевский встречал с улыбкой, просил присаживаться, спрашивал, когда новую повесть принесете, включим сверх плана...

Да, сидел за одним столом.

С шулерами за одним столом. И хлебал из их же

---

[1] Факт из действительной биографии автора.— *В. Н.*

миски... Потом, встав из-за стола и утерев губы, шел в «Новый мир», неся под мышкой свой «Родной город», где Митясов вовсе не бил по морде декана Чекменя, а в «Кире Георгиевне» бывший ее муж, Вадим, ни в каких лагерях не сидел, просто работал где-то на Крайнем Севере. И нигде и никогда не позволял себе критиковать великого Довженко — в статье о хуциевском фильме «Два Федора» просто проводил параллель между двумя художниками — старым и молодым...

И все его любили. Читатели, в основном, за первую книгу, друзья за веселый нрав и компанейство, редакторы за покладистость, начальство за то, что на их языке называется принципиальностью — пьет, правда, и выпивши не прочь поиронизировать над системой, но линии партии придерживается, никогда не отклоняется, ни вправо, ни влево.

Корнейчук как-то сказал ему:

— Написал бы повесть о Марине Гнатенко, нашей знатной бурякивнице, свекловодке, ты, кажется, с ней знаком. Русский писатель об украинской героине, здорово б получилось, а? И премию подкинули б, Шевченковскую, например...

Нет, повести не написал, премию не получил. А мог бы, поленился, дурак.

19

Расплатившись в «Л'Эклюз» вышли на набережную и пошли вдоль Сены в сторону Нотр-Дам. Букинисты уже закрывали свои «буат» [1], но у одного Виталий нашел номер немецкого журнала «Адлер», издававшегося во время войны на французском языке, номер, посвященный Сталинграду, купил и преподнес мне. Пройдя вдоль набережной Монтебелло, вышли к мосту Аршевешэ и долго стояли на нем, глядя на проплывающие под нами набитые туристами «батомуш». Говорили больше о Париже, о его жемчужности, прекрасных, хотя и загаженных собаками, улицах, о его домах, крышах, трубах, об Утрилло и Марке, о шарме этого города, о том, что в него нельзя не влюбиться. Потом вернулись назад, к Нотр-Дам. Примостились на скамеечке возле бронзового Шарлеманя Карла Великого и смотрели на всех этих мальчишек и девчонок в рваных джинсах, поющих, танцующих, бренчащих на

[1] лавки (*фр.*).

гитарах, валяющихся просто на мостовой, веселых и беспечных...

— Господи,— говорил Виталий,— ну почему наши ребята всего этого лишены? Ты посмотри на этих... Свободные, вольные, ничего не бояться. Не озираются, не вздрагивают, не пугаются. И, в общем, трезвые. Ты обратил внимание, как мало пьяных? У нас, чтоб почувствовать себя чуть-чуть свободным, не меньше пол-литры надо ахнуть. А тут? «Дроги», скажешь, наркотики? Есть, много пишут об этом, но вот сейчас перед тобой пацанва, молодежь... Ты представляешь себе такое на Пушкинской площади? — и, помолчав, добавил: — Нет, спасибо партии и правительству за этот подарок, Париж они мне подарили. Это ценить надо.

Я молчал.

— Чего грустным стал?

— Да так как-то...

— Ты напомнил мне сейчас эту байку, знаешь, про писателя Первухина, назовем его так... Чего невеселый, спрашивают, Володя? Дома плохо? Да нет, все в порядке. Сын на второй год остался? Напротив, на одни пятерки учится. Дачу ремонтировать надо, денег не хватает? Да уже кончил, третий этаж отгрохал. Деталей к машине не можешь достать? Какие там детали, новенький «Шевроле» в гараже стоит... Так в чем же дело? — Народу тяжело...

— А у меня, Виталий, к тому же и внук из двоек не вылазит, у жены любовник, а «Опель» на вечном приколе, деталей таки да, нет, так что...

— Ладно, не кончай. Знаю я тут одну кафешку, чувствую, что надо тебе тонус поднять.

И мы пошли на Муфтар.

С трудом нашли пустой столик, жарко и душно, парижане вывалили на воздух — заказали пива, и Виталий стал рассказывать о своей эмигрантской жизни.

— Не легко, Викочка, ох, как не легко. С писательства не проживешь. Это тебе не Союз нерушимый, где по триста рублей за лист отваливают. Кроме Сименона и Труайя никто с книг и тиражей своих не живет. Надо подхалтуривать. Прилепиться к какой-нибудь газетенке, журнальчику, радио, телевидению. За книги платят с количества проданных экземпляров. Значит, читателю должно понравиться, не ЦК, а читателю. А как ему угодить? Сейчас в ходу мемуары и детективы. На растерзанную русскую душу ему наплевать, подавай убийства в

«Ориен-экспрессе»...— Виталий вздохнул.— И на квартиры здесь каждый год повышают, сволочи, плату. И цены дай Бог... Я приехал, пачка «Голуаз» франк двадцать стоила, сейчас четыре. И так все. В кино иной раз не пойдешь, двадцати пяти франков нету... И все же, дорогой мой письменник, как подумаешь только, что мог бы я сидеть рядом с тобой на той эстраде и стишки читать или там прозу, а потом отчитываться, где был, с кем встречался...— Он хлопнул ладонью по столу так, что соседи даже обернулись.— Счастливый я все-таки человек, в сорочке родился...

Заказали еще пива. Я спросил, пишется ли ему, мне вот как-то сейчас не очень.

— Писать-то пишется. Но в общем-то...

Глаза его потеряли вдруг свою обычную веселость.

— Тренажа здесь нет, понимаешь. Размякли. Дома всегда был собран. И школу хорошую мы прошли. Литературной эксцентрики, я бы сказал. Жонглировать, ходить по проволоке научились. Мускулы всегда в хорошей форме, реакция моментальная. А здесь? Здесь все можно, все дозволено. И риска никакого, никакой опасности. Здесь не надо быть героем...— Он вздохнул.— И читатель здесь непонятный. Да и не очень нужный. Пишу-то я не для французов, для вас, гадов. А вы далеко. И путь к вам ох, как тернист. Ты все же вроде начальства, в разных президиумах, секретариатах, партбюро числишься, за солженицынский «ГУЛАГ» тебе ничего не будет, сами дадут почитать, не давай только другим, а у районного врача найдут — персональное дело.

— Иронизируешь? — я обиделся.— Да! Член партбюро, но, поверь мне, не только «ГУЛАГ» читаю. Иной раз и за песосыпа какого-нибудь на партбюро заступишься, заслуги, мол, у него есть, не молод, и беден...

— А если и молод, и здоров, и заслуг еще нету? Ладно, догадываюсь, что членство в этом твоем засранном партбюро не только привилегия, но и крест, который надо тащить, но знаешь, что мне сказал один очень славный мичман нашего минзага «Ураган», когда его завербовал смершист? Другой донесет на тебя, трепача и хулителя начальства, сказал он мне, а я — нет! Так что радуйся, поздравь меня заодно, и пол-литру поставь. Логично?

— Виталий, ты стал западным человеком, ты все забыл.

— Нет, не забыл, а отверг.

— А я не отверг, за это у нас дома сажают. Но имея

пусть маленькую, пусть ничтожную власть, используешь ее...

— Не на зло, а на добро. Знаем мы эту теорию.

В этот вечер мы чуть не поссорились. Но Виталий оказался умнее меня.

— Вика, мы не на равных. Я свободный человек и ничем не рискую, а ты... Сейчас ты мой гость и гость Парижа. Давай-ка упиваться им, Парижем! Может, на Пигаль сходим? Или тут недалеко, на Сен-Дени? Что скажешь, гражданин Союза Советских Социалистических...

Тут в пору было дать ему по зубам, но вместо драки начались почему-то пьяные лобзания, почти как на Внуковском аэродроме все эти гусаки и кадары. За соседним столиком с некоторым удивлением следили за этим неожиданным проявлением мужской нежности. «L'âme slave mysteriouse» — единственное объяснение — загадочная славянская душа.

20

На следующий день я позвонил Виталию из автомата.

— Ну что еще? — раздался сиплый, очевидно от вчерашнего, голос.

— Жажду общения.

— Случилось что-нибудь?

— Общения жажду...

Оно произошло в кафе «Эскуриал» на углу бульвара Сен-Жермен и рю дю Бак. Виталий, небритый и какой-то всклокоченный, увидев меня, сразу же все понял.

— Тебя прорабатывали.

— Прорабатывали.

— Долго, усердно?

— Порядочно. Но не то что усердно, а по выражению товарища Симонова, с чувством непреходящей горечи.

— Давай по порядку. Ты вернулся поздно, косой и тут же наткнулся на...

— Булата. «Завтра в десять партгруппа,— сказал он.— Постарайся не опохмеляться».

Пива я все же выпил, побрился и пошел на партгруппу...

Длилась она часа полтора, не меньше. Председательствовал Симонов, напяливший на себя маску печали с трагическим оттенком.

— Постарайтесь, Виктор Платонович, отнестись ко всему, что вы здесь услышите, с достаточной серьез-

ностью,— начал он, мило, по-симоновски, грассируя.— И ответственно, добавил бы я. В кармане у вас партбилет, и не вчера полученный, а на фронте, в разгар боев. Думаю, что это должно кое-что определить в нашем с вами поведении, образе жизни...

И он заговорил о нашем поведении, в частности, за рубежом, об образе жизни, о принципах, на которых эта жизнь построена. Говорил он долго, с паузами, не повышая голоса, приводя примеры, вспоминая прошлое.

— Когда я уговаривал Бунина, это было давно, вернуться домой, я знал, что передо мной человек, ненавидящий все советское. Но это был Бунин, русский писатель, один из лучших наших стилистов, может быть, только Набокову под силу с ним тягаться. И все же мы знали, что при всем его озлоблении против нас, ему без нас, без России, плохо. И надо было ему помочь.— Тут он посмотрел на меня долгим, укоризненным взглядом.— Ну, а Никитин? Не станете же вы нас убеждать, что ресторанные ваши беседы посвящены были вопросу возвращения его в лоно семьи. Ни семья ему, ни он семье не нужны. Это ясно. Не будем говорить, какой он писатель.— И тут же заговорил о том, что писатель он средний, даже не писатель, а просто свидетель неких событий, пусть с острым глазом и чутким ухом, и события, описанные им, как и все на фронте, интересные, и все же только свидетель, не умеющий ни обобщать, ни делать выводы, человек с узким кругозором...

Тут я его перебил и сказал, что в свое время именно в этом обвиняли и меня — дальше собственно бруствера ничего не видит.

— Ну, зачем эти сравнения, дорогой Виктор Платонович? Они совсем не уместны. Слава Никитина, слава дутая, основная масса его читателей и почитателей алкоголики и одесская шпана. И простите, я не совсем понимаю, что у вас с ним может быть общего...

— Этот самый алкоголь! — расхохотался Виталий.— Ну, дальше, дальше.

— Дальше стали выступать товарищи. И повторять приблизительно то же самое. Никитин, мол, не просто отщепенец и махровый клеветник, подразумевается все та же «Свобода», а человек, которому ничего не дорого, не свято. Такие понятия, как патриотизм, любовь к Родине, гордость нашими успехами ему просто неведомы. Наплевать ему на них. Джинсы «Левис», пластинки Битлсов

или Роллинг-Стоунов, шотландское виски — вот его идеал.

Тут я опять не выдержал и сказал, что в джинсах, ты, правда, ходишь, и может быть, они даже получше, чем те, что сейчас на Евтушенко, но виски терпеть не можешь, предпочитаешь «Выборову», а музыку, как ни странно, классическую. Здесь все изобразили благородное негодование и с тебя, Виталий, переключились на меня... А вообще, ну их всех на ...! Надоело!

— Давно жду этих слов, именно этих,— Виталий одобрительно похлопал меня по плечу.— Чем же все кончилось?

— Думаю, что не кончилось, а только началось. А на данном этапе, в этом нашем «Эглон», резюмировала, подвела, так сказать итог, все та же Клавдия Сергеевна. Ее удивляет, мол, мое легкомыслие, несерьезность, непартийное поведение и что, закончила она, как это ни печально, но в Москве обо всем этом придется доложить. На этом и разошлись.

— И никто потом не подходил?

— Как же, подходили, озираясь. Тот же Евтух. Плюй, мол, на них, что ты хочешь, иначе они не могут — и, подмигнув, исчез. А вообще, ну их всех! Вот где они у меня сидят, со своими партгруппами и поучениями... Давай-ка лучше напьемся, дорогой мой свидетель интерес ных событий.

— С острым глазом и чутким ухом... Давай!

И мы заказали бутылку водки. Принесли какую-то неведомую, ни мне, ни Виталию, под названием «Staraya datcha».

Потом гуляли по Парижу, от кафе к кафе. Как ни странно, но у Виталия откуда-то были деньги, и мы могли не только пить, но и закусывать. Почему-то не пьянели. Виталий рассказывал забавные эпизоды из флотской своей жизни, я пытался вспомнить последние московские анекдоты про чукчей, они пришли на смену Василию Ивановичу.

Но где-то опять переходили на то, что грызло.

— Вот смотрю я отсюда на Париж,— говорил Виталий, когда мы примостились у окна во всю стену ресторана на 56-м этаже Монпарнасской башни,— гляжу на него, на все эти крыши, улицы, поток автомобилей, всех этих спешащих или, наоборот, никуда не спешащих парижан и задаю себе вопрос — почему надо ненавидеть капитализм? А потому что он плохой, нас с детства этому

учили. И любой из этих не спешащих никуда парижан скажет то же самое — плохой! Миттеран это скажет и старый мудрый Раймон Арон, и Ив Монтан, и Симона Синьоре, и даже этот официант с усиками, ручаюсь. Всем он не нравится, этот капитализм, все его ругают, но у каждого в кармане больше, чем у тебя, знаменитого советского писателя.

И мы заговорили о всеобщей нищете и немыслимом богатстве отдельных представителей страны бесклассового общества. Виталий приводил примеры.

— Кому ты все это рассказываешь,— не выдержал я.— Ты вот этому мусью в очках расскажи, что за тем столиком сидит, «Либерасьон» читает. Расскажи ему популярно, что такое социализм. Я-то им уже объелся.

— Объелся?

— Объелся. Воротит.

— Что ж, меняй тогда меню. Повара-то при всем желании не прогонишь.

— В обозримом будущем, во всяком случае. А насчет меню... Ладно, давай, расплачивайся, пошатаемся еще по ночному Парижу.

Распрощались мы с ним, когда совсем уже рассвело. Сидели на каких-то ящиках у самой воды. За нашей спиной проносились, стуча на стыках, редкие еще ранние электрички. А за полотном, вдоль набережной Андрэ Ситроен, торчали, такие чужие этому городу, стеклянные башни «а-ля Нью-Йорк» пятнадцатого аррондисмана, по-русски района. Сидели и ждали восхода солнца.

— А это мост Мирабо,— сказал Виталий,— тот самый...

— Какой? — не понял я.

— Ох, уж эта мне темнота... Аполлинер. Гийом Аполлинер. Поэт такой французский был. «Sous le Pont Mirabeau»... Под мостом Мирабо течет Сена... И дальше что-то там про любовь. Каждый школьник здесь знает.

— Перерос я уже этот возраст, Виталий.

— А тот вон мост, где статуя Свободы, копия той, нью-йоркской,— он махнул рукой вправо,— называется «Пон де Гренель».

— Не отравляй последние минуты, на рю Гренель советское посольство...

21

Вернулся я в свой «Эглон», уже когда первые постояльцы начали спускаться в кафе на «пти-дежене»[1]. Я сел за столик, заказал яичницу с ветчиной и апельсиновый сок.

Когда, позавтракав, уходил, столкнулся в дверях с Симоновым в сопровождении Клавдии Сергеевны.

— А я вас вчера весь день разыскивала,— сказала она, задержавшись в дверях.— Вам раза три или четыре звонили из посольства. Товарищ Червоненко вами интересуется. Просили позвонить не позже двенадцати. У вас есть их номер?

— Есть,— сказал я и направился к выходу.

Оба посмотрели мне вслед. Симонов так ничего и не сказал, был мрачен и суров.

...Впереди был целый день. Самолет на Москву в 18.00. С «Шарля де Голля». Билеты всем уже раздали. Сбор в гостинице в 16.00. Сейчас было около восьми утра. Виталий сегодня целый день чем-то занят. И вот, оказывается, трижды звонили вчера оттуда. Товарищу Червоненко, послу, я, видите ли, понадобился. Донесла все-таки эта сука. Вы все же член партии, товарищ Некрасов, не забывайте...

Не стану туда звонить, ну их в баню, обойдутся...

Я свернул с бульвара Распай, где наш отель, на бульвар Монпарнас, от нечего делать постоял у расписания на вокзале. Может, в Версаль катнуть? И поехал в Версаль.

Не торопясь, в одиночестве, гулял по осеннему парку. Шуршали под ногами листья, слава Богу, никто не подметал. Было пусто, никаких туристов, раньше девяти они не появляются. Бродил по аллеям, вспоминал Александра Бенуа.

А в восемнадцать ноль-ноль в Руасси, на «Шарль де Голль», минут за двадцать до посадки, объявят в репродуктор: «Пассажиров, отлетающих в Москву рейсом № 085, просят пройти к выходу Е». И все направятся к выходу «Е», и у каждого в руках будет пухлый пакет, а в пакете дубленка...

Во дворец я не пошел, появились первые туристы, японцы, у всех на шее фотоаппараты вот с такими вот полуметровыми объективами. Я сел на электричку и вернулся в Париж.

---

[1] завтрак *(фр.)*.

В центре я уже неплохо ориентируюсь. От вокзала по рю де Ренн дошел до Сен-Жермен-де-Прэ. Это если не самая старая, то одна из древнейших церквей Парижа, «прэ» — это значит «луг». Она оказалась открыта. Я вошел внутрь. Две опрятные старушки сидели в разных концах и молились. Третья меняла воду гладиолусам у алтаря. Лучи солнца сквозь цветные стекла витражей, красные, желтые, и больше всего синих, то тут, то там оживляли пятнами каменный пол и средневековые стены церкви. Я примостился в углу. Вот если б зазвучал орган. Но еще рано...

— Ну, что ж, Виктор Платонович,— сказал Виталий, когда мы прощались у станции метро Бир-Хакейм.— Насколько мы с тобой расстаемся, Аллаху и то не известно. Надеюсь, не навсегда...

— Espère [1], как говорят твои французы. Не совсем ясно, где встретимся, но верю.

— Верю,— сказал он.— Верую. Глупо как-то жить в разных мирах. Глупо и противоестественно.

— И скучно, очень скучно, Виталий. Даже не представляешь как...

— Пытаюсь представить. И понять. И в общем-то понимаю. Я ведь умный.

— Ты уверен в этом?

— Абсолютно... И как всякий умный человек, советов никогда никому не даю. А хотелось бы...

— Кому? Мне?

— Тебе, хотя бы...

— Не надо. Я знаю, о чем ты. Не надо.

— А может, все же надо?

— Пока нет.

— Пока?

— Пока...

— Ну что ж, договорились на «пока».

Мы обнялись. Ткнулись друг в друга щеками.

— Ну, я побежал,— сказал он.— Это мой поезд на мосту идет. Будь!

— Будь!

Он сунул свой билетик «карт-оранж» в турникет, помахал мне на прощание рукой и легко, через одну ступеньку, побежал вверх по лестнице. А я пешочком пошел в свой «Эглон», на Распай.

---

[1] Надейся *(фр.)*.

Весь день шатался по Парижу. Последний парижский день. Вышел из церкви, пошел по рю Бонапарт, куда-то свернул, кажется, на рю Жакоб, потом еще куда-то.

Шататься по Латинскому кварталу — что может быть лучше? Мечта, голубая мечта каждого русского мальчика из интеллигентной семьи. Когда-то и я им был. В общем-то, и остался. Несмотря на гражданские и прочие войны.

Впервые, попав в этот квартал юношеской своей мечты, далеко, правда, уже не мальчиком — было это в конце пятидесятых годов — долго, разинув рот, стоял перед витриной с игрушечным поездом. Бежал он себе по игрушечным рельсам, вагоны первого, второго класса, международный и ресторан, нырял в туннели, останавливался у семафоров, гудел и бежал дальше. Я стоял в оцепенении. Мне так хотелось его купить, привезти домой, запрятаться от всех, разложить рельсы на полу и ту-ту!.. мой милый норд-экспресс...

Сейчас я тоже постоял перед витриной — все за эти годы усовершенствовалось, вместо паровозов электровозы, и светофоры, и длинные платформы, груженные «Фиатами» и «Ситроенами», и кто все это может купить? Паровозик или там электровозик не меньше тысячи франков — спросите любую эмигрантскую жену, она вам скажет, что на эти деньги можно приобрести.

Но что-то не забавляли меня сегодня ни паровозики, ни белокрылые яхты, ни колумбовские каравеллы. Привык уже, даже я, редкий гость, к этому запаху — загнивающего Запада. Гниет, проклятый, хотя воняет больше бензином. Нормальный парижанин только и говорит, что надо бежать из Парижа, задохнешься, смотрите, почти все вязы погибли.

Зашел в две-три галереи. Картины, скульптуры, понятие более или менее условное. Эмоций не вызывают никаких. В углу очень симпатичный бородатый молодой человек, очевидно, автор всех этих брызг и клякс на полотнах. С какой-то непонятной, с трудом подавляемой ненавистью, смотрел я на добротные алюминиевые рамы, Бог знает, сколько каждая из них стоит. И ведь все это уже было, было. Кандинский давно умер, Малевич тоже...

Кивнув симпатичному бородачу, вышел из галереи. Как Хрущев из Манежа. «Искусство педерасов!» ...Хорошо, не было рядом Виталия. Что, по Лактионовым своим соскучился, по Илье Глазунову? Зайди в «Глоб», там его навалом...

И я зашел в «Глоб». Был уже раз, приценивался к Цветаевой. Но ее и в Москве, если очень уж хочешь, достанешь, а сейчас смотрю два толстенных тома — Серов и Левитан. Какая бумага, какие поля, какой шрифт, репродукции... Да что ж это такое? Свои, родные, советские книги в Париже! А в Москве — шиш...

Со зла купил на последние гроши «Плейбой» и уселся в кафе над кружкой пива.

Ничего, ничего, пей свое пиво и закругляйся. Вечером будешь уже в Москве. А тебе уже три раза из партбюро звонили, все интересуются, когда приедешь.

Я посмотрел на часы. До самолета еще три часа. В отеле надо быть за два часа до отлета. Значит, еще час.

Расплатился за пиво, направился к Сене. Попрощаться с букинистами, порыться на прощание в их «буат».

Опять не вышло. Рылся, ходил от одного к другому, наткнулся на пачку «Иллюстрасьон» за шестнадцатый год — мое детство, «Нива», Верден, форт Дуамон, роскошные, на всю страницу лихо нарисованные атаки, траншеи, взрывы, зачуханные, героические «пуалю» — хотел купить, подсчитал ресурсы, не потяну. Пошел к «Шекспиру» — книжная лавка любителей старья, английских книг, встреч и еще чего-то. С хозяином-стариком вроде знаком по прошлым приездам, говорит малость по-русски, может, выклянчу у него какую-нибудь подешевле, не возвращаться же с пустыми руками. Оказывается, болен. Заменявший его лохматый парень, жаривший яичницу на электрической плитке — здесь все по-домашнему — мило улыбался, но к ценам относился строго.

Потом долго сидел у самой Сены, устроившись на каких-то канатах. Справа рыболов, весьма живописный, находка для туриста, слева целовались. Вдоль набережной, за моей спиной, прогуливали экзотических собак, неведомых нам, россиянам, афганцев, пиренейцев, пятнистых далматинцев и пугающе вытянутых, как черви, крохотных такс. Мимо проплывали баржи и длинные, набитые бездельниками, насквозь стеклянные туристские катера. Доносились голоса кричащих в микрофон гидов.— Слева Нотр-Дам, воспетый Виктором Гюго, справа бульвар Сен-Мишель, любимое место парижской молодежи. Легкий ветерок трепал мне волосы.

Надо идти в гостиницу. А ноги не несут. Там ждут, пересчитывают, как цыплят. Ну и черт с ними, плевал я на Клавдию Сергеевну, пусть поволнуется.

Приехали поэты, элита называется. На пять дней. Продлиться не разрешили. Почему? А черт его знает, почему. Москва не разрешила, и все! А что я успел за эти пять дней? Ничего. Только с Виталием пообщался. Стоило, конечно, хотя я так и не понял, как ему тут живется. Кажется, не очень, но почему-то весел. А я зол, на все и всех. А поэты озабочены, бегают по «Лафайетам». Один только Евтушенко заглядывает в книжные магазины. Кроме туфель из пупыристой страусовой кожи, на высоких ковбойских каблуках, купил полного Набокова у Каплана. А Вознесенский не приехал, звонит из Лондона, очень сожалеет, но задерживают студенты, то ли оксфордские, то ли кембриджские. А на самом деле боится, что аплодисментов будет меньше, чем у Женьки. А тот только рад, тоже побаивается соперника. А перекрыл всех Булат — ему больше всех хлопали.

Без пяти три. Надо идти.

Куда?

В «Эглон»...

Все уже набивают свои чемоданы, ругаясь, что не влезает. А я, дурак, везу какого-то нубийского божка, два тома Юрия Анненкова, да подаренный мне Виталием «Адлер». И это все? — спросят в Москве. Все,— совру я,— остальное пропил! Зачем эта ложь, непонятно. Как будто Виталий разрешил бы мне хоть франк потратить на спиртное.

Хорошо или плохо Виталию — вот чего я до сих пор не пойму. Свобода свободой, но...

Я спросил его как-то, скучает ли он по дому? Он не сразу ответил.

— Ну, как тебе сказать? Скучаю, конечно.

— По березкам или по ханыгам?

Он рассмеялся, сверкнул своими фербенковскими зубами.

— И по тем, и по тем, и по тебе, гаду. Друзей-то здесь нет...

Вот тут-то мы и распили последнюю поллитровку, ту самую, под названием «Staraya datcha».

— Какие ж это друзья? Так, знакомые, приятели, за стаканчиком вина. Водки французы не пьют, а русские, сам знаешь, не лучший из вариантов... Но главное не это. Казалось мне всегда, что в Москве у меня миллион друзей. Закадычных, полузакадычных, любимых девочек, назовем их так, хотя они давно уже не девочки, да и я

не такой уж мальчик. Короче —некая привычная, необходимая тебе среда. И ты в ней, как рыба в воде. А потом уже семья. Ты ж меня знаешь, я не ахти какой семьянин, холостяк по натуре. Ну и вот...

Он стал вдруг серьезен. Разлил по стаканам.

— Уехал-то я из России не только потому, что обрыдло это свинство и захотелось глотнуть чего-то там свеженького... Начались партсобрания, где стали меня песочить, и телефон-то умолк. И за столиком в ЦДЛ сидишь один, разве ты только подойдешь. Анчар и все... И птица не летит, и тигр нейдет, лишь вихорь черный... Вы не сердитесь на меня, Виталий Сергеевич, сказала мне одна весьма порядочная дама, свой срок в свое время, не ахти какой, но отсидевшая, потом реабилитированная, но в партию восстанавливаться не захотевшая, одним словом, весьма достойная дама... Так вот, не сердитесь на меня, Виталий Сергеевич, говорит, но у меня сын подрастает, ему семнадцать лет, и я не хочу, короче: вы должны сами понимать. И я понял. Вот так-то, дорогой Виктор Платонович... А березки? Их тут полно. «Було» называются. А вот как плакучая или кудрявая, не знаю. Может, ее-то и нет. Ну и хрен с ней, зато... Что зато? Вика, дорогой мой Викуля, поверь мне, не мучает меня совесть. Ну вот нисколечко, Прозрачна и чиста, как слеза младенца. Были бы у меня сын, дочь, другой вопрос. А так, жене посылаю барахлишко, то с тем, то с другим. Сюда вызывать не собираюсь. И оба мы довольны. Я в большей, она, очевидно, в меньшей степени, но с работы ее не прогнали, директриса у нее хорошая, думаю, кое-что и ей перепадает из моих гостинцев. К слову, тебя ничем отягощать не буду, недавно была оказия, послал очередную партию кофточек...

К этому вопросу мы больше не возвращались, пошли шататься по Парижу.

Анчар... Прокаженный... Как все это мне знакомо.

Страна не-героев. Великая страна, вечно озирающихся, вздрагивающих от каждого окрика, ничему не верящих людей.

Сахаровых единицы... Где Гастелло? Где? Только на войне? Миру мир! А оказывается, постыднее его ничего нет. У меня, видите ли, сын подрастает...

Но эта хоть не врет, а остальные?

Евтушенко. Когда-то мы все его любили, властитель дум молодежи, а теперь ночами, видите ли, не спит, нейтронная бомба покоя не дает.

И Рождественский тоже здесь, в Париже, по телевидению выступал — прорвался-таки. Я горжусь, что я советский поэт, сказал он, мне стыдно за Солженицына, который променял Родину на толстую пачку долларов и сомнительную славу... Тьфу! А я не пошел на телевидение, хотя мне и не предлагали. А если б предложили? О Солженицыне, конечно, тоже спросили бы, а что я, уважаемый писатель, участник Сталинградской битвы, отвечу? А? А еще медаль «За отвагу» в Сталинграде получил.

Оторвался я от букинистов и пошел на цветочный рынок. Розы, сирень, громадные кусты сирени, ирисы всех цветов, то огненно-красные, белые, розовые, желтые и черные тюльпаны, двухметровые гладиолусы, какие-то африканские, неведомые, с красными толстыми, точно из носорожьей кожи, лепестками.

У входа в префектуру — она рядом с цветочным рынком — стоял полицейский. Молодой парень с приветливой, курносой физиономией, не то что вечно насупленный наш мент, мусор. Стоял себе и курил, хотя, вероятно, это и не полагается.

Подойти, что ли, к нему? Подойти и сказать — так, мол, и так...

Боже мой, что будет на аэродроме «Шарль де Голль». А до этого в осточертевшем «Эглоне», куда ноги никак не донесут, паника, телефонные звонки, кто его видел в последний раз? Прибегут из посольства, Симонов поминутно будет прикуривать золотой зажигалкой гаснущую трубку, не ожидал, не ожидал, от кого угодно, только не от него, на Клавдии Сергеевне лица нет, хватается за сердце, остальные угрюмо молчат, поглядывая на часы. Растерянный парень из посольства висит на телефоне.

Все еще нет... Что делать? Автобус ждет. Не задерживать же самолет... Наш, аэрофлотский. Нет, нет, вы сами позвоните, я не буду... Что?.. Не слышу... Лица на нем тоже нет.

Виталий встретил бы с распростертыми объятиями. Вот это да! Вот это молодец! Да подавись они все! Плевал ты на их сердечные припадки и инфаркты. Симонов, Симонов... Переживет. Пропесочат, поругают, в следующую поездку не пустят, а потом заколесит по-прежнему... Пойдем, пропустим по маленькой, пошевелим извилинами. Как тебе быть, горемычному... Не пропадешь. Никто еще здесь не пропадал. И домочадцев твоих потом вытащим. Мобилизуем мировую общественность. Всяких

там Беллей, Моравий, Шагалов. Вперед, лауреат Сталинской премии, за мной!

А курносый, со славной мордой полицейский, точно предчувствуя что-то, смотрит на лауреата и улыбается.

И вздохнул лауреат, щелкнул окурком в урну, не попал — не бывать, значит, этому,— и направился к станции метро Ситэ...

Через полчаса был в «Эглоне». Все облегченно вздохнули. Никто ничего не сказал, даже Симонов, только Клавдия Сергеевна, запивая очередной транквилизатор, от волнения пролила почти полстакана себе на грудь.

Лауреат же забился в самый зад автобуса, мрачнее тучи глядел на пролетающие мимо отели, кафе, рекламы и думал о том, что медаль «За отвагу», приедет в Киев, выбросит в окно, нет, отдаст внуку, пусть тот ее потеряет или выменяет на какой-нибудь кинжал или жвачку.

Приехав, не выкинул и внуку не отдал. Так и лежит она в своей картонной коробочке, даже не догадываясь, что хозяин ее о парижских терзаниях вспоминает все реже и реже и пишет новый роман.

О чем? А Бог знает, о чем. Не все ли равно? Говорит, что листов двенадцать-тринадцать, обычный его размер.

Говнюк? Зачем? Просто нормальный советский писатель.

Грустная картина? Мало сказать грустная.

Саперлипопет!

Нет, не тянет оно, это французское «жюрон», вялое, без души. Тут бы покрепче, выразительнее. Знаем мы как... Но воздержусь. При всей своей любви, даже, говорят, при злоупотреблении ими, этими столь русскими, нет, не ругательствами, какое ж это ругательство, это крик души, но в письменном виде все же воздержусь. Не приветствую новое увлечение. Вспоминаю Толстого. После Бородина старик Кутузов сочно матюкнулся, солдаты заржали, пришли в восторг, и мы все поняли, хотя заветные слова автор и не произнес. Да будет он нам примером...

22

Повествование наше развивается по какой-то странной кривой. Скорее, даже зигзагом. Вперед, назад, в сторону. Никакой стройности, композиции. Вот и сейчас,

после Парижа семидесятых годов, откатимся-ка назад, лет этак на тридцать, к концу сороковых годов.

Эйфория послевоенных лет уже на исходе.

Редакция «Знамени» в те годы находилась на улице Станиславского. По-видимому, в помещении бывшего магазина. В просторной его части, где когда-то торговали, был кабинет редактора Всеволода Вишневского. В подсобках — секретарша, машинистка, редакторы. В обычные дни было весело и шумно. Когда приходил редактор, становилось тише. Он садился за большой стол, спиной к окну-витрине и начинал писать письма, в том числе и сидевшему в соседней комнате Толе Тарасенкову, веселому своему заму — очевидно, для истории, последнего тома Собрания сочинений — «Переписка». Это была первая редакция журнала, где меня не отвергли.

В 1947 году, на удивление многим, «Окопы» были «лаурированы».

Потом меня все спрашивали:

— Расскажите, как вам вручали премию. Торжественно? В Кремле? Кто?

Увы, и не торжественно, и не в Кремле, а через окошко МХАТовского администратора тов. Михальского. Он по совместительству был секретарем Комитета по Сталинским премиям.

Я постучал в это самое окошко, к которому с трепетом подходили в студийные еще годы в надежде попасть на «Турбиных».

— На сегодня контрамарок нет,— сказал Михальский, даже не повернувшись в мою сторону, он говорил с кем-то по телефону.

— Мне не контрамарку, а...

— Билеты в кассе. От двенадцати до пяти...

— Нет... Мне это самое... Как его... Диплом, что ли...

Он мельком взглянул на меня — фамилия? — и, продолжая говорить по телефону, вынул из шкафа две плоские бордовые коробки — большую и маленькую. Из ящика стола папку, из нее лист.

— Вот тут, пожалуйста. Распишитесь.

Я расписался и взял свои коробки. В большой был диплом. В маленькой — золотая (так говорили) медалька с профилем вождя.

Беседа по телефону при мне так и не закончилась.

С этого момента, точнее дня — 6 июня 1947 года — все издательства Советского Союза, вплоть до областных

и национальных, стали включать книгу в свои планы. Делалось это автоматически — раз лауреат, в план, срочно...

Следствием этого было то, что в парижском «Фигаро» через много лет сообщено было в статье, посвященной только что прибывшему эмигранту — «личный друг Сталина, член ЦК, миллионер в рублях...».

Миллионером не стал, но какие-то деньжата завелись. Членом ЦК, разумеется, никаким не был, а что касается товарища Сталина...

Вот тут-то и подъехал ко мне, обогнув бел-горюч камень, большой черный ЗИС и выскочивший оттуда моложавый полковник вежливо козырнул:

— Прошу.

— Куда? — опешил я.

— Садитесь, пожалуйста. Рядом с шофером попрошу.

— А коня?

— Не беспокойтесь, все будет в порядке.

Я сел и мы поехали.

О том, что Сталин невелик ростом и конопат, я, конеч но, знал. И то, что «курьезен» и хороший тамада тоже, со слов четы Корнейчуков. Но то, что он встанет из-за стола и пойдет тебе навстречу, кто мог это ожидать? А он встал и пошел навстречу.

— Заходы, заходы, будь дарагым гостэм,— и взяв под локоток, подвел к креслу возле своего стола.— Садысь, садысь, сталинградец, потолкуем. Куришь?

Говорил он с акцентом, но небольшим (в дальнейшем читатель пусть сам расцвечивает его речь, я не буду).

Сталин сел за стол, выдвинул ящик, взял оттуда коробку своей знаменитой «Герцоговины Флор», вскрыл ее и протянул мне.

— Кури.

Папироса долго не выковыривалась, от волнения дрожали пальцы. Сталин заметил, но ничего не сказал. Только что-то вроде улыбки промелькнуло на его губах.

— Между прочим, почему «Герцеговина Флор» называется? Не знаешь?

Откуда я мог знать? Сам всегда удивлялся этому нелепому не «Герцогиня», а «Герцеговина».

— Тоже не знаешь. Никто не знает. Даже такой умный, как Шкловский, и то не знает. Странно. Очень странно...

Чиркнув спичкой, он долго, попыхивая, прикуривал трубочку, знаменитую свою сталинскую трубочку. Точно,

как на напельбаумовской фотографии — мелькнуло у меня в голове. Когда-то я был очень поражен, обнаружив ее в спальне Твардовского, над самой кроватью. Другая Бунина, висела над письменным столом. Это странное содружество долго не давало мне покоя.

Прикурив, Сталин откинулся в кресле и стал разглядывать меня.

Было одиннадцать часов утра. Я запомнил это, потому что часы, неизвестно где висевшие, я их так и не обнаружил, очень сухо и по-деловому пробили одиннадцать.

Все последующее я попытаюсь изложить как можно точнее. Дело нелегкое, с тех пор прошло не более не менее как тридцать пять лет, какие-то детали стерлись, но главное не это, главное — количество выпитой водки. А выпито было много. Сначала вино, потом только водка. Меня это несколько удивило,— всегда думал, что грузины не очень-то падки на водку.

Учесть надо еще и то, что рассказчик, как правило, всегда несколько идеализирует, приукрашивает свою роль и поведение в описываемом событии. Вряд ли мне удастся этого избежать, но, понимая всю значительнюсть того, что я сейчас поведаю, постараюсь быть предельно точным.

Какое-то время Сталин, откинувшись в кресле, рассматривал меня.

Мучительно пытаюсь сейчас вспомнить, какое же чувство я испытывал тогда. Первое, что напрашивается, конечно — страх. Перед тобой в кожаном кресле сидит убийца, самый страшный из всех убийц, которых знало человечество. И перед ним ты, один-одинешенек. В большом, пустом кабинете.

Но как ни странно, страха не было. Было что-то другое. Черчилль в своих мемуарах писал, что, готовясь к первой встрече со Сталиным, строго-настрого наказывал себе ни в коем случае не идти первым навстречу. Но достаточно было ему, маленькому седому человеку, показаться в дверях, как какая-то неведомая сила толкнула английского премьер-министра в спину, и он торопливо пересек весь громадный пустой зал, а Сталин стоял.

Нет, входя в кабинет, я никаких клятв себе не давал. Коленки, правда, малость дрожали, когда сопровождающий меня вежливый полковник сказал, открывая передо мной тяжелую, обитую кожей, дверь: «Товарищ Сталин вас ждет», но, кажется мне, вошел я спокойно, не убыстряя шаг, и вот тут-то Сталин пошел мне навстречу. И усадил против себя. И угостил «Герцеговиной Флор».

И во всем его облике была только приветливость, только доброжелательность. И в памяти моей на миг вспыхнул рассказ одного очень хорошего человека, который ни при каких обстоятельствах не мог соврать. Рассказ Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Сталин тоже как-то вызвал его к себе. Узнать подробности рейса «Малыгина» — Иван Сергеевич принимал в нем участие. Очень понравился ему тогда Сталин. Такой обходительный, любезный, немногословный, внимательно слушал.

Насчет исходивших от него гипнотических или каких-то других флюидов, ничего не могу сказать — думаю, что моя скованность на первых порах (к концу она, увы, исчезла под влиянием винных паров), была такой же, сиди я перед Черчиллем или де Голлем. Впрочем, ни тот, ни другой, насколько известно, в лагеря писателей не загоняли — деталь существенная.

Итак, Сталин разглядывал меня. А я его письменный стол. Пытался запомнить предметы на нем — отточенные карандаши в вазочке из уральского камня, маленький самолетик на стальной пружине и большой, зеленый, точно летное поле, бювар. Потом я поднял глаза и взгляды наши встретились.

И тут он, молчание несколько затянулось, сказал наконец:

— А я думал высокий, широкоплечий блондин, а ты вот какой, да еще с усиками... Так вот, знаешь, чего я тебя пригласил? А? Не знаешь... Со Сталинской премией хочу поздравить! — и неторопливо протянул мне руку.

Я вскочил и, пожалуй, торопливее, чем надо, пожал протянутую ладонь.

— И почему твоя книжка мне понравилась, тоже не знаешь? — он произнес это после небольшой паузы, во время которой я чуть не выпалил: «Служу Советскому Союзу!», но вовремя сдержался.— Задница у меня болит, вот почему. Все ее лижут, совсем гладкая стала.

Он рассмеялся, зубы у него были черные, некрасивые.

— Совсем как зеркало стала,— он встал и прошелся по комнате. Роста он оказался не больше моего, пожалуй, даже пониже, но плотнее, покрепче, шире в плечах.

— Ты сегодня вечером что делаешь? — спросил, остановившись передо мной.— Может, девушке свидание назначил?

— Никак нет, товарищ Сталин.

— Тогда приглашаю тебя к себе. Премию твою

отпразднуем. Винца попьем. У меня хорошее, государевых подвалов.

Впоследствии в разговоре он несколько раз вспоминал царя, но всегда говорил «государь». Не царь, не Николашка, не Николай II, а государь. И никакого озлобления. «Слабенький государь был, безвольный, не такой России нужен был...»

— Массандровского винца попробуем. Сохранилось еще. Кстати, что вы там у себя в Сталинграде пили? А может, не пили, только воевали? Под мудрым сталинским руководством? А?

И опять рассмеялся.

Действительно, «курьезный», подумал я. Такой приветливый, уютный дедушка. С ухмылочкой, на портреты свои совсем не похож.

Принесли чай. Очень крепкий, в подстаканниках. И вазочку печений. Сталин пил, макая печенье в чай.

Потом в дверях вырос вдруг Поскребышев. Внешности у него не было никакой, но потому, как он беззвучно появился, а потом так же растворился, я понял, что это он.

— Ну, чего возник? — не глядя на него спросил Сталин.

— Вы, товарищ Сталин, на двенадцать товарищу Гротеволю и немецким товарищам назначили. Ждут в приемной.

— Назначил, говоришь? Что ж, точность, говорят, вежливость королей. И генсеков тоже. Зови.— И повернувшись ко мне.— Немцы, немцы... Фрицы... Вот где они у меня,— он провел рукой по горлу.— Сациви любишь?

Я кивнул головой.

— Вечером покушаем. Не оторвешься.

В дверях появились немецкие товарищи. Сталин раздраженно махнул рукой.

— Да подождите, куда лезете.

Немцы попятились, беззвучно прихлопнув за собой дверь.

— Книжку мне подпиши. Только без всех этих «ах-ах», понял?

23

Никак сейчас не соображу, сколько же мы пропьянствовали тогда. Начали часов в восемь вечера, потом ненадолго разошлись, опять встретились и кончили вечером следующего дня. Когда, в котором часу?

Началось все в большой столовой, у него на даче, в Кунцево.

Посторонних никого не было. Я и он.

Подали сациви. Действительно, отличное. И лобио, конечно. И шашлык. Карский.

— Люблю карский, ах,— он причмокнул языком.— А мне все курицу, курицу...— он погрозил пальцем уютной, похожей на няню, женщине, которая нам подавала.— Еще раз курицу принесешь, знаешь, куда отправлю?

— Да уж знаю,— проворчала няня.

— То-то же... Так что пить будем, а? «Мукузани» или эту самую, вашу «Московскую»? Ты кем в армии был?

— Капитаном.

— Ай-ай, плохо, значит, воевал, не дотянул даже до майора? В твоем возрасте покойный Якир, знаешь, кем был? Командовал Украинским военным округом. Командарма 1-го ранга вскоре получил. А ты... Ну, да ладно.

Он разлил вино по стаканам.

— Ну, что? За того, который до победы довел? — И посмотрел на меня хитрым взглядом— А может, есть другие предложения?

Я что-то провякал, вроде «что вы, что вы»...

Выпили.

— Да, погорячился я тогда, погорячился... Буденный, Тимошенко, мудило этот Ворошилов, первый красный офицер... Им-то и с батальоном не справиться, а я им, дурак, фронты поручил...

И заговорил о первых месяцах войны. И то не так, и это не так, и зачем долговременную линию обороны на старой границе взорвали.

— Жуков, Жуков во всем и виноват, начальник Генштаба. Он в ответе...

Меня, конечно же, распирало от желания задать тысячу вопросов. Но пока воздерживался, боязно было. В середине разговора Сталин вдруг крикнул:

— Э-э! Кто там есть?

В дверях безмолвно вытянулся немолодой полковник.

— Скажи там кому надо, что завтра у товарища Сталина выходной.

— Есть сказать, что товарищ Сталин завтра выходной! — полковник лихо козырнул и исчез.

— На охоту завтра полетим. В Беловежскую пущу. Не бывал? Там еще зубры есть. Или как их теперь, зубробизоны называют...

В жизни я никогда не охотился. Это всегда огорчало Ивана Сергеевича, страстного охотника, охотника-поэта. «Единственное, что нас с вами разъединяет,— говорил он.— Будь вы охотником, мы бы с вами...» — и никогда не договаривал... И вот, пожалуйста, первый раз в жизни в Беловежской пуще, и не с Иваном Сергеевичем... Никогда б не простил.

После второй бутылки «Мукузани» речь зашла о литературе, писателях.

— Все прохиндеи. Все! Как один. С этим пьяницей во главе, Фадеевым... Вот Платонов, то был писатель. Божьей милостью. Ругал я его, правда, было за что, но писать умел. Или Булгаков... Видал во МХАТе «Дни Турбиных»? Я раз десять, а то и больше...

Потроша папиросы, стал набивать трубку.

— Вот это офицеры были, м-да, настоящие офицеры. Все вокруг рушится, большевики прут, а они присяге не изменяют. Молодцы! Приятно смотреть... Спички есть?

Я подал коробок. Он закурил, сделал несколько затяжек.

— А тут окружен со всех сторон всякими там... Никому не веришь! За полушку продадут.

Он встал, прошелся по комнате. Она была большая и пустая. Обеденный стол, вокруг стулья. У стенки то ли диван, то ли тахта, то что у нас, в Киеве, называлось «боженковская» — продукция мебельной фабрики имени Боженко. Над столом трехсотсвечная лампочка под розовым абажуром, с бахрамой.

Сталин походил, походил, сел, разлил вино.

— По последней, завтра рано вставать,— и опять крикнул: — Эй!

Вырос полковник. Сталин отдал распоряжение о самолете и чтоб разбудили не позже семи. Вздохнул.

— Плохо с писателями, плохо. Хороших пересажал, а новые — куда им до тех. Ну зачем, спрашивается, Бабеля сгноили? В угоду этой самой дубине усатой, Буденному? Обиделся, понимаешь, за свою Первую Конную. Оболгали, мол... А вот и не оболгали! — И вдруг без всякого перехода: — А может, подкрутить все же писателей? Дать команду Жданову... А?

Он посмотрел на меня долгим, испытующим взглядом, потом махнул рукой.

— Ладно, утро вечера мудренее. Отбой.

Неторопливо, вразвалочку, направился к дверям. Взявшись за ручку, обернулся и сказал на прощание:

— А писатели наши — дерьмо! Не обижайся, но дерьмо...

И вышел.

24

Всю ночь я ворочался на неудобной узкой кушетке в полупустой комнате, куда меня привели два вежливых, молчаливых капитана.— Чтоб это все могло значить? — думал я.— И как себя держать? Нельзя же все время молчать и поддакивать. Подумает еще, что трус или дурак. Но как его раскусить? Пока не получается. Может, когда больше выпьем? А вообще-то, молодец. Все ж под семьдесят, не тридцать шесть, как мне».

Опыта общения с тиранами у меня не было. Гитлер тоже, говорят, за столом был внимателен, общителен, ручки дамам целовал. Ильич кошечек поглаживал, говорил, что всю жизнь слушал бы «Аппассионату». Правда, добавлял, что она его размягчает, хочется милые глупости говорить, по головкам гладить, а по ним надо бить, бить... «Адски тгудное занятие». А этот? Вроде бы уютный дедушка, с юмором, над собой пошутить не прочь, но вот под конец, когда Жданова вспомнил и потом, когда обернулся у дверей, уютного дедушки уже не было. А это, «за полушку продадут»?

Чуть ли не всю ночь проворочался, к чему-то прислушивался — тишина была гробовая.

«Что же дальше будет»,— думаю.

А дальше, проснулся я посреди ночи, а он сидит у меня в ногах, в руках пол-литра.

— Не спится что-то, капитан. Мальчики кровавые в глазах. Решил к тебе зайти.

Я натянул штаны. Он был в полосатой пижаме, на локте заштопанной. Как Александр III, подумал я. Тот тоже любил все старенькое, ношеное. Витте в своих мемуарах вспоминает, как он сопровождал царя, когда был директором Юго-Западных железных дорог. Зашел ночью в царский вагон и с удивлением обнаружил государева денщика, старательно штопающего штаны самодержца. «А они не любят нового. Посмотрите на их сапожки, каждый месяц новые подборы ставим».

Сталин подсел к столу у окна.

— Ну, давай, капитан.

— А из чего, товарищ Сталин? — оглядевшись, я не обнаружил стаканов. Сталин вроде даже смутился.

— Минуточку, сейчас придумаем,— и вышел.

Вскоре вернулся. С двумя гранеными стаканами и тарелочкой огурцов.

— Хлеба вот нет. А старуху будить не хочется. Обойдемся?

Пьянка эта, начавшаяся где-то часа в три ночи, затянулась на весь день. Охота почему-то была отменена. «А ну ее, пожалеем этих зубров. Сохраним поголовье. Хоть тут, да сохраним» — и мрачно рассмеялся.

Пили водку, ели вяло, хотя старуха натаскала потом кучу всякой копчености, грызли в основном орешки.

— Закусывать надо, закусывать,— ворчала она, злобно бросая на стол вилки и ножи.— Забалдеете, начнете гостя обижать. Смотрите, какая телятинка, во рту тает.

— Не учи, старая, знаем, ученые.

— Чему ученые? Людей сажать ученые, а пить не умеете.

Сталин попытался рассердиться, но не получилось.

— Ладно, старая, иди, не мешай.

Старуха, ворча, ушла.

И все пошло вроде как по маслу. Даже закусывать стали. Возникший опять разговор о писателях принял вдруг шутливую окраску. Не ввести ли, мол, звания? Лит-майор, лит-полковник, генерал-литератор первого ранга, второго, третьего. Маршал литературы. Надеть на всех погоны, с лирой там или с гусиным пером. Собирался даже позвонить Фадееву, чтоб комиссию создал, потом раздумал.

— Дождемся съезда какого-нибудь. Выступлю на нем, ох и благодарить будут. Как архитекторы. Когда я им мысль про высокие здания подсказал. Очень им эта идея понравилась, акценты, говорят, расставили. Гениальное решение, товарищ Сталин, говорят...

Он разлил водку по стаканам.

— Надо бы еще что-нибудь придумать. Ты вот, говорили мне, по образованию тоже архитектор. Помоги, дорогой. Метро есть, высотные здания будут. Что еще?

И прищелкнул вдруг пальцами.

— Блестящая идея! Выпьем за нее, за еще одно доказательство сталинской заботы.

Выпили. Не окосеет ли? Нет, держится. Могучий старик.

— Так вот,— начал он.— Знаешь, почему Дмитрий Самозванец в русские цари не годился? Нет, не знаешь. Умный ведь, образованный был, а вот есть две вещи, без которых русский не может. Поспать любит после обеда, да в баньку сходить. А Дмитрий ни в какую. И не спит, и в баню не ходит... А? Какой же это русский царь?

— Никакой,— согласился.— А вы, Иосиф Виссарионович, ходите?

— Куда? В Сандуновскую? Да что ты, она для народа, не для нас. Потому и в цари не гожусь... Так вот, задумал я... Знаешь, как в Риме? Громадные такие бани, «термы» называются, красивые, с колоннами из мрамора, бассейны разные, фонтаны вокруг, а потом в специальных залах, тоже красивых, русалки там на потолках, Садко богатый гость, по кружечке пивца, попотеть, поговорить за жизнь. Народ наш доволен будет. Спасибо, скажет, товарищу Сталину, обо всем он заботится. И на душе легко, и тело чистое...

Очень ему понравилась эта затея. Поговорили еще о том, где их, эти термы, разместить и остановились на острове, где Дом правительства, кинотеатр «Ударник». Потом вернулись опять к «царской» теме.

— Баня там или не баня, а народ наш, кроме бани, любит, чтобы у него и царь-батюшка был,— на лице его появилось некое мечтательное выражение.— Самодержец Всесоюзный. Не плохо звучит, а? Царь Польский — Берута побоку, наместником сделаем,— Великий Князь финляндский,— Па-а-сикиви тоже побоку,— Эмир бухарский, Хан казанский и крымский. Господарь молдавский, Гетман вся Украины. Вот приеду к вам в Киев, булаву вручать будете.

Он развеселился от этой мысли, встал, подошел к столу.

— Чару налей! Келех по-вашему, по-хохлацки. За нового Гетмана выпьем! — он отхлебнул чуток.— Надо бы Никите позвонить, чтоб разыскал он эту самую булаву, Богдана Хмельницкого. Хранится же где-нибудь у них там.

Устроившись в кресле, в углу стояло одно в белом чехле, стал развивать тему о коронации. И про шапку Мономаха вспомнил, и про бармы царские. И во что нарядить членов Политбюро.

— В кафтаны, кафтаны! И Молотова, и Маленкова, и еврея нашего почетного Кагановича, всех в кафтаны... И хоругви чтоб несли. И в колокола ударим... Их, правда, всех к черту перелили. Вот Кагановичу и поручим до-

стать. Распяли Христа — пусть грехи замаливает,— весело засмеялся.

— Ну, что там еще при коронации бывает?

— Ходынка,— ляпнул я.

Смех прекратился. Поджал губы.

— Знаешь, что за такие штучки положено? Скажи мне такое Молотов или придурковатый наш Клим, да я бы их...— и покачал вдруг примирительно головой.— Ох, капитан, капитан. Шутник ты все же большой. Только потому, что сталинградец, прощаю. А то сделал бы тебя своим Балакиревым, придворным шутом. Колпак с погремушками на голову и сиди у трона, шутки шути, остроты пускай. Ох-хо-хо.

Гроза миновала.

— Слушай, а что если я тебя в Политбюро введу? Русский, фронтовик, что еще надо? Они же, серуны, и пороха не нюхали. Или в секретариат. Жданов пусть музыкой занимается, чижика-пыжика на рояле одним пальцем умеет, а ты литературой. Будешь подсказывать мне, кого в кино пригласить, «Тарзана» посмотреть, выпить потом, а кого под задницу. Поприжать их всех надо, паразитов. Расплодились, черти. Дачи себе понастроили, живут как паны... А у тебя дача есть?

— Что вы, товарищ Сталин, в коммуналке живу.

— В коммуналке? Сталинский лауреат и в коммуналке?

— Так точно, товарищ Сталин.

— Безобразие, понимаешь.— Он подошел к телефону.— Хрущева мне,— и через минуту,— Никита? Ну как, живой? Лазарь не замучил? Ну ладно, ладно. Так вот, сидит тут у меня один ваш киевский писатель, молодой. Некрасов фамилия,— он повернулся ко мне.— Ты не родственник, часом, того, классика?

— Ни с какой стороны.

— Говорит, ни с какой стороны. Сам вылупился, без протекции. Что? Не слыхал о таком? И не стыдно? Руководитель называется. Так вот, садись в самолет и чтоб... Сейчас сколько? Глянь, капитан, я без часов... Девять? Без пяти девять. Чтоб в двенадцать был у меня. Ясно?

Он положил трубку.

— Пусть проветрится. А то совсем замучил его там Лазарь, с этими делами украинскими. Заодно и повеселит нас, парень занятный.

Дальше произошло нечто, в чем я не проявил достаточной активности. А надо бы. То ли хмель помешал, то

ли важность того, что сообщено было мне, поставило меня в тупик, но только сейчас, столько времени спустя, я понял окончательно, какую промашку дал.

После телефонного звонка Сталин начал ходить по комнате. Из угла в угол, туда и обратно, своей неторопливой, неслышной походкой. Какое-то время постоял у окна. Я продолжал сидеть за столом, ковыряя вилкой остатки вчерашнего сациви.

Сталин подошел к столу и как-то странно посмотрел на меня. Потом направился к двери, приоткрыл и к чему-то прислушался, неслышно затворил, вернулся к столу. Да, подумал я, боги, оказывается, вовсе не благодушествуют на своих облаках, они тоже чего-то все время остерегаются, озираются, к чему-то прислушиваются...

Сталин внимательно смотрел на меня. Во взгляде его было что-то новое — не то что недоверие, а какая-то неожиданная для меня неуверенность, будто он сомневался в чем-то, на что-то не решался. И это Сталин... Длилась пауза секунд пять, может, десять.

— Никому не говорил, а тебе скажу,— произнес он наконец и глаза его сузились.— Молчать умеешь?

Я проглотил слюну. Сказал, что умею.

— Под большим секретом... Тайна,— он подвинул стул вплотную к моему и, наклонившись, шепотом сказал.— Дневник веду...— приложил толстый палец к губам.— Никто не знает...

Я молчал. Взгляд его сверлил меня насквозь.

— Никому не верю, все серуны... А тебе верю, понимаешь? И доверяю, дневник свой доверяю. Понятно? Когда умру...

Он вдруг умолк, стал к чему-то опять прислушиваться. Было тихо, только какая-то птичка щебетала за окном. Встал, беззвучной походкой подошел к кушетке, осторожно отодвинул ее, но тут же подвинул обратно.

— Не сегодня, нет...— распрямился.— Специальный разговор будет. Вызову.

И он вновь заходил по комнате. Туда, сюда. Раза три, четыре.

— Ладно, налей.

Я разлил по стаканам.

— Пикнешь только, язык вырву. Ясно? Как шах персидский или афганский...

Мы выпили, и он, как ни в чем не бывало, заговорил о Востоке. Вспомнил Амануллу-хана, который в начале двадцатых годов приезжал в Союз.

— Трактор мы ему тогда подарили. Тебе смешно? А тогда, знаешь, какой это подарок был? Интеллигентный был шах, падишах в то время назывался. И жена красавица...— он причмокнул языком и тут же добавил: — А язык вырву. Как его прадедушка вырывал...

Мне стало как-то не по себе, хотя он тут же улыбнулся своей чернозубой улыбкой и похлопал меня по плечу.

— Уже и пошутить нельзя, пугливые вы все какие-то...— и без всякого перехода.— Послушай, а ты дневник вел? Когда-нибудь? А?

— Пытался в Сталинграде, не получилось.

— Трудно, очень трудно. И непонятно. Для кого пишешь? Для истории? Для себя? Ладно. Потом. Вызову, поговорим... Как с писателем. Толстой вот писал, в сапог прятал. А мне куда? А? — он рассмеялся и погрозил мне пальцем.— Как там у Пушкина? И вырвал грешный мой язык, какой-то там, не помню уже, и лукавый, и жало мудрое змеи... Эх, нет больше Пушкиных, товарищ писатель, нет...— он вздохнул.

Фу ты черт, подумал я, холодея — влип. Язык, может, и не вырвет, но вот возьмет и вызовет. Что тогда? И заставит читать. Или наоборот — запретит. Но даст указание. Тогда-то и тогда-то, когда он умрет, в таком-то месте... А может и совсем по-своему — кто слишком много знает, к ногтю... Самый реальный из вариантов... Мне стало по-настоящему страшно.

25

Ровно в двенадцать, минута в минуту, дверь приоткрылась и в ней показалась поросячья физиономия Хрущева.

— Можно, товарищ Сталин?

— А, Лис-Микита,— Сталин приветливо помахал рукой.— Горилку привез?

Хрущев растерянно развел руками.

— Ну и недогадливый ты хохол. И истории не знаешь. К царям всегда с дарами приходят. Шубу там соболью, коня резвого, яхонты, алмазы... А нам вот с писателем, горилки с перцем вашей украинской не хватает. Ну, что делать с ним будем? Накажем?

— Так я, товарищ Сталин, сейчас...

— Да хрен с тобой. На первый раз прощаем. Налей-ка ему, капитан. Полный, полный. Бери! Да не расплески-

вай. Руки чего дрожат? Со страху, что ли? Ну, рявкнул мишка...

Очевидно, действительно от страха, но руки у Никиты Сергеевича так дрожали, что он с трудом стакан к губам поднес. Потом поперхнулся. Но выпил, с трудом, но выпил.

— Ох и питух же ты, Никита,— рассмеялся Сталин, обнажая черные свои зубы.— Тоже мне, казак, запорожец...

Удивительно он все-таки словоохотливым оказался. А я-то думал, что так лениво роняет слова. Ходит вокруг стола, попыхивает трубочкой и неожиданным вдруг вопросом каверзным огорошивает. Таким в кино мы его видали, к такому привыкли.

— Выпил? Теперь закуси. Балычок, семушка. Да ты не стесняйся, чувствуй себя как дома. Там небось от стола не оторвешь. Смотри, какое пузо отрастил. Давай ему второй, капитан. А то не на равных будем.

Второй пошел у Хрущева легче. Крякнул, вытер ладонью рот, отрезал кусок телятины.

— Вот и хорошо,— сказал Сталин и встал.— Вы тут закусывайте пока, а я тем временем...— он вышел, очевидно по надобности...

Хрущев тяжело вздохнул, посмотрел на меня со смешанным чувством почтения и недоумения.

— Так это из-за вас он меня вызвал?

— Да вроде.

— А по какому поводу, не знаете?

— Квартирному.

— Квартирному? А у вас что, нету? Так это ж по телефону все можно.

— Вероятно, можно.

— А еще про что-нибудь говорил?

— Говорил.

— Про что?

— Про булаву.

— Какую булаву?

— Богдана Хмельницкого.

— Что на памятнике? Убрать, что ли, надо? Вмиг уберем,— он облегченно вздохнул.

Иди оно так, как шло, все было бы прекрасно. Хрущеву было приказано отгрохать мне дачу на берегу Днепра, и квартиру не хуже, чем у Корнейчука («Ах, у него особняк, и Некрасову особняк!»), потом предложено было по традиции сплясать гопака и совсем уже не по тра-

диции — есть такое русское развлечение — изобразить борьбу с медведем и в награду преподнесен был келех и беднягу совсем развезло. Сталин смеялся, хлопал в ладоши. На этом бы и кончить, поблагодарить за гостеприимство, Никиту взять под микитки и улететь бы с ним в Киев, а там дача, особняк и прочие лауреатские блага с царского плеча.

Но не тут-то было, позвонил вдруг телефон. Сталин взял трубку.

— Ну, чего там,— буркнул.— А кто его приглашал? Занят я... Скажи, что занят,— и положил трубку.— Тоже мне борец с алкоголизмом.

Через минуту опять звонок.

— Ну, что? Какое там может быть важное дело? — матюкнулся.— Ладно, пусть зайдет.

Зашел Берия.

— Ну, чего принесло? Видишь, пьем. О серьезном разговариваем. Чего тебе надо? Короче.

Берия приоткрыл было рот, но Сталин перебил.

— А ну, дыхни! Трезвый! А трезвый человек — человек подозрительный. На, выпей.— Сталин налил полный стакан.— Штрафную.

Берия взял стакан и злобно посмотрел сначала на Хрущева, тот примостился уже на моей кушетке потом на меня.

— Чего косишься на него? Писатель. Мы тут с ним литературные проблемы решаем, а ты со своей мурой. Сажать сегодня никого не буду, ясно? Пей! И залпом!

Лаврентий Павлович с трудом, но выполнил приказание. Сталин ткнул вилкой в огурец.

— Закусывать надо. А то окосеешь и заведешь волынку... ну, докладывай, раз пришел.

— Разговор конфиденциальный,— сказал Берия.

— Ах, конфиденциальный? Серьезный? Жизнь страны от него зависит? Да? А может, я не хочу сейчас о стране говорить? Хочу о литературе. С писателем. Ты Щедрина читал когда-нибудь? Нет. А был такой губернатор-писатель. И не плохой. Лучше вашего Горького. Вот пойди почитай. Потом доложишь. Кру-угом марш!

Берия на глазах бледнел. После последних слов начал пятиться. Опять злобно глянул на меня. Сталин перехватил его взгляд.

— Пью с кем хочу, ясно? С тобой не хочу а с ним хочу. Пришел еще подглядывать,— и стукнул кулаком по столу.— Марш отсюда!

И Берия, грозный Берия, растаял; как будто его и не было.

— За грузина себя еще выдает, гад...— Сталин встал и прошелся по комнате. В столовую мы так и не пошли, пили у меня.— Подглядывают, сволочи, подслушивают, проверяют... Житья нет.

Поправил косо висевший шишкинский лес.

— На тебя еще грозно смотрит, блядюга. Пусть попробует только. Хребет сломаю ему, Малюте зарвавшемуся.

Нежданный визит этот испортил всю нашу идиллию. Начал вспоминать, кто в чем провинился. Виноваты, оказалось, все. Прихлебатели, болтуны, доносчики, каждый на чужом х.. в рай хочет въехать. Втируша Маленков и Вячек — медный лоб, и Лазарь этот обрезанный — все друг друга стоят...

И исчез уютный дедушка. По комнате из угла в угол решительными шагами ходил пока еще не разгневанный, но явно разозленный, выпивший (нет, не пьяный, я поражался этому, а именно выпивший), крепкий еще старик в заштопанной пижаме и, щедро пересыпая свою речь матом, поносил своих нерадивых слуг.

Подошел к прикорнувшему на моей кушетке Никите, пнул ногой.

— Ну, чего развалился? Сталин его вызвал, а он слюни тут пускает. Утрись!

Ошалелый Хрущев лихорадочно стал вытирать рот, оттуда, действительно, что-то текло.

— А ну встать! По стойке смирно! Докладывай, что у вас там, на Украине? Как указания выполняете?

Хрущев вытянулся, руки по швам, заморгал глазенками.

— Кре... Крещатик вот по вашему указанию восстанавливаем. Писатели включились. Павло Тычина стихи написал. Как это? Сестричку, братику, попрацюемо на Хрещатику...

— Нужен мне твой маразматик Тычина... Сестричку, братику... Ты мне про зерно, про уголек доложи. Сядь, соберись с мыслями.

И, как ни странно, Никита собрался — в этом, вероятно, и была магическая сила Сталина,— уметь выколачивать из людей нужное, в любой момент, в любой обстановке. Вынув из бокового кармана сложенную вчетверо бумажку, стал, не очень даже заплетаясь, приводить какие-то цифры.

Сталин, к моему удивлению, похлопал его по плечу и то ли доброжелательно, то ли с издевкой сказал:

— Видал? Пятидесятимиллионная республика, а у него все цифры в боковом кармане. Ну и даешь ты, Никита.

Тем не менее подсел к столу.

26

Дальше произошло то, чего я больше всего опасался. Мне захотелось говорить.

«Ни в коем случае! — Пытался я убедить самого себя,— ни в коем случае! Видишь, как все хорошо идет. Всех ругает, а тебя нет. Над всеми издевается, а тебя только по голове гладит. Никиту вот специально вызвал, дачу, особняк отвалил, что тебе еще надо? Кати немедленно в Киев и пиши, пока зеленая улица перед тобой...

Нет, хочу говорить!

Не гневи Бога, не гневи Сталина, балда! Начнешь за здравие, кончишь за упокой. Опять с какой-нибудь Ходынкой влезешь. Сейчас уже не сойдет тебе. Берия в нем всю муть со дна поднял, разве не видишь? Нет уже рождественского дедушки. Перед тобой Сталин, ты что, забыл? И оба вы пьяные...»

Ни в какую... Тост! Только тост! Хочу тост произнести!

И произнес.

Подошел к столу, разлил остатки водки и очень громко произнес:

— Дорогой товарищ Сталин, дорогой Никита Сергеевич! Простите, что я вторгаюсь в ваш серьезный, деловой разговор, но мне кажется, что настало время выпить...

— Очень правильное замечание,— серьезно сказал Сталин, взяв протянутый мною стакан.— Выпить никогда не вредно. Мозги прочищает.

И меня понесло. В пьяном словоизвержении своем я говорил в основном о войне. Об отступлении, об оставленной Украине, о мосинских трехлинейках, которые выдавали нам за день до вступления в бой, и, конечно же, о Сталинграде, Мамаевом кургане, солдатах, командире полка, Чуйкове, Родимцеве, колхозных лопатах, мерзлом грунте... Патриотизм так и пер из меня.

— У сталинградцев, у солдат была одна мечта,— закончил я свой несколько затянувшийся тост.— До-

рваться до логова этого бандита, до его канцелярии и нагадить ему на стол. Вот за это солдаты и пили свои положенные сто грамм.

— Хороший тост,— сказал Сталин.— Но в ответ я тебе вот что скажу. Налей-ка еще.

— А больше нет, товарищ Сталин.

— Как так нет? Такого не бывает. А ну, Никита, сбегай. Скажи там дежурному.

Хрущев неуверенной походкой направился к двери.

— И нарзану заодно,— крикнул ему вдогонку Сталин.— А тебе скажу,— он ткнул меня пальцем в грудь.— Понял я наконец тебя, Некрасов. Хитрый ты человек. Очень даже хитрый. За это хвалю. Но не расчетливый. Что раз прошло, второй раз уже не годится... Вот ты тост произнес. Хороший тост, патриотический. И тамада из тебя может выйти хороший. Уж не грузин ли ты? Может, бабушка какая была грузинкой, а? Но в тосте своем ты допустил ошибку — перехитрил или недохитрил, не знаю, но впросак попал.

Он прошелся по комнате. Озлобление его вроде прошло. Остановился против меня.

— Но скажи мне такое. только откровенно. По совести. По-твоему что, товарищ Сталин участия в Великой Отечественной войне не принимал? — и выдержав паузу, во время которой я почувствовал, что начинаю холодеть: — А мне казалось, что небольшой, но все-таки вклад сделал. Может я ошибаюсь?

Я стоял перед ним и молчал. Руки и ноги оцепенели.

— Хорошо... На это ты мне вполне справедливо ответишь, что вы сами, товарищ Сталин, сказали, что жопа у вас болит и что ты эту самую мою жопу пожалел... Вот и подсказал я тебе ответ. А ты уже испугался. Не надо. Но запомни — хитрить хорошо, но не с товарищем Сталиным. Понятно?

Он поднял руку, то ли предваряя возможные мои извинения или объяснения, то ли давая знак, что еще не кончил. Опять прошелся по комнате.

— Но это, так сказать, для начала. Присказка. Небольшой совет юному другу. Но главное, что я хотел тебе сказать после твоего тоста, хорошего тоста, не спорю, другое. Про Гитлера. Ты назвал его бандитом. И солдаты так его называли. Правильно называли. Конечно, он бандит, но я думал, что бандит умный, а оказалось глупый. Вот если б мы вместе да против всех этих наших союзничков, Черчиллей, Рузвельтов, весь мир покорили бы,

понимаешь, весь мир! А потом поделили бы пополам! А он, дурак, не понял. И полез. И по зубам получил.

Я почувствовал, что сейчас что-то произойдет.

— Товарищ Сталин, но ведь вы сами...

— Не перебивай! Товарища Сталина перебивать нельзя. Слушай. Договорились, значит, мы с тобой, что Гитлер бандит. Людей убивал, в печках сжигал. Нехорошо, конечно. Не гуманно. Ну, а товарищ Сталин, по-твоему, не бандит? — он сделал паузу, и я почувствовал по спине у меня побежали мурашки.— Сколько он людей на тот свет отправил! А? Куда там Гитлеру. Ребенок по сравнению с товарищем Сталиным... Учиться ему у товарища Сталина надо было, а он вместо этого полез, дурак, на него... А начал-то он, вообще, не плохо. Тесно, говорит, нам, немцам. Версаль задушил! И гам! — для для пробы,— Саар. Плебисцит, вроде, устроил. Сошло. Потом Австрия, аншлюс. Сошло. Судеты, Мюнхен — тоже сошло, победа. Сожрал Чехословакию, союзнички и промолчали. Молодец! Хвалю! Знал, что делал. И внутри тоже. С врагами народа надо поступать решительно. Колебаться нельзя. «Окончательное решение еврейского вопроса» — правильное решение. Я бы сказал даже гениальное.

Что он говорит? Я почувствовал, что во мне что-то оборвалось.

— Товарищ Сталин... Иосиф Виссарионович... Но нас же всю жизнь учили, убеждали, что антисемитизм...

Он не дал мне договорить.

— Не было его! Нет! И не будет! — он вдруг побагровел.— Нет такого понятия «антисемитизм». Понятно? Есть племя торгашей, ростовщиков и хапуг...

— Эйнштейн, что ли, торгаш и хапуга?

— Эйнштейн не знаю, а Каганович да!

Тут как раз вошел Никита с двумя бутылками водки.

— Скажи, Никита, Лазарь — вор?

Никита опешил. Поставил бутылки. Лихорадочно стал одну из них раскупоривать.

— Вор или не вор, говори!

Никита, точно рыба, выброшенная на берег, хватал ртом воздух. А перед ним стоял, расставив ноги, Сталин, весь красный, даже шея и грудь покраснели, со сжатыми кулаками и казалось, что вот-вот он размахнется и ударит его.

— Говори!

Но Никита не в силах был выдавить ни слова.

А я... До сих пор не могу понять, как это получилось, нашло какое-то затмение, но я выхватил у Никиты бутылку, молниеносно разлил по стаканам и сказал, упершись пьяными глазами в Сталина:

— Я предлагаю выпить за командира пятой роты лейтенанта Фарбера, товарищ Сталин. Слыхали о таком?

— Фарбера? Какого такого Фарбера? Не знаю я никакого Фарбера.

И напрасно! Командир пятой роты, 1047-го полка, 284-й дивизии. Выпили?

Сталин взглянул на меня так, что я понял — сейчас конец. Потянулся к телефонной трубке.

— За такое знаешь что? — сказал он, не сводя с меня глаз, страшно медленно, вколачивая каждое слово, точно гвоздь.— Не знаешь? Так вот узнаешь.

Он набрал номер.

— Берию ко мне,— и швырнул трубку.

Все! Я понял, что все.

Воцарилась пауза. Никто не двигался. Ни Сталин, ни Хрущев, ни я. Застыли.

В ушах стучало. Все быстрее и быстрее.

Сталин, стиснув протянутый мною стакан так, что пальцы даже побелели, стал приближаться ко мне. Тихой, беззвучной, какой-то крадущейся походкой.

И смотрел, не отрываясь смотрел. В глазах его вспыхнули маленькие, красные огоньки, как у кошки ночью.

За спиной моей тихо открылась и закрылась дверь.

Я понял, что это конец.

Залпом выпил стакан водки. В глазах пошли круги. В ушах зазвенело. Все сильнее и сильнее.

Я упал. Стакан покатился по полу. Последнее, что я услышал сквозь все усиливающийся звон в ушах:

Жиденький паренек... А я еще на брудершафт хотел.

Больше я ничего не слышал, я умер.

. . . .

Умер-шмумер, был бы здоров.

Одна из самых одесских сентенций великого черноморского города. Тираны умерли,— не все, правда. Молотовы и Кагановичи все еще поливают свои грядки, а может, что-то и строчат, лживое,— но главные убийцы все же лижут в преисподней раскаленную сковородку. А я, отряхнувшись, у своих друзей, в любимой Женеве, под прошлогодней сосенкой дописываю последние страницы.

Весна, март. Лопнули первые почки на каштанах. В Швейцарии это считается наступлением весны. Специальный человек следит за специальным каштаном в университетском парке, и лопнула почка, выглянул крохотный пятилапый листочек и сразу же в газету — началось! Дописываю... Напротив меня, под березкой, вылезли из-под земли четыре крохотных крокуса, три лиловых, один белый. Утром только выглянули, сейчас уже распустились. И пчелка прилетела. За работу, товарищи!

Что-то затянул я на этот раз. Прошли лето, осень, зима. И много событий произошло за это время. И в мире, и в моем парижском Ванве.

В магазинчике с джинсами, том самом, сделали ремонт. Заменили вывеску. «Саперлипопет» засияло свежим золотом. Помыли витрины, убрали мусор, хозяйка вымыла тротуар, опять же мылом, и я помчался к автобусу по другой стороне...

В мое кафе «Сентраль», где я по утрам пью кофе с круасаном и листаю «Фигаро», бросили бомбу. Кто — до сих пор неизвестно. Никто серьезно не пострадал, кого-то поцарапало стеклом, хозяйку слегка контузило. Много об этом говорили, больше месяца кафе было закрыто, сейчас опять хожу, пью кофе, из «Фигаро» узнаю, что в мире по-прежнему плохо, никакого просвета. Только молодежи хорошо. Ухаживают по-прежнему. Сын Бельмондо — за хорошенькой монакской принцессой Стефани,— траур по матери, принцессе Грасс, кончился; сын Росселлини и Ингрид Бергман — за старшей, Каролин. А Альберт, наследник монакского престола, не расстается с дочкой Грегори Пека. (Это я все узнаю, нет, не из «Фигаро», она посолиднее, а из веселой, приличными французами презираемой, «Франс-диманш» — я ее не презираю.)

Ну, а Париж? Лучший в мире город Париж? И мы в нем, изгнанники? Что ж, живем, работаем, ворчим, болеем, боремся против несправедливости, ссоримся все из-за той же истины, которую каждый из нас знает лучше другого. По-прежнему пьем, кто чаще, кто реже, женщины по-прежнему часами говорят по телефону, темы никогда не иссякают, ждут не дождутся очередных «сольд», магазинных скидок.

Ну, а автор этих строк?

Посмотрев недавно по парижскому телевидению все четыре серии бондарчуковской «Войны и мира» и тут же

бросившись к первоисточнику, который читал взахлеб, будто в первый раз, я понял, что из всех толстовских героев я больше всего смахиваю на старика Болконского. Так же нетерпим, ворчлив и раздражителен, жена считает, что и деспотичен. К тому же неожиданно выяснилась еще одна весьма прискорбная для меня деталь — оказывается, всегда казавшийся мне глубоким стариком князь Болконский моложе меня. Да-да! Если считать, что он ровесник Кутузова, а это, очевидно, было так, то оба они умерли, не дожив до семидесяти, Кутузов — шестидесяти восьми лет... А я перешагнул этот рубеж. Всю жизнь считал себя мальчишкой, делил всех на молодых и взрослых, относя себя к первым, а тут, вдруг, оказался не только взрослым, но и весьма и весьма преклонного возраста.

И вот сидит сейчас под любимой своей сосенкой этот самый весьма преклонного возраста господин (в просторечьи, просто старик), следит за пролетающими самолетами, за длинным белым следом, оставляемым ими высоко в небе, умиляется пчелкой-мохнаткой, перелетающей с венчика на венчик таких красивых, весенних, вчера только появившихся крокусов, сидит, курит свой «Голуаз» и думает думу свою.

Бел-горюч камень. Сколько раз попадался он на его пути. Сворачивал то туда, то сюда, объезжал, ехал прямо. А в итоге — по правильному ли, как говаривал Владимир Ильич, по нужному ли пути направлял он коня своего? И туда ли, куда хотел, приехал он? Может, с тоской вспоминается какая-нибудь оставшаяся позади тропинка, соблазнительно манившая его? Или, напротив, большак, который разумно или неразумно объехал стороной?

Нет, все сложилось так, как и должно было сложиться. Ни на что не сетую, ни на что не жалуюсь.

Ну, какое я имею право жаловаться, если, оттрубив весь Сталинград от первого до последнего дня, остался жив. И дошел до самой Польши, и вернулся в родной Киев, и обнял маму, которой тоже не так уж сладко было в годы оккупации, обнял, расцеловал ее, маленькую, худенькую, склонившуюся над своей дымящей из всех щелей печуркой, и прожил с ней еще двадцать пять лет! Подумать только — двадцать пять лет! Не всякому выпало такое счастье. А на меня, вот, свалилось.

И жили мы в Киеве. И в Москве, и в Ленинграде, и в любимом нашем Коктебеле, и в Ялте, и на озере

Севан. И ездили по Волге, и в родном мамином Симбирске побывали («Но где же хорошавки, самые вкусные в мире яблоки, что-то не вижу я их нигде...»), и поднимались на Мамаев курган, в Сталинграде, и сфотографировал я ее на месте наших окопов, на фоне скромного обелиска, под которым покоются кости бойцов нашей 284-й стрелковой дивизии. Не сосчитать, сколько их полегло. И нету больше этого обелиска, снесли, и бульдозером прошлись. По могилам, по окопам. И стоит на их месте стометровая «Мать Родина» с мечом в руке, и кругом ступени, мрамор, гранит, нагромождение бронзовых мускулов, куда-то рвущихся и кричащих солдат. Мама этого не видела. И слава Богу...

И очень не хватает мне ее сейчас. Как радовалась бы она, что мы живем с ней вместе в Париже. Она долго в нем жила и любила его. «Грязный, правда, везде бумажки, мусор, собачьи кучи, но, поверь мне, совсем этого не замечаешь...» — «Но почему, мама, ты ж у меня такая чистюля?» — «А потому, что люблю парижан. Всех без разбора. Даже апашей. С одним из них, представь себе, танцевала в каком-то кафешантане. Очень был красивый, черноглазый, с усиками, в красном шарфе и клетчатом кепи набекрень. Говорят, теперь их уже нет. Куда они девались?» Да, исчезли апаши-воры, грабители и сутенеры маминой молодости, как исчезли фиакры, трамваи, газовые фонари, пелеринки полицейских. Теперь террористы, гангстеры, хиппи, панки. Боюсь, что мама и их полюбила бы, парижане все же...

Но мамы нет. А Париж есть. И в нем тот самый «Городок», о котором так замечательно написала когда-то Тэффи. Не могу удержаться, приведу несколько строк

«Это был небольшой городок, жителей в нем было тысяч сорок, одна церковь и неимоверное количество трактиров.

Через городок протекала речка. В стародавние времена звали речку Секваной, потом Сеной, а когда основался на ней городишко, стали называть «ихняя Невка»

Местоположение городка было очень странное. Окружали его не поля, не леса, не долины — окружали его улицы самой блестящей столицы мира, с чудесными музеями, галереями, театрами. Но жители городка не сливались и не смешивались с жителями столицы и плодами чужой культуры не пользовались. Собирались жители городка больше под лозунгом борща, но небольшими группами, потому что все так ненавидели друг друга, что

нельзя было соединить двадцать человек, из которых десять не были бы врагами десяти остальных. А если не были, то немедленно делались.

Еще любили они творог и долгие разговоры по телефону.

Они никогда не смеялись и были очень злы...»

Вот и я живу в этом, не так уж и изменившемся за прошедшие годы, городке. Хотел сказать, живу и не тужу. Нет, тужу. И очень тужу. Стоит ли расшифровать, по ком и о чем? По-моему, и так ясно.

Вот если бы да кабы... Но это уже не о прошлом, о будущем, саперлипопет!

Женева, 13.3.83 г.

КОМУ ЭТО НУЖНО? [1]

Несколько дней тому назад я проводил во Францию Владимира Максимова, хорошего писателя и человека нелегкой судьбы. А до этого проводил большого своего друга — поэта Коржавина. А до него Андрея Синявского. Уехали композитор Андрей Волконский, кинорежиссер Михаил Калик, математик Александр Есенин-Вольпин. И многие другие — писатели, художники, поэты, просто друзья. А Солженицына выдворили — слово-то какое нашли! — у Даля его, например, нет — словно барин работника со двора прогнал.

Уехали, уезжают, уедут... Поневоле задумываешься. Почему? Почему уезжают умные, талантливые, серьезные люди, люди, которым непросто было принять такое решение, люди, которые любят свою родину и ох как будут тосковать по ней? Почему это происходит?

Задумываешься... И невольно, подводя какие-то итоги, задумываешься и о своей судьбе... И хотя судьба эта твоя, а не чья-либо другая, это все же судьба человека, родившегося в России, всю или почти всю свою жизнь прожившего в ней, учившегося, работавшего, воевавшего за нее — и не на самом легком участке,— имевшего три дырки в теле от немецких осколков и пуль. Таких много. Тысячи, десятки тысяч. И я один из них...

Почему же, подводя на 63-м году своей жизни эти самые итоги, я испытываю чувство непроходящей горечи?

Постараюсь по мере возможности быть кратким.

---

[1] Это письмо-памфлет В. П. Некрасова, написанное незадолго до вынужденного его отъезда в эмиграцию, распространялось в самиздате. Оно было впервые опубликовано в газете «Русская мысль» 11 апреля 1974 г., перепечатано в той же газете к годовщине смерти 22 сентября 1988 г., а на родине было впервые напечатано 24 января 1990 г. в «Литературной газете» (*сост.*).

Случилось так, что в 35 лет я неожиданно для себя и для всех стал писателем. Причем сразу известным. Возможно, нескромно так говорить о себе, но это было именно так. Первая моя книга «В окопах Сталинграда», которую вначале немало и поругивали, после присуждения ей премии стала многократно издаваться и переиздаваться. Потом появились и другие книги. Их тоже и ругали, и хвалили, но издавали и переиздавали. И мне стало казаться, что я приношу какую-то пользу. Свидетельство этому — 120 изданий на более чем 30 языках мира.

Так длилось до 8 марта 1963 года, когда с высокой трибуны Никита Сергеевич Хрущев подверг, как у нас говорится, жесточайшей критике мои очерки «По обе стороны океана» и выразил сомнение в уместности моего пребывания в партии. С его легкой руки меня стали клеймить позором с трибун пониже, на собраниях, в газетах, завели персональное партийное дело и вынесли строгий выговор за то, что в Америке я увидел не только трущобы и очереди безработных за похлебкой. Само собой разумеется, печатать меня перестали.

Падение Хрущева кое-что изменило в моей судьбе. Оказалось, что в Америке есть кое-что, что можно и похвалить, и злополучные очерки вышли отдельной книжкой. На какое-то время передо мной открылся шлагбаум в литературу, пока в 1969 году опять не закрылся — я подписал коллективное письмо в связи с процессом украинского литератора Черновола и позволил себе выступить в день 25-летия расстрела евреев в Бабьем Яру.

Заведено было второе персональное дело, закончившееся вторым строгим выговором, и, наконец, почти без передыха, в 1972 году родилось третье партийное дело. На этот раз без всякого уже повода — за старые, как говорится, грехи — опять подписанное письмо, опять Бабий Яр... Тут уже из партии исключили. Как сказано было в решении: «...за то, что позволил себе иметь собственное мнение, не совпадающее с линией партии».

Так отпраздновал я — чуть ли не день в день — тридцатилетие своего пребывания в партии, в которую вступал в Сталинграде, на Мамаевом кургане, в разгар боев.

С тех пор я как писатель, то есть как человек, не только пишущий, но и печатающийся, перестал существовать. Рассыпан был набор в журнале «Новый мир», запрещено издание двухтомника моих произведений в издательстве «Художественная литература», изъяты из

всех сборников критические статьи, посвященные моему творчеству, выпали мои рассказы из юбилейных сборников об Отечественной войне, прекращено производство кинофильма по моему сценарию о Киеве. Одним словом, не получай я 120 рублей пенсии, пришлось бы задумываться не только о творческих своих делах.

За десять лет три персональных дела — это значит по три-четыре, а то и шесть месяцев разговоров с партследователями, объяснений в парткомиссиях, выслушивания всяческих обвинений против тебя (а в последнем случае просто клевета и грязь)... Не слишком ли это много?

Оказывается, не только не много, но даже мало.

17 января сего 1974 года девять человек, предъявив соответствующий на это ордер со всеми подписями, в течение 42 часов (с перерывом, правда, на ночь) произвели в моей квартире обыск. Нужно отдать должное, времена меняются — они были вежливы, но настойчивы. Они говорили мне «извините» и рылись в частной моей переписке. Они спрашивали «разрешите?» и снимали со стен картины. Без зуботычин и без матерных слов они обыскивали всех приходящих. А женщин вежливо приглашали в ванную, и специально вызванная сотрудница КГБ (какая деликатность, ведь могли бы и сами!) раздевала их донага и заставляла приседать, и заглядывала в уши, и ощупывала прически. И все это делалось обстоятельно и серьезно, как будто это не квартира писателя, а шпионская явка.

К концу вторых суток они все поставили на место, но увезли с собой семь мешков рукописей, книг, журналов, газет, писем, фотографий, пишущую машинку, магнитофон с кассетами, два фотоаппарата и даже три ножа — два охотничьих и один мамин, хирургический. Правда, два из семи мешков были заполнены журналами «Пари-матч», «Лайф» и «Обсервер», и часть вещей уже возвратили (в том числе и ножи, поняв, очевидно, что я никого резать не собирался), но основное: мои черновые, даже не перепечатанные на машинке рукописи до сих пор изучаются.

В ордере на обыск сказано, что он производится у меня как у свидетеля по делу № 62. Что это за дело, мне до сих пор не известно, кто по этому делу обвиняется — тоже тайна. Но по этому же делу у пятерых моих друзей в тот же день были произведены обыски, а трое были подвергнуты допросу. На одного из них, коммуниста-писателя, заведено персональное партийное де-

ло. Всех их в основном расспрашивали обо мне. Что же касается меня самого, то я после обыска шесть дней подряд вызывался на допрос в КГБ к следователю по особо важным делам.

Как сказано было в том же ордере, цель обыска — «обнаружение литературы антисоветского и клеветнического содержания». На основании этого у меня были изъяты, кроме моих рукописей, книги Зайцева, Шмелева, Цветаевой, Бердяева, «Один день Ивана Денисовича» на итальянском языке (на русском не взяли), однотомник Пушкина на языке иврит (вернули), «Житие преподобного Серафима Саровского» (вернули), «Скотный двор» Оруэлла оставили себе, немецкие и украинские газеты периода Сталинградской битвы, ну, и упомянутые «Пари-матчи», которые вернули, но не все, какие-то, в частности, номер, посвященный Хрущеву (октябрь 1964), показались предосудительными.

Кто может дать точное определение понятию «антисоветский»?

В свое время антисоветскими были такие писатели, как Бабель, Зощенко, Ахматова, Булгаков, Мандельштам, Бунин — сейчас же их издают и переиздают, хотя и не злоупотребляют размерами тиражей.

Ну, а речь, допустим, ныне здравствующего Вячеслава Михайловича Молотова на сессии Верховного Совета в октябре 1939 года — как надо рассматривать: как про- или антисоветскую? А ведь он в ней, переосмысливая понятие агрессии, говорил, что воевать против гитлеризма нельзя, так как война с идеей (гитлеризм — это идея!) — абсурд и преступление. Если бы нашли, например, у меня газету с этой речью — ее изъяли бы или нет?

А речи Берии? Его биографию с громадным портретом в Большой Советской Энциклопедии подписчикам рекомендовали вырезать, а вместо нее прислали страничку про Берингово море. А миллионы погибших при Сталине — это что, советские или антисоветские действия? Кто ответит за это?

Итак, затрудняясь дать точное определение понятию «антисоветский», я понимаю, что фашистская газета остается фашистской газетой, но архив писателя — это все же архив писателя. Он для работы, он и просто собрание интересующих писателя по тем или иным причинам вещей. Утверждаю, не боясь ошибиться, что архивы таких писателей, как Максим Горький, Алексей Толстой или Александр Фадеев, по количеству так называемой

«клеветнической» литературы во многом превосходят мой. Не ошибусь, если скажу, что и у многих ныне здравствующих и занимающих положение писателей подобных материалов не меньше, а может быть, и побольше, чем у меня. Но ни обысков у них не проводят, ни допросам не подвергают.

Обыск — это высшая степень недоверия государства к своему гражданину. Допрос — это обидная и оскорбительная (при всей внешней вежливости) форма выпытывания у тебя, зачем и для чего ты хранишь ту или иную книгу, то или иное письмо. И вот я задаю себе вопрос: с какой целью это делается? Запугать, устрашить, унизить? Впрочем, куда унизительнее рыться в чужих письмах, чем смотреть, как в них роются люди, получающие за это зарплату, и немалую, и считающие, что, увозя из библиотеки писателя стихи Марины Цветаевой, принесли государству пользу. Кому все это выгодно? Кому это нужно? Неужели государству? А может, думают, что, попугав, пригрозив, принудят на какие-то шаги?

Во многих инстанциях — а сколько у меня их было, и высоких, и пониже, и всесильных, и послабее! — мне говорили (кто строго, кто с улыбкой), что давно пора сказать народу, по какую сторону баррикад я нахожусь. Как сказать? И подсказывали. Кто попрямее, кто более окольными путями, что вот, дескать, есть газеты, а в газету люди — и какие люди! пишут письма. А вы что же?

И вот тут мне остается только удивляться. Неужели кто-либо мог серьезно подумать, что порядочный человек может позволить себе включиться в этот позорный поток брани, который вылился на голову двух достойнейших людей нашей страны — Сахарова и Солженицына? Неужели такой ценой зарабатывается право работать и печататься? А ведь вам, уважаемый товарищ, говорили мне во всех инстанциях, с улыбкой или без улыбки, надо писать и писать. Читатель ждет не дождется, все в ваших руках...

И я могу ответить. Прямо и не лукавя. Нет, пусть лучше уж читатель обойдется без моих книг, он поймет, почему их не видно. Он, читатель, ждет. Но не пасквилей, не клеветы, он ждет правды. Я никогда не унижу своего читателя ложью. Мой читатель знает, что я писал иногда лучше, иногда хуже, но, говоря словами Твардовского, «...случалось, врал для смеха, никогда не лгал для лжи».

Но тут же сразу возникает другой вопрос. И куда посложнее. Писатель может не печататься, но не может не писать, не может молчать. Это его обязанность, это его долг. Но как его выполнить, когда в любую минуту вежливые люди с ордером могут к тебе войти и неостывшие листы того, что ты пишешь, забрать и унести?

У меня унесли недописанную еще работу — небольшую, но очень важную для меня — о Бабьем Яре, о трагедии сорок первого года, о том, как сровняли после войны с берегами овраг глубиной сорок метров, замыли его и чуть не забыли, а потом на месте расстрела поставили скромный камень, а памятника до сих пор нет; о том, как приходят туда люди с венками, цветами каждый год 29 сентября и какие события там происходят.

И вот рукопись унесли и альбом с моими фотографиями Бабьего Яра на всех этапах его замывания тоже унесли. И пленку тоже... Вернут ли? Не знаю... Рукопись я восстановлю. Опять придут, опять заберут. И так что же? До скончания века? А пленку? Сожгут?

Вот я и подошел к концу невеселых своих размышлений и подведения каких-то итогов. А друзья уезжают. И я их не отговариваю, хотя знаю, что у каждого есть своя (а может быть, у всех общая?) причина на столь решительный и, может быть, даже трагический шаг. Не отговариваю, хотя каждый из уехавших друзей — это отщипнутый от сердца кусочек. И не только твоего сердца, но и сердца России. Не отговариваю, а просто вытираю слезу. И задумываюсь. Очень крепко задумываюсь...

Кому это нужно? Стране? Государству? Народу? Не слишком ли щедро разбрасываемся мы людьми, которыми должны гордиться? Стали достоянием чужих культур художник Шагал, композитор Стравинский, авиаконструктор Сикорский, писатель Набоков. С кем же мы останемся? Ведь следователи из КГБ не напишут нам ни книг, ни картин, ни симфоний.

А насчет баррикад... Я на баррикадах никогда не сражался, но в окопах, и очень мелких, неполного профиля, сидел. И довольно долго. Я сражался за свою страну, за народ, за неизвестного мне мальчика Витю. Я надеялся, что Витя станет музыкантом, поэтом или просто человеком. Но не за то я сражался, чтобы этот выросший мальчик пришел ко мне с ордером, рылся в архивах, обыскивал приходящих и учил меня патриотизму на свой лад.

Москва. 5 марта 1974 г.

СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК [1]

Я отношусь к той редкой категории людей, которые не любят, даже побаиваются знаменитостей. То ли робею перед ними, то ли боюсь показаться глупее, чем я есть на самом деле, или ляпнуть что-нибудь, из-за чего век потом будешь краснеть. Короче — избегаю их. И кусаю теперь локти, так и не познакомился,— а ведь мог, мог же — ни с Борисом Пастернаком, ни с Анной Ахматовой (в первый и последний раз встретился с ней в Никольском соборе в Ленинграде, навеки успокоившейся). И к Михаилу Зощенко тоже не подошел, хотя и присутствовал в тот памятный вечер в Союзе писателей на улице Воинова, когда он, волнуясь и запинаясь, читал свои рассказы ленинградским писателям, не менее его волновавшимся,— это было за год-полтора до его смерти.

Короче — не тянет меня к великим людям, боюсь я их.

Но когда, совершенно неожиданно (хотя и с предварительным, конечно, звонком из Москвы), за нашим обеденным столом в Киеве оказался застенчивый, немногословный и, главное, ни грамма не приемлющий академик (стол к этому, признаюсь, не привык), я сам себе не верил. К тому же несколько озадачен был, почему два крохотных кусочка с таким трудом раздобытой и с таким старанием приготовленной моей женой селедки непременно надо было разогревать.

«Андрей Дмитриевич не любит ничего холодного,— развела руками Люся, его жена.— Ученых без странностей не бывает... И кисель разогреть придется. И балкон прикрыть».

Прикрыл, что поделаешь.

---

[1] Впервые в «Сахаровском сборнике» (Нью-Йорк, 1981 — составители А. Бабенышев, Р. Лерт, Е. Печуро), изданном к 60-летию А. Д. Сахарова (*сост.*).

Да, у Андрея Дмитриевича много странностей. Не только селедка, кисель или полная растерянность у железнодорожной кассы, где книжечка Героя Социалистического Труда (трижды!) в момент решает все транспортные проблемы. Вероятно, есть десятка два или три других еще странностей, но есть одна, к которой никак не могут привыкнуть, просто понять люди, считающие себя руководителями нашей страны. Этот человек ничего не боится... Ничего! И никого!

Отвага, доблесть, бесстрашие, храбрость, героизм? Нет, все эти прекрасные, возвышенные понятия к Сахарову не примеримы. Думаю, у него начисто атрофировано это чувство — чувство страха. Может, просто не думает об этом? И на другие дела, поважнее, не хватает времени. Люди, люди, люди. Судьбы...

Я хотел бы, но не имею права причислить себя к числу ближайших друзей Сахарова — редко виделись и склада мы разного (мое обычное «без ста граммов не разберешься» ему, увы, чуждо), к тому же особым честолюбием или тщеславием я не отличаюсь, и все же... Я б е с к о н е ч н о г о р д (подчеркиваю эти два слова), что самый благородный, самый чистый, самый бесстрашный, добрый и, вероятно, самый ученый (в этом я, правда, не разбираюсь, в школьные годы у меня по физике был репетитор) человек относится ко мне с благосклонностью и даже прощает кое-какие грехи.

И еще горжусь тем, что только у меня, единственного на всем земном шаре, есть фотография Андрея Дмитриевича, сделанная лично мною в Москве, в больнице, фотография, которой нет ни в одном «Лайфе», ни в одном «Пари-матч» или «Штерне». И не будет. Она есть только у меня. Стоит на книжной полке. Она по-сахаровски чуть смущенно улыбается мне. Когда я утром просыпаюсь, это первое, что я вижу. И мне становится как-то теплее... Потому что этого великого странного человека я не только люблю, но и не боюсь.

1981 г.

*Раиса Орлова *, Лев Копелев*

ВИКТОР НЕКРАСОВ. ВСТРЕЧИ И ПИСЬМА

I

Р. О.

Весной 1956 года в журнале «Иностранная литература» решили заказать статью о Ремарке Виктору Некрасову. Мне поручили переговоры с автором. Когда он бывал в Москве, он жил у своих друзей Лунгиных.

Мы сговорились встретиться в садике на улице Воровского, 52, там, кроме правления СП и писательского клуба, размещались и «Дружба народов» и вновь созданные тогда редакции «Юности» и «Иностранной литературы».

Молодой, легкий, ничем не напоминает «маститого», «классика». Сразу ощутив мою скованность, он сказал: «У нас в доме Вас называют Рая, и я так буду, ладно?!»

Примечания без соответствующих помет принадлежат авторам.

* Раиса Давыдовна Орлова скончалась в Кельне 31 мая 1989 г. Вместе с мужем Л. З. Копелевым она в 1980 г. по приглашению Г. Белля выехала в ФРГ, а через два месяца оба были лишены гражданства СССР. В сентябре 1988 г., уже будучи тяжелобольной и зная о своей неизлечимой болезни, Р. Орлова впервые после восьмилетнего пребывания в эмиграции приехала на родину. И в апреле 1989 г., незадолго до смерти, приезжала еще раз.

Она торопилась, понимая, что времени осталось очень и очень мало, хотела узнать как можно больше, увидеть все своими глазами, повидать родных и друзей, впитать в себя и запечатлеть все то значительное и интересное, что сейчас происходит на обновляющейся родине. Об этих впечатлениях она рассказала в интервью в «Московских новостях» (22 октября 1988 г.) и в ответах на анкету о «феномене русского зарубежья» («Иностранная литература», 1989, № 3).

На первом вечере памяти В. Некрасова, состоявшемся 28 сентября 1988 г. в Государственном литературном музее (он был записан центральным телевидением), Р. Орлова рассказала о последних днях своего друга и о его мечте издать под одной обложкой повесть «В окопах Сталинграда» и повесть Г. Белля «Где ты был, Адам?». Такое неожиданное сближение двух повестей должно было дать новый взгляд на войну — оба писателя, по ее слову, «удивительно человечно» написали о бесчеловечности войны.

Во время первого пребывания Р. Орловой в Москве я обратился

Что до дела, он колебался, говорил, что читал только два ранних романа «На западном фронте без перемен» и «Возвращение»; готов прочитать и рукопись перевода готовящейся в журнале книги «Время жить и время умирать». Но ведь Ремарк написал еще много другого...

Л. К.

В редакции знали, что я читал все книги Ремарка, которые в библиотеке иностранной литературы были лишь недавно переведены из «спецхранения» на общедоступные полки. В те месяцы все шире расходились круги, вызванные докладом Хрущева «О культе личности». И хотя я еще не был реабилитирован, меня попросили пересказать Виктору Платоновичу содержание нескольких романов Ремарка.

Встреча была назначена в ресторане ЦДЛ Два дня я готовился к ней и шел, основательно робея. «В окопах Сталинграда» я прочитал в тюрьме. Потом перечитывал снова и твердо убедился: эта книга правдивее, добрее, лучше всего, что я читал о войне. И вот предстояло познакомиться с автором.

Виктор Платонович сидел за столиком с худощавым юношей и пил водку. Я почтительно представился.

— Садитесь. Этот товарищ камарадо-переводчик, командированный из ЦК. Через час нам нужно давать интервью итальянскому корреспонденту, какой-то не то правокоммунистической, не то левосоциалистической газеты. А пока я буду вас интервьюировать.

Едва сев, я начал бормотать, что горд и счастлив и что-то про лучшую военную книгу.

— Ладно, ладно, слыхали. А вы на фронте были?.. Так, так, все ясно. Тогда какого же хрена, товарищ майор, ты говоришь «лучшая военная книга»? Ведь ты должен знать, что в ней только часть правды.

— Пусть часть, но ни слова брехни.

к ней с просьбой написать о В. Некрасове для готовящегося сборника его произведений, написанных в эмиграции. Она исполнила свой долг перед покойным другом и вместе с Л. Копелевым написала — уже буквально накануне своей смерти — воспоминания о нем, хотя это стоило ей невероятного труда и мужества. Р. Орлова всегда была глубоко и бесконечно предана своему делу, своим друзьям и единомышленникам.

«Раиса Орлова,— сказал на траурном митинге 8 июня у ее гроба в Кельне известный правозащитник Кронид Любарский,— оставалась всегда гражданином своей страны больше, чем те, которые ее изгоняли. Человека нельзя изгнать. Человек не может и умереть, пока живо то, ради чего он жил и работал».

В июле 1989 г. ее прах был перевезен в Москву и захоронен на кладбище Донского монастыря.

Р. Орлова не дождалась, как и В. Некрасов, президентского указа о возвращении гражданства, но ее книги, как и книги автора «В окопах Сталинграда», после многолетнего запрета возвращаются к нашему читателю (*сост.*).

— Пожалуй... Но часть правды — тоже брехня. А раз ты фронтовик, то всухую разговаривать не положено. Дорогой камарадо, распорядитесь насчет поллитра.

Мы пили за погибших товарищей, за то, чтобы, наконец, писать и говорить полную правду.

Я пытался что-то рассказать о Ремарке.

— Так, значит, эту войну он знает только по газетам, по рассказам. Скажи честно, этот роман «Жить — умирать» сравним с тем, первым «На западном фронте», или пониже, пожиже будет?.. Нет, нет, разумеется, я считаю, что нужно публиковать, издавать. Он — честный писатель... А как ты считаешь: великий или середняк?.. Не можешь судить? Так какой же ты, к хренам собачьим, критик?.. Впрочем, наверно, честный критик должен именно так признаваться. А то у нас привыкли ярлыки лепить.

«Лекция» о Ремарке не получалась. К столику то и дело подходили приятели и знакомые Некрасова: одному он подносил чарку, с другим разговаривал сухо, иногда матерно. А я глядел, слушал, хмелел и очень радовался. Особенно радовался тому, что он так похож на свои книги. Я узнавал голос, который слышал, читая «В окопах» и «В родном городе»; приятен был мягкий киевский говор. И уже в первые минуты я ощутил и понял; он ничего не прячет, говорит именно то, что вот сейчас думает, именно так, как чувствует. И когда он ругался, это было тоже естественно... всплывали словесные пласты, которые наслаивались в окопах.

Юный переводчик таращился на него влюбленно. Тоже ругнулся... Некрасов цыкнул.

— Не попугайничай. У тебя для таких выражений и места во рту нет. Не будь пижоном.

Я пытался уговаривать отложить интервью.

— Разве ты не чувствуешь, что перебрал? Я меньше выпил, а у меня уже уши горячие, и в голове пульсы.

— Не робей, майор. Ты политработником был, только словами стрелял, фрицам ума вкладывал. Тебе меньше, чем нам, водки доставалось. А мы воевали и трезвыми и пьяными одинаково. Меня никаким спиртом не возьмешь. А сейчас я — начальник. Едем без никаких.

В такси я стал трезветь от страха. Боялся, что предстоит скандал: международные осложнения, ущерб достоинству советского писателя. А у меня еще и паспорт с «ограничениями», без московской прописки. Переводчик то задремывал, то просыпался очень радостный. «Едем без никаких»... Не мог же я их покинуть; не мог и не хотел. Все страхи были слабее, чем симпатия, любопытство и гордость — помогаю Виктору Некрасову.

В гостинице переводчик позвонил из вестибюля: «Очень ждут, очень радуются».

Итальянец был тоже очень молодой, высокий, тонкий, большеглазый А жена маленькая, худенькая, кудрявая, совсем девчонка. Они старались говорить по-русски — учились несколько месяцев перед поездкой. Говорили беспомощно, смешно, но очень приятно. Наш переводчик весело лопотал с ними, но переводить забывал. Немецкого они не знали, и я стал наскребывать английские и французские слова, по-итальянски знал только песню «Бандьера Росса».

Виктор сразу же очень решительно сказал:

— Вы хотите интервьюировать,— очень хорошо. Согласен. Но только сначала буду спрашивать я. Хочу знать, с кем разговариваю. А что необходимо для хорошей беседы?.. Нас тут пятеро,— значит два поллитра. Объясни ему, камарадо, по-камарадски, что такое два поллитра.

И корреспондент и жена смеялись. Пока переводчик звонил, заказывал водку, мы пытались разговаривать на этаком «салатном» жаргоне из разноязычных слов, междометий, литературных имен. Они восклицали: «О, Толстой! О, Достоевский! О, Тургенев! О, Чехов! О, Горький...» И мы старались не отставать: «О, Данте! О, Петрарка! О, Боккаччо! О, Гольдони!..»

Официант принес водку и весьма скудную закуску — ломтики сыра и белой булки.

Виктор начал с вопроса: «Что знает синьор камарадо про двадцатый съезд, про доклад Хрущева и что думает про Сталина?»

Журналист отвечал многословно, отчаянно жестикулируя и кашляя — поперхнулся водкой,— жена звонким голосом вставляла замечания.

Я понял, что наш собеседник, корреспондент «Аванти» — левый социалист, вообще-то — противник коммунистов,— «они все доктринеры, фанатики, догматики», но сторонник единого фронта. Он против культа: «Сталин делал ошибки; но Хрущев не прав: его доклад — сенсация, вредная для международного рабочего движения. Сталин — символическая фигура для всех антифашистов. Такая критика Сталина помогает реакции».

Начался долгий, оглушительный, шумный спор. Принесли еще водку. Я тоже кричал и радовался, что мы с Виктором оказались единомышленниками, и вдвоем старались объяснить молодым итальянцам самое главное — правда, и никакое рабочее движение, никакой социализм не могут оправдать лжи и злодейств. А Сталин не только ошибался, но злодействовал и лгал, и сталинский культ вреднее, опаснее любой реакции.

Наш переводчик упился раньше всех и орал громче всех: «Сталин — бандит, фашист!»

Интервью так и не состоялось. Не знаю, удалось ли нам в чем-то убедить наших оппонентов, но помню, что мы очень дружно пили за Россию и за Италию, за Москву, за Рим, за Киев, за Милан, пели «Бандьера

Росса», долго прощались, обнимаясь, целуясь, и клялись в дружбе. В последующие годы мы с В.Н. встречались в Москве, Киеве, Дубултах, Коктебеле. Сложились добрые, приятельские отношения. Мы читали все, что он публиковал.

Дружба же возникла много позже.

Р. О.

Началась переписка, которая длилась пятнадцать лет («...подражая матери, любил писать письма»). Виктор Платонович Некрасов (так мы его никогда не называли) — автор и адресат писем. Но он еще и герой, действующее лицо: в эмиграции я писала в Москву, в Ленинград почти ежедневно. Строки из некоторых писем друзьям о нем, отрывки из наших дневников сохранили важные для нас подробности. Быть может — и не только для нас?

16.9.72

Дорогие Рая и Лева!

...Только три дня тому назад вернулся домой и застал ваше письмо. Спасибо за него, всегда приятно получать такие письма. Но становится их что-то все меньше и меньше. Этот вид искусства (а ведь даже когда-то романы писали) прочно заменил телефон, несмотря на то, что все боятся его как огня и прикрывают подушками. Ненавижу этот вид общения, хотя и минуты без него прожить не можем — а еще больше и из-за квитанций, которые неоплаченные лежат сейчас передо мной, и я боюсь даже в них заглянуть...

Хотел бы чем-нибудь похвастаться, да нечем.

Разве что тем, что много сейчас в одиночестве гулял по Москве, дописывал что-то к своим, никак не могущим увидеть свет «Городским прогулкам» [1].

Увидел много нового, интересного и неведомого москвичам... Читал вперемежку «Две Дианы» Дюма и «Современники» Бабаевского. Усиленно рекомендую прочесть и то и другое. И обязательно уж в № 6 «Октября» за этот год Олеся Бенюха «День в Чикаго» и обязательно дочитайте до конца, там весь гвоздь. Засим обнимаю.

Всегда Ваш *В. Некрасов.*

В январе 1974 года у Виктора был 48-часовой обыск, последовали длительные допросы. Нам с трудом, но удалось ему дозвониться. Сказал, что ему пришлось решиться на эмиграцию. Он подал заявление на поездку в Швейцарию, к дяде.

---

[1] «Городские прогулки» были напечатаны А. С. Берзер в журнале «Юность», 1988, № 7. В эмиграции В. П. Некрасов переработал эти очерки в книгу «Записки зеваки» (*сост.*).

Из дневника Л. К.

3.9.74

Встретил Вику Некрасова из Киева; поехали на вокзал с Володей Корниловым.

Там уже Лунгины [1] и Галя Евтушенко.

Володя о Некрасове: «Он — Христос, у которого распинают учеников. Вокруг него идут аресты, хватают его приятелей. В опасности — Славик Глузман» [2]

Из дневника Р О.

13.9.74

Вика приехал прощаться с друзьями. Заехали за ним в Переделкино, увезли в нашу Жуковку. Идем на откос. «Молодцы... И что придумали мне такое прощанье с Подмосковьем. Это надо оставить на сетчатке».

Рассказывает о разговоре с «важным лицом» (мы об этом слышали и раньше). Это Маланчук, 3-й секретарь украинского ЦК. «Я ему сказал, что самое «антисоветское»,— если советское считать хорошим — это Сталин».

Сидим на откосе. Смотрим на реку. Он нежно и участливо рассказывает о Шукшине: «Очень талантлив, но темен. И вышел из тьмы. Один раз наговорил гадостей по еврейскому вопросу. Я его выгнал. Он просил прощения. Он болен. Сейчас счастлив — хорошая жена, дети...»

Идем прощаться к Сахаровым (на другую сторону железной дороги), они давно ждут.

Люся шумит: «Все голодны. Сколько можно добираться от Переделкина?»

А.Д. хозяйничает. Люся с Викой уходят в другую комнату. За обедом Люся: «Ох, как мне хочется показать Андрею Париж!» А.Д «А я как хочу увидеть!»

Сахаровы нас провожают, впереди Люся, Вика, я, сзади А.Д. со Львом. Внезапно А.Д. становится худо, закружилась голова, Люся подбегает.

Лев хочет вызвать врача. А.Д.: «Нет, нет». Целует Люсю: «Пусть только тебя вылечат. Мне будет хорошо. Мне и сейчас хорошо». Вика смущенно: «Теперь еще и эти,— показывая на нас,— начнут обниматься, а мне что же делать?»

---

[1] С. Л. Лунгин написал воспоминания о В. П. Некрасове «Тени на асфальте».— «Синтаксис», Париж, 1990, № 27, с. 58—74 (*сост.*).

[2] С. Ф. Глузман (род. 1946) — психиатр, литератор; в 1972 г. был арестован за «антисоветскую пропаганду» и приговорен к семи годам лагеря и трем годам ссылки, автор работы «Краткое руководство по психиатрии для инакомыслящих», написанной совместно с В. Буковским. См. интервью с ним — «Огонек», 1989, № 46, с. 28—31 (*сост.*)

Вика у нас ночует, у меня даже нет чистой смены белья.

Утром за завтраком — длинный разговор про все на свете, много об А.И.

Вика рассказывает, как в 1963 году была встреча втроем. А. Твардовский просил А. И. участвовать в международном симпозиуме о судьбах романа.

— Очень мне нужна Ваша поддержка, я один, Витьку изругал Хрущев.

Разговор был в скверике, Твардовский поглядывал, когда откроется пивной киоск, «знал, на что Витька сгодится».

А. И.:

— Никуда не поеду. Я такого не люблю.

Твардовский:

— Помогите!

— Нет.

— Больше я Солженицына не видел. Мы с Трифоновичем здорово тогда надрались.

— Как это возможно,— спрашивает Вика,— чтобы А.И. не поехал в Париж?

Из старого дневника Р О.

17.7.65 г. А.И. рассказывает нам, как он в Инкомиссии СП отказался от поездки в Италию.

Л.:

— Неужели ты не хочешь!

А. И.:

— Есть «хочу», а есть «должен». Ущелье сжимается. Не знаю, сколько у меня осталось времени, сколько успею.

Оказывается, Вика — через мать — Мотовилову — дальний родственник Анны Ахматовой. «Не знакомился потому, что застенчив. И с Пастернаком постеснялся знакомиться».

По дороге на станцию спрашивает: «А вы почему не уезжаете? Да, и Володька Войнович поэтому не может,— дети...»

Вот тут бы и расстаться. Но было еще и общее прощание на даче Е. Евтушенко. Вика был совершенно пьян, матерился, его еле-еле увели наверх, спать.

Из разговоров за столом:

N.:

— Для меня отъезд Вики — трагедия, у него 150 друзей, а у меня пять.

NN.:

— Неужели вы не видите, что идет распад личности, крах. Заграница — последний шанс...

Белла Ахмадулина уверена, что ее швейцарские друзья помогут Вике

II

6.12.74. Париж.

Дорогие мои Лева и Рая,
добралось до нас и второе ваше письмо. С трудом, преодолев все препоны забастовок, с почти месячным запозданием, но добралось... И обрадовало... Хотя в общем вести с родины все грустнее. ...Вася Шукшин [1], за ним Генка Шпаликов [2]... Оба — мои друзья. И обоих я очень любил. С Васькой, правда, последние годы встречались редко, а вот с Генкой (вы его, вероятно, не знаете, он из другого слоя) мы в этом году как-то опять сблизились. Беспутный, жуткий алкаш... но дьявольски талантлив и очень хороший парень. И несчастный. И одинокий. И вот не выдержал. В последний раз мы бродили с ним по вечерней майской Москве, пили кофе, он подлечился, завязал тогда, и он все просил меня: «Возьми меня с собой... •Придумай оттуда какой-нибудь вызов... Плохо мне... остое... все...» Я в Киеве пытался ему помочь, устроил ему уколы, но надо было продолжать, а он, как всегда, выскользнул из рук, и вот — такой конец... Жутко...

Думаю о Москве, о Киеве, о ребятах в пустынном, почти миллионном Кривом Роге [3]... О вас... О Володьках [4]... Вол. Корнилова читают [5]. Кто хвалит — умные, кто говорит «что ж, обычный новомирский уровень». Это дураки. Дай Бог везде и всегда такой уровень.

Я прочел первую подачу — хорошо! Жду вторую...

Блестящ... по-моему, Андрей [6]. Вообще я в него тихо влюбился, умница, и тонкий, глубокий, и с юмором, и с каким-то прекрасным застенчивым покоем. И Майка [7] хороший человек, хотя ни покоя, ни застенчивости — нет, этого нет... Мы с ней часто схлестываемся
но это уж черты характеров — вообще ж это, конечно, счастье, что мы попали под их гостеприимный, не считающий денег, бестолковый, безалаберный, сверхбеспорядочный кров... Вот уже два месяца, как сидим у них на шее... Но пора и честь знать. Предпринимаем коекакие шаги. Тем временем, дико устав от праздника, который сейчас все время с нами, на следующей неделе скрываемся в тихий, укромный уголок, в деревушку под Фонтенбло, где наши новые друзья предоставили мне для работы домик со всеми удобствами и даже

[1] В. Шукшин умер 2 октября 1974 г.

[2] Г. Шпаликов — киносценарист, покончил с собой 1 ноября 1974 г.

[3] В Кривом Роге жил В. Кондырев (сын жены В. П. Некрасова) с женой и сыном. Позже они уехали в Париж.

[4] В. Н. Войнович и В. Н. Корнилов.

[5] Повесть В. Корнилова «Без рук, без ног».— «Континент», 1974, № 1; 1975, № 2.

[6] А. Д. Синявский (род. 1925) — известный литературовед и писатель. О процессе А. Синявского и Ю. Даниэля см. сб. «Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля». М., 1989 (*сост.*).

[7] М. В. Розанова — художник, литературный критик, издательница журнала «Синтаксис» (*сост.*)

телефоном. Мечтаю поскучать и помолчать. Здесь одолели нас обедами, приемами и прочей светскостью... Вообще-то я только-только начинаю разбираться в здешних делах и расстановке сил... Очень прошу не забывать нас. Впрочем, это уже лишние слова. Ты, Левка, оказался и вернее и обязательнее очень и очень многих...

Нас все больше сближала не только общая судьба — у него состоявшаяся, у нас надвигающаяся. Мы начали переписываться. Почта для нас стала уже совсем ненадежна: письма и бандероли из-за границы не доставляли. Потому все чаще приходилось прибегать к оказиям.

21.3.75

...Об Англии? Что ж... Выступляю: «Писатель и государство». «Литература и эквилибристика». Рассказываю, как у нас пишется и печатается. По-моему, должно быть интересно, ведь кое-что я знаю из того, что не знают другие, но — по секрету — студентам все это, по-моему... Вопросов не больше 5—6-ти, да и то банальные. Незнанием по-настоящему русского языка или природной английской застенчивостью и уж во всяком случае антисоветскостью не объяснишь. Но, так или иначе, с аплодисментами вежливости, милыми профессорами и утомительнейшими обедами, объездили всю Англию от южного Брайтона до северного Эдинбурга. В голове каша, калейдоскоп, во всем теле — усталость. Но интересно жутко. Ведь впервые. Теперь еще на неделю — Канада (один) — митинг в защиту Мороза и Буковского [1] и домой,— в Marlotte, на диван...

О русских делах... Патриарх [2] при своем величии надоел, московские подпевалы — не меньше. Я даже размахнулся и написал нечто, озаглавленное: «Статья, которую не хотелось писать». Но потом решил просчитать до десяти и, просчитав, решил не влезать в эту склоку... Ну их! Отвернулся и забыл.

...Что сказать о Западе за полгода жизни? Пока только присматриваюсь, коренных французов не знаю, англичан — еще меньше, еще молниеноснее; но жить им и жить со всеми их инфляциями и дорожающим бензином многие и многие годы в загнивающей этой системе. Только танками можно изменить, до капиталистических стран они не догрохочут, пусть леваки мелют, что хотят.

Беспокоит меня другое — вы все. Вот это да! И не хватает —нужен московский треп — и тревожит; огорчает меня и серунство коекого из друзей, ну не подписывайтесь, не пишите обратного адреса... Нет, молчат [3]...

---

[1] Мороз В. Я. (род. 1936) — украинский писатель, историк, известный правозащитник, автор «Репортажа из заповедника им. Берия» («Новый журнал», Н-Й, 1968, № 93) и «Хроники сопротивления» («Континент» 1975, № 3). Буковский В. К. (род. 1942) — видный правозащитник, автор книги «И возвращается ветер...» (см. «Театр», 1990, № 2—6 (*сост.*).

[2] Так Вика иногда называл А. И. Солженицына.

[3] Он не прав: многие друзья писали, но письма не доходили...

22.9.75

Дорогой Вика!

Много лет назад — целая историческая эпоха! — я в электричке Москва — Жуковка дочитывала «Новый мир» с «Первым знакомством». ...Зарубежный путевой очерк,— едва ли не самый замусоренный жанр, Вы превратили в искренний лирический дневник. Тогда написала Вам сбивчиво, сумбурно — лишь бы сразу, не забыть, не дать наложиться другим впечатлениям, не дать вмешаться внутреннему редактору и цензору — успеть. (Вам ли говорить: этот внутренний цензор следит вовсе не только за крамолой. У меня, например, он еще и возмущается: «Где В. Некрасов и где ты?» И побороть это подчас не легче, чем страх.)

Спешу и сейчас... до того, как этот редактор наложит вето. Кончила «Записки зеваки»[1], глотнула не отрываясь. Самое удивительное — это голос. Чудо живого голоса, неповторимого, единственного — только Виктор Некрасов, никто другой...

Были куски, которые я знала раньше (архитектор Мельников, Киевский вокзал). Но и эти куски читала словно впервые.

Меня ведет по разным городам человек, умеющий видеть, приглашающий и меня замедлить шаг, а то и остановиться, вспомнить. Он ничего мне не доказывает, не проповедует, не «обращает» меня, просто разговаривает.

...Могу и не идти за ним — иду потому, что мне интересно с этим собеседником... Могу и не соглашаться с автором — при этом не перестану его любить и меня ниоткуда не изгонят...

Иду по Киеву, по Лёвиному Киеву — да я, оказывается, раньше почти ничего не увидела! А между тем по Андреевскому спуску нас в 1970 году вели два Ивана — Дзюба и Светличный [2].

...Два дня тому назад мы проводили Лелю [3] в очередную поездку в лагерь. На свидание...

Прочитав, захотелось мне, немедленно, сейчас же ехать в Киев, идти по всем «некрасовским местам» с книгой в руках,— смотреть, смотреть глазами зеваки... Как и многие другие мечты, эта — хоть и осуществима, даже характеристики не надо! А вот, когда осуществится — Бог ведает...

---

[1] «Записки зеваки» были впервые напечатаны в «Континенте», 1975, № 4 (*сост.*).

[2] И. М. Дзюба (род. 1931) — украинский литературовед, видный правозащитник, автор работы «Интернационализм или русификация» (1973). И. А. Светличный (род. 1929) — украинский филолог, критик, известный деятель правозащитного движения, был приговорен к 7 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссылки (*сост.*).

[3] Жена И. А. Светличного, обычно по дороге в лагерь на свидания с мужем (в Киев и из Киева) останавливалась у нас.

Упоминаете Вы и дом, в котором я родилась — передвинутый вглубь, по старой Тверской он был д. 24 — рядом со студией МХАТ — д. 22, в детстве играли среди декораций... И он — один (а у Вас — множественное число)...

О кабинете гравюр я знала и бывала там, а о музее Тропинина — нет. Пойдем туда обязательно, Лева — большой поклонник таинственно-загадочного Рокотова...

Выписываю маршрут, перечисляю с чувственным наслаждением эти названия: Щетининский переулок — музей Тропинина; Антипьевский переулок — музей гравюр. Посмотреть, что в пустой усадьбе между домом Верстовского и церковью Антипия. Поленовский дворик с Николой-на-Песках...

Мне жаль, что Вы не предусматриваете такой возможности, что Ваш читатель,— чаще читательница,— прервали прогулку не по доброй воле и не из-за КГБ, а просто из-за страшного давления жизни, обстоятельств. И все скукоживается та свободная территория души, та, которая и дает возможность смотреть.

...Иду за «зевакой» не только по пространству,— по времени тоже. По предвоенным годам и по войне и по недавним. Мне казалось осенью 1962 года, что наступают, наконец, совсем новые времена — и не только потому, что в ноябре появился «Иван Денисович», но и потому, что делегация в Париж состояла из Паустовского, Некрасова, Вознесенского. Сейчас об этом смешно вспоминать, но ведь тогда я (и не только я) гордилась: вот эти делегаты ПРЕДСТАВЛЯЮТ...

Одному не поверила, хотя вроде поняла, что не скучаете по Киеву. Перед отъездом у нас Вы даже не захотели выпить за Киев, твердо сказав: все, что осталось,— не в Киеве, а в Москве, в Ленинграде. Но Слово, Ваше слово, Вас опровергает, говорит мне о другом. Нельзя так написать о городе, сколько бы горя он, город, ни принес, если его не любить... Может, впрочем, оно легче — думать, что не скучаешь...

Интереснее всего, важнее всего мне личность рассказчика. В пестроте. В пересечении широт — вобрать в себя все впечатления бытия,— и в определенности.

Я слышу того, кому мама не велела быть благоразумным. И он не стал. Того, что в Нью-Йорке положил аистиное яйцо в карман.

На минуту захотелось подойти к Вам и Саше[1] в Париже, хоть поздороваться. Встало на пути ледяное слово «никогда». Или та, другая, возможность, которая для меня была бы несчастьем.

Вика, родной, спасибо Вам еще и еще раз за книгу, за радость, которую принесли.

Получил ли он это письмо? Не знаю.

---

[1] А. Галич (А. А. Гинзбург, 1918—1977) — известный драматург, поэт-песенник; в 1974 г. был вынужден уехать в эмиграцию. В. Некрасов посвятил ему очерк «Саша Галич» («Эхо», Париж, 1978, № 1) (*сост.*).

17.11.76

Дорогие Лева и Рая!

Не сердитесь, что пишу редко. Здесь, в Париже, та же сутолока и текучка, что в дорогой нашей Москве. Ничего как-то не успеваешь. Как та белка в том колесе.

Иногда все же вырываюсь из этого колеса и брожу по очаровательным парижским улочкам, по Марэ, по всяким де-Вожам... Заглядываю иной раз в Лувр и брожу, не торопясь, от картины к картине, не стараясь захватить все зараз. Узнал де Ла Тура, а ведь не знал. Могу спокойно пройти мимо Джоконды, знаю уже... что где висит. Это м.б. даже самое приятное.

К Парижу начинаю уже привыкать, считать своим. Вчера вот ездил в Орли встречать Л. из Гренобля и подумал — вроде уже как во Внуково или Борисполь... Вот так-то...

Ну, а русский Париж? Вы там, в Москве, о нем знаете, по-моему, больше, чем мы... Случается тут разное. До вас доходит что-то, но в основном по испорченному телефону, по-французски «Téléphone arabe».

Я же, дети мои, над схваткой. Не окунаюсь. А потому и относятся ко мне неплохо. Русские и французы и русско-французы. Дружу в основном с Володькой [1], очень он хороший, прямой и честный парень — прошу это учесть,— зря похвалами не раскидываюсь... Как там мои Володи?[2] Привет им. Как тебе мой Гелий?[3]

В письмо вложена открытка. «Вот где мы живем. А до этого жили и творили Сезанн, Ренуар, Сислей, и даже Коро. И Э. Золя, и Мюссе, и О. Уайльд. Я не говорю о королях, охотившихся в соседних лесах. Во! А теперь — мы».

В 1983 году, отвечая на мои вопросы о самиздате, (я проводила интервью с эмигрантами из СССР о самиздате по поручению Института Восточной Европы в Бремене), В. Некрасов рассказывал о Снегиреве:

Гелий был очень благополучен, заведовал сценарным отделом на киевской студии документальных фильмов, был членом партбюро. Писал комедийно-футбольные вещи. Его дядя — Вадим Собко — плохой писатель и плохой человек, был очень влиятелен.

Впервые Снегирев прозвучал, когда в «Новом мире» напечатали его повесть «Роди мне три сына». Едва ли не все украинские руководители обивали пороги «Нового мира», Твардовский им всем — от ворот — поворот, а Гелия опубликовали.

---

[1] В. Е. Максимов (род. 1930) — писатель, главный редактор «Континента» (*сост.*).

[2] В. Н. Войнович и В. Н. Корнилов.

[3] Г. И. Снегирев (1927—1978) — киносценарист, киевский друг Некрасова, автор напечатанной в «Континенте» (№ 11—15, 1977—1978) документальной книги «Мама моя, мама» (*сост.*).

Потом он познакомился с «плохими» людьми, и со мной начал развивать «плохую деятельность».

На 25-летие расстрела в Бабьем Яру (1966 г.) приехали из Москвы — В. Войнович, П. Якир[1] и другие. Снегирев — он же был из начальства на студии — взял туда маленькую киногруппу, чтобы все было запечатлено.

Люди плакали, везде было много цветов. Я сказал несколько слов о том, что здесь должен стоять памятник. Потом выступили Дзюба с хорошей, умной, горькой речью. Что пора, наконец, положить конец взаимной нелюбви украинцев и евреев, что это позор. Слышно было плохо, никаких микрофонов у нас не было. (Речь эта позже распространялась в самиздате.) Потом появилась милиция и всех — весьма вежливо, но разогнали. То, что сняли киношники, отобрали. И никто так этого не увидел. Директора студии выгнали с работы. Меня «песочили» на партбюро. Гелия еще оставили, но простым режиссером, снимать еженедельные хроники о доярках. Его, конечно, вызывал дядя, учил его уму-разуму: «Учти, дорогой, есть все возможности тебе остаться советским писателем, настоящим коммунистом, а есть другой путь — дружить с подонками, скатываться на дно». Гелий, говоря их языком, «скатился на дно». Он написал сильное документальное произведение «Мама моя, мама». Это история процесса СВУ[2] в 1930 году. Украинские ученые,— если не детский сад, то стариковский сад — за чашкой чая решали, какой должна быть Украина. А в судебном процессе утверждалось, что там и оружие было и какие-то террористические планы. Все они, конечно, были осуждены. Те, кто вышел, отсидев сроки, погибли позже. В этом процессе была как-то замешана и мать Гелия.

Вы переслали рукопись в Париж, она была опубликована в «Континенте». После этого Снегирев закусил удила. Решил отказаться от советского гражданства, бросить паспорт в лицо Брежневу. Сопроводительное письмо — отношу его к блесткам литературы сопротивления — написано зло, метко, уничтожающе. Уничтожил он себя: если ему в какой-то степени простили «Мама моя, мама», то за письмо посадили в тюрьму. Умер он в тюремной больнице в 1978 году

Вернемся к хронологии.

13.1.76

Дорогой Лева...

Добралось, наконец, через $2^1/_2$ месяца и твое письмо до меня... Кстати, не было от тебя письма, на которое я бы не ответил. Не говоря

---

[1] П. И. Якир (1923—1982) — историк, начал свое «хождение» по тюрьмам в 1937 г., последний раз арестовывался в 1972 г., автор книги «Детство в тюрьме» (Лондон, 1972) *(сост.)*.

[2] Союз освобождения Украины (Спілка визволення України).

уже с почтовых открыточках из разных европейских городов на Красноармейскую...

О твоей книге[1]. Брался за нее с опаской. И не потому, что она толстая (нет на вас всех, и на А. И. в том числе, Аси Б.[2]!), а потому что я, как бывший красноармеец, не люблю, когда ее — Красную Армию — топчут. Боялся, что и ты это сделал...

Прочел (пока первую часть, военную) и увидел, что это не так. Я сам в Германии в те дни не был, поэтому не мне судить... Твоя позиция (тогда) была единственно правильная. То же, что ты рассказал о политработниках,— это впервые в военной литературе. И их, таких, топтать и разоблачать надо. И ты это сделал. Спасибо! А солдаты... Думаю, что *это* получилось, образовалось не только из-за приказов (посылайте посылки! а потом расстреляем!), а по другим причинам — солдатской отходчивости и жалостливости. Это я видел в Зап⟨адной⟩ Украине... Вели на расстрел, а потом кормили, скручивали цигарки,— ах ты, глупый, глухой Фриц...

Единственное, что я не понял,— это как ты все в деталях, в разговорах запомнил. Они все очень живые, достоверные. Талант восстановления? За это хвалю. Веришь...

А насчет человеческих потерь... Уходят, уходят, уходят друзья... Увы, да... Но не по моей, во всяком случае, вине. Я писал всем. Отвечало 10 процентов... И решил (не без основания), что меня боятся...

Я ЗА ЗА ЗА контакты!!! Всеми способами. И за то, чтобы не бить, не подковыривать друг друга.

Бекицер — обнимаю тебя и Раю.

27 октября 1979 года мы в Москве хоронили нашего общего друга Исаака Крамова. Я дружила с его женой, Леной Ржевской, с юных лет. Виктор дружил с Изей и с его братом — они оба тоже киевляне.

29.10.79

Дорогой Вика,

нам обоим кажется, что за невозможностью быть Вам захочется, нужно будет знать, как все это произошло.

Изя с Леной и Олей[3] уехали в Ялту — праздновать Изино 60-летие 19 октября и Ленино — 27-го. К ним присоединились друзья. Отпраздновали Изин юбилей тихо и радостно...

Последние его слова были: «Посмотри, как хорошо!»...

27-го — гражданская панихида в Союзе.

---

[1] Л. Копелев. Хранить вечно. Ann Arbor. Ardis, 1976.

[2] Анна Самойловна Берзер, редактор «Нового мира», близкий друг В. П. Некрасова *(сост.)*.

[3] Дочь Е. Ржевской.

Человек сто. Первым говорил Игорь Виноградов, сквозь слезы: «Трудный век... все блуждали... Изя — со многими... Но он раньше других вышел на верный путь,— путь истинного благородства, нравственности и не сворачивал с него...»

После Виноградова говорил Наровчатов. Изя и в гробу лежал красивый и молодой. А Сережа — старый-престарый. Он естественно вспоминал только хорошее, рассказывал, как они с Изей еще перед войной прыгали с парашютом с крыла самолета и потом в комбинезонах, сияя, как новенькие полтинники, ввалились прямо на семинар Сельвинского... Давид Самойлов сказал о своем друге, настоящем русском литераторе, скромном, с истинным понятием о чести, а значит, и о слове... Прочитал стихи, которые написал на Изин юбилей...

Повезли на Кунцевское кладбище. Потом на поминки к ним на Ленинградский поехало человек 40. Пили, ели, многие друзья из разных эпох его жизни о нем говорили... Он знал, что его любят. Но не в такой степени, не в полной мере...

Игорь Виноградов предложил выпить за отсутствующих, за Вас и за Бориса Слуцкого (Борис звонил все эти дни из больницы). Вот с Асей, Игорем, с Немой и его Женей [1] мы и выпили за Вас.

Говорили и о том, что главную книгу, которую Изя писал все эти годы, необходимо собрать. Те отрывки, что мы слышали,— прекрасны!

Но зная, как Вам был дорог Изя (они оба неизменно жадно про Вас расспрашивали, и мы делились тем, что знаем...), мы и решили написать Вам. Разумеется, это письмо только Вам. *Личное...*

Мне «По обе стороны Стены» [2] так же понравилось, как и предшествующие. Но об этом уже писала...

Когда мы рассказывали уже здесь на Западе о московских похоронах, о московских поминках,— поняли,— ведь в те дурные годы эти собрания стали последними прибежищами свободного слова. И встречи на поминках — тоже. Тогдашние клубы... Тогдашняя гласность...

III

12 ноября 1980 года мы улетели в Германию по приглашению Генриха Белля. Через два месяца нас лишили советского гражданства.

В апреле 81 года мы впервые поехали в Париж и встретились с В. Некрасовым.

---

[1] Н. В. Наумов (1918—1982) — критик, переводчик и его жена Е. Л. Пригожина — переводчица *(сост.)*.

[2] Очерки «По обе стороны Стены» были впервые напечатаны в «Континенте», 1978, № 18; 1979, № 19; отд. изд.— New-York, 1984 *(сост.)*.

Из дневника Р. О.:

Очень хорошо было с Викой, он всей душой дома, расспрашивает жадно обо всех. Он мало постарел, энергичен, подтянут, совсем не пьет.

Сначала он был у Фимы [1], потом на Левином чтении [2], после чего мы небольшой компанией пошли в его любимое кафе «Эскуриал». Они с Фимой наперебой рассказывали о подлинном «Эскуриале». В. Н. нас порадовал. Тоже совсем мало изменился. По тому, что я дома читала, мне (и не только мне) казалось, что он здешней жизнью наслаждается. Да, он любит Париж, любит парижские кафе, когда столики вынесены на улицу... Но и жизнь дома для него необыкновенно важна. Е.Г. считает, что В.Н. живет только тем, что происходит в Москве, в Киеве. Он, действительно, все помнит, хочет знать каждую деталь...

3—4 августа 1981 года мы увиделись с В. Некрасовым на летних курсах славистов в г. Аахене,— эти курсы называются «Сахаровский университет».

Спортивный, легкий, моложавый. Показывает маленькую черную сумку, ремень через плечо: «С этой сумочкой проехал полмира».

За 4 года эмиграции насчитал 18 стран, к моменту нашей встречи еще прибавилось.

Маленький киевлянин собирал марки, любил рассматривать карты, мечтал о путешествиях. Фантазия рисовала самые экзотичные страны мира. И вот, не было бы счастья... Впрочем, я никогда не слышала от В. Некрасова, чтобы он называл эмиграцию несчастьем. Хотя явно,— и чем дальше шло время, тем больше тосковал по родине. И, конечно, ощущал отсутствие читателей.

У Л. был доклад «Фауст в России», у меня — «Последний год жизни Герцена». В. Некрасов рассказывал о советской литературе. Тут мы впервые услышали: «Вопреки сильнейшему зажиму появляются талантливые книги...» После его выступления долго сидели у нас в комнате. На следующее утро я бегала звонить в Москву,— спрашивать, как сдала вступительные экзамены наша внучка Катя.

Из письма.

«Мы были на встрече с автором книги «В окопах Сталинграда». Очень интересно и нам близко. Он еще не читал другой книги [3] на ту же тему»

Е. Г Эткинд (род. 1918) — известный литературовед, переводчик, был вынужден покинуть родину в 1974 г. *(сост)*.

[2] Л читал отрывки из книги «Утоли моя печали» в Институте славистики.

[3] Имеется в виду «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, впервые издана в 1980 г в Лозанне с предисловием Е. Г. Эткинда.

6.8.81

Едем в Бретань через Париж. Вика нас встречает, везет к Кривошеиным [1] (они летом живут в доме Ст. Татищева, пока он с семьей в отпуске). Мы там ночевали. Утром Вика водил нас по своим любимым парижским уголкам, а потом везет на другой вокзал Монпарнас. Говорит, что больше всего любит Париж именно в августе.

22.11.81

Дорогие Лева и Рая!

Со всех сторон, разными путями получаю от вас приветы, а сам молчу, как пень. Свинство!..

Как жизнь? Довольны ли? Говорят, что у вас хорошая квартира. И с работой как будто не плохо?

Но больше всего меня интересует, как прошел вояж на какой-то там «Queen» [2]. Жду подробнейшего отчета. И вообще хочу общаться. Но не знаю как. Как будто и рядом, да все как-то не совпадаем, не пересекаемся.

Короче — приезжайте в Париж. Просто так. Без дела. Ей-Богу, не плохой городишко.

Обнимаю и хочу! Вика.

Из дневника Р.О.

27.11.82

Вика порвал с «Континентом» (ему Максимов прислал письмо: «Господин Некрасов, «Континент» в ваших услугах больше не нуждается»).

Он печален, сейчас счастлив, что с друзьями Лунгиными, а что потом...

Одиночество в его любимом Париже. Нет, жить там не могла бы.

Из писем.

30.1.83

Вика Некрасов был здесь несколько дней. 40 лет Сталинграда, интервью, выступления. Он у нас жил, мы подолгу разговаривали, вспоминали. Давно мне не было так хорошо с человеком, которого я, в сущности, раньше едва знала, встречались мы дома считанное

---

[1] И. А. Кривошеин (189? — 1987) — инженер, с 1920 г. находился в эмиграции, участник Сопротивления, узник нацистского лагеря Дахау. После возвращения на родину в 1946 г. пять лет провел в советских лагерях, в 1974 г. снова эмигрировал во Францию. Н. А. Кривошеина (1895—1981) — жена И. А. Кривошеина, автор книг воспоминаний «Четыре трети нашей жизни» (Париж, 1984). Кривошеин познакомился с В. П. Некрасовым в 1960-х годах в Коктебеле *(сост.)*.

[2] В сентябре 1981 года мы ехали в США на пароходе «Queen Elisabeth».

число раз... очень люблю его как писателя, да и здешние встречи были неизменно хороши. А тут наедине на редкость родное. Вот чего не хватает так сильно...

Вика читал нам новую повесть «Саперлипопет» (название непроизносимо!). Чтение — ритуал. Выключить телефон. Не открывать дверь — нас ни для кого нет дома. (На Красноармейской даже объявление иногда вывешивали «Нас нет дома».) Выключить верхний свет. Вика к этому ритуалу относится очень серьезно. Поставить удобно торшер, примеривал, откуда удобнее слушать.

Ко всем нашим замечаниям внимателен, ни тени обиды... и опять же наше, московское — сидим втроем, слушаем, спорим, обсуждаем...

Вика не представлял себе, что бывает такая огромная почта (как у Льва). Он выглядит лучше, чем можно бы предполагать после всех его неприятностей. Наверно, потому, что ему хорошо пишется. И у него есть убежище — семья...

...Лев с Викой трепались до полвторого...

(Мы с ним перешли на «ты».)

С Викой было замечательно, снова почувствовала, что я умею слушать, слышу слово, что могу нечто полезное для пишущих им сказать и что пропадает это, как в молодости перегорало молоко в груди.

Из Москвы пришел новый анекдот. «Вопрос анкеты»: «Что вы делали, когда шла битва за Малую землю? Небось отсиживались в окопах Сталинграда?»

Вика — глаза радостно блестят: «Для русского писателя — попасть в анекдот — счастье».

«Ты еще считаешь эмиграцию на месяцы? — 26! А я на годы».

...Сидим у нас на кельнской квартире. Автор читает только что законченную повесть. Автобиографический герой — Некрасов получает диплом сталинского лауреата в том самом окошечке, которое прославил Булгаков в «Театральном романе».

«Виктор Платонович, Вас приглашают в Кремль к товарищу Сталину». На улице машина. Едет. Входит в кабинет. Боится, но пытается подавить, хотя бы скрыть страх. Водка помогает, начинается разговор.

Я не хочу прерывать чтение, но не выдерживаю: «Почему же ты никогда об этом не рассказывал?» Он радостно смеется: «Да никогда этого не было».

Но ведь могло бы быть: звонил же Сталин Пастернаку, Эренбургу, Булгакову. Мог позвонить и Некрасову.

Сколько советских людей в те годы думали: «Что я скажу Сталину, о чем его попрошу, за кого попрошу, если чудо произойдет и я с ним встречусь?»

Из статьи Р. Орловой «Души высокая свобода»

В подзаголовке книги Виктора Некрасова «Саперлипопет — Если б... да кабы...»:

...А что, если бы его мать не вернулась из Швейцарии в Киев и Виктор родился бы в Париже?

Подзаголовок — вопрос становится «раздвоенной» реальностью: Виктор Некрасов с его реальной биографией, но минус эмиграция. И Алексей Никитин, родившийся в Париже, ставший французским писателем.

Каждый проигрывает иной вариант. Полностью или частично. «Некрасову» давно невтерпеж унизительный страх, слежка, насилие над мыслью. Он приехал в Париж как член советской делегации. Его мучает вопрос: а не остаться ли? Мысль эта приходит не впервые, она оживает в долгих разговорах с Никитиным, он разрывается между «за» и «против». В последний момент, когда в делегации уже началась паника, Некрасов возвращается в отель и улетает вместе со всеми в Москву.

Никитин же — отчасти и под влиянием «Некрасова» — едет в Москву и в Киев. Ему дают адреса друзей, и потому ему открывается частица настоящей, а не интуристовской России. Ни на мгновение не возникает у него желание остаться навсегда на исторической родине. Но и он ощущает, *что* потерял, или, вернее, какого человеческого опыта он оказался лишен.

Некрасову, как любому советскому гражданину, возможность пробовать не дана: решить можно только раз и навсегда. Условие же как в сказках: направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — царство потеряешь...

Так и советский писатель взвешивает: окажется на Западе — обретет свободу. Уедет на Запад — потеряет родных, большинство друзей, потеряет читателей, язык, родину...

«Что было бы, если бы» — эта вариантность в основе художественного построения повести. И это условие приводит Некрасова в Кремль к Сталину.

Сталин у Некрасова — это не еще один портрет тирана. Это порядочный человек перед тираном, это обычные люди при Сталине, перед Сталиным («Форум», № 15).

12.2.83

Дорогой Вика!

Посылаем твое интервью. Хорошая фотография, да?

Мы еще долго начинали утро словами «Тоскливо без Вики»... И еще из «мыслей на лестнице». «Некрасов» в своей повести в главном споре и в своих размышлениях ничего не говорит о том, что его (внутренне) держит или, другими словами: что он оставил?

Оставляет? Не хочет оставить?.. Понимаешь, Вика, эти вечера и дни с тобой еще и потому были для меня важны, что именно это я оставила, такой жизнью жила дома, с такими людьми. ...Знаю, знаю о многих компромиссах, вот и взвешивают люди и я взвешиваю (нет, в прошлом не взвешивала, у меня из-за Левы выбора не было). А у твоего героя выбор есть возвращаясь от действительности к литературе — его не может не быть. Семья? Дружеский круг? Пусть несколько очень близких друзей... И уже не только вопрос: какой вред я могу нанести им, а иное: какой вред я могу нанести себе, отрезав себя от своей почвы — не в широком, а в узком смысле слова — от своей среды...

В цитированном уже интервью 1983 г. я спросила:

— Правда ли, что в день обыска ты получил однотомник Булгакова?

— У меня с девятью мальчиками, которые производили обыск, были самые корректные отношения. Телефон они выключили, пока не ушли.

Зря мы идеализируем эту организацию, потому что спрашивают: «Виктор Платонович, у вас спичечек нет?» Я говорю: «А что?» — «Нам надо под шкафом посмотреть!» У этой организации должен быть фонарь! С лучом на сто метров! А не спичечек у обыскиваемого просить. И потом, когда к концу вторых суток они уже набили три громадных мешка в рост человека всякими бумагами, в три часа ночи (на дворе — январь, мороз, метель и вьюга) они звонят в свой КГБ с просьбой выслать им машину. Нет машины! Взвалили на плечи и — в ночь! И в гору, скользя!

А Булгаков, значит... Они ходили собачку нашу прогуливать. Уходя в гастроном за едой, говорили: «Галина Викторовна, не надо ли вам чего-нибудь купить?»

Я вспомнил, что до их прихода мне назначила директорша нашего литфондовского магазина свидание. Вышел однотомник Булгакова, меня из списков на получение вычеркнули, но она ко мне благоволила и сказала: «Приходите в четверг, вам я оставлю!» Как раз в четверг — «мальчики»! И я говорю: «Вы разрешите, я позвоню в магазин, что я сегодня не приду. Мне должны оставить там одну книгу, попрошу, чтобы задержали до завтра или послезавтра».— «Какую книгу?» Я говорю: «Булгакова».— «Виктор Платоныч, зачем вам звонить?!» (Самое смешное, что все они почему-то были «Витями», вся бригада. Витя большой, Витя такой, а самый главный — Владимир Ильич!)

И он сказал одному из «Вить»: «Витя, одна нога здесь, другая там! Возьми Булгакова для Виктора Платоныча. Виктор Платоныч, дайте записочку». Я дал записочку и должен сказать как ветер!

Юные ноги, нигде не задерживался, ста грамм не выпивал по дороге и принес Булгакова! По-моему, прекрасный рассказ!

В ноябре 1983 г. мы встретились в Берлине, опять на курсах славистов. Жили мы в замке Глинике. Перед замком «Мост Единства», ведущий в Потсдам.

Вика с двумя молодыми немцами ушел в Восточный Берлин. Его пропустили, хотя его книга «По обе стороны Стены» вышла по-русски и по-немецки.

Дискуссия, в которой принимают участие В.Н. и Л.К., должна начаться 23.11. в 19.30. В 18 ч. Вики еще нет, мы уезжаем из замка. Л. страшно волнуется. Но В. Н. появляется вовремя. Купил в Берлине русские книги, альбомы.

23.11.84

Итак, кончил, дорогая Раечка [1]. 330 страниц для меня много. Очень даже. Неделя для чтения — более, чем мало... Для чтения толстых и нужных книг мне, как минимум, нужна Женева или Гаваи. Ничего не подвернулось, и одолел в Париже.

Итак — читал с большим интересом, сочувствуя и понимая. Не все такие читатели, как я. Некоторые говорят: зачем это вывора чивание наизнанку? Как могла она — умная, интеллигентная — верить? Не всю правду сказала... Ну и т.д.

Насчет «не всю правду» — не видел еще человека, который сказал бы *всю* правду. Во-вторых, писалось еще там.

В общем, «жить не по лжи» не удавалось. И не удается и не удастся никому... Что поделаешь. Но рассказать о том, как жил, как и во что верил, как обманывал самого себя, и найти этому хоть какое-то объяснение — наша обязанность. И каждый делает это по-своему — Евг. Семеновна [2], Григоренко [3], Пьер Дэкс, твой благоверный, в меньшей степени А.И...

Короче — книга твоя интересная и нужная. Пусть разбросанная, лишенная определенной композиции, могла бы быть и короче.

Насчет «выворачивания наизнанку» считаю определение неприличным, даже оскорбительным [4]. Это исповедь. А исповедь всегда некое «выворачивание».

---

[1] В. Н. прочитал мою книгу «Воспоминания о непрошедшем времени», Ann Arbor Ardis, 1983.

[2] Евгения Семеновна Гинзбург (1906—1977) — автор книги «Крутой маршрут», впервые напечатанной отдельным изданием в Милане в 1967 г.

[3] П. Г. Григоренко (1907—1987) — генерал, активный участник правозащитного движения. Вероятно, имеется в виду его книга «Мысли сумасшедшего» (Amsterdam, 1973) *(сост.)*.

[4] На эту книгу было много резко отрицательных отзывов в эмигрантской прессе.

А выворачивать нам, увы, есть что... Да, умная, да, интеллигентная, и верила! И даже произносила, что надо. В этом и есть трагедия нашего если не «потерянного», то одураченного, исковерканного, м. б. самого трагичного поколения.

Я, например, не верил в процессы 37—38 гг., не поверил и в предательство Тухачевского. Но, прочитав об этом, последнем, в газете на стене у нашего театра (было это в Запорожье), ринулся тут же на пляж и через пять минут уже нырял, и хохотал, и валял дурака... Вот так оно было...

В ВОКСе я, правда, не работал, но от него ездил в 1957 году в Италию сразу после венгерских событий и отбивался от корреспондентов как будто не очень вря, но все же... Потом, где-то уже в 60 или в 61, 62-м годах вместе с А. Вознесенским давал пресс-конференцию в Риме. Тоже — «не всю правду».

С интересом читал и о Саше Галиче, Белинкове [1], которого не знал, ну и о многом, многом другом, тоже мне неизвестном. Время, эпоха чувствуется, действующие лица — кто знаком, кто не знаком, но узнаваем. И мы среди них — такие, какими были. Людей сажали, эшелонами ссылали, а мы на Кавказ, по Военно-Осетинской, и почему-то не было стыдно. Плохо? Может быть... Но так было... Молодость, будь она трижды если и не проклята, но осуждена.

Эх, вернуть бы ее. Эх, какими мы бы теперь-тогда были бы бы... Засим обнимаю, целую, то же проделаю и с Левой.

Твой В.

13.6.84

Дорогие мои Копелевы!

Звонил вам — никогда нет дома. И все-то вы ездите, суетитесь. Берите пример с меня. Вот поселился в этом самом Collieure и веду самый правильный образ жизни. Всех послал... живу в одиночестве, что-то пишу (для потомства и для вас, в частности, не для денег), купаюсь, загораю (городок мой средиземноморский, возле испанской границы, прелесть...), о чем-то иногда думаю, вспоминаю, грущу. И выяснилось, заодно, очень много интересных вещей.

Во-первых, что я в первый раз в своей жизни в отпуску. От всего и всех. Парижа, жены, собаки, работы, телефона. И это, оказывается, прекрасно.

Во-вторых, что я, в общем-то, в жизни никогда не работал. В смысле: от — до. Когда заведовал чем-то в «Радянському Мистецтві»

---

[1] А. В. Белинков (1921—1970) — писатель, критик, автор книг о Ю. Тынянове и Ю. Олеше. Арестован в 1944 г., и провел в лагерях 13 лет. В 1968 г. во время туристической поездки остался за рубежом (*сост*).

под началом Шуры Борщаговского, ответственный секретарь Владимир Владич на вопрос приходивших ко мне авторов отвечал неизменно: «Принимает на пляже, второй грибок, направо от переправы».

В-третьих, что я, всю жизнь считавший себя человеком общительным, только сейчас, на склоне лет, понял всю прелесть одиночества.

Здесь в Колюре я имею все, чего не имею в Париже, а до этого на Крещатике, Калининском проспекте etc. Делаю, что хочу! А хочу, как ни странно, писать. И одновременно бездельничать, т. е. карабкаться по каким-то крутым улочкам, нежиться на пляже, щелкать направо и налево разные пейзажи и читать толстые книги, на которые не хватает времени и покоя в Париже.

Сейчас борюсь, например, с В. В. Набоковым, с его «Даром». Да простят меня снобы и знатоки, но он (в высшей фазе) графоман. Нет, это не ругательство, но для него форма, построение фразы, неожиданность (не всегда удачная) сравнений, упоение вещами и прекрасно написанными ненужными деталями важнее всего... Не гневайтесь, я отдаю ему должное — тонкости, вкусу, умению,— но, ей-Богу, при всем при том, читая его, остаюсь холоден, как собачий нос Потому что и он холоден. А вот осуждаемого всеми Э. Лимонова «Подросток Савенко» [1] прочел залпом. Прочтите! О харьковской шпане — 15-летних малолетках. Обнаженно и страшно. Но ни строчки не пропускаешь. Жизнь отталкивающая, но рассказанная участником и не лишенным таланта.

Черкните в Париж, желательно разборчивым почерком, я там с 24-го.

Целую. *В.*

22.4.85. Rio de Janeiro

Сбылась мечта идиота — он здесь! Плюя на все, снял шикарный номер за 44 доллара с видом на все самое прекрасное, на самый легендарный Копакобан... О чем еще мечтать, чтобы до конца выполнить жизненные планы? Остались «Queen Elisabeth», «Orient Express», Таити и, пожалуй, Индия. Потом спокойно можно укладываться на Saint-Genevieve des-Bois по соседству с Сашей Галичем.

Нет, нужно еще что-нибудь африканское, вроде Килиманджаро. А может, еще Москва, Киев?.. А?

Обнимаю.
Вика.

---

[1] Книга Э. Лимонова была издана в Париже в 1983 г.

Кельн — Париж
15 июня 1985

Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич!

Мы, участники Великой Отечественной войны, несколько десятилетий работавшие в советской литературе, оказались не по своей воле за рубежом. Однако нам неизменно близки интересы Родины и ее международный престиж. Это обязывает нас обратиться к Вам: все, что мы знаем о Вас, позволяет надеяться на Ваше великодушие и государственный разум.

Судьба академика Сахарова привлекает постоянное напряженное внимание миллионов людей во всем мире. На Западе нам приходится встречать людей разных политических направлений, общественных слоев и профессий — главным образом ученых и литераторов. И мы знаем, что их отношение к советскому государству в значительной мере определяется именно судьбой Сахарова.

В течение последних пяти лет советские органы отклоняли бесчисленные ходатайства о Сахарове, ссылаясь на необходимость «хранить стратегические тайны». Однако здесь известно, что секреты, к которым Сахаров имел доступ, уже давно вошли в учебники. Его жена вообще никаких государственных тайн не знала, и расправа могучей державы с пожилой и больной женщиной — инвалидом Отечественной войны — может быть понята здесь только как бессмысленная жестокость.

Вы унаследовали этот «узел» вместе с другими трудными проблемами — от прошлого. Мы уверены, что благополучное разрешение «сахаровского вопроса» позволит всем, кто влияет на общественное мнение, взглянуть на Советский Союз и его новое руководство другими глазами.

В прошлом международному престижу Советского Союза немало способствовали Ромен Роллан, Теодор Драйзер, Томас Манн, Бернард Шоу, Бертольт Брехт, Пабло Пикассо, Чарли Чаплин. Сегодня поворот ведущих деятелей общественной и культурной жизни от неприятия СССР и страха перед ним к уважению и доверию непосредственно зависит от судьбы Сахарова.

Для Генриха Белля и Артура Миллера, папы Иоанна Павла II, Вайдзеккера, Миттерана и очень многих других А. Д. Сахаров — образец душевной чистоты и благородства, он олицетворяет лучшие нравственные традиции русской интеллигенции.

Великодушие — свойство сильных. В Вашей власти привлечь к Вашей стране уважение, доверие и симпатии, в которых она так нуждается.

В. Некрасов.
Е. Эткинд.
Л. Копелев.

Ответа на это письмо не последовало. Авторы решили его не публиковать в надежде, что их просьба все же услышана. Полтора года спустя А. Д. Сахаров вернулся в Москву.

23.10.86

Дорогие мои Рая и Лева!

Как выяснилось, мне важно, чтобы меня читали не только на Брайтон-Биче [1], но иной раз, допустим, и в Кельне.

Поэтому и посылаю вам то, что посылаю [2],

целую и люблю.

Из писем в Москву.
16.12.86

Мы сговариваемся о приезде Виктора Некрасова три года. В Париже мы видимся накоротке. А он принадлежит к тем немногим, кого видеть очень хочется.

В. приехал 1-го января 87 вечером с большими трудностями: во Франции две недели — забастовка железнодорожников. Он добирался автобусом в Брюссель, оттуда на машине друга в Амстердам и оттуда поездом в Кельн. Мы его встретили и привезли сюда, в Бад Мюнстерайфель.

5.1.87

Все перебираем, опять и опять вспоминаем. Главное несовпадение у него нет интереса к здешней жизни. Не хочет читать и про войну,— ну, это понятно.

«Об Асе [3] — ни одного дурного слова не допущу» (заметил почти зло). «Я принадлежал нижнему этажу» (это в разговоре о Лакшине [4]).

«О том, чтобы снова жить в нашей стране, думаю только с ужасом»,— повторил несколько раз.

Мы с Викой друг друга просто любим, так что когда не согласны в чем — обходится благополучно...

На чем мы сошлись?.. Ильф и Петров — бессмертны... «Новое назначение» А. Бека книга серьезная... «Девушка моей мечты» Б. Окуджавы — блистательный рассказ. Этот рассказ вызвал у Некрасо-

---

[1] Брайтон-Бич — улица в Нью-Йорке, где живут главным образом эмигранты из СССР *(сост.)*.

[2] В. П. Некрасов. Маленькая печальная повесть. Overseas Publications Interchange. London, 1986 (впервые в «Гранях», 1985, № 135).

[3] Анна Самойловна Берзер.

[4] На «нижнем» этаже были редакторы, наверху Твардовский, Лакшин и другие члены редколлегии.

ва немедленное желание написать о своей встрече с матерью, когда впервые попал в Киев после освобождения, что он сейчас и делает.

Он хочет в наши московские кухни. Но спрашивает с горечью — кого я там застану?

6.1.87

Гуляли с Викой, он подарил альбом Матисса, сидели в кафе. Хорошо говорит о многих — об И. Саце, об А. Дементьеве, о Б. Заксе [1].

«У меня возникло несколько платонических романов с немолодыми женщинами — Катя Эткинд, Наталья Столярова, Таня Литвинова... [2] Меня нигде не знают. Я как писатель не существовал и не существую».

10.1.87

Первые десять дней этого нового года очень хорошо прожили с Виктором Некрасовым. До обеда каждый у себя работает, а потом гуляем, болтаем, вспоминаем...

...Вика уезжает послезавтра, мы все понемногу работали, но и разговаривали подолгу. Самое радостное — он не говорит ни о ком дурно, стремится найти хорошее...

Все же в Париж приезжает гораздо больше наших, чем в Кельн. Он видел за это время многих. Ему это так же необходимо, как и нам. Рассказывает о Чуриковой и Панфилове, передает от них неожиданный привет.

12.1.87

Такие встречи сейчас неминуемо ведут к воспоминаниям. А у меня, пожалуй, за этот год... не было больше человека, с которым я могла бы подолгу говорить о прошлом, про общих друзей, приятелей, иногда — мелькнувших знакомых. Меня всегда в Вике подкупало полное отсутствие злословия, желание — и умение — вспомнить о каждом нечто милое. «А у Наташи Горбаневской [3] зажигалка висит на ленточке такой детской...» — это к тому, что Лева беспрерывно теряет очечник, мы ему привесили шнурок. Ни малейшей нежности к Наташе у меня нет, я, редко читая что-нибудь за ее подписью,— неизбежно наталкиваюсь на пышущую злость. Нежности к ней и он не испытывает. Но, вот ленточка...

---

[1] И. А. Сац (1903—1980) — критик, переводчик, член редколлегии «Нового мира», близкий друг В. П. Некрасова. А. Г. Дементьев (1904—1986) — критик, литературовед, заместитель главного редактора «Нового мира». Б. Г. Закс (род. 1908) — журналист, редактор «Нового мира», с 1979 г. в эмиграции *(сост.)*.

[2] Е. Ф. Эткинд (1918—1986) — жена Е. Г. Эткинда. Н. И. Столярова (1912—1984) — переводчица, секретарь И. Г. Эренбурга. Т. М. Литвинова — переводчица *(сост.)*.

[3] Н. Е. Горбаневская — поэт, критик, активный участник правозащитного движения, сотрудник «Континента» и «Русской мысли».

12.1.87

...Сегодня утром проводили Вику в Париж (половина поездов уже ходит после долгой забастовки). Его выступление [1] было интересным и дискуссия тоже.

13.1.87

Милые мои Лева с Раей!

Посылаю Вам Коктебель (надо ж умудриться выпустить альбом без Волошинского дома) и свое фото 49 года...

В Москве вчера было — 47 гр.!

О нашей совместной жизни вспоминаю с нежностью. Когда-нибудь повторим. Без соплей и кашля...

«Пиши — не забывай!» Спасибо, Лева! Закончил [2], выправил и несу Витьке печатать.

Целую. *Вика.*

21 1.87

Вика, родной, все сразу набросилось здесь на нас, свои и чужие горести, неприятности (и немного радостей). Как бы там ни было, но идиллия в Бад Мюнстерайфеле отошла в область дорогих сердцу преданий.

Самое большое спасибо — из твоих даров — за твою фотографию Коктебеля... И за сегодня полученную фотографию Леры [3] очень и очень... Лев разговаривал с Рене Беллем, в принципе он не против издания под одной обложкой двух книг: «Где ты был, Адам?» и словно в ответ: «В окопах Сталинграда». И чтобы ты написал новое послесловие.

...Мы оба просто счастливы, что нам удалось на самом деле побыть вместе с тобой наедине...

26.1.87

Позабыт, позаброшен...

Ну, что поделаешь? А я помню и даже читаю. На смену «Монте-Кристо» пришли «Двери» [4]... И представь себе, Раечка, взял в боковой карман для метро́ (благо маленькая), потом зашел в свое кафе и.. дочитал до конца. В моей биографии это невиданно.

---

[1] В. Некрасов и Л. Копелев выступали в Бад Мюнстерайфеле, каждый читал, потом отвечали на вопросы.

[2] Воспоминания о встрече с матерью во время войны.

[3] Калерия Николаевна Озерова — в 1960-х годах редактор отдела прозы «Нового мира».

[4] Р Орлова. Двери открываются медленно. Benson, VT. 1984.

Раз так — значит, не зря писала. А когда прочел про 60 писем от немцев — просто обалдел. Я за всю жизнь столько читательских писем не имел... А я-то думал, что это только нас интересует.

Конечно, это не литература высшего класса, а треп (свои «Взгляд и нечто»[1] я, кстати, тоже считаю трепом, не видя в этом ничего худого). И треп интересный, застольный, кухонный. А ты же знаешь, что я вовсе не осуждаю. Это наше коренное. И треп этот оказался моим.

И представь себе, что я это предпочитаю стилистическому блеску «Дара»... Ей-Богу!

Твоя первая — «Воспоминания», конечно, больше хватает за душу, но там и жизнь, и события поважнее. Короче — приветствую и поздравляю.

Все остальное в нашей жизни — более-менее — тягомотина. Радио, редкие встречи с редкими друзьями. Иногда — с неожиданными. Например, с Виктором Конецким[2]. А недавно — с Володей Войновичем[3]...

Витя, в общем-то, парень приличный, не серун, но почему-то после двух кафе третьего не захотелось. О Горбачеве говорит, что все они боятся одного — что убьют или уберут. Так-то.

А Лену Ржевскую[4] читаю с наслаждением. Прелесть!

Целую *В.*

15.3.87

Дорогие Лева и Рая!

А в общем-то, вовсе не дорогие. Разлюбил я вас. Встречались с Булатом, с Любимовым и хоть бы позвонили, хоть бы три строчки написали. Очень вы не хорошие.

Тем не менее возвращаю вам Лену Ржевскую. Очень и очень! Сделал о ней передачу, опубликовал в «Н⟨овом⟩ р⟨усском⟩ с⟨лове⟩». Хочу ей с оказией переслать...

Трубецкая звонила, обещала переслать Раину вещь. Жду. Засим обнимаю, хоть и ничтожества...

Вика.

---

[1] Очерки «Взгляд и нечто» — напечатаны в «Континенте» № 10—12, 1976—1977.

[2] Об этом В. Конецкий рассказал в «Последней встрече» («Огонек», 1988, № 35).

[3] См. воспоминания В. Войновича «Виктор Платонович Некрасов» («Страна и мир». Мюнхен, 1987, сентябрь-октябрь) *(сост.)*.

[4] Е. М. Ржевская. Знаки препинания («Дружба народов», 1985, № 6). В. Некрасов напечатал статью об Е. Ржевской «Классика нашего поколения» в «Новом русском слове» (Нью-Йорк, 1987, 1 марта) *(сост.)*.

20.3.87

Дорогая Рая!

И все же я — подвижник и хороший парень. Прочел твою рукопись [1]. Начну с того, что я вообще не люблю критических разборов. Будь то Белинский или кто-нибудь другой. А с тобой случилось так, что выбранные тобой писатели не из тех, которых я могу читать и перечитывать.

Даже у Распутина, которого я чту и уважаю, я читал только «Живи и помни» и «Уроки французского». «Матеру» я сначала увидел, а потом прочел. И не могу сказать, что понравилось. В обоих случаях дико скучно, а в литературном варианте многословно. А вот «Живи и помни» в свое время так потрясло, что боялся взяться за следующее.

Ю. Трифонова я люблю и не люблю. Где-то меня утомляет неустроенность описываемых им жизней. Отдаю должное, но не перечитываю.

Искандера когда-то любил. Последние его вещи показались более чем слабыми.

А. Битов — вообще не мой, «Пушкинский дом» не осилил. Вина эта, думаю, не его, а моя.

Маканина же просто ни одной строчки не читал.

Так что критическая — основная часть прошла мимо меня. А все остальное — то, что мы с тобой называем «трепом», как всегда, интересно. Взгляды и отношение ко всему и манера изложения у нас схожи. Хотя любимые писатели разные. Разве что с «Войной и миром» совпадаем. А так люблю перечитывать Чехова, Генри! Из нынешних — Шукшина и С. Довлатова [2].

Но так или иначе это детали моей биографии, а не писателей, Диккенса вот не люблю, а он писатель, по-видимому, все-таки великий.

Вот так-то, Раечка, как говорится, не взыщи.

Целую вас обоих, несмотря ни на что.

Ваш *Вика*.

Это его письмо оказалось последним.

28.3.87

Вика, родной,

о себе не могу сказать: какая я внимательная! [3] Во всяком случае — настоящего письма в ответ на твое — написать еще не могу. Боли у Левы [4] не прекращаются...

---

[1] Книга «Письма из Кельна о книгах из Москвы» была издана на немецком языке в 1987 г. *(сост.)*.

[2] С. Д. Довлатов (1941—1990) — писатель, журналист, с 1978 г. в эмиграции *(сост.)*.

[3] «Какой я внимательный» — такой запиской Вика сопроводил фото Леры Озеровой.

[4] У Льва было тяжелое воспаление тройничного нерва.

Когда будет возможность, перешлем текст твоей передачи Лидии Корнеевне [1], но позволь пока сделать два замечания: «Софья Петровна» — это не «старое», а единственно правильное название. «Опустелый дом» — ахматовская строка была как название дана парижскими издателями — кем — мы и не знаем, в 1965 году. Тогда еще не было никаких связей. Л. К. очень гневается, когда ее книгу называют «Опустелый дом»...

Главное, что в те годы соединяло ее с Ахматовой (кроме стихов!),— они вместе стояли в тюремных очередях. Или — Л.К. вместо А.А. В эвакуации же и произошел разрыв... Потому упомяни эти очереди, а не эвакуацию. Остальное нам близко и дорого.

Спасибо за то, что прочитал мою рукопись («Письма из Кельна о книгах из Москвы»), а вкусы у нас разные, и Бог с ними!..

Вспоминаю наши с тобой разговоры и твое пребывание, как нечто такое далекое и прекрасное...

20.5.87. Бад Мюнстерайфель.

Еще в машине по дороге сюда думала: «Приеду и сразу напишу Вике, что едем в тот самый дом, сядем за тот самый стол, пойдем в то самое кафе,— где мы были вместе». И ждала, чтобы хоть чуть лучше стало настроение — передавать тоску дальше неохота. Вижу — не дождусь...

Читаю Леве вслух Бунина,— мы оба «Деревню» и рассказы того времени помнили плохо. Сейчас радуемся поразительному его таланту (уж и не знаю, как с твоей нелюбовью к стилистам, он-то безусловно стилист) и думаем о том, сколько лжи во всех этих новомодных рассуждениях про лад старой деревни. Уж такой *разлад* — временами трудно продолжать читать...

А «Смиренное кладбище» [2] ты читал? А «Ночевала тучка золотая»? [3] Сейчас можно захлебнуться — столько надо и хочется прочитать из своего... невозможно все, надо еще и работать. Но и страх: а вдруг завтра все кончится?

Твоя *Р.*

Это письмо оказалось моим последним.

В Бад Мюнстерайфеле Вика все время кашлял. Мы думали — хронический бронхит старого курильщика. В июне узнали, что он — в больнице: диагноз — рак легких. Ужас сменялся надеждой. Решили — наступило улучшение. Едем в Париж — побыть несколько дней с Викой.

По телефону сказал: «Встретить (так бывало обычно) не могу» — поручил своей приятельнице.

---

[1] Л. К. Чуковская. Речь идет о выступлении В. П. Некрасова о творчестве Л. К. Чуковской на «Радио-Свобода» *(сост.)*.

[2] Это произведение С. Каледина было напечатано в «Новом мире» (1987, № 5) *(сост.)*.

[3] Автор этой книги — А. Приставкин *(сост.)*.

Из дневника Р. О.

30.7.87

Вика мрачно подтянут. Первое впечатление — не так уж изменился с января. Может быть и потому, что в белой рубашке. Сидим в кафе «Конкорд», на углу бульвара Сен-Жермен.

Раньше сидели в кафе «Эскуриал», потом он сменил место встречи с друзьями на кафе «Монпарнас», а сейчас — «Конкорд». Согласие...

Планов не строит. «Ехать расхотелось. Что я увижу? Очереди?..» Рассказывает, что получил письмо из Киева от друга-алкаша: после того как с огромным трудом раздобыли — первого мая! — поллитра, произнесли тост: «Выпьем за небанального генсека!»

Только увиделись, условились: «О болезнях не будем». Так он и не узнал о подозрениях у меня... [1] Было напряженно, между фразами — долгие паузы. Так — впервые.

Говорим о новых публикациях. Роман В. Войновича «Москва. 2042» [2] не понравился. О «приставкинской «Тучке» нельзя говорить в категориях «нравится — не нравится», это трагическая вещь...». С Конецким много пил...

В Париж приехал Павел Лунгин, сын друзей, «не виделись тринадцать лет, но словно вчера расстались...».

Из дневника Л. К.

31.7.87

Вчера ходили в новый музей на Ке д' Орсе, Вика с нами не пошел, ругается. Ему там все не нравится... Не пошел и в больницу к Игорю... [3] Вика словно бы стал меньше ростом, очень похудел, погрустнел, потемнел. Тоска в глазах и в линии рта. Он пил только пиво. Сумрачен.

Тщетно ждали Вику до 8-ми, не дождались, пошли вдвоем на Монмартр.

Из дневника Р. О.

Вечером сказала Л.: «Не кажется ли тебе, что Вика не хочет нас видеть, избегает? Что это может значить?»

Л.: «Нет, не то. Он не хочет, чтобы мы его видели *таким*. Он хочет, чтобы друзья его помнили мушкетером — таким, каким он был всегда».

1.8.87

Опять в «Конкорде». Вика с двумя молодыми москвичами.

Общий разговор. Они рассказывают литературные и киношные но-

---

[1] Подозрение оправдалось — рак.

[2] Этот роман вышел в изд. «Ardis» в 1987 г. *(сост.)*.

[3] Речь идет об И. А. Кривошеине *(сост.)*.

вости, говорят о новом молодежном сленге. Вика мрачно слушает, сам почти не говорит.

Расстаемся. Вика один медленно бредет к метро.

Больше мы его не видели.

На мгновение словно включились какие-то давным-давно затерянные пласты памяти: первая встреча. Молодой, улыбающийся. Уже лауреат, знаменитый, но ничуть не отягощенный славой. После «Окопов Сталинграда», до следующей — треть века.

Весна надежд...

Мы уехали отдыхать в Бретань. Туда пришло известие: скончался старый друг Игорь Александрович Кривошеин [1]. С Ефимом Эткиндом едем в Париж, на похороны.

Звоню Вике: «Я не могу с Вами поехать».

— Что ты, родной? Можно под некрологом поставить твою подпись? [2]

— Конечно.

— А мы думали, может, еще вечером увидимся?

— Нет, я не могу...

Так я услышала тихий, отступающий, далекий голос. В последний раз.

Третьего сентября 1987 года меня оперировали. Очнувшись от наркоза, увидела, что Лев сидит за столиком, что-то пишет, на глазах слезы. Подумалось: «Какое счастье, что он может хоть немного отвлечься на работу...» И снова забытье.

На следующий день Лев сказал: «Вика умер, ночью я писал некролог» [3].

...Много о нем говорил. Ведь он — один из немногих, кто здесь, на Западе, в совершенно ином мире остался самим собой, а здесь это не легче, по-другому, но не легче, чем дома...

Из письма Татьяны Литвиновой.

3.11.87

...Париж без Вики! — восклицаю я эгоистично и на первых порах решила, что не смогу туда ездить — так невероятна эта мысль. А сейчас

---

[1] И. А. Кривошеин скончался 7 августа 1987 г.

[2] Некролог И. А. Кривошеину, под которым стояла и подпись Некрасова, был напечатан в «Русской мысли» 14 августа 1987 г.— за две недели до смерти самого Некрасова *(сост.)*.

[3] Некролог был напечатан под названием «Он живет в своих читателях, в книгах, в своих друзьях» в «Русской мысли» 11 сентября 1987 г. и подписан Львом Копелевым и Раисой Орловой *(сост.)*

думаю, что для меня Париж всегда будет наполнен Викой, и даже рвусь туда душой...

Голос его — в литературе — всегда был симпатичен, именно и н т о н а ц и я, так что мне порою почти все равно — о чем он. И был в нем какой-то от девятнадцатого века, что ли — з а п а с простой, полудетской, нелитературной человечности... Да и вообще ведь он был совсем нелитературный человек. Иной раз — даже досадно. Но зато с таким слухом, так непретенциозен. В изоискусстве мы бешено расходились, но это, когда н а з ы в а л и с ь вещи. А когда шатались по Парижу,— ужас как близки были наши непосредственные реакции. И еще у меня было ощущение, что мы случайно не были знакомы в молодости. Мне легко было задним числом вписать его в «своих ребят», и позднее наша дружба была особенно утешительна для меня, как будто он посланец из моего прошлого, знает меня как облупленную и никогда не даст в обиду «чужим». И то, что был он южанин, какое-то «эхо» К.И. [1].

Так что, в общем,— с благодарностию — были [2]...

Пишу тебе так эгоцентрично, что для меня эта потеря (но нет, не утрата) без стыда, ибо грош цена гореванию, если оно не личное...

---

[1] Корней Иванович Чуковский.

[2] Из В. А. Жуковского:

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: *были.*

А. Синявский, М. Розанова *

ПРИЖИЗНЕННЫЙ НЕКРОЛОГ

Некрасов... Светскость, как определяющее,
как положительное начало. Все мы монахи в душе,
а Некрасов — светский человек. Мы — закрытые,
мы — застывшие, мы — засохшие в своих помыслах
и комплексах. Некрасов — открыт.
Всем дядюшкам и тетушкам, всем клошарам,
всем прогулкам по Парижу... Светский человек среди
клерикалов. Ему недоставало трубки и трости.

И посреди феодальной социалистической
литературы первая светская повесть
— «В окопах Сталинграда»

Странно, что среди наших писателей,
от рождения проклятых, удрученных
этой выворотной, отвратной церковностью,
прохаживался между тем светский человек.
Солдат, мушкетер, гуляка, Некрасов.
Божья милость, пушкинское дыхание слышались
в этом вольном зеваке и веселом богохульнике.

Член Союза писателей, недавний член КПСС,
исключенный, вычеркнутый
из Большой энциклопедии, он носил с собой
и в себе этот вдох свободы. Человеческое в нем
удивительно соединялось с писательским,
и он был человеком пар эксэлянс! [1]
А это так редко встречается в большом писателе
в наши дни.

---

* Впервые напечатано в «Синтаксисе» (Париж, 1987, № 19)
[1] Par excellence (*фр.*) — по преимуществу.

Дядюшка в Лозанне... Как это подошло —
в Лозанне...
Преждевременный некролог? Я понимаю.
Нехорошо, что преждевременный. Но и как воздать?!
Если не преждевременно? Если все мы уходим
и уходим, и никто не стоит за нами
с подъятыми факелами в руках!
Потому и тороплюсь. Надеюсь. Не умрет...
А его Хемингуэй? Наш российский,
наш советский, наш дурацкий Хемингуэй!
Как он был нам важен, необходим —
этот дядя Хэм.
Почти как «Дядя Ваня», как «Хижина дяди Тома».
В нашу сызмальства религиозную жизнь Хэм,
дядя Хэм, вносил почти запретную, подпольную
тему человека.
Ничего особенного: человек? Человек.
Человек? — Человеку... Но это уже было
так значительно, так осмысленно посреди толпы,
принявшей либо звериный образ, либо
— еще страшнее — ореол напускной святости.
Спасибо тебе, дядя Хэм...
Некрасов выше, Некрасов чище, чем кто-либо из
всех нас любил Хемингуэя. Да ведь и то сказать
— он был старше нас, и старше и живее. Как я сказал
— был больше всего человеком среди писателей,
а человек — не с большой, а с маленькой буквы
— это много дороже стоит.
Почему я все это сейчас пишу?
Когда Некрасов еще не умер?
Чтобы, если он выживет, подарить ему эти странички,
как очередную медаль — за отвагу.
А потом, скажите, что мне делать сейчас,
если о нем не писать?
Чем помочь ему, кроме такого вот
прижизненного некролога?
Толпиться в больнице? Звонить по врачам?
Да всех врачей уже обзвонили, и они затыкают уши
и не хотят больше слушать этих настырных,
неизвестно о чем думающих русских.
«В окопах Сталинграда»... Нужно же было
родиться и кончить свои дни в Париже, чтобы где-то
посредине написать — в око-пах Ста-лин-града...
Да! Нужно. Нужно же было уехать из Киева,
из России, чтобы, приехав в Париж,

тебя разрезали пополам и выкачивали бы гной
из брюшины, из почек и из легких?
Не лучше ли было бы там,
не проще ли было бы в Киеве
и окончить дни, отмеченные «Литературной газетой»?
Куда лезешь? Зачем летишь?
Глоток воздуха. Последний глоток свободы...

1 июня 1975

1-го июня 1975 года умирал русский писатель Виктор Некрасов. 27-го мая его положили в госпиталь, очень хороший парижский госпиталь, и больше трех часов оперировали, пытаясь спасти от перитонита. Хирург сказал, что любой француз умер бы за пять дней до такой операции и что, хотя операция прошла хорошо,— положение безнадежно.

1-го июня врачи объявили, что положение резко ухудшилось, что надежды нет и что пора сказать правду жене. И что пора прощаться.

Был поздний вечер. Зареванные, мы сновали по коридорам госпиталя, перешептывались, обменивались длинными, горестными взглядами, кругами ходили вокруг бедной жены, которая еще ничего не понимала, а мы уже знали, что к утру ей быть вдовой. Иногда заглядывали в палату. Там, на очень высокой кровати, как на катафалке, лежал полуголый, почерневший Некрасов, обмотанный сетью каких-то трубочек и проводочков. Некрасов был без сознания...

И вот тогда Андрей Синявский (а они очень дружили в тот первый для Некрасова год эмиграции) сказал, что есть одно средство, крайнее средство, и что он попробует...

И Синявский написал Некрасову некролог. При жизни.

Это была попытка хоть чем-то помочь, мысленно, словесно, заговорить Смерть в те роковые часы. Эти беглые строки — не очерк и не статья, не письмо и не дневник. Скорее это — полуплач, полузаклинание. Что-то вроде колдовства. И вместе с тем, попытка сказать самому Некрасову, что такое Некрасов, потому что всякому писателю очень важно знать, что же он написал в жизни свое, незаменимое, за что мы все и чтим, и любим, и помним его, как слово нашей эпохи. Не перечисление заслуг, а уяснение лица, стиля жизни и речи.

А к утру Некрасов очнулся: вопреки всем медицинским прогнозам и правилам, очень медленно он стал поправляться. Что его тогда спасло? Могучий ли организм, или антибиотики, или напряженная, сосредоточенная любовь друзей, которая тоже иногда не дает отлететь человеческой душе в иные дали,— не знаю... Но Некрасов выбрался из той могилы и прожил еще двенадцать лет.

Это были очень тяжелые для него годы — годы эмиграции, и скрашивались они, в основном, бесчисленными путешествиями (как он любил ездить!), встречами с друзьями из той, из прошлой жизни («А ты знаешь, кто приехал?»), а последний год — новой оттепелью дома. Как он надеялся на нее, как следил и как радовался каждому новому слову оттуда. Даже послал в один из московских журналов статью о Корбюзье...

А тогда, в том далеком 75-м году, 17 июня, в день рождения, когда Некрасову исполнилось 64 года, ему был преподнесен «прижизненный некролог», как очередная медаль «За отвагу». Некрасов прочел и сказал: «Как жаль, что такие про меня слова нельзя напечатать сегодня. Сделайте это после моей смерти...»

Он умер 3-го сентября 1987 года.

СОДЕРЖАНИЕ

ВИКТОР ПЛАТОНОВИЧ НЕКРАСОВ

По обе стороны океана
Записки зеваки
Саперлипопет,
или Если б да кабы,
да во рту росли грибы...

Редактор *Ю. Розенблюм*

Художественный редактор *А. Максимов*

Технический редактор *В. Кулагина*
Корректоры *Г. Володина, Л. Лобанова*

ИБ №6507

Сдано в набор 10.05.90. Подписано в печать 10.12.90. Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Тип. Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 21,0 + альб.= 21,84. Усл. кр-отт. 22,05. Уч.-изд. л. 23,85 + альб.= 25,0. Тираж 100 000 экз. Изд. № 1-4010.

Заказ 1-222. Цена 4 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Диапозитивы изготовлены в Можайском полиграфкомбинате В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по печати 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

Отпечатано в полиграфкомбинате ЦК ЛКСМУ (МДС) «Молодь». 254119, Киев, ул. Пархоменко, 38—44.


4 p.